

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1962

9



1962

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 9

Сентябрь, 1962 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!	
К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН! КО ВСЕМУ ПРОГРЕССИВНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!	
<b>Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Правительства Советского Союза</b>	3
ИВАН ТАРБА — Какие нам орбиты суждены... Стихотворение. Перевела с абхазского Юнна Морич	6
<i>К 150-летию Отечественной войны 1812 года</i>	
ТЕТРАДЬ АЛЕКСАНДРА ЧИЧЕРИНА	7
МАКСИМ ТАНК — Новые стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	71
АЛЕКСЕЙ НЕКРАСОВ — Старики Кирсановы, повесть	74
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Как видно, детство... Стихотворение	110
ВИКТОР НЕКРАСОВ — «Санта-Мария» или Почему я возненавидел игру в мяч, рассказ	111
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — На своей земле. Записи давних лет	114
З. ВАЛЬШОНОК — Мать-и-мачеха, стихотворение	127
ТАДЕУШ БРЕЗА — Лабиринт, роман. Окончание. Перевела с польского Ю. Мирская	129
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
А. БОРИН — Потомки катальщика Гаврилы	199
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
ТУР ХЕЙЕРДАЛ — Статуи острова Пасхи (Проблемы и итоги). Перевел с норвежского Л. Жданов	216
ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ — Разгадка тысячелетней тайны	230
	(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
М. ТУРОВСКАЯ — Прозаическое и поэтическое кино сегодня	239
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Лебедева. Четыре рассказа.— В. Сурвилло. Кто виноват? — Бор. Медведев. Год за годом.— И. Соколов-Микитов. Жизнь в лесу.	256
<i>Политика и наука</i>	
Б. Баянов. Заветная мечта человечества.— Э. Генкина, доктор исторических наук. Великая индустриальная революция.— И. Иноземцев. Море и книги.— З. Паперный. Как важно быть культурным.— А. Турков. Герои не нашего времени.	268
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

**К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН!  
КЮ ВСЕМУ ПРОГРЕССИВНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!**

*Обращение Центрального Комитета КПСС,  
Президиума Верховного Совета СССР  
и Правительства Советского Союза*

В летопись освоения космического пространства вписана новая славная страница. Впервые в мире советские летчики-космонавты осуществили на кораблях-спутниках героический, беспрецедентный по своей сложности и продолжительности групповой полет в космос.

11 и 12 августа 1962 года могучие советские ракеты вывели на орбиты вокруг Земли корабли-спутники «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемые летчиками-космонавтами — гражданами Союза Советских Социалистических Республик, коммунистами товарищами Николаевым Андрияном Григорьевичем и Поповичем Павлом Романовичем.

Проявив величайшее мужество и героизм, товарищи Николаев и Попович совершили многодневный групповой полет вокруг Земли, блестяще выполнили намеченную программу и успешно приземлились в заданном районе на территории нашей Родины — Союза Советских Социалистических Республик.

Космический корабль-спутник «Восток-3», управляемый товарищем Николаевым, за 95 часов, то есть почти за 4 суток, облетел более 64 раз вокруг земного шара и прошел расстояние более 2 миллионов 600 тысяч километров.

Космический корабль-спутник «Восток-4», управляемый товарищем Поповичем, за 71 час, то есть почти за 3 суток, облетел более 48 раз вокруг нашей планеты и прошел расстояние около 2 миллионов километров.

Совместный полет двух космических кораблей проходил на близком расстоянии друг от друга. Между летчиками-космонавтами осуществлялась непосредственная устойчивая двусторонняя радиосвязь. Взлет и посадка кораблей-спутников совершены в строгом соответствии с намеченными планами. Аппаратура кораблей в течение всего пребывания в космосе действовала безотказно. Состояние здоровья обоих космонавтов во время полета было отличное, настроение бодрое, работоспособность сохранялась полностью. Во время полета они выполнили большую программу научных исследований. Здоровье летчиков-космонавтов после возвращения из сложного космического полета хорошее.

Такой групповой полет обеспечен прежде всего совершенством космических кораблей, точностью научных расчетов, исключительной четкостью

и слаженностью работы всех советских людей, участвовавших в выполнении этого ответственного задания.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Правительство Советского Союза с величайшей радостью и удовлетворением отмечают, что советские летчики-космонавты, ученые, конструкторы, инженеры, техники и рабочие, участвовавшие в создании космических кораблей и обслуживании их полетов в космосе, с честью выполнили свой долг перед Родиной, перед прогрессивным человечеством.

Многодневный групповой полет вокруг Земли знаменует новый этап в исследовании космоса. Впервые во время полетов была осуществлена радиосвязь не только космического корабля с Землей, но и между находящимися в полете космическими кораблями на различных дистанциях. Наука обогатилась ценнейшими данными о состоянии человеческого организма в условиях космического полета. Два космонавта, совершавшие одновременно групповой полет, поддерживая между собою связь и управляя кораблями, координировали друг с другом свои действия, обменивались сведениями об обстановке, о работе аппаратуры, сравнивали результаты наблюдений. Теперь уже совершенно очевидно, что советским летчикам-космонавтам подвластны расстояния, исчисляемые миллионами километров. Приближается время, когда они поведут могучие космические корабли к планетам Солнечной системы.

Великий подвиг товарищей Николаева и Поповича поднимает еще выше славу нашего Отечества, ярко демонстрирует достижения высоко-развитой советской экономики, передовой советской науки и техники, неоспоримые преимущества социалистического строя.

Советские герои космоса — это люди, вышедшие из глубин народа, воспитанные в рядах нашей славной Коммунистической партии. Они воспитаны на высоких идеалах социализма и коммунизма, до конца преданы своему народу, своей Родине. Они воплощают нерушимую дружбу социалистических наций СССР. Вслед за русскими товарищами Гагариным и Титовым космос штурмовали сын чувашского народа товарищ Николаев и сын украинского народа товарищ Попович. В единой братской семье народы Советского Союза строят коммунизм, в едином строю они идут и на штурм космоса в интересах мира и прогресса, счастья всего человечества.

Имена коммунистов Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича стали олицетворением героизма, творческого гения и трудолюбия нашего народа. Советские космонавты — верные и достойные сыны нашей Родины, великой ленинской Коммунистической партии. Это люди непоколебимого мужества, больших знаний, высокой культуры и моральной чистоты.

Теперь весь мир видит, что коммунисты уверенно идут в авангарде человечества на Земле и в космосе, что социализм — это и есть та надежная стартовая площадка, с которой Советский Союз успешно направляет в космос свои мощные совершенные космические корабли.

Новые выдающиеся успехи в освоении космоса убедительно показывают, что коммунизм одерживает одну победу за другой в мирном соревновании с капитализмом. Воодушевленный решениями XXII съезда, новой Программой партии, советский народ уверенно строит коммунистическое общество, прокладывая всему человечеству путь к светлому будущему.

Сбывается предвидение великого Ленина о преобразующей роли науки, техники и культуры в развитии общества: «Раньше,— говорил Владимир Ильич,— весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других

лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это знаем, — и разве во имя этой величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил? И трудящиеся совершат эту титаническую историческую работу, ибо в них заложены дремлющие великие силы революции, возрождения и обновления».

Наша партия, наш народ идут по пути, указанному Лениным. Теперь все видят, какие чудеса совершают пробужденные революцией гигантские творческие силы свободных народов Советской Родины.

В наше время наука и техника открывают безграничные возможности для овладения силами природы и всестороннего их использования на благо человека. Великие открытия науки только тогда могут служить улучшению условий жизни, когда они используются в мирных целях, во имя счастья людей.

Советское государство последовательно и настойчиво борется за прочный мир во всем мире. С мирными целями совершены и новые полеты советских космических кораблей.

Человечество жаждет прочного мира на земле, и ни одно правительство не может не считаться с этим. Насколько велика ненависть народов к врагам мира, ярко показал Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, недавно состоявшийся в Москве. От имени всех народов конгресс гневно осудил милитаристские круги западных держав и призвал к активной борьбе за всеобщее и полное разоружение под строгим международным контролем, за запрещение навечно испытаний ядерного оружия.

Советское правительство вновь торжественно заявляет, что оно полностью поддерживает требования народов об обеспечении прочного мира во всем мире и делает все необходимое для осуществления этих справедливых требований.

Советское правительство снова обращается ко всем правительствам и народам с призывом еще настойчивее бороться за избавление человечества от угрозы термоядерной войны, за нерушимый мир на земле. Советские люди уверены в том, что своей упорной борьбой народы отстают дело мира.

Героические подвиги летчиков-космонавтов товарищей Николаева и Поповича наполняют сердца советских людей, всех честных людей мира радостью и гордостью, зовут наш народ к новым успехам в коммунистическом строительстве!

Вперед, к торжеству дела мира и прогресса!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
КОМИТЕТ  
КПСС

ПРЕЗИДИУМ  
ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР

СОВЕТ  
МИНИСТРОВ  
СССР

---

ИВАН ТАРБА

★

## КАКИЕ НАМ ОРБИТЫ СУЖДЕНЫ...

Летели сказки по своим орбитам,  
В ушах у детства звездами звеня.  
И вещий конь о землю бил копытом,  
И не бывало чуда без коня.

И если злоба ставила капканы,  
Чтоб выиграть побоище с добром,  
Со стен копье снимали великаны  
И шли вдвоем, втроем, вдесятером.

На них светились кованые латы,  
Но было людям видно по всему,  
Что великанам тоже трудновато  
Свои дела вершить по одному.

Нет, ни одно сказанье не забыто!  
И слышит небо, звездами шурша,  
Как точная по замыслу орбита  
Украинца ведет и чуваша.

О сказки! Дух ваш властвовал и правил  
И будоражил по ночам меня,  
Покуда двое — Андриян и Павел —  
Не вышли в космос на четыре дня.

Вы, сказки, долг свой выполняли честно,  
Но вы признать по-честному должны,  
Что вам, конечно, было неизвестно,  
Какие нам орбиты суждены.

И те, к которым обаянье сказки  
Пришло на двух различных языках,  
Как две строки единственной развязки  
Две трассы прочертили в облаках.

*Перевела с абхазского Юнна Мориц.*

---

---

---

# К 150-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

## ТЕТРАДЬ АЛЕКСАНДРА ЧИЧЕРИНА

Александр Васильевич Чичерин, дневник которого впервые публикуется ниже, был участником Отечественной войны 1812 года и вел свои записи с начала похода.

Сведения о Чичерине собраны по крупицам в архивах. Семья автора дневника принадлежала к старинному дворянскому роду, ведущему начало от итальянца Афанасия Чичери, прибывшего в Россию в XV веке. Александр Чичерин был сыном генерал-лейтенанта Василия Николаевича Чичерина, командовавшего ратниками московского ополчения во время Бородинской битвы.

Из сохранившейся в Центральном государственном военно-историческом архиве СССР копии формулярного списка Александра Чичерина явствует, что он в 1806 году вступил в пажеский корпус, в 1809 году выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк; двадцати лет был смертельно ранен в битве под Кульмом.

Обнаруженное в архиве донесение сообщает: «Поручик Чичерин... выключен умершим от ран, полученных в сражении при Кульме 17 августа 1813 года, где в продолжение всего сражения постоянно находился среди храбрейших воинов, поддерживал в них дух храбрости и мужества, сохраняя совершенный порядок в рядах их примером собственной неустранимости...»

Имя его встречается в письмах и воспоминаниях его друзей — будущих декабристов И. Д. Якушкина и М. И. Муравьева-Апостола. Н. Н. Муравьев-Карский писал об «отличных качествах души» Александра Чичерина.

Дневник показывает не только образованность и широкий кругозор автора, но и свидетельствует о его бесспорном литературном таланте.

А. В. Чичерин вел свой дневник, как было принято в ту пору в его среде, по-французски. Двести семьдесят восемь страниц тетради исписаны очень мелким, неразборчивым почерком и местами выцвели от времени. Они включают записи от 6 сентября 1812 года до 13 августа 1813 года и больше ста отлично сохранившихся рисунков пером и акварелью.

Долгое время тетрадь находилась в частных руках и только в 1941 году была приобретена Государственной публичной исторической библиотекой. Мы печатаем записи, относящиеся к 1812 году, и три записи за 1813 год.

Публикация С. Г. Энгель и М. И. Перпер (комментарии — С. Г. Энгель, перевод — М. И. Перпер). При подготовке дневника к печати большую помощь оказала заведующая отделом редких книг Государственной публичной исторической библиотеки Е. В. Благовещенская.

---

Дневник начат 6 сентября 1812 года

в лагере под Подольском

---

### ПЕЧАЛЬНОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

**К**аково бы ни было сочинение, его снабжают предувещанием, нередко готовящим к смертельной скуке и столь же скучным — разве только, по краткости своей, менее несносным, — иногда же восхваляющим достоинства сочинения с усердием, которое слишком явно, чтобы быть убедительным.

Что ж, и я не обойдусь без предисловия, но, чтобы не наскучивать без пользы, сразу начну свой рассказ.

Едва вступив в свет, я решил завести друга. Каждый день, проходя дсмой, я поверял ему свои огорчения, свои тревоги и радости, каждый

день раскрывал перед ним, как обещался, свое сердце. Вскоре привычка стала потребностью: я полюбил его, и моя день ото дня растущая привязанность доказывалась признаниями, которые я ему поверял. Я старался украсить его. Он стоил мне всего шестьдесят копеек... Пора признаться, что это была тетрадь — тайная тетрадь, закрытая для всех смертных, принимавшая все, что я хотел скрыть от других и сохранить себе на память.

К тому времени, как мы вышли из Петербурга<sup>1</sup>, я уже заполнил целую тетрадь рисунками и главами, в которых должны были навсегда запечатлеться минуты наслаждений, мгновения счастья, сожаления о совершенных ошибках, интересные беседы — все, что сулило мне в будущем источник радостей. Как раз когда эта тетрадь закончилась, мы выступили в поход.

Я не обращал внимания ни на дождь, ни на ветер, ни на бивачные неудобства, и каждый день в моей новой тетради появлялся новый рисунок. Вот уже завершился утомительный переход от Ровно через Свенцяны, Друю, Дриссу, Полоцк, Витебск и другие города. Славный день Бородина (26 августа) заставил забыть объятый пламенем Смоленск, а затем последовало отступление, необходимость которого я понимал, неизбежное, но бедственное.

Наконец 1 сентября я увидел себя у врат Москвы. Мечта отдать жизнь за сердце отечества, сразиться с неприятелем, возмущение вторгшимися в мою страну варварами, недостойными даже подбирать колоски на ее полях, надежда вскоре изгнать их, победить со славой — все это поднимало мой дух и приводило меня в то счастливое расположение, когда страсти теснятся, не возбуждая бурь, чувства рвутся наружу, не ослабляя душевных сил, надежда окрашивает все ощущения ровным и мягким, внушающим бодрость светом. За один день я сделал три рисунка, написал две главы и, как никогда, почувствовал привязанность к своему дневнику, столь бережно мною хранимому.

В три часа утра было приказано выступать. Мы находились всего в двух верстах от Москвы; мог ли я предполагать, что мы пройдем пятнадцать верст за нее, до деревни Панки?

Когда мы шли через город, мне казалось, что я попал в другой мир. Все вокруг было прозрачным. Мне хотелось верить, что все, что я вижу, — уныние, боязнь, растерянность жителей — только снится мне, что меня окружают только видения. Древние башни Москвы, гробницы моих предков, священный храм, где короновался наш государь, — все зывало ко мне, все требовало мести.

Я остановился в каком-то крестьянском доме. Мне было отраднo провести среди крестьян этот, казалось, последний день России, мне было отраднo быть среди своих, среди соотечественников, которых, казалось, я покидал навсегда. Я пожирал взглядом прекрасные деревни, ставшие теперь жертвой пламени, словно в России их больше не будет.

Повсюду я находил гостеприимство. Никто не возмущался, никто не роптал, наоборот — повсюду я встречал лишь мужество и покорность судьбе. Крестьянин, пославший двух сыновей защищать Москву, сложивший уже свои пожитки в телегу, чтобы бежать от неприятеля, беспощадность которого он знал, все же захотел непременно накормить меня; вся семья засуетилась, мою лошадь отвели в стойло, старались предупредить все мои желания, а когда я захотел отблагодарить их, то едва угловорил принять кое-что «на счастье» — по русскому обычаю.

<sup>1</sup> Александр Чичерин служил в Семеновском лейб-гвардии полку, выступившем из Петербурга к западным границам России 9 марта 1812 года. (Все даты указываются по старому стилю, то есть с отставанием на 12 дней от современного календаря.)

Признаюсь, я пришел тогда в полное уныние. Напрасно говорили мне, что дать бой перед Москвой было невозможно, что поражение могло бы погубить армию, что теперь, когда мы отошли на тридцать верст от Москвы и прошли уже сорок пять по направлению к Подольску, мы скоро вынудим неприятеля оставить столицу, что он будет отрезан, истреблен. Сейчас я все это понимаю, а тогда мой рассудок отказывался действовать. Завернувшись в шинель, я провел весь день без мысли, без дела, безуспешно стараясь подавить порывы возмущения, вновь и вновь охватывавшие меня.

Все забывается, и — благодарение небесам! — дурное еще скорее, чем хорошее.

Три дня тому назад я был в полном отчаянии, а теперь уже чувствую, что мужество мое возрождается и я снова горю мщением. Никогда нельзя терять надежды, а я вообще склонен видеть все в хорошем свете.

Позавчера, пообедав вместе с моим дорогим и любезным графом<sup>1</sup>, я провел с ним день в беседе о событиях, которые всех волнуют. Он говорил без пристрастия, без резкости; я уверенно высказывал, что думал; к концу разговора мы решили, что не так уж все плохо, что ничего еще не потеряно, что дерзость неприятеля будет наказана, — и я ушел в сто крат спокойнее, вновь утверждаясь в мысли, что никогда не следует плыть по течению и уподобляться тем, кто, чтобы скрыть свое невежество, отзывается с неодобрением о поступках других людей.

Но что же я! Ведь я назвал эту главу «Печальное предуведомление». Увы, так оно и есть!

Когда мы проходили через Москву, моя повозка со всем, что в ней было, где-то застряла и, вероятно, попала в руки французов, которые вошли в город через несколько часов после нас. У меня не осталось ничего, кроме старого платья, которое было на мне, верховой лошади, кучера и тетради, которую я избрал своим спутником в замену той, что находится теперь в руках какого-нибудь бесчувственного и, конечно, равнодушного существа. Пусть бы забрали мое белье, платье, палатку, посуду — все на свете, но как же мне не жаловаться на жестокость судьбы, когда я подумаю, что платочек Марии<sup>2</sup>, образец, найденный таким чудесным образом и доставивший мне такую радость, письма, которые я перечитывал без конца, эти письма — мое единственное сокровище, мои краски, карандаши, мой дневник и все те мелочи, которые так приятно иметь при себе, — что все это погребло в огне, или употреблено бог весть на что, или, может быть, поделено шайкой каких-нибудь разбойников, не знавших цены этим вещам, тогда как для меня они были драгоценнее всего на свете и становились с каждым днем все дороже.

Вот уже четыре дня, как у меня нет ничего. Нет больше денег, нет удовольствий. Придя на бивак, я должен думать о том, где бы поест. Мне негде ночевать, у меня нет самых необходимых вещей. Я оказался в положении солдата, не имея его преимуществ.

Я могу только делать время от времени наброски, но они совершенно безжизненные и не доставляют никакой радости. Ума не приложу, как мне быть дальше.

---

<sup>1</sup> Любезный граф — тут и далее Павел Александрович Строганов, генерал-лейтенант; во время Отечественной войны командовал сводной гренадерской дивизией в корпусе генерала Н. А. Тучкова. В его переписке с княгиней Н. П. Голицыной есть упоминание о встречах с Чичериным.

<sup>2</sup> Мария — младшая сестра Александра Чичерина.

7 сентября.

### СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР

Я столько же люблю Бруглио<sup>1</sup>, сколько уважаю его, и не могу удержаться от удовольствия беседовать с ним часами всякий раз, как мы встречаемся.

После Бородинского сражения мы разговаривали об ощущениях, которые испытываешь при виде поля битвы; нечего говорить о том, какой ход мыслей привел нас к разговору о чувстве. Бруглио не верит в чувство. Я же как раз тогда закончил две главы о рекруте и образке, и мне очень хотелось доказать, что чувство существует и часто действует на нашу душу.

— Все это химеры,— говорил Бруглио,— одно воображение: видишь цветок, соломинку и говоришь себе: «Надо растрогаться», и, хотя только что был в настроении самом веселом, вдруг пишешь строки, которые заставляют читателей проливать слезы.

Я спорил, возражал ему целый час... Наконец пора было ложиться спать, а завтра мы прошли чрез Москву.

Война так огрубляет нас, чувства до такой степени покрываются корой, потребность во сне и пище так настоятельна, что огорчение от потери всего имущества незаметно сильно повлияло на мое настроение — а я сперва полагал, что мое уныние вызвано только оставлением Москвы...

В тоске и печали я вертел в руках несколько ассигнаций — последнее, что у меня оставалось и должно было обеспечить все житейские блага,— и раздумывал над тем, чему был свидетелем. Передо мной была Москва, охваченная пламенем, всеобщее уныние и растерянность, мрачное молчание в Главной квартире, перепуганные лица. Я дрожал при мысли о священных алтарях Кремля, оскверненных руками варваров. Поговаривали о перемирии. Оно было бы позорным... Перемирие, когда я не пролил еще ни капли своей крови! Перемирие, когда оставались еще тысячи героев! Все эти мысли привели меня в полное смятение, и в минуту отчаяния я проклял судьбу, обрекавшую меня на неизбежную смерть и не сулившую славы...

Итак, я держал в руке ассигнацию. Взглянув на нее, я увидел надпись: «Любовь к отечеству»...

— Да! — воскликнул я.— Любовь к Отечеству должна заставить меня все позабыть: пусть совершаются предательства, пусть армия потерпит поражение, пусть погибнет империя, но Отечество мое остается, и долг зовет меня служить ему. Прочь печальные и мрачные мысли, прочь позорное уныние, парализующее возвышенные чувства война! Не хочу верить злым предвещаниям, не хочу слушать досужих болтунов, которые ищут повсюду только дурное и, кажется, совершенно не способны ощущать ничего прекрасного. Пусть нас предали, я еще буду сражаться у врат Москвы и пойду на верную гибель, хотя бы и не для того, чтобы спасти государя. Я не усташусь никаких опасностей, я брошусь вперед под ядра, потому что буду биться за свое Отечество, потому что хочу исполнить свою присягу и буду счастлив умереть, защищая свою Родину, веру и правое дело...

<sup>1</sup> В Семеновском полку служили два брата Бруглио — Альфонс-Гавриил-Октав и Карл-Франциск-Владислав — сыновья французских эмигрантов. В Отечественной войне оба брата сражались под Бородином, Тарутином и Малым Ярославцем, участвовали в битвах и в заграничном походе. Младший — Карл — был убит в сражении при Кульме в 1813 году. Старший, кавалер многих орденов, в 1826 году привлекался по делу декабристов, но был оправдан. С кем из братьев беседовал Чичерин — установить не удалось.

Тут моя мысль отвлеклась в сторону, я вспомнил про ассигнацию и подумал, что нашел верное оружие в споре против Броглио. Какая прекрасная тема для главы в сентиментальном жанре, какой счастливый случай, подтверждающий, что довольно бездельцы, чтобы совершенно изменить наше душевное расположение!

У меня слишком живое воображение. Направляя его на какой-нибудь предмет, я всегда запасаюсь мысленно другим — на тот случай, ежели истощу первый. Так и теперь, хотя на уме у меня был разговор с Броглио, я продолжал вертеть в руках ассигнацию, надеясь прочесть на ней еще что-нибудь, способное вдохновить меня еще на одну главу. Я обнаружил. «...50 рублей». Разочарование было ужасно! Напрасно спешил я забыть эту обиду судьбы и вернуться к мыслям, занимавшим меня прежде; возвышенное настроение не возвращалось. Мне стало смешно — пришлось сложить оружие и согласиться с Броглио, что забавное происшествие может иногда породить самую сентиментальную запись.

*9 сентября. Лагерь под Красной Пахрой и Калугой.*

### БЕСЕДЫ

Все находит возмещение в этом мире — добро и зло, удовольствие и огорчение; это говорилось не раз до меня и будет говорить до тех пор, пока существуют счастье и горе.

Мать, потерявшая ребенка,— самый ужасный пример глубочайшего несчастья! — переносит в конце концов всю свою нежность на оставшееся дитя. Освободившись от заблуждений, которых она не замечала, пока была счастлива, она сосредоточивает всю любовь, все заботы на младенце, которого небо ей сохранило, и в самой скорби своей благословляет божественное милосердие, не оставившее ее без утешения.

После сдачи Москвы я был очень несчастен. Лишась всего, не имея ни где спрятаться от непогоды, ни чем укрыться, оставшись без всяких запасов, я оказался в положении солдата, и даже в гораздо худшем, потому что у меня не было ни начальников, которые бы заботились обо мне, ни необходимых пожитков за спиной.

Родительская заботливость спасла меня. Батюшка помог мне, сколько можно было,— и вот у меня теперь великопная палатка, хорошее одеяло, я хорошо одет. А главное — я имел счастье получить все это из рук любимого отца. Когда батюшка давал мне все эти вещи, я думал о том, чего мне еще недостает, и вспомнил про образок, который носил в своей дорожной суме и собирался хранить так бережно. По совести говоря, он не имел для меня особой цены: я нашел его совершенно случайно. Правда, он охранял, наверное, покой невинности, перед ним возносились молитвы моих соотечественников; но соотечественники эти мне были незнакомы, и я почитал его, лишь поскольку я почитаю всякое изображение божества. В ту минуту, как я сожалел об этой утрате, батюшка достал из своего бумажника образок, которым его благословила мать, и подал мне, советуя всегда носить его при себе.

В порыве чувства я бросился к ногам обожаемого отца, целовал его руки, почтительно принял из них эту священную эгиду, залог счастья, обеспеченного родительской заботливостью,— и казался себе богаче, чем когда-либо.

Вот я и получил возмещение за все утраты и больше не жалею о пропавшем образке, а буду молиться перед батюшкиным — за его благополучие и покой, которые моя привязанность, все возрастающая от его благодеяний, хотела бы сделать беспредельными.

*11 сентября. Лагерь в одной версте позади прежнего.*

### ВСЕ ЗАБЫВАЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ

Писатель, чтобы запечатлеть свою мысль, нередко выбирает тему, которая не представляет для него никаких трудностей. И меня можно было бы теперь обвинить в этом, если бы я писал с иной целью; но я хочу лишь приготовить себе в будущем счастливые минуты и удерживаю в памяти поразившие меня мысли для того, чтобы обдумать их впоследствии.

Разве мог я, стоя у врат Москвы, свыкнуться с тем, что она будет сдана без боя, предана пламени, оставлена на поругание неприятелю, который осквернит ее храмы, ее святыни? А теперь меня уже занимают новые замыслы, увлекают новые надежды — раскрылась светлая будущность, и я не сожалею более о своих утратах. Но если опять, даже победителем, я окажусь в древних стенах этого великого града и увижу следы разрушений и пожара, сердце мое, я знаю, станут терзать неодолимые укоры совести.

Почтенные старцы, поседелые под латами, благородные мужи, заставившие весь свет уважать себя! Я мог бы говорить о вас, упрекая людей в неблагодарности и несправедливости. Но если ваши заслуги могли быть преданы забвению — значит, забвение вообще свойственно человеческой природе.

Горести, наслаждения — все проходит, все забывается, и дар памяти, часто благодетельный, становится иногда несчастьем для людей.

Жители столицы! Вам придется теперь пережить то же, что переживали мы. Воспрянув духом при Бородинской победе, вы вновь потеряли бодрость, узнав о нашем отступлении, но другие наши победы заставят вас еще не раз поднять голову и ваши надежды возродиться.

Несколько дней назад я мог видеться с батюшкой, сколько хотел; наслаждаясь счастьем быть вместе с ним без жадности и торопливости, я не тревожился о будущем, словно это счастье могло продолжаться всю жизнь. Теперь батюшки уже нет здесь, я его не вижу более — и все позабыл, даже то блаженство, которое испытывал, находясь подле него. Словно я и не видал его с тех пор, как оставил Петербург, и только вспоминал о его заботливости и любви ко мне...

Нет, дорогой отец, будь уверен, что хотя все забывается, но твоя нежность, твоя доброта, твои достоинства, все высокие качества, присущие тебе, навсегда запечатлены в моем сердце.

*12 сентября.*

### ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Я всегда жалел людей, облеченных верховной властью. Уже в четырнадцать лет я перестал мечтать о том, чтобы стать государем; теперь я даже страшусь высокой власти. Обязанность прислушиваться к желаниям тысяч людей, придерживающихся самых различных мнений, угрожать всему свету, когда никто на всем свете не мыслит одинаково, кажется мне отнюдь не легкой.

Юности свойственно вполне достойное, но осуществимое только в мечте желание — быть всем приятным. И я часто ломал себе голову, раздумывая над тем, что мог бы сделать в ту или иную минуту генерал, чтобы удовлетворить всем пожеланиям. Как я ни старался, ничего не получалось, и мне пришлось признать неисполнимость своих предположений.

Мы потеряли Смоленск и Дорогобуж, князь<sup>1</sup> прибыл к армии, сопровождаемый благими пожеланиями всей империи. Но тут же возникли новые сговоры, стали образовываться новые партии. Только что его хвалили за победу при Бородине, а на завтра стали упрекать за нерешительность. После сдачи Москвы его обвиняли в слабости, равной предательству, а несколько дней спустя те же, кто обвинял, стали находить ему оправдание. Недавний смертельный — без причины — враг теперь хвалит его, потому что князь мимоходом бросил ему любезное слово; восторженный сторонник становится его врагом, потому что князь прошел мимо, не поздоровавшись. Предатели всем известны, на них показывают пальцами, и никто не смеет их разоблачить; все восхищаются про себя хорошими генералами, и никто не смеет похвалить их; наши успехи преуменьшаются, наши потери преувеличиваются.

Вы, кто будете читать о великих полководцах, не доверяйтесь восторгу писателей, не верьте в мнимое величие этих людей: они были такими же смертными, как мы все.

Князь, может быть, чересчур хотел угождать желаниям, ему высказываемым; чересчур доверял мнениям тех, кто его окружал, чересчур боялся рисковать, был чрезмерно нерешителен, опасаясь обвинений, и чрезмерно осторожен, боясь обмануть наше доверие. Теперь он обещает нам верную победу, но она обойдется слишком дорого...

Что до меня, я не допущу себя следовать за теми, кто знает только порицания либо восторги, и если я в свои годы позволю себе судить о начальнике, то лишь тогда, когда действия его будут завершены и я сумею проверить свои предположения, а не основывать их на предпосылках, быть может ложных.

*14 сентября. Новый лагерь фронтом направо.*

### ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ ГУЛЛИВЕРА

Я только что дочитал интересные «Путешествия Гулливера». Не стоит говорить о том, какое удовольствие я испытал. Существует, однако, на свете страна, которая может помочь писателю, страдающему недостатком воображения, и ему даже не потребуется прибегать к примеси чудесного — настолько причудливы нравы ее обитателей.

Тысячи мужчин собрались вместе, разделились на отряды, подчиненные одному человеку, исключили из своего общества детей и стариков, изгнали женщин и, хотя они богаты и положение их различно, все живут одинаково.

Оставив свои дворцы и владения и все удобства европейской цивилизации, они поселились под соломенной или полотняной кровлей; из всех средств передвижения оставили себе только верховых лошадей, отказались от всех наслаждений сгола, от всех радостей сердца и, тоскуя по городским удовольствиям, твердо решились все же не покидать свою секту; они без конца предаются воспоминаниям о наслаждениях общества — и все более от него удаляются; собираются в кружок, чтобы поговорить о радостях хорошего стола, — а сами часто вынуждены голодать.

Унылое однообразие их занятий, одежды, пищи мало соответствует их тщеславию и честолюбию.

Старейшины их — всегда с нахмуренным челом, мрачным и строгим взором — редко появляются среди прочих. Когда же они выходят, их окружают болтливые и угодливые существа, которые вертятся вокруг

---

<sup>1</sup> Князем А. Чичерин везде именуется главнокомандующего русской армией М. И. Голенищева-Кутузова.

них и требуют вознаграждения, всегда находя его ниже своих заслуг.

Все остальные делятся на два неравных класса: один, очень многочисленный, командует другим, наблюдает за ним, заботится о его прокормлении и благонравии и следит, чтобы он соблюдал порядок. Класс тех, которые подчиняются, не обременен никакими заботами — и, может быть, это наилучшее положение для людей, которые по своему рождению не имеют ни средств для преуспевания, ни просвещенности, ни честолюбия и хотят лишь одного — быть полезными, выполняя то, что им предназначено.

Те, которые командуют, несравненно суетней. Хотя все они родом из одной страны, среди них встречаются всякие натуры и характеры. Но как бы ни были различны их мнения, какую бы ненависть ни питали они друг к другу, им приходится жить совместно. Одни стремятся занять место среди старейшин, другие, уподобляясь в своем поведении женщинам, только и мечтают о том, чтобы блистать в своем кругу, угождать и забавлять. Третьи, умеренные и благоразумные, вынуждены неустанно сдерживать честолюбие первых и легкомыслие вторых. Каких только характеров не встретишь здесь!

Я не собираюсь выступать в роли писателя, я только намечаю основные черты произведения, которое могло бы принести славу моему создателю. И если бы кто-нибудь решился возражать автору такой книги, обвинять его во лжи, достаточно было бы привести его в первую попавшуюся армию и любой военный лагерь, чтобы найти там подобные лица.

В самом деле, когда я думаю о жизни, которую веду уже восемь месяцев, которую мне предстоит вести, может быть, годы, и сравниваю ее с жизнью моих братьев и с тем, как я жил бы, если бы воля одного человека не изменила ход событий, — я готов ужаснуться страшному различию.

До сих пор я участвовал только в одном сражении<sup>1</sup>, то есть занимался своим ремеслом лишь четырнадцать часов. А все остальное время я вздыхал по удовольствиям чудесного мира, украшенного прелестным полом, оживленного его остроумием и очарованием.

Товарищи достаточно хорошо относятся ко мне и всегда готовы провести со мной часть дня; но, придумывая искусственные развлечения, чтобы заглушить тоску, истощая все запасы напускного веселья, притворной любезности, — разве я могу закрывать глаза на то, что потерял, оставив столицу, разве могу не сожалеть об этом?

Когда, устав от однообразия наших бесед, я решаю, презрев высокий рост обоих моих Трубецких<sup>2</sup> и усы Поля<sup>3</sup>, переделать их имена на женские и подать этим повод к шуткам, которые кажутся мне довольно остроумными; когда, например, на обратном пути из бани я развлекаюсь тем, что эскортирую их, словно нуждающихся в защите прекрасных дам — героинь романа, — что же не являетесь вы мне, сияя своей прелестью, чтобы упрекнуть меня в оскорбительном святотатстве?

Как же нам жить вдали от вас, кого мы, неблагодарные невежи, называем слабым полом? Ведь вы придаете очарование нашей жизни,

<sup>1</sup> Первым сражением Александра Чичерина была Бородинская битва 26 августа (7 сентября) 1812 года.

<sup>2</sup> Трубецкие: Сергей Петрович (в тексте он упоминается дальше и как Сергей), впоследствии декабрист; в 1812 году был подпоручиком Семеновского полка; Александр Петрович — его младший брат, был адъютантом генерала Н. Н. Раевского.

<sup>3</sup> Поль — Павел Федорович Вадковский, однополчанин Александра Чичерина, брат декабристов Вадковских.

украшаете всякое собрание и освящаете все радости сердца и духа. Я живу и буду жить в надежде когда-нибудь припасть к вашим стопам и молить о сладостных оковах.

15 сентября.

### ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ

Небо хмурится. Мы прошли сегодня утром восемь верст по Калужской дороге. Утро такое холодное, что, видно, лету уже пришел конец.

Когда началась моя бивачная жизнь, я не мог себе представить, как буду спасаться от дождя. Легкий ветерок казался мне бурей, и небольшое облачко на горизонте предвещало неизбежное посещение врача. Теперь я не боюсь даже самой суровой зимы, и когда мне грозит утрата многих удовольствий, я надеюсь найти новые. Меня влечет к себе уютный уголок в тесной палатке, у искусно сложенного за четверть часа очага, обед при свечах, среди снега и льда... Признаться ли? Я предпочту это унылой скуке зимних квартир...

Но прежде всего следует думать о солдатах; ради них я охотно жертвую всеми своими удовольствиями. Я всегда забочусь об их благополучии прежде, чем об осуществлении своих желаний. Сам же по себе я предпочитаю бивачную жизнь. Я никогда не скучал ни в Петровках<sup>1</sup>, ни в Комае<sup>2</sup>, ни где бы то ни было, оказываясь в одиночестве. Правда, там были Кирилл<sup>3</sup> и его семейство, солнце согревало землю, ощущалось уже благовонное дыхание весны. Находясь среди счастливых людей, предаваясь приятным воспоминаниям, волнуемый надеждой, вдохновляемый радостными и милыми образами, я делил время между занятиями и прогулкой. Бредя куда глаза глядят среди плодородных полей, я наблюдал, как тающие снега проливаются бурными ручьями, как пробиваются в бороздах зеленые ростки. Там, разделяя труды Кирилла или посещая могилы его предков, устремляясь взором вдаль, я давал полную волю своему воображению. Возвратившись в дом, я запечатлевал пережитые наслаждения в новых рисунках, открывал книги и перечитывал любимые места. Приходил Дамас<sup>4</sup>, или я шел к нему, и день всегда казался мне слишком коротким. Боясь потерять хоть минуту, я вставал с солнцем и встречал своих добрых хозяев. Они рассказывали мне о своих соседях, я принимал участие в их раздорах, тешил себя надеждой, что способствую их счастью; я знал, что время летит, но не замечал его однообразного движения. А теперь чем заменяю я все те радости?

Меня поселят в русской деревне. Но в деревне опустелой, брошенной, разрушенной; я увижу раскрытые крыши, разваленные дома — печальные следы войны. Я буду один в черной избе, никто не поможет мне устроиться удобнее, никто не придет побеседовать со мной. Изо дня в день я буду следить, как снег все глубже покрывает поля, и зрелище тоскующей природы усугубит мрачность моих мыслей. Не имея чем развлечься ни в доме, ни среди природы, я буду проводить тоскливые дни

<sup>1</sup> Петровки — селенье, где стояла 9-я рота Семеновского полка вскоре после выхода гвардии из Петербурга.

<sup>2</sup> Комай — местечко в Виленской губернии, в котором стоял Семеновский полк с 27 апреля по 28 мая 1812 года.

<sup>3</sup> Кирилл — видимо, хозяин дома в Петровках, где находился на постое А. Чичерин.

<sup>4</sup> Де Дамас Анна-Жасент-Максанс (по-русски Максим Иванович) — французский эмигрант; во время Отечественной войны полковник, командир 2-го батальона Семеновского полка; после реставрации монархии во Франции Дамас был министром иностранных дел и военным министром.

у окна, скрестив уныло руки и взглядывая время от времени на часы, как бы стремясь приблизить заход солнца. Я буду совсем один, и если в моей деревне появится какой-нибудь человек, это будет скорее всего обездоленный крестьянин, с трудом узнающий разоренное жилище своих отцов, или осиротевшая мать, в слезах разыскивающая своих детей, или мужественный воин, потерявший ногу на службе отечеству и едва доковылявший сюда по снегу...

Нет, не хочу больше об этом думать — эти мысли слишком мрачны, а мое воображение слишком охотно идет им навстречу; закрою тетрадь, чтобы не предаться окончательно грусти.

*18 сентября.*

#### ПРАЗДНИК СУЛТАНА

Не познавши скуки, не узнаешь и веселья; своими удовольствиями мы нередко обязаны скуке.

Мы сидим одни в своих палатках, и однообразие наших разговоров и шуток заставило нас искать новых развлечений. И вот важный вид Жоаша<sup>1</sup> и его отношение к нам навели нас на мысль представить султана с его любимой султаншей. Женственный Поль превратился в султаншу, непреодолимая застенчивость Сергея заставила нас сделать из него черного евнуха, строгие и робкие «красивые глаза»<sup>2</sup> получили прозвище Монталамбера, и, занявшись этими переименованиями, мы нашли новый источник забав. Вчера, например, мы устроили праздник султана. Он обедал у своей любимой султанши, палатка была украшена его вензелем.

«Красивые глаза» и Анненков<sup>3</sup> пришли к нам в 9 часов утра. Мы завтракали и обедали вместе и расстались только в 10 часов вечера. Мы так дружны, что нам ни на минуту не хотелось покинуть палатку. Музыка сменялась чтением, затем мы беседовали, потом Анненков декламировал стихи, Поль исполнил какой-то музыкальный отрывок; одно занятие следовало за другим, не утомляя и не надоедая, — и так, даже на биваке, мы провели чудесный день.

Вот уже пять суток, как мы стоим на месте, но сейчас получен приказ готовиться к выступлению. Говорят об атаках и сражениях; я молюсь об отечестве и о том, чтобы нам поручено было достойное дело.

*19 сентября. Тринадцатью верстами ближе к Калуге. Лагерь в [селе] Снас-Купля.*

Сегодня утром мы прошли тринадцать верст в отвратительную погоду, дождь и сейчас льет как из ведра. Вообще погода уже давно мешает нам и, хотя по-настоящему еще не похолодало, существенно препятствует военным действиям и передвижениям. Грязь ужасная; солдатам, промокшим на марше, приходится спать в воде — дождь просачивается сквозь солому, которой они укрываются. Если б я мог разделить с ними удобства, которыми пользуюсь!

Дождь не перестает, земля превратилась в сплошное болото, но моя палатка защищает меня от воды и ветра, толстое сукно не пропускает холодного воздуха, простой и удобный камелек согревает и очищает воздух, подсушивает землю под моей постелью. Здесь я укрыт от всего, и чего же мне еще желать? Я ненавижу излишества и роскошь. Богатые дома приятны мне лишь тем, что сулят отдохновение и удовольствия. Но

<sup>1</sup> Жоаш — вероятно, прозвище полковника Дамаса.

<sup>2</sup> Очевидно, Александр Трубецкой.

<sup>3</sup> Анненков Николай Петрович — однополчанин Чичерина, в 1809 году выпущен поручиком Семеновского полка из камер-пажей.

теперь, когда долг вынуждает меня оставаться здесь, а мои вкусы побуждают ни к кому не ходить (я не люблю бродить из палатки в палатку), когда мне приходится прогнать от себя все желания и наслаждаться лишь воспоминаниями,— разве не довольно мне палатки, хорошо поставленной, достаточно просторной, в которой я могу, уютно растянувшись у огня, мысленно перебирать прежние удовольствия?

Мне жаль людей с холодной душой, которым нужен внешний повод, чтобы возбудить воображение. Мне жаль тех, чье воображение обуздают цепи, сковывающие тело.

Когда, например, я переносюсь мыслью к вам, очаровательная А..., разве могут самые роскошные палаты сравниться с прелестью вашего будуара? И разве меняются мои чувства от того, моя ли палатка или какой-нибудь дворец превращаются пред моим мысленным взором в это святилище граций? Облако, нисходящее на меня от твоего небесного образа, скрывает все окружающее: я возле тебя, я вижу тебя, говорю с тобой...

Проклятая капля дождя, зачем ты прервала мои мечты? Проклятая капля, случайно упавшая на меня,— ты погубила мою радость! Вот чего стоят все наслаждения человеческие — ничтожная малость прерывает их и губит. Только что я был на вершине блаженства, и вот в одно мгновение скатившаяся капля вновь повергла меня в тоску. Проклятая капля! Что же ты не помедлила немного?..

*22 сентября. Лагерь в Гарутине, за Нарой.*

#### ВСЕ ОДНО И ТО ЖЕ

Все одно и то же, скажете вы, опять восхваление лагерной жизни. Но отчего же не хвалить то, что доставляет мне тысячи наслаждений, и почему не умножить их, вновь переживая их мысленно?

В начале похода, совершенно неопытный, я терял попусту часы, столь драгоценные в нашей быстротечной жизни; теперь же, когда я почти всего лишился, всякое мгновение приносит мне радость.

Мы отступили еще на пятнадцать верст, чтобы сохранить за собой позицию, надежную во всех отношениях. Едва мы стали лагерем, как мой уютный уголок был готов, мы собрались вместе и провели без скуки остаток дня — позавчера, как вчера, как обычно.

У Сергея теперь будет своя палатка, я останусь один; вот когда мне будет совсем хорошо! Что поделаешь, я люблю уединение; как бы весело мне ни было с друзьями, я предпочитаю предоставлять воображению выбор своих собеседников. Я люблю размышлять, возвращаться мыслью к прошлому, предаваться мечтам — ведь так приятно переноситься душой в дорогие края, так радостно подчинять себе движение крыльев времени, понуждать его возвращаться вспять и в счастливых воспоминаниях черпать новые силы.

Если мне суждено вернуться в столицу, то, радуясь счастью быть среди друзей, радуясь приветам, поздравлениям, ласкам, которые посыплются на меня, я не раз, наверно, вспомню бивачную жизнь; украшенная исполнением долга и людьми, разделявшими ее со мной, она всегда будет мне мила. Вы, верно, станете смеяться этому — да, конечно, вы посмеетесь! — среди ваших роскошных садов я осмелюсь поставить свою скромную палатку и, устроившись в ней по-походному, буду больше наслаждаться воспоминаниями, чем вы в ваших раззолоченных палатах действительностью.

26 сентября.

### НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Я всегда ненавидел неопределенность в своей судьбе. Когда приходилось ожидать какого-либо события, я бросал обычные занятия. Мне всегда хотелось знать заранее, как будет распределено время.

Уже третий день в наш лагерь непрерывно прибывают парламентарии. Идут разговоры о мире, орудий более не слышно; в лагере раздаются песни, играет музыка, прогуливаются любопытные; прекрасная погода и желание лучше ознакомиться с нашей позицией побуждают нас разъезжать верхом по окрестностям. Все исполнено оживления, все дышит весельем, я сам отдался хорошему настроению... Но когда мне говорят о мире и я задумываюсь над тем, какие же преимущества можно извлечь из этой длительной кампании, и вижу, что мир, заключенный теперь, унизит наше могущество, что эти переговоры дают неприятелю действительное преимущество, обеспечивая ему выигрыш во времени, что он может нас обмануть, — тогда меня охватывает тоска, а сознание неопределенности, неуверенность в ходе событий и боязнь предательства отнимают у меня всякую радость. Наконец сегодня все это кончилось! Мы вновь беремся за оружие, и хорошее настроение возвращается ко мне.

27 сентября.

### СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ \*

В нашей жизни так перемешаны огорчения и радости, добро и зло, что мы не можем полностью наслаждаться ею. Более того, мы сами по собственной вине отягчаем ее по-разному: например, оковами предрасудков, боязнь чужого мнения, на которое мы все время оглядываемся и которое парализует наши душевные порывы и замораживает веселость. Добродетельный, честный, достойный человек не нравится нам, если он чем-либо подает повод к насмешкам. Он горбат, например, и вы избегаете его. Вы можете глубоко уважать его, восхищаться в глубине души силой его характера, постоянством его привязанностей, но стесняетесь объявить себя перед светом его другом, боитесь показаться смешным из-за своей близости к нему. А вот человек, легкомыслие которого вам хорошо известно, который, как вы знаете, замаран многими бесчестными поступками, который втайне отвратителен вам и не может нравиться, потому что нисколько не стремится заслужить уважение... И все же он оказывается вашим приятелем, и вы не решаетесь высказаться вслух против него — все потому, что его называют «славным малым».

Как я ненавижу это прозвище, сколько недостатков оно покрывает!

Человек вызывает презрение, но он — «славный малый»; человек глуп, зол, скуп, порочен, но он — «славный малый», этим все сказано, его терпят в обществе.

Сколько я видал молодых людей, которые, погнавшись за этим ложным званием, прощали себе всякие проступки, позволяли развиваться порокам, закрывали глаза на многие недостатки, растущие с каждым

\* Я написал это только для того, чтобы предостеречь молодых людей от желания не то что угождать всему свету, а держаться развязно в обществе; особенно молодых людей, ибо им кажется, что легче всего добиться успеха, просясь «славным малым», и они выставляют себя на посмешище, тешась надеждой, что снискали всеобщую дружбу и любовь. (Прим. автора.)

часом,— и все потому, что не жалели труда, лишь бы заслужить у окружающих обманчивую кличку «славного малого».

Есть вещи, противные разуму; среди них я числю понятие «славного малого». Если при мне так называют молодого человека, он сразу падает в моем мнении. Как унизительно быть в обществе только терпимым, как позорно напрашиваться на такую холодную и двусмысленную похвалу!

Молодые люди, вступающие в свет, мне жаль вас. Я разделяю ваше смятение, вы долго не решаетесь преступить границы этого необъятного ристалища, робко раздумываете, какую роль могли бы сыграть на нем. Свойственная молодости неопытность, неуверенность в своих силах, смущение перед выбором, недоумение перед неравенством — все это заставляет вас искать золотой середины, пытаться заслужить всеобщее одобрение, избегая дружбы одних, опасаясь ненависти других, а по сути дела домогаться лишь того, чтобы стать «славным малым» в глазах света.

Но зачем так спешить? Остановитесь, помедлите мгновение у входа, посмотритесь в тех, кто оттуда выходит, следуйте за самыми разумными, стремитесь более заслужить уважение, чем одобрение; чуждайтесь близости с некоторыми людьми, но не избегайте их; умеете отстранить от себя ненависть, не пренебрегая ею, и старайтесь лучше заслужить — пусть после долгого ожидания — звание доброго, честного и порядочного человека, чем сравнительно легко достающееся, но лишенное нравственного достоинства пустое звание «славного малого». Если вас так прозвали — значит, от вас уже ничего не ждут, на вас смотрят просто как на удобную вещь, нечто пригодное для развлечения; но если вас признали честным и добродетельным — сколько бы вам это признание ни стоило, — вы можете рассчитывать на всеобщее уважение и будете столь же нужны и полезны обществу, сколь бесполезны для него «славные малые».

3 октября.

Теперь, когда мы так долго стоим на месте и у всех было время наговориться, каких только предположений не вызвала неподвижность событий, каким только неразумным суждениям не подало повода наше бездействие! Я столько наслушался разных мнений, смутных слухов, что не знаю уж, кому и чему верить.

Когда, судя по всем сведениям, неприятель терпит страшный недостаток в продовольствии и в фураже, а наши запасы растут изо дня в день, — как же можно думать, что мы боимся нападать? С другой стороны, каковы же силы неприятеля? Почему, терпя во всем недостаток, задержанный холодами в пустынной местности, где силы его тают все более, он не решается одним дерзким ударом решить свою участь?

Зима уже совсем близка. Теперь тщетно было бы ожидать больших маневров: недели через две снег покроет поля и затруднит передвижение армии.

Возможно, мы уйдем на зимние квартиры; это заранее пугает меня. Я бы лучше остался здесь, в своей палатке, окруженный друзьями, чем быть в отдалении от них, разбросанных по разным селениям. С тех пор, как мы выступили в поход, дни, проведенные здесь, были самыми приятными. Мои друзья собираются вокруг меня в моей удобной и уютной палатке. Мы вместе отдыхаем, читаем, развлекаемся, всё сообщаем, и сутки так заполнены, что я едва нахожу минуту для беседы с моим другом-дневником; дни следуют один за другим, не сливаясь и не повторяясь, и каждое мгновение кажется драгоценным.

Меня могут обвинить в непостоянстве: эта тетрадь заполняется медленнее, чем прежняя, записи стали менее подробными.

Ах, к несчастью, сравнение невозможно — разве только этот дневник попадет в те же руки, которые перелистывали мой первый дневник.

Если б моя прежняя тетрадь и рисунки были со мной, насколько я был бы счастливее! Одна мысль о том, что она может попасть на глаза какому-нибудь равнодушному и бесчувственному человеку, отнимает у меня всякое желание излить в дневнике задушевные мысли.

*7 октября.*

Как все, я жаловался на наше бездействие. Как все, я не мог удержаться от сравнения отличного состояния нашей армии с тем, что мы узнавали о французской от перебежчиков и пленных; я терялся в предположениях и не мог понять, почему мы словно боимся неприятеля.

Наконец вечером 5-го числа вся армия выступила в поход. Причины, мне неизвестные или слишком позорящие наших генералов, помешали совершить это ранее. Мы перешли Нару. Французы стояли в пяти верстах от реки. Десять кавалерийских полков атаковали их с тыла, а Багговут — с левого фланга; панический ужас овладел неприятельскими войсками, они побросали весь свой обоз; канавы забиты различными экипажами, овраги и кусты завалены снарядами ящиками и лазаретным снаряжением. Захвачено тридцать три орудия и множество пленных. До самой ночи мы преследовали бегущих в беспорядке, а затем наша армия немедля вернулась на свои позиции.

Мы находились все время в пяти верстах от огня. Сражение ни разу не достигло такого напряжения, чтобы можно было опасаться за его исход. Французов было навряд ли более семидесяти пяти тысяч. Можно, пожалуй, сказать, что наши сто тысяч человек были способны на большее, что атаки были плохо согласованы, корпуса подходили с опозданием, что за блестящим началом не последовало должного продолжения, но все эти обвинения я могу обернуть в нашу защиту.

Мы стоим теперь там же, где стояли раньше, наши потери весьма невелики (только генерал Багговут был поражен пулей), время нами использовано не так уж плохо, а главное — дух наших солдат поднялся от этого удачного нападения; неприятельская же армия, должно быть, пришла в полнейшее расстройство. Пользоваться артиллерией французы уже почти не смогут. И — что всего важнее — их солдаты, привыкшие к тому, что мы отступаем, теперь так поражены неистовством нашего нападения, в такой ужас пришли от ярости, увлекавшей вперед наших храбрецов во время атаки, что теперь дух неприятельских войск, надо думать, совершенно упал.

*10 октября.*

### ВЕЛИКИЙ СПОР

Я всегда очень любил споры. Не те, что возникают по пустякам, вызывая ссоры и досаду, но посвященные философским вопросам и способствующие размышлению.

Сколько раз я рисковал вызвать неудовольствие моей божественной графини<sup>1</sup>, стремясь позаимствоваться ее мудростью; сколько наслажде-

<sup>1</sup> Графиня — Софья Владимировна Строганова, жена Павла Александровича Строганова, дочь знаменитой княгини Натальи Петровны Голицыной, послужившей Пушкину прототипом графини в «Пиковой даме». В салоне Строгановой встречались не только представители высшего общества, но и выдающиеся ученые, поэты, литераторы.

ний я испытал, записывая беседы, которые она прелестью своего остроумия и силой своего разума умела делать такими интересными.

С тех пор как мы выступили в поход, я лишился этого наслаждения. Дамас, мой добрый и верный советчик, готов был бы пойти иногда на встречу моим вкусам, но нелепая необщительность бивачной жизни, шум и сутолока лагеря мешали беседовать. Если интересная тема и увлекала нас в длительный разговор, обычно какой-нибудь несвоевременный визит прерывал его и Жоаш, привыкший в обществе молодых людей к рассеянию, а не собиранию мыслей, не поддерживал нас. Вчера он получил приказание отправиться к партизанам; мы с Полем остались вдвоем и сначала ощущали неприятную пустоту. «Вот каков человек, — сказал я, — привычка в нем сильнее чувства. Недолгое отсутствие нашего ментора никак не повлияло на наши чувства, но нарушило наши привычки, вызвав то ощущение пустоты, которое вы испытываете».

Мы только собрались было начать большой спор, как приехал Сергей. Около часу мы смеялись и шутили, потом его сменил Орлов<sup>1</sup>, потом были другие визиты; вечер прошел так же оживленно, как всегда. Наконец часам к десяти моя палатка опустела, остались только Анненков, Поль и я.

Я всегда восхищался последовательностью мышления и всегда упрекал себя в неумении сохранять ее, не отвлекаясь, не позволяя воображению подставлять вновь приходящие в голову мысли и уводить меня в сторону от предмета разговора.

Целый вечер в спорах — тут есть что записать! Сначала мы говорили об А. Г.<sup>2</sup>, о его положении и положении его брата, потом о Николае<sup>3</sup> — о его образовании, о превратностях жизни в светском обществе, об опасностях и западнях, которые нам угрожают, и о том, как предохранить себя от них; обо всем этом мы были одинаковых мыслей.

— Как слаб человек, — сказал Анненков, — как страсти господствуют над его разумом! Сегодня вы склонны прислушиваться к доводам рассудка — и счастливы, но вскоре те самые страсти, которые вы недавно подавили, опять увлекают вас, вы вновь поддаетесь слабости, прощаете себе свои недостатки, потворствуете им, ищете обманчивых удовольствий — пока наконец новый порыв не заставит вас обратиться к разуму, чтобы через некоторое время опять изменить ему.

— Вот, — ответил я, — самая большая опасность, тающаяся в современном обществе. Все молодые люди, составляющие его, по своей натуре похожи на нас. Исключая немногих, кого пятнают ужасные пороки или украшают высокие добродетели, у всех вы найдете доброе сердце, честные стремления, но у каждого они прикрыты личиной, расписанной разными красками — смотря по тому, чем бы ему хотелось быть в глазах общества.

Молодой человек, вступающий в свет, не старается освободиться от этой личины — наоборот, он спешит натянуть ее покрепче, охотно уподобляясь тем, кто его опередил в свете. Если бы он мог мелкие триумфы тщеславия принести в жертву прочному наслаждению чистой совестью, он был бы, несомненно, гораздо счастливее.

Но разве светская любезность не источник всех пороков? Разве не в обществе, которое должно было бы отшлифовать мой харак-

<sup>1</sup> Орлов Алексей Федорович — ротмистр конного полка, брат декабриста М. Ф. Орлова; А. Ф. Орлов участвовал в жестоком подавлении восстания декабристов.

<sup>2</sup> А. Г. — здесь и дальше, видимо, князь Александр Сергеевич Голицын (Голицын 4-й), служивший в Семеновском полку и адъютантом у Беннигсена.

<sup>3</sup> Николай — Анненков.

тер, придать ему ровность и дружелюбие; освободить от мизантропической угрюмости, вызванной дурным знанием людей,— разве не в обществе я приобрел порок лживости? Как я старался придумывать небылицы, чтобы повредить такому-то, потому что он имел больше прав, чем я, чтобы привлечь на свою сторону мнение общества, чтобы успешнее заронить в невинное сердце отраву любезности? Разве не приходилось мне двадцать раз краснеть, думая о тех низких средствах, к которым я прибегал, чтобы приблизиться к женщине? Разве не решал я сто раз отказаться от удовольствия нравиться и увлекать, чтобы не давать пищу отвратительному пороку лживости, и разве сто раз из угождения своему тщеславию я не отступал от решения исправиться?

— Вот почему следует удалиться от света,— сказал, входя, Якушкин<sup>1</sup>.

Мы с Анненковым, по внезапному движению чувства, сразу соединились против него. Дело в том, что он молод, но слишком рассудителен для своего возраста и настолько сумел освободить свой дух от всех принятых в обществе предрассудков, что теперь получил большую склонность к мизантропии, а это может сделать его совершенно бесполезным государству человеком. Он уже несколько раз начинал споры на ту же тему, и я охотно вступал в них, надеясь переубедить его.

— Вы пришли,— сказал я ему,— с уже известным нам мнением, но оно допускает двоякое истолкование, и я найду два способа его опровергнуть. Во-первых, мы говорили сейчас о большом свете, о гостиницах, и если я изобразил вам опасности, которые нас там поджидают, то указал также, как их можно избежать. Когда мне удавалось справиться со своим самолюбием, я приходил в собрание как зритель и, скрестив руки, развлекался зрелищем проходящих передо мной масок. Там я научился понимать человека, видеть все его хитрости, наблюдать, как он сгибается под давлением предрассудков и обстоятельств.

— Так, значит,— сказал Якушкин,— вы там не развлекаетесь, вы не получаете никакого удовольствия, а только ищете пользы.

— А где же можно найти удовольствие и счастье?.. В деревне, удалившись от света? Но и туда за вами последуют ваши страсти, а в ваших соседях, в семье, в домочадцах вы найдете в малом виде ту же картину, какую видите в свете. Конечно, имея возможность действовать свободно, вы будете питать свою гордость, уподобляясь всем, кто обык господствовать, но разве это достойно разумного человека и разве не является это скорее проявлением чрезмерного самолюбия?.. Вы не сумеете ни обойтись без несправедливости в своем доме, ни избавиться от скуки и по-прежнему будете бессильным свидетелем всяческой неправды, творимой в этом мире, оставаясь совершенно бесполезным для своих ближних.

Если же вы говорите не о свете, но о человеческом обществе, об общественном договоре, то уже тем самым вы признаете, что человек рожден, чтобы жить среди себе подобных. Ведь об этом свидетельствует его естественная склонность учиться у других, пользоваться их помощью; а когда это ему уже не будет нужно, не должен ли он сам стараться быть полезным тем, кому может?

А вы, получив образование, неужели вы будете столь себялюбивы, что не захотите возместить полученное? Разве такая неблагодарность обеспечит вам счастье?..

<sup>1</sup> Якушкин Иван Дмитриевич — будущий декабрист, в то время прапорщик Семёновского полка.

Как! Вы говорите, что можете найти счастье только в деревне, делая людей счастливыми. А разве другие поприща, которые перед нами открываются, ничего нам не обещают?.. Ведь каждая ступень, на которую поднимаешься, позволяет дать счастье еще одному разряду людей, каждый шаг вперед делает нас более полезными всей земле и помогает заслужить всеобщее благословение.

Конечно, всякое величие — вещь пустая. Разумный человек, о котором вы все время твердите, не может считать разумной власть, подчиняющую его государю, такому же человеку, как он сам, или генералу — тысячам разных начальников, которые выше его чином, но равны ему по человеческому праву. Но разве не для того небо дало нам способности, чтобы мы могли, получая образование, развить их и расширить?

Ведь все находит возмещение в этом мире: добро и зло, разум и страсти, совесть и пороки; так не лучше ли с риском для себя пройти через бездны, чтобы творить добро, чем, испугавшись опасностей, остановиться в пути, перестать приносить пользу?

Что такое наша жизнь? Она полна превратностей; нам всем суждено помогать и служить друг другу, возвышаться и падать, гоняться за ложными призраками, неустанно стремиться к счастью, хотя мы не знаем, каково оно, и никогда не сумеем достигнуть его...

— Так зачем же,— сказал Якушкин,— его искать? Не лучше ли сразу, не сопротивляясь, уступить своим склонностям?.. Стоит ли готовиться к путешествию по той стране, куда не попадешь?

— Какой неподходящий пример! — воскликнули мы оба.— Разве мало ступеней между полным счастьем и его отсутствием? Разве наши желания не разнообразны? Поднявшись на одну ступень, я ведь постараюсь взойти на следующую, а осуществив это, буду стремиться все дальше.

— Но ведь на второй ступени вы не более будете счастливы, чем на первой?

— Разумеется. В настоящем счастья вообще не бывает. Едва достигнув, мы перестаем его ощущать, потому что устремляемся к чему-то лучшему.

— Почему же счастье невозможно в настоящем?

— Потому, что между большими горестями и большими радостями всегда находится множество мелких, так что все мгновения нашей жизни дробятся. Я забрал у вас книгу, вы будете этим огорчены не долее, чем сколько радовались, надеясь ее иметь; вы потеряли друга, и эта утрата будет вас печалить довольно долго, но все-таки менее, чем вы радовались бы его дружбе; огорчения и радости продолжают лишь до тех пор, пока что-нибудь их не прервет и не рассеет. Мы долгие сохраняем память о хорошем, чем о дурном, и всегда недовольны своим настоящим положением. Воображение рисует нам тысячи радостей в будущем, ибо нашим желаниям свойственно опережать настоящее. Вот почему счастья в настоящем не существует.

— Нет, оно существует для того, кто сумел победить и подавить свои страсти, кто подчиняется внушениям разума — то есть сознанию в союзе с чувством.

— Совсем не так. Разум действует размеренно, а чувство мгновенно указывает нам путь; человек, наиболее покорный разуму, не сумеет достигнуть счастья раньше других людей.

— Но разве разум не помогает нам избегать страданий и находить радости, разве не учит он нас творить добро, а не зло?

— Нет, разум только указывает нам, где зло и где добро. Если бы он действительно руководил нами, мы непрерывно творили бы добро, но он лишь помогает нам отличать добро от зла, и мы часто увлекаемся ко

злу, ибо страсти наши оказываются сильнее разума, а в конце концов именно они определяют наше поведение.

— Итак, когда обуздаешь и победишь страсти, единственным господином остается разум.

А разве вы не видите различия между действительным совершением дурных поступков и намерением совершить их, подавлением этого намерения, уничтожением его, раскаянием в нем? Одно без другого не существует. Вы говорите, что возможно и полное счастье без страданий; объясните же мне, каково оно?.. Мы надеемся найти его на том свете, но почему мы не угадываем его? Не потому ли, что понять что бы то ни было можно только в сравнении? Вы наслаждаетесь хорошим обедом, потому что вам приходилось есть плохие; вы радуетесь солнцу, потому что вам приходилось страдать от холода; вы испытываете удовольствие, потому что раньше вы испытали огорчение. Справедливые небеса даровали нам наши способности, чтобы ни одна не оставалась втуне.

В чем же вы не правы в нашем споре? Вы говорили о светском обществе, а мы — об общественном договоре; вы говорили о совершенном счастье, не умея дать ему определения; вы не признаете никаких ступеней между этим совершенным счастьем и его отсутствием; вы надеетесь наслаждаться этим счастьем, не испытав прежде горя; вы наконец отказываетесь от радостей, даруемых нашими чувствами, тогда как самое сладостное на свете — это движение сердца. Ведь еще до того, как разум сумел все определить и решить, мы познаем наслаждение творить добро; неужели вы отнимете все радости у того, кто беден разумом? Почему вы не хотите признать, что для такого человека его удовольствия, какими бы ничтожными они вам ни казались, значат не менее, чем ваши для вас? Я радуюсь крестикую за храбрость; генералу же, который сам придет в восторг от подобного украшения, я покажусь жалким мальчишкой — лишь потому, что полученная им награда считается гораздо почетнее.

И наконец во всем, что вы говорите, вы исходите из понятия о совершенном человеке; вы хотите, чтобы человек не упорством и длительным стремлением подымался выше, а мгновенным взлетом достигал ему неведомых вершин, которые он, конечно, не знает даже, где искать. Что до меня, я могу от него требовать только, чтобы он двигался вперед медленно, постепенно, без внезапности и попутно наслаждался самыми несовершенными радостями, ибо другие нам не доступны.

Мы расстались: Якушкин — продолжая упрямо твердить свое, Анненков — как обычно, рассуждая здраво, а я — упрекая себя за свою обычную слабость — за то, что слишком поддаюсь воображению, хватаюсь за все доводы, которые оно мне подставляет, и сбиваюсь из-за этого с темы спора.

*12 октября. Лагерь в семи верстах от Малого Ярославца.*

Позавчера еще я занимался украшением нашего бивака под Тарутином: устроил печку, набил диван, чтобы удобнее было спорить об истинном счастье; мысленно подобрал себе собеседников для воспоминаний о прошлых радостях; привел в порядок свое хозяйство и попытался улучшить свой скромный уголок; приготовил даже план конюшни, позади которой должен был стоять дровяной сарай, впереди — кухня, направо — погреб (чтобы сохранять на холоде молоко и сливки). И вдруг четыре удара барабана в одно мгновение разрушили все мои планы. Прощайте, конюшня, сливки, споры, философия! Ядра, батареи, раны, слава вытеснят из моего воображения мирные картины.

Французская армия отступает к Боровску, Дохтуров уже отправился вдогонку, он будет теснить ее с тыла и, где возможно, перерезать ей дорогу.

Мы следовали позади в шести верстах, повернули вправо, прошли еще четыре версты и остановились на ночлег под открытым небом, всякую минуту ожидая приказа двигаться дальше. Однако наши колонны двинулись лишь в 8 часов утра. Переход был в двадцать пять верст. Подходя к Малому Ярославцу, мы слышали сильную канонаду и провели остаток дня и всю ночь в версте от города. Шесть раз французы двумя корпусами пытались его взять. В полночь канонада еще продолжалась. Наконец ночью, потеряв от семи до восьми тысяч человек, они отступили вправо, а мы, понеся почти такие же потери, отошли на семь верст влево. Нами захвачено одиннадцать пушек, четыреста пленных; двенадцать человек утонуло, убито много лошадей.

Сегодня вечером мы продолжаем преследовать неприятеля. Прощайте, покой и сибаритское существование; усталый, грязный, полуголодный, без постели, я все-таки готов благословлять небо, лишь бы успехи наши продолжались.

У меня нет больше моей палатки. Сегодня утром князь в весьма утихших выражениях попросил ее у меня, а я не так дурно воспитан, чтобы отказать<sup>1</sup>. И вот я в палатке Вадковского, где очень неудобно; а в моей палатке укрыты судьбы Европы.

*13 октября. Лагерь за Гончаровом в Детчине.*

Мы двинулись в поход только сегодня утром и прошли двадцать верст по Калужской дороге. Полагают, что мы останемся здесь и завтра. Теперь неприятель решает, когда у нас будут дневки, а когда марши. Пока что я рад отметить, что все нам благоприятствует: ночи теплые, дожди очень редки и не сильные, дорога прекрасная. Главное же — это желание победить и счастье, что наступаем наконец мы.

*15 октября. Лагерь в Полотняных заводах.*

Вчера вечером мы вышли из Детчина и свернули с Калужской дороги направо, а сегодня утром стали лагерем у дороги, которая идет на Медынь, перед селом в три тысячи домов, богатым и, к счастью, не тронутым неприятелем. Возможно, мы останемся здесь на ночь, хотя говорят, что мы надобны в ином месте.

С недавнего времени похолодало, и сегодня утром, когда я вернулся в лагерь, первое, что мне бросилось в глаза, была канарейка, которую мне принесли в подарок.

«Вот поступок из тех, что совершаются так охотно и производят впечатление дружелюбия, а на самом деле бывают внушены себялюбием», — подумал я, принимая этот подарок.

Вы нашли это бедное существо, которое какой-то жестокий бездельник, чтобы доставить себе минутное наслаждение видом освобожденного узника, выпустил из неволи, где по крайней мере оно жило беззаботно; вы нашли это существо измученным, с обвисшими крыльями, закочневшим на морозе — жестокая расплата за мгновение счастья! Прежде всего приходится подумать, что с ним станет. Благотворительное тепло вашего дыхания возвращает ему жизнь, но вы не можете постоянно заботиться о нем, укрывать его от снега и холода, обеспечить ему ту

<sup>1</sup> В «Воспоминаниях и письмах» однополчанин Чичерина декабрист М. И. Муравьев-Аностов пишет, что М. И. Кутузов ночевал в палатке Чичерина одну ночь — 13 октября 1812 г.

теплую атмосферу, в которой оно единственно может существовать. И вот огорченные своим бессилием что-либо сделать, более того — раздраженные, раздосадованные тем, что не можете обеспечить навсегда счастье даже канарейке, вы обратились ко мне, советуя хоть на минуту быть полезным этому невинному созданию; теперь птичка у меня на руках, а ваша совесть чиста; передо мной вы показали себя благодетельными людьми, а неизбежная гибель птички окажется только на моей совести.

В палатке было довольно тепло, канарейка вскоре ожила под моим одеялом, стала летать и порхать; я отбросил заботу о том, что сделать с ней завтра, как обеспечить ее существование, и предался удовольствию минуты.

Несколько часов я проспал, а когда проснулся, то увидел, что птичка задохлась у меня в постели. «Таковы благодеяния большинства людей,— подумал я,— похваляющихся тем, что от них зависит жизнь окружающих, о которых они заботятся лишь, поскольку к этому влечет тщеславие... Все это химеры. Человек жалкое существо, недостойное тех...»

Если бы мне не так хотелось спать, я подробнее рассказал бы о чувствах, которые испытываю, пока же прошу вас самих припомнить приличествующие в сем случае рассуждения,— а когда я проснусь, мы, может быть, запишем их.

*22 октября. Лагерь в Дубровной.*

Вот мы и в двадцати восьми верстах от Вязьмы. Форсированные марши — не лучшее, что может быть на свете. А при движении двумя колоннами по обходным дорогам не удастся делать более двадцати — тридцати верст в день, хотя выходим мы в 3 или 4 часа утра и останавливаемся лишь в 6 часов вечера.

Когда приходишь на место, измученный скукой еще больше, чем усталостью, единственным счастьем представляется растянуться и заснуть. Зато какую цену имеет это счастье в наших глазах в настоящую минуту! Чего бы мы не отдали сейчас за наслаждение лечь в хорошую постель, мягкую, теплую, с хорошим одеялом, выпить кофе со сливками — хотя бы в 8 часов вечера, пообедать хорошенько — пусть в полночь, прервав сон ради столь необходимого подкрепления наших сил,— а все остальное время нежиться, поворачиваясь с боку на бок на ложе... из сена.

Да, пожалуйста к нам на бивак, пожалуйста сюда! Я приглашаю вас не для того, чтобы вы разделили наши трудности,— наоборот, я был бы рад уберечь вас от этого, но для того, чтобы вы научились ценить самые малые радости.

Сегодня утром, как обычно, мы вышли еще до рассвета. Предполагалось, что мы встретимся с неприятелем в Вязьме, но, как видно, он движется гораздо быстрее нас. Я думал уже с тоской о том, что нам придется скоро войти в местность пустынную, разоренную, разграбленную, а увидел изобильную и благоденствующую. Мы проходили через деревни, в которые неприятель не заглядывал, и через другие, где храбрые жители сумели отбиться от него, а теперь, выйдя нам навстречу, рассказывали о своих подвигах, о своем желании воевать, сообщали нам о движении французов и провозжали нас благословениями.

Пока что мы дальше не движемся, пушки где-то застряли, как бывает и на больших дорогах; никаких приказаний еще не поступало, и я пользуюсь первой минутой отдыха, чтобы продолжить записи в этом дневнике, который когда-нибудь с интересом перечитаю.

*27 октября. Лагерь при деревне Белый Холм.*

Французы продолжают бежать, а мы после дневки под Вязьмой продолжаем двигаться форсированным маршем. Сейчас мы находимся в восьмидесяти пяти верстах от Медыни, по дороге к Ельне. Уже три дня идет снег, и хотя я сижу пред большим костром, руки у меня совсем ооченели.

*28 октября. Квартиры в Ельне.*

Квартиры — понимаете? — квартиры! Не бивак, не лагерь, а настоящие квартиры, дворец, рай! — в тесном бараке, куда мы набились так, что нельзя повернуться, но где зато тепло.

После долгой разлуки с другом так радуешься встрече, что не знаешь, с чего начать разговор. Такое же смущение я испытываю перед своим дневником, писать который мне долго мешали холод и марши. В голову приходят привычные мысли, но они кажутся новыми, предстают в новом свете, и мне опять хочется сетовать об утрате моего первого дневника, проклинать французов, которые его забрали, хвалить мою палатку и бивачную жизнь, описывать досадное жужжание надоевших разговоров и утомительное стеснение, которое испытываешь в комнате, хоть и теплой, но полной людей, которых не хотелось бы видеть.

Теперь, вынужденный либо медленно двигаться на марше, либо ничего не делать, я оплакиваю положение линейного офицера. Но неужели ты подумашь, что я способен тратить время на пустые разговоры, глупую болтовню, бестолковые рассуждения? Уныло склоняюсь к холке моей верной Арапки, следя взглядом за идущими впереди солдатами, я стараюсь приучить себя к страшной мысли о моей бесполезности, о том, что мне придется вернуться в Петербург из такой славной кампании, не приняв в ней деятельного участия, не нанеся вреда себе подобным... Мысль ужасная несомненно, но нет такой жестокости, которой бы не выдумали во время войны, чтобы нанести вред неприятелю. Добродетельные люди! От вашей жестокости страдают несчастные, которые оказались в числе ваших неприятелей...

Я вспомнил советы Дамаса. Я знал, что мне предстоит испытание противоборствующих чувств. Ах, сколько раз я ловил себя на вспышках гнева... Сколько раз, краснея, я пытался подавить их...

Когда человек остается наедине со своими мыслями, он еще не несчастен. Я хотел бы всю жизнь иметь такие минуты, когда поневоле приходилось бы заниматься только размышлениями.

*30 октября. Квартиры в Балутине.*

Человек не только не знает границ своим обязанностям, но придумывает все новые, часто нелепые и безрассудные. Иногда одно желание противоречит другому, высказываемое теперь — высказанному раньше! Эта странная черта представляет, без сомнения, предмет, любопытный для философа, который совлечет с нее все покровы, обычно на нее накидываемые в обществе, и, рассмотрев ее, среди прочих предрассудков обнаружит всю ее претенциозную и забавную ничтожность. •

Уже три недели мы бездействуем в Тарутине. Наша армия укомплектовывается, кавалерия ремонтируется — и это время отдыха и неподвижности также ускоряет окончательную гибель неприятеля. Оставив Москву, он отступает, он бежит, и нам приходится гнаться за ним по пятам. Часть его войск уже за Вязьмой — нам нужно сделать сорок верст, чтобы отрезать их. Я сгораю от нетерпения, я хотел бы придать

нашей армии крылья, я охотно отказываюсь заранее от всякого отдыха. И в то же время, растянувшись на постели, я даю волю своему воображению, которое ищет предлогов продлить дневку.

Неизбежная медленность нашего движения на маршах не позволила задерживаться в Вязьме долее полудня. Мы спешно вышли на Ельню, а наш авангард — сорок тысяч — деятельно преследовал неприятеля.

Нас ставят на квартиры — и лень возвращается ко мне, мне хочется отдыхать, и я призываю на помощь сверхъестественные силы, чтобы они приостановили, хоть ненадолго, движение армии.

Вечером 28-го Платов сообщил, что преследует французов по дороге на Духовщину, что он захватил шестьдесят два орудия, три с половиной тысячи пленных, двух офицеров и генерала Сансона. Охваченный восторгом, я благодарил небеса, пел, ликовал. «Вперед, вперед! Надо преследовать неприятеля! Надо кончать с ним как можно скорее!» — кричал я. Улегшись, я долго не мог уснуть от радостного волнения, перебирал в уме все, что можно было бы сделать, упивался славой, как никогда прежде, гордился своим отечеством. Убаюканный радостными мыслями, незаметно я перешел наконец в объятия блаженных сновидений.

Вы знаете, как я стремился поскорее в поход, как жаловался на нашу нерешительность, а сегодня утром, когда мои желания осуществились — было назначено спешное выступление, и меня будили, — я долго протираю глаза и повторяю: «Как жаль, здесь было так хорошо!»

Если подумать, то можно, пожалуй, пополнить мифологию, по-иному представив отношения между Марсом и Морфеем. Один дарует нам славу, а другой покой, один сулит блаженство, другой дарует регулярное наслаждение; и хотя они часто враждебны друг другу, воин равно зависит от покровительства обоих.

Вчера мы прошли только двадцать пять верст, и нас — всего десять человек, дружных между собой, — поставили в большой, очень удобной избе, где мы весьма сносно провели день и прекрасно спали ночью, пока барабан не заставил нас проснуться.

Но и третьего дня я был доволен, а ведь нас было тридцать человек в одной избе, очень низкой и тесной. Я проснулся ночью, чтобы понюхать табак (еще одно наслаждение, о котором я когда-нибудь расскажу). Вокруг меня все спали. Только хозяйка избы что-то искала, держа в руке лунину, освещавшую всю картину, словно Морфей, охраняющий покой своих верных поклонников; может быть, это его божественное покровительство позволило мне вновь уснуть через пять минут.

*31 октября. Квартиры в Лобкове.*

Опять новые победы. Вчера князь, перегоняя нас, сообщил, что взято еще двадцать девять пушек, три тысячи двести пленных, сто тридцать офицеров из корпуса генерала Ожеро. Вчера вечером мне сказали:

— Еще одна хорошая новость: захвачено восемь орудий.

— Восемь орудий, подумаешь, — отвечал я, — на такие пустяки теперь уже не стоит обращать внимания.

И действительно, победы даются нам теперь так легко, что я не знаю даже, как оценить силы неприятеля.

Увы, чем больше мы продвигаемся вперед, тем постыднее положение нашего полка; чем быстрее уменьшаются силы неприятеля, тем бесполезнее мы становимся и тем ближе минута, когда нам придется отделиться от армии.

Сегодня у нас дневка, я стою на хорошей квартире, окружен друзьями, по всей видимости счастлив, но жестокая тоска терзает мне сердце,

и хотя в порыве досады я приписываю ее своему тщеславию, но не могу не понимать, что, в сущности, ее вызывает благородное стремление быть полезным. Ведь я охотно пожертвовал бы всеми наградами, которые могу заслужить в этой кампании, ради опыта, который мог бы приобрести, ради чести послужить своему отечеству. Но судьба враждебна всем моим желаниям; даже если они вызваны не тщеславием или непостоянством, все равно им далеко до осуществления...

*2 ноября. Квартiry в Щелканове.*

Вчера мы прошли только пятнадцать верст к Красному и остановились здесь, в тридцати пяти верстах от Смоленска. Прибыв сюда, мы узнали, что наш батальон назначен в охрану Главной квартиры.

Все в одной избе, солдаты в тесноте, вещи в беспорядке... Эта картина так меня пугала, что я велел заложить сани и проездил целый день. Как это все-таки надоедает! Насколько лучше свой уголок. Сегодня предстоит пройти еще двадцать верст. Надеюсь, что на следующем ночлеге мне повезет более.

Жители этой губернии не разорены. Они добровольно все предоставили французам, устроили для них магазины фуража и продовольствия и большею частью сохранили свои дома и скот. Некоторые из нас сурово упрекали этих несчастных крестьян за то, что они хорошо приняли французов. Но разве не следует обвинять в этом скорее дворянство? Жадные и корыстные помещики остались в своих владениях, чтобы избежать полного разорения, и, волей-неволей содействуя замыслам неприятеля, открыли ему свои амбары; проливая неискренние слезы и рассуждая о патриотизме, они принесли верность отечеству в жертву своему корыстолюбию.

Эта война закончится, без сомнения, почетно для нас. Но подумать только, как сумеем мы возместить все наши потери?

Благородные крестьяне из-под Юхнова, покинувшие свои очаги и нивы, принесшие в жертву и семьи, и спокойное существование ради чести служить отечеству, — не посмотрят ли они, когда война кончится, а они будут совершенно обездолены, с завистью на смоленских крестьян, живущих в избытке, сохранивших все, что им дорого, и благоденствующих, не зная добродетели патриотизма. Идея свободы, распространившаяся по всей стране, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до которого дошли помещики, унижительное зрелище, которое они представляют своим крестьянам, — разве не может все это привести к тревогам и беспорядкам?.. Мои размышления, пожалуй, завели меня слишком далеко. Однако небо справедливо: оно ниспосылает заслуженные кары, и, может быть, революции столь же необходимы в жизни империй, как нравственные потрясения в жизни человека... Но да избавит нас небо от беспорядков и от восстаний, да поддержит оно божественным вдохновением государя, который неустанно стремится к благу, все понимает и предвидит и до сих пор не отделял своего счастья от счастья своих народов!

*3 ноября. Главная квартира в Юрове.*

Вчера мы прошли двадцать верст до этого села, а сегодня у нас здесь дневка. Мы хорошо размещены в чистых и теплых комнатах и не можем похвастаться тем, что испытываем все тяготы войны.

Вчера мне было поручено выбрать дома для постоя нашего батальона, который несет караульную службу при Главной квартире. Тепло одетый, удобно растянувшись в санях, запряженных парой резвых лошадей, я проехал эти двадцать верст по-барски. Но только я начал удив-

ляться, как можно жаловаться на усталость от кампании, как увидел группу пленных. Обмороженные, почти нагие — было среди них много раненых, брошенных на дороге, — они пытались согреться, разложив большой костер; я подумал, что, может быть, мои родные испытывают то же самое и не находится ни одной сострадательной души, которая бы им помогла... Меня охватило самое тяжелое чувство, мне захотелось выйти из саней, словно возможно помочь своим ближним, разделив их страдания...

Сердце так черствеет за время походов, что вид людей, замерзших на дороге, умирающих от холода и голода, с неперевязанными ранами, на которых заледенела кровь, почти уже не волнует. Отвернешься в сторону, вздохнешь, быть может, иловишь малейший предлог забыть об этом скорбном и отвратительном зрелище.

Только что привели новые тысячи пленных, но нам не известно, где сейчас находится неприятельская армия, и это меня тревожит. Две тысячи тут, пять тысяч там, а где основные силы французов — мы не знаем.

Мне кажется все же, что, несмотря на нашу медлительность, эта война закончится успешно для нас. Признаюсь, будь у меня крылья, я перенесся бы сейчас в Петербург, в одну из петербургских гостиных — в вашу гостиную, прелестная графиня, чтобы разделить с вами радость, которую вы должны сейчас испытывать. Ничто не кажется столь прекрасным издалека, как война. Победы, слава — все это приводит в восторг, электризует душу. Но печальное зрелище стольких смертей смутит философа и раскроет глаза сострадательным людям.

*6 ноября. Лагерь за Красным.*

4-го утром нас поставили на биваки. 5-го армия имела сражение, а мы разбили лагерь здесь, в пяти верстах от Красного. Вчера утром, когда началось дело, мы шли полями. Сегодня мы оказались на том же месте, в нескольких верстах от Красного.

Пленных берут партиями непрестанно, они складывают оружие без боя, сами выходят сдаваться и идут к нам, не дожидаясь нападения.

Наше счастье кажется невероятным; судить можно будет только по последствиям, но до сих пор все события без исключения клонятся к нашему успеху.

*7 ноября.*

Одиннадцатитысячный корпус Нея сложил оружие сегодня утром. Вчера князь объявил нам, что после Смоленска мы захватили сто пятьдесят семь орудий и четыре знамени. Громкое «ура» приветствовало это славное известие, и в лагере воцарилось величайшее веселье.

*9 ноября. Квартиры в Красной слободке.*

#### ТАБАКЕРКА

8-го мы прошли двадцать пять верст до Романова, а сегодня утром столько же до этой деревни. Мы опять стали на квартиры, но здесь очень тесно, мне неудобно, и, чтобы разогнать походную скуку, я езжу из селения в селение и пытаюсь развлечься, изучая нравы жителей и сравнивая их образ мыслей. Одни, ожесточенные своими несчастьями, безжалостно отказывают в гостеприимстве; другие, гонимые страхом, стараются не показываться на глаза тем, кто их освободил; третьи наконец заражены идеями свободы; а некоторые еще не вышли из оцепенения, в которое поверг их испытанный ужас. Но есть и такие, кто сумел сохра-

нить спокойствие духа и чистоту нравов среди военных бурь — словно для того, чтобы служить примером соседям.

Вчера, например, я зашел в одну хижину. Мы находимся уже в Могилевской губернии; я питал предубеждение против ее жителей. И вдруг я нашел в этой хижине одного из тех мужественных воинов, которые, давно уже выйдя в отставку, теперь вернулись в армию, чтобы спешествовать успехам нашего оружия. Его почтенный вид заставил меня забыть о его звании. Он завтракал; хозяин избы с двумя невестками ухаживал за ним.

Как я ни был предубежден, я не мог не любоваться тем, с каким уважением хозяин относится к этому, видимо, достойному и добродетельному человеку. Панютин, который был со мной, стал расспрашивать хозяина о французах. Этот крестьянин пострадал больше всех в деревне. У него оставалось на неделю только две ковриги, и казаки забрали их под видом контрибуции. Я начал смягчаться и был, пожалуй, рад окончить скорее дознание, чтобы послушать его рассказ.

Он охотно отдал хлеб, потому что это было для своих; он говорил о собственных несчастьях без ропота. Его спокойное, открытое лицо придавало еще большую красоту его речам. Не прошло и получаса, как я был совершенно очарован и вдвойне радовался предупредительности, которую он проявлял ко мне. Вся его семья казалась мне мила, в словах его я обнаружил глубокую печаль и рассудительность. В этом почитаемом своими домочадцами старце не было ни суровости патриарха, ни развязности человека заурядного. Два часа я провел, наслаждаясь его беседой.

В путешествиях немалую радость доставляет табак. Он разгоняет черные мысли, рассеивает дурное настроение, возбуждает остроту ума, и каждая понюшка наводит на новую мысль. В тот день я проехал верст двадцать, и, когда вошел в избу моего старика, в табакерке у меня почти ничего не оставалось; мне захотелось понюхать, а я не мог набрать и щепотки... Внучка крестьянина, увидав мою табакерку, не могла оторвать от нее глаз, а старик вытащил свою.

— Простите,— сказал он,— что я предлагаю вам табаку из такой грубой коробки. Возьмите его как знак благожелательства, и пусть извинением моей навязчивости послужит ваша потребность в нем.

Не знаю почему, мне пришла на ум табакерка Стерна<sup>1</sup>, и я был так поражен этой мыслью, что охотно обменял бы на тавлинку старика свою, если бы она не была подарена мне Дамасом и дорога как память. Я подумал о своем прежнем предубеждении, о достойном обхождении старика и был в отчаянии, что у меня не оказалось при себе денег, чтобы отдать их ему и оставить себе его тавлинку. Этот добрый старик совершенно пленил меня, я с трудом расставался с ним, желая ему всяческого счастья в ответ на его благословения.

*10 ноября.*

Сегодня дневка. Мы в большой тесноте, я очень недоволен. Вообще как подумаешь, от каких странных вещей зависит мое благополучие! Говоря без шуток, при всем отвращении, которое внушает мне корыстолюбие, деньги необходимы мне, чтобы чувствовать себя уверенно. Даже когда они не требуются немедленно, мне надобно иметь их, чтобы вперед рассчитать свои удовольствия. И хотя по натуре своей я склонен к мотовству, но готов беречь деньги, потому что они обеспечивают спокойную, правильную жизнь и свободу действий. Я всегда замечал, что весе-

<sup>1</sup> Имеется в виду сходный эпизод в «Сентиментальном путешествии» английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768).

лость покидает меня, как только мой кошелек пустеет, и даже упрекал себя в жадности, обвинял в мотовстве. Мне случалось забрасывать все занятия, все удовольствия в ожидании денег.

Все это предисловие, вероятно, уже заставило вас догадаться, что в настоящую минуту я не при деньгах и это наводит на меня тоску.

Но — увы! — есть другая, гораздо более важная причина моей тоски. Неприятель бежит в беспорядке, наши армии вот-вот должны соединиться в одном пункте: присутствие нашего полка, прежде бесполезное, теперь становится прямой обузой, и мы должны вернуться в Петербург. Опять войти в темные, мрачные кортуса и в дома к своим близким, возвратиться с барабанным боем в конце блестящей кампании, решившей судьбы Европы, не приняв никакого участия в боях, почти не слышав свиста ядер. Как же мне не везет — все совершается наперекор моим желаниям. Страстно желать боя, мечтать, как о высшем счастье, о том, чтобы пожертвовать покоем и самой жизнью — и что же? — вернуться к **мирному** существованию и уныло влачить свои дни среди городских удовольствий. Рассудок говорит мне, что это эгоизм и тщеславие заставляют меня мечтать о боях и сражениях, ибо и счастье быть полезным для меня не полно без известности, без славы; что кресты и чины имеют свою долю в чувствах мужества и патриотизма. Но разве тщеславие не участвует во всех наших поступках и разве не похвально желать наград, когда они служат свидетельством мужества и отличают тех, кто оказал услуги отечеству? Чины и награды никогда не прельщали меня. Однако тщеславие ли мое увлекает меня видением славы или желание быть полезным электризует мою душу, но воевать мне необходимо, как дышать, и день нашего отъезда из армии будет для меня траурным днем.

*11 ноября.*

Главная квартира в Романове.

*12-го.*

Переход в пятнадцать верст до Погульева, Главная квартира в Морозове.

*13-го.*

Переход в двенадцать верст до Копыся, где мы остановились сегодня, чтобы навести мост через Днепр.

Приходится благодарить небо за божественное покровительство, потому что правительство отнюдь не стремится споспешествовать нашим победам. Уже несколько недель войска не имеют хлеба...

Мы подошли к Днепру, мост еще не наведен, начинают его наводить; он обрушивается, и армия теряет два дня, — а французы пока что от нас убегают.

*14 ноября 1812 года. Данино.*

#### НОВЫЙ ДОН-КИХОТ

Богданович, уже двенадцать лет как вышедший в отставку, на сорок пятом году жизни покидает своих домочадцев, бросает без призора свои имения, оставляет всю семью в слезах и, оседлав своего верного Мавра, в сопровождении единственного слуги пускается в путь; проехав сотни деревень, испытав всяческие приключения, попавшись однажды в плен к какому-то французскому солдату, побитый палкой, ограбленный, он наконец добирается до армии, является к начальству, и его за-

числяют на службу в наш полк. Окруженный молодыми людьми, он сохраняет флегматическое, холодное безразличие среди их развлечения и веселья и почти все время проводит, уныло сидя у палатки с саблей в руках и глядя на своего Мавра; он мрачнеет, когда конь ложится, и оживляется, когда тот заржет и поднимется. Он все время придумывает какие-то колдовские способы уничтожения французской армии; Муравьев<sup>1</sup> неотступно пристает к нему и старается вывести его из задумчивости, но тщетно — ничто не может отвлечь его от этих мыслей. Он поклялся в смертельной ненависти к французам и стойко выносит все тяготы, мечтая лишь о битвах. Злодеи украли у него коня, и мрачная меланхолия окончательно овладела им. Он поклялся, что не поставит ноги в стремя, пока не вернется в свое имение, где у него остался еще один такой же конь; здоровье его заметно ухудшилось, он перестал разговаривать, совершал множество неразумных поступков и наконец, наотрез отказавшись идти на Мединь (арену его первых геройских подвигов и печальных приключений), остался один позади, и больше мы о нем ничего не знаем. Может быть, бедняга погиб уже от холода и нужды. Как жаль, что такому любезному и приятному человеку пришлось столько пережить и что на него нападали моменты безумия, бывшие причиной всех его несчастий.

*15 ноября, Главная квартира в Староселье.*

Сегодня мы переправились через Днепр и, пройдя восемь верст, заняли квартиры здесь (в деревне Борково). Я был довольно весел утром, когда мне вдруг сообщили о прибытии в армию его высочества<sup>2</sup>. Великий князь слишком меня преследовал всегда, чтобы я мог этому обрадоваться; не без опасения предвижу неприятности, которые он мне может причинить.

*15-го.*

Главная квартира в Круглом, наши квартиры в Слободе.

*16-го.*

Сегодня, после утомительного тридцатипятиверстного перехода, квартиры в Заозерье.

*17 ноября. Квартиры в Белавичах.*

Нет предела благоденствия неба и нельзя перестать восхищаться ими; разве не должен я быть счастлив уже тем, что мне следует непрерывно возносить хвалы за блага, которых мне столько было даровано?

Наши огорчения рассчитаны заранее, в соответствии с тем удовольствием, которое нам дает их отсутствие; печали наши возмещаются радостями гораздо большими, и мгновения нашей жизни так распределены, что мы недолго остаемся без утешений.

Вчера, когда усталый, замерзший, выбившийся из сил, проделав тридцать пять верст в сквернейшую погоду, я вошел в грязную и переполненную избу — она показалась мне дворцом. Сегодня вхожу в комнату после двадцативерстного перехода — и все меня радует. Я устраиваю

<sup>1</sup> Муравьев-Апостол Матвей Иванович — будущий декабрист, в то время прапорщик Семеновского полка.

<sup>2</sup> Его высочество — великий князь Константин Павлович. В 1812 году был одно время командиром 5-го корпуса, входившего в 1-ю Западную армию под начальством Барклая де Толли. При отступлении французов из России Константин Павлович снова прибыл в армию и принял командование гвардией.

себе постель, заказываю обед, раскладываю свои бумаги, обдумываю удовольствия завтрашнего дня — на тот случай, если мы проведем его на квартирах, — строю множество воздушных замков и совсем не вспоминаю о том, что нахожусь в походе, что испытываю множество невзгод, что я бесконечно далек от средоточия всех наслаждений и от прекрасного пола, составляющего единственное истинное счастье нашей жизни.

Только в походе познаешь настоящую цену мелочам. Если мы не знаем здесь больших радостей, если ни слава, ни воинские успехи не могут нас заставить забыть об удовольствиях жизни в обществе, в свете, то все же неприятности и невзгоды стократно возмещаются счастливыми мгновениями.

Случаются, конечно, в походе и трудные и печальные минуты; то бываешь доволен сам собой, то хочется проклясть свою судьбу. Но нет в жизни ничего, что могло бы сравниться с минутами отдыха, когда на досуге свободно думаешь и выбираешь себе, как захочется, свои занятия и развлечения.

Я весел и доволен, но дела наши идут вовсе не хорошо или, верней, не завершаются так, как следовало бы. Наполеон, говорят, убежал от нас; прекрасный маневр трех армий, соединившихся, чтобы раздавить и совершенно уничтожить одну деморализованную и обессиленную армию, не удался по воле одного человека, в силу несчастной привычки, кажется им усвоенной, — задумывать блестящий маневр и не осуществлять его как раз тогда, когда успех особенно вероятен.

*18 ноября. Дневка.*

#### ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Я решил рассказать здесь о победах, про которые мы сегодня услышали, пожаловаться на интриги, царящие среди наших генералов, и только не мог придумать, как бы озаглавить мою запись; ход моих мыслей навел меня на это заглавие.

Граф Ожаровский прислал донесение, что Наполеон с тридцатью тысячами человек сумел уйти от нас, а прибывший сегодня курьер подтвердил эти сведения и сообщил нам об успехах, одержанных Витгенштейном: взято девять тысяч пленных, множество генералов, французская армия уже за Березиной, австрийцы побиты Сакеном и наши дела в наилучшем возможном состоянии. Между этими двумя сообщениями Беннигсен уехал в Калугу<sup>1</sup>. Очень вероятно, что, будучи уже давно настроен против князя, он ухватился за момент, когда все наши замыслы, казалось, рушатся, чтобы бросить армию, утверждая, что невнимание к его советам навлекло на нас все несчастья.

Я давно уже так думаю, я заранее предсказывал это и предвидел, даже с большою сердечной, тот разлад, который вносит теперь тревогу в наши ряды.

Интрига вмешивается во все действия; счастлив тот, кто, как князь, сохраняет по крайней мере видимость спокойствия и поддерживает перед армией престиж власти, которую у него все время пытаются отнять — и при дворе и в его собственной ставке.

Я гордился, признаюсь, своими предсказаниями (и мог бы сочинить на эту тему прекрасное нравоучение). Особенно одно из них оправдалось

<sup>1</sup> Беннигсен Леонтий Леонтьевич — начальник главного штаба армии; вел интриги против Барклая де Толли и Кутузова. Сблизился с английским военным агентом Робертом Вильсоном, который, пользуясь его информацией в своей переписке с Александром I, клеветал на Кутузова, доказывал непригодность главнокомандующего. Александру Чичерину не было известно, что Беннигсен уехал в Калугу не по своей воле, а был выслан из действующей армии Кутузовым.

в такой степени, что я чуть не написал об этом целую главу, чтобы похвастаться...

Ничего не поделаешь, добавлю еще в скобках: возможно, я слишком уж верю в осуществление своих предположений, но это, должно быть, потому, что все мои рассуждения вызваны чувством патриотизма, здравым смыслом и желанием, чтобы все шло так, как мне хочется.

Я уже взялся было за перо и хотел написать заглавие, когда подумал, что собираюсь выносить решение, не имея на то полных оснований, что хочу запечатлеть здесь суждения, которые сохранятся навсегда, а могут в силу дальнейших событий оказаться ошибочными; что, может быть, тот, кого я теперь обвиняю, окажется покрытым славой в глазах потомства. Признаюсь, эта мысль заставила меня покраснеть, я устыдился своей поспешности и не смог найти утешения в том, что разделяю свою ошибку с большинством, что плыву по течению, всех увлекающему и побуждающему делать предположения.

Хорошо еще, когда в основе построений, воздвигаемых этими любителями догадок, лежит какое-нибудь действительное событие; гораздо чаще они сами выдумывают происшествие, вокруг которого сплетают свои измышления, рассыпающиеся в прах от одного луча света. Как забавно наблюдать этих особ, цепляющихся за слово, за подслушанное выражение, волнующихся, сопоставляющих разные вести, рассуждающих, собирающих вокруг себя кружок и, смешивая все в кучу, громко провозглашающих вслух свои представления о событиях, предсказывающих исход их, вред или пользу, возможные последствия. Вдруг входит какое-то лучше осведомленное лицо, и одного его слова довольно, чтобы выбить этих краснобаев из седла. Напрасно, не смущаясь мгновенным переходом, они бросаются поддерживать точку зрения того, кто защищает истину, напрасно перескакивают от одного мнения к другому и пытаются заставить общество забыть нелепые суждения, так недавно ими высказанные; слушатели покидают их и собираются в кружок вокруг вновь пришедшего, а наши болтуны остаются в неловком одиночестве.

Я часто развлекался насмешками над другими, подмечая чужие ошибки и неудачные речи; а теперь досаую, что сам не раз делал неразумные предположения.

*19 ноября. Переход в девятнадцать верст. Лагерь в Орешковичах.*

Вчера Главная квартира была на восемь верст впереди нас, сегодня она еще продвинулась вперед и находится на другом берегу Березины. Сегодня опять говорят, что Наполеону удалось бежать.

*20 ноября, лагерь в Беличанах.*

### НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Сегодня, переправившись через Березину, мы прошли двадцать верст. Завтра, наверное, будет дневка.

Марш был очень утомителен, и в пути я развлекался только своими мыслями. Говорят, что мы пойдем на Вильну; я заранее радовался, обдумывая свои удовольствия, распределяя занятия, выбирая себе знакомых.

Поскольку я упомянул знакомых, надо рассказать об одном знакомстве, которое я завязал совершенно случайно и которое до сих пор поддерживаю, несмотря на то, что походные условия не допускают частых встреч.

Когда мы в первый раз стали лагерем, в расположении нашего полка не оказалось питьевой воды. Я отправился искать воду и возвращался огорченный. Немного впереди меня шло несколько солдат, и я, от природы не лишенный любопытства, прислушался к их разговору. Среди них был один кавалерист из гвардейского полка с мужественным лицом и

громадными усами, поддразнивавший наших солдат, страдающих от голода.

— Это вина ваших начальников,— говорил он,— плохо они о вас заботятся.

Возмущенный этим неприличным упреком, я подъехал к нему.

— Слушай, приятель,— сказал я,— разве мы можем отвечать за все, что делают высшие начальники? Неужели ты думаешь, что интересы наших молодцов не дороже нам наших собственных?..

— Вас самого я не обвиняю,— сказал он мне,— но вы должны признать, что начальники могли бы побольше стараний приложить, а то, навешившись сами, вы не очень-то заботитесь о своих подчиненных...

Тут у нас завязался разговор, продолжавшийся, пока мы не доехали до моей палатки. Кавалерист говорил смело, но разумно и учтиво.

— Простите мою откровенность,— сказал он,— но ведь вы сами вызвали меня на разговор.

— Вот тебе, братец,— сказал я, давая ему монету,— скажи мне спасибо да помалкивай.

— Спасибо-то вам, спасибо, сударь,— сказал он,— только своего права правду говорить я не продаю. Ваша доброта показывает, что не вы, конечно, виной тому, что солдаты терпят нужду, но тем больше приходится жалеть, что не все начальники таковы.

Я хлопнул его по плечу и простился с ним, любуясь его простодушием и честностью.

С тех пор всякий раз, как я встречаю его, он мне кланяется и улыбается; надеюсь, что мне удастся сохранить это знакомство до конца моих дней.

21-го.

Дневка.

22-го.

После перехода в двадцать две версты пришли в Пильно.

26 ноября. Квартыры в Колонницах.

### ТРЕХДНЕВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Бывают минуты, когда я так недоволен собой, что останавливаюсь, скрестив руки, и — догадайтесь... — и смотрю, до чего может дойти моя лень. Когда мне захочется, я бываю книголюбом, светским человеком, военным. И все же я боюсь более всего, как бы меня не отнесли к тем людям, которые бывают добродетельными лишь от случая к случаю.

Я веду дневник, это мне нравится, я готовлю себе таким образом запас для будущих размышлений, но бывает, когда следовало бы записать какое-нибудь значительное событие, лень пересиливает, и я бросаю перо, едва написав две строки, тогда как мог бы посвятить этому занятию более двух часов.

Несмотря на это предисловие, на это обращение к моему рассудку, не подумайте, что я исправляюсь: как раз в настоящую минуту я опять уступаю своей прирожденной слабости.

Я мог бы подробно рассказать о своих приключениях в течение последних дней, написать интересный рассказ о путешествии — однако я лишь набросаю канву возможной повести.

23-го армия выступила в двадцатипятиверстный переход между Минском и Борисовом, остановиться предполагалось в Дейнаровке. Едва мы вышли, как полковник приказал мне остаться, чтобы принять припасы, и вот я один со своей лошастью остался в тылу. Я думал, что задержусь минут на пять, а пришлось пробыть целые сутки. Тут начались мои при-

ключения, как у Вер-вера<sup>1</sup>. Моим товарищем по ночлегу оказался драгунский капитан, направлявшийся в авангард. Подумайте, каково пробыть целый день в обществе человека необразованного, когда надеялся провести время приятно. Не лишенный природного ума и честный, но настоящий служака, он пытался рассуждать о политике и образованности, все переиначивая на свой лад, пока я умирал с голоду и бесился от досады. Сочинителю, который возьмет на себя труд вышивать по этой канве, предоставляю изобразить наш разговор и мое нетерпение. Если бы этот сочинитель мог последовать за мной во главе обоза с пригасами к генералу, увидеть меня, с моим робким обхождением, и этого начальника, уже полупьяного, окруженного плутами-поставщиками, которые обманывали его кто во что горазд!

Наступила ночь, я лег спать. Все меня раздражало, единственной утешительной мыслью было, что завтра я догоню своих, пообедаю и, утолив голод, возьму невзгоды миновавшего дня.

Едва начало светать, как я уже был на ногах, оседлал свою лошадь и через пять минут выехал на большую дорогу. Новое несчастье: было двадцать градусов мороза и я не мог оставаться в седле. Арапка, ленивая, как ее хозяин, не хотела идти впереди, и, чтобы заставить ее следовать за собой, мне пришлось поступить с ней так, как не принято обращаться с особами ее пола; я мог тащить ее только прибегая к силе.

Убедитесь, прошу вас, в том, что благородные сердца встречаются повсюду. Накануне я учтиво обошелся с одним врачом, с которым другие офицеры обращались очень грубо. Сейчас он ехал в Смолевичи, чтобы устроить там лазарет, и, как раз когда я воевал с Арапкой, перегнал меня в санях, запряженных тройкой добрых лошадей. Он узнал меня раньше, нежели я его, а так как благодарность есть первое движение чувствительной души...

— В такую погоду плохо ехать верхом,— сказал он мне.

— Ужасно,— отвечал я ему.

— Так что ж, поезжайте со мной.

И с его помощью я быстро оказался рядом с ним в санях.

Вы, конечно, подумаете, что моим несчастьям наступил конец: я сижу в хороших санях, быстро мчусь вперед, через два часа догоню полк... Могли ли я предвидеть, что после такой удачи на меня свалится тысяча новых невзгод... Не проехали мы и двух верст, как наткнулись на целую гряду артиллерийских и обозных повозок, через которую невозможно было пробраться. Пришлось выйти из саней. Мой врач, поразмыслив, решил войти в хижину и провести там ночь, но я слишком горел нетерпением приехать к своим и, с сожалением распроставшись с ним, взлез на свою Арапку и дал шпоры. Но толку от этого не было. Мороз усилился, дорога так обледенела, что Арапка чуть не падала на каждом шагу и в конце концов свалилась с пригорка; я оказался под ней, одна крага у меня соскользнула, и я покатылся в снег.

Было от чего прийти в отчаяние. До ближайшей деревни оставалось не менее десяти верст, а лошадь совершенно не могла идти за мной. Много раз мы падали, сто раз скользили, тысячу раз я терял терпение, и наконец увидав издали эти несчастные Смолевичи, от которых было еще пять верст до наших квартир, я без всяких на то оснований почувствовал себя счастливым. Удвоив усилия, я добрался наконец до какого-то полуразрушенного дома.

В этом местечке скопилось до семисот больных и раненых. Войдя в комнату, я застал там одного пажу и нескольких армейских офицеров,

<sup>1</sup> Вер-вер — попугай, улетевший из клетки, о приключениях которого французский поэт Ж.-Б. Грессе написал поэму, очень популярную в XVIII веке.

догонявших свои полки. Они были так добры, что предложили мне мякинного хлеба и стакан пустого чаю. Но это было не все. Я ждал от них еще одного благодеяния: я надеялся, что они подвезут меня в своих саянях, и не ошибся: они имели учтивость пригласить меня с собой. А я, чтобы отблагодарить их за любезность, велел открыть бутылку скверного вина, которое принесла маркитантка. До Дейнаровки мы добрались без дальнейших приключений. Каково же было мое отчаяние, когда я узнал, что армия не остановилась здесь на отдых, а ушла на пятнадцать верст вперед к Городку. Я решил переночевать с этими господами и вновь попытать счастья завтра. Был среди них некий майор Аракчеев, человек с виду порядочный, предупредительный и спокойный; потом производивший страшный шум полупьяный поручик; довольно хорошо воспитанный молодой офицер, поправлявшийся после болезни; и этот паж — отвратительное животное, с которым мне пришлось провести весь следующий день. Все мы стеснялись друг друга, непринужденный разговор, обычно возникающий на ночлегах, никак не завязывался. Мы даже не успели еще сообщить друг другу, куда и откуда мы едем, как к нам присоединилось новое лицо. Это был артиллерийский офицер, зашедший погреться. Он извинился за свою бесцеремонность, и мы тут же поняли, что он из тех людей, которые расплачиваются за причиняемое ими беспокойство забавными историями. Говорил он очень хорошо, но с заметной аффектацией; выражения были так хорошо выбраны, периоды так стройны, паузы так точно рассчитаны, все было так складно и гладко, что видно было: ему не раз уже приходилось греться у чужого огня.

Он много рассказывал о Польше, мы не могли не посмеяться двум-трем анекдотам, так же как его аффектации.

— Прощайте, господа, — сказал он, вставая, — пора уходить, делу время, а потехе час. Покойный Кутайсов<sup>1</sup> всегда соблюдал это правило...

Слово за слово он стал говорить о Кутайсове и просидел еще добрый час. Трижды он подымался, собираясь уйти, и трижды возвращался, чтобы закончить еще один анекдот. Наконец, наговорив нам уже в дверях тысячу любезностей, наш словоохотливый гость распрощался с нами.

Тут я без церемонии сказал этим господам, что навряд ли кто-нибудь из нас сумеет так же блистать красноречием и потому нам лучше всего отправляться спать. Мое предложение было единодушно принято; принесли соломы, и вскоре послышался храп.

Пока я спокойно сплю, подумайте о благодетельности сна. Лежать было жестко, дверь ежеминутно открывалась, впуская сильную струю холодного воздуха, из большой щели в стене страшно дуло — а все-таки я сладко спал, позабыв все свои огорчения, и даже не грезил о хорошем обеде, столь мне необходимом; нет, я видел во сне ваши дорогие черты, бесценный друг, радость моей жизни. Ночь тихо распростерла свои крыла, потом сложила их, а я все спал.

Разбудил меня отчаянный вопль: «Караул, грабят!» Драгунский патруль, проходивший мимо, украл поросенка у нашей хозяйки, и крики ее подняли на ноги весь дом. Я утешал ее как мог, рассказав, что то же самое произошло накануне в другой деревне.

Армейские офицеры уселись в свои сани, а я занял место рядом с пажем, только что произведенным в офицеры. Это был один из тех часто встречающихся дураков, которые не могут встретить крестьянина, чтобы не остановить его и не расспросить, без конца спрашивают о дороге, пристают ко всем встречным и надоедают до смерти, требуя объяснений обо всем на свете. Нам оставалось проехать только пять верст. Солнце

<sup>1</sup> Кутайсов Александр Иванович — генерал, герой Бородина; в начале Отечественной войны был назначен начальником артиллерии в армии Барклая де Толли. Кутузов оставил его в той же должности. Убит у Курганной батареи при взятии ее французами.

садилось; накануне целый день ушел у меня на то, чтобы проехать десять верст с бесконечными остановками, а теперь я вынужден разговаривать с дураком, отвечать на его бесконечные вопросы; а я три дня уж не обедал и сгорал нетерпением догнать своих.

«Слава богу,— подумал я,— вот деревня, от которой остается проехать только версту».

— Остановимся здесь,— говорит мой дурак.— Мне надо привести в порядок свой туалет. И давайте пообедаем здесь, я проголодался.

— Но послушайте, мой друг,— говорю я,— вы пообедаете у нас. Меня ждут. А что касается вашего вида, то вы прекрасно выглядите и ваш наряд вполне приличен, тем более для путешественника.

Мне лишь с большим трудом удалось убедить его, приведя ему множество примеров и невольно выказав свою досаду. Около каждой избы он делал попытку остановиться.

— Как же мне явиться к начальству? Не отправиться ли мне прямо в полк? Где мы будем обедать? Надо ли будет снимать шинель? — и еще сотни вопросов один глупее другого \*. Я задыхался от злости и, кажется,

---

\* (Я не мог больше выносить его вопросов.)

— Ну что ж, остановимся,— сказал я ему,— если вы считаете это необходимым.

Мы как раз подъехали к какой-то избе, и я вышел из саней. Не успел я повернуть голову, как страшное зрелище потрясло все мои чувства. Перед домом на снегу виднелись остатки догорающего костра. Более полтораста обнаженных трупов лежало кучами; в их лицах и позах читались следы величайшего отчаяния и страдания. Я ощутил такой ужас при виде их, что хотел отойти в сторону, как вдруг услышал стоны возле костра. Трое или четверо несчастных, сохранивших еще достаточно сил, чтобы сознавать всю меру своего бедствия, наполовину обмороженные и окруженные мертвецами, как видно, только что испустившими последний вздох, совершенно обнаженные, буквально не имевшие даже чем прикрыть стыд,— пытались поддержать в себе жизнь, которая не сулила им ничего, кроме мук; они протягивали свои окоченевшие члены к углям, уже не дававшим тепла. Еле слышными голосами они просили у нас защиты, едва внятная мольба и глухие стенания, выражавшие их муку, терзали сердце доколе неведомым мне по силе, не испытанным еще состраданием. На одном из них оставался еще жилет, которым он пытался прикрыться... Два солдата, гнусные злодеи — надеюсь, единственные, кто так позорит нашу армию,— два солдата, повторяю, отнимали у него этот жилет, и он без жалоб, без сопротивления отдал свое единственное одеяние, растянулся на угольях и простился с жизнью. Сознание того, что я не имею сил быть им полезным, переворачивало во мне душу. Отчаяние охватило меня; отвернувшись, я поспешил отойти. Тут другая жестокая картина бросилась мне в глаза: мой дурак завел беседу с одним из этих несчастных.

— Подите сюда,— сказал я ему,— как вам не стыдно! Оставьте этих бедняг, чтобы в довершение всех мук они не испытали еще терзаний зависти, не стали проклинать судьбу. Они уже свыклись с мыслью, что им не на что надеяться, разве вы не понимаете, что испытывают они при виде вас, сытого и тепло одетого, вынужденные отвечать на ваши праздные вопросы? Неужели вам доставляет удовольствие это страшное зрелище? Уходите скорее! Пожалейте несчастных и не усугубляйте понапрасну их отчаяние.

Мне пришлось оттащить его силой, мое внушение заставило его на время забыть заботы о туалете, и мы молча поехали дальше.

— Вот деревня. Мне же надо переодеться.) (Прим. автора.)

выскочил бы из саней и поехал бы дальше верхом, если бы нам не встретился солдат.

— Где стоит наш полк?

— Вот в этой деревне. Нынче дневка.

Слава богу, наконец я у своих.

Двадцать пять человек разместились в одной комнате. Было уже поздно. Мне дали отвратительного супу без хлеба, но, улегшись, я забыл всю усталость предшествовавших трех дней и был счастлив тем, что утомительное путешествие пришло к концу.

Сегодня утром мы прошли шестнадцать верст за четыре часа, рано прибыли на место, хорошо позбедали, я получил письма, написал ответы, отдохнул, внес эту главу в свой дневник и теперь ложусь спать до завтра, довольный прошедшим днем, и — в доказательство умеренности своих желаний — объявляю себя счастливым.

*27 ноября. Козельщина.*

Сегодня мы прошли двадцать две версты. Прежних густых лесов уже нет, местность стала такой холмистой, что равнины почти не встречаются. Прелестные пейзажи украшают дорогу, часто попадаются изрядно выстроенные и красиво расположенные местечки.

*28 ноября. Ершевичи.*

Мы сделали ныне едва пятнадцать верст. Несколько дней стоял сильный мороз, но сегодня значительно потеплело и переход был очень приятен.

Как подумаешь, в походе можно многому научиться; только тут привыкаешь переносить всяческие лишения. Мне случалось обходиться без хлеба, без припасов, без обеда, который стал теперь для меня необходим, и все-таки я чувствовал себя счастливым. Уж восемь месяцев как я лишен всякого общества и все-таки не совсем утратил свою обычную веселость и при всех неблагоприятных обстоятельствах сохраняю способность мужественно переносить невзгоды. Но всегда что-нибудь мешает мне чувствовать себя совершенно счастливым. Сейчас, например, меня очень тревожит тяжелое положение нашей армии. Гвардия уже двенадцать дней, вся армия целый месяц не получают хлеба, а дороги забиты обозами с провиантом, и мы захватываем у неприятеля склады, полные сухарей. В чем же дело? Да в том, что артиллерийский обоз, столь же громоздкий, сколь бесполезный, загородил дорогу, что, находясь в ста пятидесяти верстах от неприятеля, у нас не умеют устроить этапы.

Разве нельзя извинить солдата, измученного голодом, знающего, что, придя на место, он должен будет ночевать на открытом воздухе у разожженного им самим костра, если он попытается задержаться в деревне, где всего изобильно? Пожалуй, мы сами отстали бы от полка, если бы терпели такую же нужду и были убеждены, что сумеем догнать армию на первой же дневке.

Когда мы вышли из Петербурга, в наших ротах было по сто шестьдесят человек. Ранеными и убитыми в Бородинском сражении вышло не более десятка на роту. А теперь в каждой остается едва пятьдесят—шестьдесят солдат.

Вы, на которых ложится бремя командования, прочтите это и подумайте, сколь мало людей было бы потеряно — даже если не жалеть жертв, приносимых на алтарь отечества, — когда бы вы позаботились и

приняли должные меры, чтобы армия имела все необходимое, чтобы в ней не подымался попот — опаснейшее из бедствий.

*30 ноября. Дневка в Константиновке после вчерашнего двадцатидвухверстного перехода. В ста пятидесяти верстах от Вильны.*

### УПРЯМСТВО

То ли я слишком философ для моих лет, то ли слишком заношусь мыслями, то ли — и это самое вероятное — у меня в голове царит полная путаница, но бывают минуты, когда мне кажется так просто переделать человечество, что даже удивительно, как никто до меня не додумался до этого.

Давно уж, например, меня удивляет упорство людей в суждениях и еще более переменчивость их мнений. Молодой человек вступает в свет; все, что он видит, производит на него впечатление, и эти впечатления определяют его образ мыслей, который, однажды приняв, он твердо соблюдает, сопротивляясь всему, что с ним разнствует. Напрасно пытаются переубедить его разумнейшие и старейшие; он упорствует в своих заблуждениях, пока опыт наконец не откроет ему глаза. Когда же изменившиеся обстоятельства производят перемену в его образе мыслей, он, просветившись, с жадностью хватается за новые доказательства правоты своих новых мнений. Вы можете тогда прийти к нему в надежде восторжествовать, вы можете напомнить ему прежние ошибки, чтобы доказать, что он может впасть в подобные же и по другому случаю, но тщетно — он не слушает ваших советов, отвергает вашу дружбу; лишь впоследствии опыт покажет ему, где истина.

Так я рассуждаю и не могу понять, как же это получается, что сам я не менее слеп, чем другие? Увлечшись этим философским размышлением, я решился было принимать с благодарностью все советы, какие мне станут давать, отказываться от собственных убеждений, дабы следовать чужим мнениям, и изменять свой образ мыслей в угождение моим друзьям; я возгордился уже своей властью над собой и, как новый преобразователь, возымел надежду, что мой пример послужит к исправлению других; но в завершение своих мечтаний услышал вдруг, что меня считают ужасным фанфароном.

— Да что вы? — возразил я. — Напротив, я очень скромн.

— Нисколько. Разве не вы рассказывали мне об А. Г., смеясь над его хвастливостью, а сами ведь ничуть не лучше его.

Я возражал, спорил, и мы расстались, не придя к согласию.

Сегодня утром, перебирая в памяти пережитое — занятие всегда приятное, — я вспомнил об этом споре. Как я был тогда не прав; ведь минутные радости скоропреходящи, и удовольствие, которое я испытал, похвалившись, уж давно растаяло. Теперь я смотрю на вещи хладнокровно, и это помогает мне искренне признать свое прежнее ослепление.

«Как! — подумал я. — Я мечтаю подать пример совершенствования, а сам до сих пор не могу освободиться от упрямства, которое по натуре присуще человеку, и вкупе с тщеславием заставляет его предпочитать свои собственные, пусть ложные, мнения благодетельным лучам истины. Есть слабости, от которых, как и от страстей, не бывает свободно наше существование; к числу их, несомненно, относится упрямство. Правда, некоторые смешивают этот недостаток с постоянством или с энергией, которым упрямство, бесспорно, придает силы; но ежели оба эти качества способствуют нашему собственному счастью и счастью тех, кто нас окружает, то упрямство лишь возвращает в нас ложные взгляды, свращает нас с пути истины и удаляет от совершенства, всячески препятствуя его достижению.

2 декабря. Город Борунь.

### ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ

Наконец решено как будто, что мы здесь остановимся. Неприятель так ослабел, что нашим объединенным силам нечего делать; решено остановиться в Вильне. Вчера мы прошли пятнадцать верст до Новоселок и сегодня столько же до этого местечка; остается только три перехода, и каждая минута приближает нас к отдыху.

Мы остановимся на отдых. Вы знаете, как месяц тому назад я сетовал на скуку зимних квартир. Вы видели, как меня пугала тоска унылого одиночества. Ну что ж, невзгоды и трудности похода не изменили меня. Более чем когда-либо, я боюсь остаться один, потому что тогда буду лишен всех удовольствий. Мои привычные занятия невозможны, друзья далеко, а с ними все радости; я не жду ничего хорошего от отдыха, который приводит других в восторг.

Только что написал я эти строки и хотел продолжать, как ко мне подошел Окунев<sup>1</sup> и спросил:

— Что вы там пишете? О чем вы можете столько рассуждать? Какая-то непонятная чепуха!

— Вы правы,— отвечал я.

И действительно, может быть, он в эту минуту дал справедливую оценку моему дневнику.

Впрочем, Окунев вообще не способен понять, как можно чем-то заниматься. Он из тех людей, которые — обладая благопристойной внешностью и умением держаться, необходимым в свете,— отвращаются от всех истинных наслаждений, домогаясь лишь тех, что обещает им свет. Он не понимает, как можно читать, не находит удовольствия в том, чтобы набросать несколько строк, вести легкую беседу — словом, он прозябает, чуждый радостям бытия. А я обречен проводить время в его обществе, и это, разумеется, не сделает для меня зимние квартиры приятнее.

Толстой<sup>2</sup>, наш новый офицер,— это молодой человек, довольно хорошо для своих лет узнавший жизнь, избалованный родителями и мало общительный; над ним можно посмеяться, и это все. Вы понимаете, конечно, что не с ним я сумею приятно проводить время.

Поль своей кротостью и дружеской беседой украсит немного это время отдыха, которое для меня будет тянуться так долго; но Поль поручен мне, и эта ответственность скорее тяготит меня, чем укрепляет. Всегда хочется видеть безупречным того, кого надеешься сделать таким, и потому всякое надзирание неприятно.

У Якушкина есть все, что нужно хорошему товарищу, и если, несмотря на Поля и Якушкина, я все же предвижу, что мне придется скучать, если я глубоко убежден в этом, то потому лишь, что отсутствие занятий всегда наводит на меня тоску и я не могу быть счастлив без красок и кисти.

3 декабря.

Квартиры в четырнадцати верстах перед Ошмянами. Переход в двадцать восемь верст.

4 декабря.

Сегодня прошли тридцать верст. Главная квартира в Рукойнях.

<sup>1</sup> Окунев Гавриил Семенович — офицер Семеновского полка, участвовал в сражении при Аустерлице и в Бородинской битве.

<sup>2</sup> Толстой Иван Николаевич — офицер Семеновского полка, приятель декабриста И. Д. Якушкина.

Сегодня второй день, как мы вышли на большую дорогу, и если желание славы может наэлектризовать душу, то зрелище, которое представляет эта дорога, вызывает сильнейшее отвращение к войне.

Я родился, чтобы погибнуть на службе отечеству, и заранее приготовился не бояться ни ядер, ни опасности, но не могу свыкнуться с ужасами, подобными тем, что видел на этой дороге.

Нам предстояло пройти двадцать восемь верст, погода была скверная — страшный ветер и мороз, — идти было очень нелегко. Но как передать ужас, охвативший нас при виде наваленных кучами, один поверх других, замерзлых трупов, застывших в позах, выражающих мучительную агонию. Отворачиваешься от трупа, во всех членах которого запечатлено страдание, раздирающее сердце, отворачиваешься — и видишь еще более страшный; напрасно глаза ищут менее скорбного зрелища; чтобы дать им отдых, приходится устремлять взор на отдаленные поля. И радуешься, увидав хоть малое пространство, покрытое только снегом, свободное от ужасных мертвецов.

Все деревни разрушены, сожжены; от них не осталось и следов. От постоянных дворов, стоявших вдоль дороги, сохранились лишь развалины печей, возле которых видишь сотни скелетов, жалкие останки несчастных, которые погребли своих близких и сами нашли смерть на пепелищах своих домов.

Мне случилось слышать рыдания. То был плач таких же несчастных, сидевших на трупах у полупогасших костров и едва поддерживавших жизнь конской падалью.

Вид этих людей настолько огрубляет сердце, что в конце концов перестаешь что-либо ощущать вообще. Страшное отвращение подавляет все мысли. Признаюсь, эти картины так перевернули мне душу, что я почувствовал облегчение, только улегшись в постель в десяти верстах от Вильны в надежде назавтра прийти туда и там отдохнуть от всего пережитого.

*Вильна, 6 декабря.*

Что это за предмет, поражающий вас издали, удивляющий и пугающий? Подойдите к нему поближе — в нем нет ничего странного, и можно спокойно смотреть на него... Что это за радостная минута, которую вы ожидали с таким нетерпением? Неужели та самая, которую вы встречаете столь равнодушно? Что это за тяжелое положение, которого вы так опасались? Неужели оно наступило и вы переносите его так бодро? В перспективе все кажется преувеличенным; воображение и надежда обезображивают или украшают то, что смутно виднеется вдаль; когда же подходишь ближе, все подробности различаются яснее, присутствии истины показывает нам вещи в их истинном свете, она разгоняет пар воображения, затмевавший действительные очертания вещей.

Вчера утром меня разбудили, чтобы я прочел приказ по полку: всем велено быть одетыми во всей чистоте и исправности и соблюдать на марше величайший порядок и т. д. Наконец мы войдем в Вильну! Мы были всего в десяти верстах от нее, а на два часа пополудни было назначено торжественное вступление.

Сердце у меня забилось, я забыл обо всем. «Наконец-то, — думалось мне, — я отдохну от всех невзгод походной жизни, хорошо пообедаю, побываю в театре, погуляю по бульварам, приведу в порядок свой гардероб...» Все эти планы до такой степени заполнили мой ум, что я ни о чем другом не мог думать, пока наконец издали не показалась Вильна.

Так вот он — этот эдем, этот приют покоя, эта обитель отдыха! — совсем уж близко, рядом с нами. Я не досадовал более ни на трехчасо-

вое утомительное стояние в строю, ни на парад, в течение которого мы все закоченели из-за неуместного щегольства. Оказавшись наконец в своей комнате, я первым делом потребовал подать мне кофею и позвать фактора <sup>1</sup>.

Когда мы первый раз стояли в Вильне <sup>2</sup>, и тот и другой мне пришлось по нраву; я твердо запомнил, что за семь копеек можно получить чашку прекрасного кофею; помнил также, что довольно призвать фактора — и можно дать полный простор своему воображению.

Какой вкусный белый хлеб! Какой прекрасный кофе! Шесть чашек, семь булочек проглочено в одну минуту. Вот уже постель моя поставлена и полог натянут, письменный стол мой устроен и тетради разложены в порядке.

— Ну, фактор, — сказал я, — тут все можно достать?

— Да, сударь. Двенадцатого будет бал, и поэтому можно будет купить любые предметы туалета.

Двенадцатого будет бал! Я буду танцевать! Скорее достаньте мне сукна на мундир! Есть тут шали? А золотое шитье? Можно ли купить сани? Велите принести клавиесин! Достаньте посуду! Отдайте в стирку мое белье! Пусть накормят лошадей! Где квартира моего любезного графа? Где помещается господин Пассек <sup>3</sup>? Добудьте мне сапоги! Велите вышить парадный воротник к мундиру! Доставьте хороший обед! Достаньте писчей бумаги! Живее! Скорее! Отправляйтесь! Идите! Чтоб все было готово тотчас же!

Немало поручений, не так ли? И каждое вызывало рой приятных мыслей, каждое обещало удовольствия. Желания громоздятся одно на другое, обгоняют друг друга...

Посмотрите же, сколь счастлив человек, обещавший себе все эти удовольствия; узнав его мечты, посмотрите, что его встретило в действительности!

Сегодня утром мне принесли прекрасного кофею, но дороговизны несусветной. По золотому каждое утро — это уж прямой грабеж; придется вернуться к прежнему обыкновению закупать все по отдельности.

— Напрокат клавиесинов не дают, можно только купить.

Ну что ж, обойдусь без музыки.

— Сани продаются, но цена их очень высока.

Ну что ж, буду ходить пешком.

— Хозяйка не хочет взять белье в стирку.

Ну что ж, потерплю.

— Нельзя достать ни охапки сена.

Ну что ж, придется поехать за ним за двадцать верст.

— Готовых сапог нет.

Ну что ж, несколько дней нельзя будет выйти из дому.

— Шитый воротник стоит двадцать рублей серебром.

Это слишком дорого, придется обойтись старым.

Обед принесли сквернейший. Ну что ж, завтра велю приготовить лучший.

Про писчую бумагу забыли. Ну что ж, сегодня не буду никому писать.

Вечером я прошу чаю — нет ни сливок, ни хлеба. Ну что ж, завтра велю запasti.

<sup>1</sup> Фактор — посредник, маклер.

<sup>2</sup> Семеновский полк стоял в Вильне с 21-го до 29-го мая 1812 г.

<sup>3</sup> Пассек Петр Петрович — отставной генерал-майор (сводный брат матери Чичерина), в будущем декабрист. В 1812 году служил в смоленском ополчении.

Выйти на улицу мне не в чем. Ну что ж, останусь без денег — я рассчитывал занять их у господина Пассека.

Сукно тут есть прекрасное, но денег у меня нет. Ну что ж, ну что ж, — увы — не придется мне идти на бал двенадцатого, проскучаю этот день один.

Все буквально так и было. К несчастью, это чистая правда. Увидев, что все мои планы так быстро рухнули, я приготовился проводить вечера так же уныло, как в Тарутине, как на биваках, как в походе, а не как в столице, находя величайшее утешение в беседах с Якушкиным (сегодня мы проговорили до 11 часов). И все-таки я счастлив — счастлив сознанием, что истинное наслаждение состоит отнюдь не в исполнении прихотей, ставших привычными, а в душевном покое, дружеской привязанности, увлекательной беседе, которые всегда доступны и которых ничто не может от нас отнять.

Но что я говорю! Для чего отказываться от благ, которыми небо нас одаряет? Для чего ограничивать наслаждения, ожидающие нас в самых различных обстоятельствах нашей жизни? Во всем, что нас окружает, можно найти приятность. Для чего же бояться прихотей, для чего гасить огонь воображения, для чего гнать от себя мечты и подавлять увлечения ума, чреватые столькими радостями? Ведь даже ошибки могут стать источником удовольствия: приятно обнаруживать их, приятно размышлять о том, что их произвело и как избежать их в будущем.

Умы, ожесточенные чрезмерным тщеславием, которое требует, чтоб вы были выше всех, — послушайте меня, вы, мрачные философы, беспрестанно опасующиеся впасть в ошибку и (тоже из тщеславия) повсюду видящие опасность и пугающиеся радостных красок, которыми воображение расцвечивает все кругом! Возблагодарите лучше вместе со мной провидение за то, что оно так печется о наших удовольствиях, и признайте, что ваши заблуждения гонят вас прочь от общества, отнимают у вас вкус к жизни, унижают в ваших глазах подобных вам и приучают вас не верить самим себе, не развивать свои способности, — тогда как мои заблуждения привязывают меня к обществу легкими и приятными узами, открывают мою душу всем радостным впечатлениям, прогоняют от меня черный яд зависти, учат любить жизнь и находить цветы там, где вы встречаете только тернии, уколы которых кажутся вам такими болезненными!

Но городские часы бьют полночь. Я хотел встретить новые сутки, а вовсе не из-за бессонницы засиделся так поздно. Все мои планы разбились, я провел день почти в одиночестве, ничего не вышло из того, что я задумал; может показаться, что я написал эти страницы, чтобы излить свои жалобы. Но день уже кончился и вот уже начинается следующий, а я еще не скучал, я доволен и счастлив — счастлив тем, что беседовал с другом, что писал дневник, и особенно счастлив тем, что могу чувствовать беспредельную благодать провидения.

8 декабря.

Чувствительные души, не знающие предела благородной чуткости, последуйте за мной, побудьте со мной в течение суток среди страшных зрелищ, и вы испытаете чувства, которые можно счесть проявлением слабости. Но что я говорю! Это вы должны прийти сюда, честолюбцы, опустошающие землю, вы, чьи прихоти стоили жизни тысячам людей, вы, кто, командуя великолепными армиями, думает только о своих победах и лаврах! И ты, гордый завоеватель, обездоливший всю Европу, ты, Наполеон, войди сюда со мной! Приди, полюбуйся на плоды дел твоих — и пусть ужасное зрелище, которое предстанет твоим глазам, будет частью возмездия за твои преступления.

Войди со мной во двор этого величественного храма: слышишь глухие стоны, повторяемые эхом его сводов, обоняешь чумное зловоние, которым заражен воздух? Тебе страшно? Ступай осторожнее, смотри, как бы твои дрожащие ноги не споткнулись о трупы, наваленные на твоём пути. Видишь этот коридор, эти проходы, где блуждают тени, бесплотные призраки, уста которых едва могут прошептать слабую мольбу о хлебе? Скорее пройдем этот длинный проход, где множество несчастных задерживает наши шаги; отвернись от них — их вид взывает о мщении; выйдем во двор, взглянем, что там. Но что же — и это обширное пространство, окруженное пышными зданиями, являет сцены еще более печальные. Остановись, взгляни на эти окна, у которых толпятся пленные, с покорностью ожидающие смерти; видишь, как оттуда сбрасывают тела тех, чьи страдания пресечены смертью? Видишь тех, кто валяется в снегу, не в силах шевельнуться, не в силах произнести последнюю мольбу, но еще дышит? Видишь телеги, наполненные трупами, которые будут ввержены в пламя? И это еще более счастливые среди сих отверженцев судьбы. Оглянись вокруг, насыться этим страшным зрелищем смерти, оно должно быть приятно тебе, ведь это дело рук твоих, ведь ты принес этих несчастных в жертву своему честолюбию.

Должно быть, у меня сильно закружилась голова, когда я проходил по коридорам и помещениям этой тюрьмы, где был сегодня в карауле, ежели я вздумал искать Наполеона в тех краях, куда он теперь бежал, чтоб обвинить его во всех преступлениях.

Правда, я не в силах передать ужас, охвативший меня сегодня утром. Страшное зловоние, которым был полон двор, заставило меня броситься прочь отсюда. Я вошел в кордегардию. Бедный молодой немец, который волею судеб оказался во власти французов, находился там по приказу коменданта, ожидая, пока для него найдут другое помещение. Владелица дома, которой, может быть, стоило бы посвятить целых две главы за ее болтовню, была небогатая женщина, еще довольно свежая, очень недовольная своими постояльцами; она пятнадцать дней как овдовела и четырнадцать как утешилась. Она принимала гостей, сама отправлялась в гости, уходила и приходила, смеялась, ужасно бранилась со всеми, ругала немца, который занял ее кровать, прогнала солдата, просившего воды, приласкала старика, прося его затопить печь; ее нелепые выходы перебивали мрачные мысли, овладевшие мной при виде пленных.

Надо было видеть, с какой жадностью французы оспаривали друг у друга сухари, которые им принесли. Тщетно пытался я усладить участь молодого немца, выслушав повесть о его несчастьях и надеждах; каждую минуту какой-нибудь несчастный протискивался к окну, прося хлеба, со двора слышались ужасные крики, каждую минуту пронесли мертвецов, кругом вспыхивали ссоры, выворачивающие душу, — и я страдал так, словно сам был в положении этих несчастных. В этой же кордегардии находилась молодая голландка с обмороженными ногами; она была маркитанткой в армии и попала в плен к казакам, которые ее ранили; какой-то генерал хотел взять ее к себе, а пока что она оставалась здесь, завися от милости хозяйки и оплакивая мужа, умершего десять дней тому назад той страшной смертью, примеры которой я видел кругом. Надо было видеть ее благодарность, когда я дал ей поесть; волнение ее сердца излилось слезами, она целовала мне руки, называла меня самыми лестными именами на своем языке.

Мне пришлось бы исписать много страниц, если бы я хотел рассказать обо всем, что видел и слышал. Поскольку среди стольких ужасов я сохранял ясность мысли, в беспорядочности этих записей следует обвинить хозяйку, непрерывно болтавшую и рассказывавшую мне — гордясь

своей ролью покровительницы и немало привирая, — как она приютила у себя голландку и как она жила раньше, до французов, какие у нее были наряды и уборы, какие ожерелья и как теперь ей даже стыдно показаться на люди; и среди этого отчаяния, среди этого ужаса она вдруг заявила, что, если ей встретится подходящий офицер, она попросит его заменить супруга, утраченного две недели тому назад.

— Я и кофей по утрам пить перестала, все мне постыло — надо скорей выходить замуж, хоть бы за офицера.

Я заканчиваю эту главу, потому что хозяйка не дает мне покою; но не воображайте, что в завтрашней главе я объявлю вам о своем обручении. Несмотря на ее красноречие и повадки знатной дамы, я постараюсь сохранить свое сердце для Дульцинеи более высокого полета; пока я слишком счастлив своей свободой, чтобы думать о ценах супружества.

*13 декабря.*

Видите, как я развлекаюсь? Не знай вы меня, вы бы, пожалуй, подумали, будто я только и знаю, что ездить на балы да спектакли, по утрам ходить в гости, а вечером в концерты и предаваться всем удовольствиям общества до полного забвения моей любви к уединению и моего лучшего друга и наперсника — моего дневника.

Но вы ведь знаете мои привычки, знаете, что, как раз когда я весел и счастлив, когда у меня много наслаждений и развлечений, я отдаю многие минуты уединению, размышлению, серьезным занятиям; что каждый вечер я собираю мысли, рассеянные удовольствиями дня, привожу их в порядок, заносу в дневник. Вы знаете также и то, что когда я печален, озабочен, тоскую, и когда, к несчастью, я без денег, тогда — полюбуйте, как влияет корыстолюбие на наше поведение, — тогда любимейшие занятия становятся немилы мне и самое дорогое из них кажется неприятным бременем... Войдите в мое положение, посочувствуйте моему страданию и пожалейте того, чьи радости и огорчения зависят от таких ничтожных причин и навряд ли сохранятся в памяти людской, когда его не станет.

Вильна для меня все равно что деревня: в театрах я не был, вчерашний бал прошел без меня, я не хожу ни на парады, ни на учения, гулять тут негде... Ах, я забыл: вчера я пошел смотреть иллюминацию, но как философ — наблюдая толкотню зевак, бродя вместе с толпой по улицам и разглядывая непонятные мне надписи.

Однако движение, происходящее в Главной квартире, втягивает, так сказать, и меня в свой обыденный поток: утром я одеваюсь, иду навесить графа или поскучать у своих товарищей, потом обедаю — и день проходит; завтра — то же самое. Каждый день я обещаю себе что-то предпринять и не сдерживаю слова.

*15 декабря 1812 года. Вильна.*

#### ТАК ЧТО ЖЕ МНЕ НАРИСОВАТЬ?

«Так что же мне нарисовать?» — подумал я сегодня утром, вернувшись с прогулки. Все, что я вижу кругом, наводит на меня еще большую тоску. Я один у себя в комнате, меня одолевают неприятные мысли или неосуществимые мечты, беседовать мне не о чем; я встаю, одеваюсь и выхожу на улицу, чтобы развеять свою тоску видом прохожих.

Но что за странные кучки, издающие зловоние, встречаются мне на каждом шагу? Это предохранительные меры против эпидемии. Кто

этот горемыка, умоляющий вас о помощи? Скорее прогоните его, он может передать вам болезнь, которой сам заражен. Видите несчастного, который испускает дыхание около того самого костра, дым которого должен предохранять от болезни? Бегите скорее или — если вы милосердны — вонзите ему в грудь кинжал — это единственное благодеяние, которого он может ожидать от вас.

Вот что вы встречаете на улице на каждом шагу.

Пройдите теперь по самым шумным улицам, и вас встретит другое отвратительное зрелище — вся суетность мира сего. Тут бегают, волнуются, ждут у дверей, толпятся под окнами; генерал заговаривает с чиновником, рассыпается перед ним в любезностях, какой-то писарь грубо расталкивает толпу — он спешит, его перу предстоит решать судьбы отечества.

Чего не увидишь, когда живешь близ Главной квартиры, и какую грусть наводит это зрелище! Неужели чудовище, отравляющее воздух своим ядовитым дыханием, примешивая его к аромату прелестнейших цветов, скрывающее под маской дружбы предательский кинжал, навсегда сохранит свою власть над людьми и будет волновать их постыдными страстями? Неужели любовь к отечеству и к истине, разум и справедливость, даже соединясь, так и не смогут преградить дорогу этому чудовищу, которое врывается повсюду несмотря ни на что и невидимо распронрагнет свою тлетворную отраву!

Вы, конечно, хотите утешить меня, когда говорите, что и в прошлом столетии это чудовище властвовало над миром; но как же мне не огорчаться при мысли, что оно сохранит свою власть и в грядущих веках. Видеть порок и не быть в силах бороться с ним — это ужасное состояние, не правда ли? А видеть страшное зло, раздирающее землю, узнавать его мельчайшие приметы, замечать его во всех, кто им сколько-нибудь заражен, чувствовать себя волей-неволей вовлекаемым во всеобщее бедствие — это значит очень дурно думать о людях и унижать себя в собственных глазах.

Вчера вы говорили о господине \*\*\*; почему вы так настаивали на том, что он храбрый человек? Вы говорили и о к[нязе], осуждали его нерешительность, указывали, что никто его не поддерживает; чего же вы хотите — принизить его славу или урвать от нее кусочек для себя?..

Я бы еще многое сказал, но человек рождается со слабостями, которые не оставляют его всю жизнь, таков закон природы; я пытаюсь бороться с ними, подавлять их, отрекаюсь от них. Интриганство же всегда казалось мне настолько отвратительным, что я никогда бы не мог унижаться до него.

«Бедный философ! — говорит мне разум. — Бедный философ, как жалка твоя горячность! Спроси своего друга, ведь ты поверял ему когда-то свои сомнения. Правда, в то время ты не боялся признать многое неясным, ты даже нередко раскаивался в сделанном, а теперь твоих признаний больше не видно. Разве ты безупречен? Трепещи, как бы такое самообольщение не сделало тебя добычей всех пороков».

Интрига, слов нет, распоряжается действиями людей, особенно при дворе, где ей поклоняются больше, чем где бы то ни было, — но зачем же приписывать ей все легкомысленные слова, все поступки, вызванные тщеславием и равнодушием, все мечты об успехах, еще более эфемерных, чем разговоры о них?

Ты склонен сейчас к критике, потому что тебе кажется необходимым унижить такого-то: это придаст убедительность твоим мнениям. Ты готов превознести такой-то поступок, потому что тебе сейчас хочется опорочить другой поступок. Твои мнения всегда зависят от того смысла, который ты хочешь придать своим речам, и при всем этом, я знаю, ты

не хочешь никому причинять зла, яд зависти еще не отравил тебя. Так послушай меня: сдержи свою желчь, не теряя надежды на нравственное исправление твоих ближних; дураки никогда не переведутся, а истина имеет свои алтари, которые нельзя осквернить; зло всегда преувеличивают, а благо преуменьшают. Бывает, что достоинство подвергается преследованию, а порок пользуется уважением, но весы справедливости все-таки остаются верными; истинное счастье, даваемое чистой совестью и всеобщим уважением, столько же доступно людям добродетельным, сколько недостижимо для злых.

16 декабря 1812 года.

### ДРУГ ДЕТСТВА

Как сладостны и прочны дружеские связи, образовавшиеся в самом нежном возрасте, как сильны чувства дружбы, давно соединяющей два сердца!

Алеко Стурдза<sup>1</sup> был лет восьми, когда я впервые встретился с ним. Мы подружились почти сразу же, как встретились; этому способствовал и наш возраст (мы были почти одних лет) и дружба, связывавшая наших родителей; самые нежные годы нашего отрочества прошли вместе, в дружеской близости.

Наконец я расстался с ним, уехав к своему отцу, и на четыре года потерял его из виду. Поступив в полк, я вновь встретился с ним в доме его матери. Она была очень добра и внимательна ко мне, но я не каждую неделю посещал ее; Алеко же был очень занят и почти никогда не бывал дома, я мало искал его общества и, уходя в поход, оставил в Петербурге в лице г-жи Стурдза и ее дочери истинных друзей, а в Алеко — человека, который был мне любезен только ради его родных.

Неужели я тебя вижу? Верить ли глазам? Да, это Алеко, мой нежный друг! Его я сжимаю в своих объятиях. С ним я проведу счастливейшие мгновения в этой кампании.

У меня есть здесь друзья, они неоднократно доказывали мне свою дружбу в разных обстоятельствах; есть у меня здесь и знакомые, не раз проявлявшие интерес и внимание ко мне, привычка и уважение связывают меня с ними; после разлуки мы всегда рады видеться, — все это так, но почему же я никогда не был так счастливо взволнован, как теперь, при встрече с моим любезным Алеко?

Мы провели вместе три часа, а мне все было мало. Мы говорили о его семье, о событиях; ни прошлого, ни будущего мы не касались; мне трудно пересказать здесь нашу беседу, хотя она продолжалась целых три часа подряд и доставила мне величайшее наслаждение.

«Вот, — подумал я, прощаясь с ним, — вот торжество детской дружбы, торжество связей, упроченных временем. Если б всегда я мог испытывать такую же радость при виде тех, кто любит меня с детства; если б всегда я мог сохранить чувства дружбы и уважения, в которых поклялся Алеко, и к нему и ко всем его добрым родным».

### ВОСПОМИНАНИЯ

Я написал предыдущую главу, а внизу страницы оставалось еще место; тут ко мне пришел докучный гость, и, держа перо в руке, я подумал: «Что ж делать, дай-ка нарисую что-нибудь, чтобы заполнить это место».

<sup>1</sup> Алеко — Александр Скарлатович Стурдза, сын молдавского господаря. В детстве А. Чичерин и А. Стурдза виделись постоянно, как как именные родители Стурдзы близ Могилева находилось рядом с именованием бабушки Чичерина — М. С. Пассек.

— Нарисуйте что-нибудь, соответствующее вашим мыслям,— сказал мой посетитель.

— Я бы рад, но мои мечты слишком неопределенны.

— Ну что ж, нарисуйте тогда голубятню или детей.

— Детей? Прекрасно! Я нарисую наши частые блаженные путешествия на остров дружбы, я изображу здесь невинное счастье, которое мы тогда уже знали; я попытаюсь изобразить черты Елены <sup>1</sup>, теперь такой худощавой, в облике толстенькой пятилетней девочки. Мария <sup>2</sup> стоит рядом с ней. Не знаю, удалось ли мне сходство, но воспоминания мои живы. Вот Алеко правит легким судном, которое несет нас вперед, я помогаю ему одной рукой, а другая... ее надо опереть на что-то, нужна еще фигура... Я попытаюсь воскресить черты Николая. Ах, как это больно! Мне кажется, я нарушаю его покой, вызывая его образ, я не могу удержаться от слез, передавая на бумаге его черты.

Я не люблю горевать и потому не люблю говорить о нем, хвалить его, превозносить его достоинства. Я редко решаюсь даже доверить бумаге скорбь и тоску по нем и, вспоминая детские годы, стараюсь о нем не думать, хотя тогда он главенствовал над всем в моей душе; я уже не представляю его себе в человеческом образе — словно это могло бы его оскорбить,— а думаю о нем как о моем ангеле-хранителе, как о звезде, руководящей моей судьбой.

Обожаемый брат, вот уже пять лет, как мы расстались, и с тех пор я ни на мгновение не мог вообразить себя счастливым без тебя. Все, что кажется прекрасным большинству смертных, утрачивает для меня всякую прелесть, как только я вспомню, что мы не можем радоваться вместе; все горести, которые я испытываю, поражают меня тем больше, что я знаю, как ты стремился бы облегчить их; всех, кого я вижу, я невольно сопоставляю с твоим небесным обликом и переживаю самые счастливые мгновения, когда другие думают, что я плачу по тебе.

Кто не эгоист в этом мире? Я плачу, это правда,— но я не скрываю от себя, что умею побеждать свою печаль, я знаю способ: тогда я воображаю себя рядом с тобой. Моей душе не хочется, я уж сказал это, придавать тебе человеческий образ; но я и себя не ощущаю в эти минуты, я чувствую только божественную благу силу, которой подчиняются все мои чувства, я исполняюсь восторга, и моя душа, поддержанная твоей, устремляется к чему-то более великому и более благородному, чем все окружающее. Тогда я действительно с тобой, мой добрый брат, мой обожаемый Николай. Тогда... увы, тогда я один, совсем один, оплакиваю тебя еще горше, чем прежде, и нахожу еще более бессмысленным то, что другие называют счастьем, сравнивая его с тем, чем я наслаждался, когда ты был в живых.

17 декабря.

### ОТДЫХ

Отдыхать надобно и от удовольствий, и от скуки, и от всего, чем мы занимаемся в жизни. Воин откладывает в сторону свой шлем, чтобы насладиться мирной жизнью. Судейский оставляет свои дела, чтобы в объятиях дружбы отдохнуть от хитросплетений человеческих интересов; придворный находит отдохновение в своем тесном кружке; светский человек бежит из города в деревню; ремесленник отдыхает в лоне своего семейства. Ну что ж, и я в беседе с моим другом отдыхаю от удовольствия исписать двадцать четыре страницы: сегодня утром я наконец получил от матушки письма, которые ожидал с таким нетерпением, и чтение их,

<sup>1</sup> Елена — сестра А. С. Стурдзы.

<sup>2</sup> Мария — сестра Александра Чичерина.

а потом писание ответов доставили мне величайшую радость. Как сладостно беседовать с любимыми родными, передавать им свои мысли, как легко писать, когда отвечаешь нежной матери! В ее объятиях отдохну я от военных невзгод, когда кончится этот поход, и там, среди безмятежных удовольствий, созреют мысли, рожденные этой славной кампанией.

Но что же вы подумаете о моем друге, который ничего не сообщает вам о событиях кампании? Я как раз предполагал отдохнуть за приведением в порядок размышлений, вызванных пережитыми событиями, я собирался подготовить историю этой кампании; но разве все наши планы сбываются? Составлять их — даже те, которые не удастся осуществить, — это тоже вид отдохновения. Тот, кто не решается позволить себе это удовольствие, не будучи уверенным в возможности осуществить задуманное, лишает себя одного из сладчайших наслаждений — строить воздушные замки, возводить дворцы на крыльях своего воображения, легчайший трепет которых все мгновенно обрушивает.

Я собирался посвятить отдыху целую главу, почему же я этого не сделал?

Я уже рассказывал вам о голландке, которую встретил среди французских пленных, когда был дежурным на гауптвахте. Так вот, я взял ее к себе. Как бы мне хотелось изобразить ее комнатку, ее скудный гардероб и то, с каким наслаждением она все это устраивала, и как она заботится о моем белье, как она благодарна мне, как я пытаюсь каждый день разговаривать с ней на ломаном голландском языке, как она проливает слезы благодарности, когда меня видит! Невозможно описать ее чувств, когда я сказал ей, что хочу выручить ее из того неудобного и нездорового места, где она была, одеть и накормить; я бы очень хотел рассказать вам, как она выражает свою благодарность и преданность, как старается всячески мне угодить, но я все откладывал это удовольствие и так ничего и не написал об этом.

Так вот, эта женщина может служить подтверждением того, что всякое занятие служит отдыхом. Она все время просит работы; когда ей нечего делать, берет работу у хозяйки и успокаивается только с иголкой в руке. Я вздыхаю всякий раз, как вижу ее. Как было бы приятно сохранить около себя на всю жизнь человека, столь мне преданного! Но долг мой влечет меня в отдаленные края, и эта бедная женщина останется, как прежде, без всякой поддержки, счастливая хоть тем, что на время нашла избавителя.

Пусть вас не возмутит, что, уезжая, я оставляю ее без средств. Только в романах у героя всегда при себе кошелек, полный золота, которое он швыряет кому угодно. Я не стыжусь признаться, что, расставаясь со своей голландкой, смог дать ей очень немного денег; если бы, увлеченный тщеславием, я вздумал бы похваляться, я мог бы гордиться даже тем немногим, что сделал для нее.

*18 декабря.*

#### ВСЕ СЧЕТА В ЭТОМ МИРЕ

Не прошло и двух недель, как Осипов<sup>1</sup> заходил ко мне. Он говорил о кампании и, как это ему было свойственно, очень много говорил о себе: рассказывал о сражениях, в которых он участвовал, о мужестве, которое проявил, о наградах, которые заслужил, и о тех, которые получил, о том, как лестно отзываются о нем генералы, и как хорошо они к нему относят-

<sup>1</sup> Осипов Михаил Григорьевич — начал свою карьеру юнкером в коллегии иностранных дел. Во время войны 1812 года Осипов был адъютантом генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского и особенно отличился во время Бородинского сражения. Умер от горячки.

ся, и какие доказательства этому дают... И вот сегодня я присутствовал на его похоронах. Никто даже не пришел отдать ему последний долг — священнейший, самый бесспорный и наименее обременительный. Неужели дружбе человеческой приходит конец вместе с окончанием нашей жизни? Можно ли надеяться на место в памяти, уйдя из сердца?

Осипов любил хвалиться, тщеславие до такой степени ослепляло его, что он говорил только о себе; мечты, внушенные ему самолюбием, и тайные огорчения, им же вызванные, он переживал как действительные события, тревожившие его беспрестанно. И в то же время это был честный, добрый, мужественный, достойный человек, с приятнейшими манерами и прекрасным характером.

Как я ненавижу людей, которые, начавши словами «Господи, прими его душу», считают, что это дает им право затем сплетничать сколько угодно. Я не смею употреблять это выражение всуе, не решаюсь даже его повторить; если я говорил здесь о недостатках Осипова, то потому, что они у него были, потому, что о мертвых можно лучше судить, чем о живых, так как странное, безрассудное чувство — будто они страдают и несчастны, это чувство, которое всегда испытываешь, заставляет умолкнуть тайную ненависть, всякое пристрастие, и наши суждения оказываются более справедливыми.

Я сказал, что умерших считают несчастными; такое убеждение свидетельствует о душе слабой и заурядной, а все-таки оно встречается вновь и вновь. Что же привязывает нас к жизни так сильно, что мы не можем расстаться с ней без сожаления? Какие чары заставляют нас так упорно цепляться за жизнь, что, даже когда она невыносимо тяжела, мы жалеем тех, кто с ней расстается? Стыдишься этой мысли, говоришь, что несчастны те, кто остались жить, — а в конце концов все-таки жалеешь тех, кого мы потеряли.

Итак, его больше нет, этого Осипова, который в двадцать лет сделал такую блестящую дипломатическую карьеру: и безумный поступок которого обернулся в конце концов улыбкой судьбы, кто был украшен столькими орденами, чья храбрость всем была известна, кто пользовался уважением своего генерала<sup>1</sup>. Итак, его нет в живых — того, кто так спешил пользоваться каждой минутой, кто так любил блеск славы и в двадцати сражениях отпугивал смерть своим мужеством; того, кто уже мечтал о победах и успехах в будущих кампаниях; того, кто был еще слишком молод, чтобы заслужить своими добродетелями место в раю, и слишком стар, чтобы иметь на него право по отроческой невинности; он был как раз в том опасном возрасте, когда человеку приходится больше всего себя упрекать, когда приходится бороться со столькими недостатками, подавлять столько страстей, — Осипов, можно сказать, обладал всеми качествами своего возраста, но не добродетелями христианина. И вот он умер, исчез весь внешний блеск, все, что наружно его украшало, и нам остается только оплакивать его... Все суета в этом мире. И ты когда-нибудь вспомнишь эту истину, глубокую и разящую, трогательную и скорбную; ты будешь ее повторять, и слезы заглушат твои последние слова. «Какой прок в почестях, к чему привели все победы и успехи», — подумаешь ты с горечью; ты предпочла бы видеть его бесславным, но подле себя, чем орошать теперь слезами лавры, стоившие ему жизни.

Вот как бывает в жизни: счастье и несчастье идут бок о бок. Вот мать радуется сейчас успехам своего сына и наших армий, не верит в несчастье, полна блаженства, не хочет даже представить себе опасности, которые

---

<sup>1</sup> Генерал — Николай Николаевич Раевский, герой Отечественной войны; в Бородинском сражении командовал VII корпусом, защищавшим редут, получивший название «батарея Раевского».

грозят ее сыну,— и через несколько дней она будет низвергнута с вершин счастья в бездну отчаяния.

О вы, забывающие обо всем среди своего благополучия, помните, что горе всегда близко. Меч висит над нашей головой и в любую минуту может упасть. Тот, кого рука провидения спасала из тысяч опасностей, гибнет от безделицы, от непредвиденной и не вызывавшей опасения причины. В ту самую минуту, когда вы мечтаете о благодеяниях, которые дарует вам небо, вспомните, что все в руках провидения и что счастье не вечно. Любите славу, гоняйтесь за этим призраком, столь прельстительным в молодости, но стремитесь к счастью более надежному, более спокойному, ибо неожиданный поворот в любое мгновение может показать вам, что все суета в этом мире.

19 декабря.

### ЛОЖЬ

Я никогда не стремился в своем дневнике заниматься порицанием страшных пороков и прославлением великих добродетелей; меня привлекают менее сильные страсти, более мягкие чувства, мне нравится разглядывать причуды и особенности характеров различных, но не блистающих яркими красками.

Ложь — я имею в виду мелкую ложь (я для того и сделал это предисловие, чтобы вы поняли, о чем пойдет речь) — принята и допускается в обществе. Люди, всегда говорящие правду, нередко бывают глупы; смешно класть на весы справедливости пустяки и безделицы. Нередко удачная выдумка вносит веселье в круг собеседников, откуда холодная точность изгнала его; небольшая ложь позволяет избежать крупных неприятностей, спастись от огорчения, отвести беду. Человек, который рассказывает забавную историю с такой же добросовестностью, с какой обсуждают серьезное дело, и нетерпим и неприятен в обществе.

Но почему же, когда мой любезный граф, к которому я пришел, чтобы разогнать мрачные мысли, внушенные похоронами, после шуточного разговора сказал мне: «Ну, а вы, молодой человек, уж, конечно, написали полный журнал нашей кампании?» — почему я ответил ему «да», хотя это противоречило истине?.. Если бы я сказал: «Я дурак, лентяй, за многое хватаюсь и ничего не кончаю», — это было бы чересчур; но ведь я мог сказать ему чистую правду. Ведь я все-таки думал об этом, даже приготовил некоторые материалы, и это составляет уже некоторую заслугу; почему же мне понадобилось прибавлять к ней незаслуженное и говорить, что я уже все сделал? Мне не хотелось рассказывать ему в подробностях о том, что мешает выполнению моего замысла, и потому я солгал. Пусть это ложь невинная, никому не повредившая, но мне-то самому она вредна, поскольку приучает меня к неправде.

О, сколько раз я ловил на ошибках это ничтожное существо, которое считал таким совершенным, этого идола, которому до сих поклоняюсь, имя которому «я»! Тут позволяешь себе немножко солгать, там прощаешь себе другой проступок — и знаете, что самое досадное? — то, что большая часть этих проступков вызывается тщеславием. Да! Все из-за того, чтобы показаться достойным, чтобы блеснуть, и в этом-то кроется опасность, потому что, когда говорит самолюбие, прощай разум, ничего не поделаешь...

Как жаль, что у меня нет с собой моего петербургского дневника, я бы перечитал его, и, может быть, прошлые заблуждения послужили бы мне противоядием против нынешних; может быть, увидев, как я без конца ошибался, обнаружив ослепление даже в том, что мне тогда казалось разумным, я сумел бы совсем исправиться!.. Но этого дневника здесь нет, а воспоминания так тесно сплелись с тщеславными мыслями, что

воображение с готовностью представляет мне мои прежние успехи и уда-  
чи, но отказывается помочь мне, когда я хочу вспомнить свои дурные  
поступки.

19 декабря 1812.

### РАЗМЫШЛЕНИЯ О КАМПАНИИ

Когда я вернусь в Петербург, то, прочитав все книги, которыми зава-  
лят лавки после этой войны, справившись со всеми рассказами о ней,  
побеседовав с теми, кому известны тайны политики, — я, быть может, на-  
пишу историю этой кампании. Пока же я могу лишь заносить от случая  
к случаю на бумагу размышления, ею вызываемые, и, чтобы привести их  
хоть в какой-то порядок, я начну с тех, которые возбудило во мне начало  
войны, и изложу их в той последовательности, в какой они возникали.

Я считал войну с Францией делом вполне естественным. Предыдущие  
кампании показали нам, что мы, по всей вероятности, сможем противос-  
стоять ей, прекрасное состояние наших войск придавало нам смелости \*.  
Насильственный и невыгодный мир, который был недавно заключен, на-  
стоятельные просьбы нескольких правительств, деспотическое давление  
на нас французского двора, лживость его послов, недовольство всего на-  
шего народа привели к разрыву, политические поводы которого остаются  
от меня скрыты.

Очень возможно, что у нас был план кампании, еще более вероятно,  
что никакого плана не было. Прежние испытания, показавшие мужество  
наших войск, познакомили нас также с искусством французских военачаль-  
ников, и в тот момент я испытывал страшную боязнь. Сам государь,  
объявив войну, хорошо сознавал, что рискует своим венцом \*\*. Он долгое  
время колебался, армии стояли на границе: Витгенштейн и Эссен на  
севере, мы возле Вильны, Багратион ниже, возле Гродно, и армия Тор-  
масова должна была, как только Чичагов заключит мир с Турцией, дви-  
нуться туда, где более всего будет нужна.

Таково было расположение наших армий, когда неприятельские вой-  
ска вступили в наши пределы сразу в нескольких пунктах, из которых,  
как мне представляется, Гродно и Ковно были самыми важными по зна-  
чению операций, совершившихся там. Если бы у нас было намерение  
вести войну по ту сторону своих границ, мы успели бы еще сосредоточить  
свои силы, — но не оставалось сомнения, что было решено пожертвовать  
Польшей и, превратив ее в театр войны, рассеять и немного проучить ее  
жителей, преданных французам, бесчестных и мятежных \*\*\*.

Сила неприятеля не была нам известна наверное, и, когда вся великая  
его громада предстала перед нами, мы были уstraшены. (Я говорю толь-  
ко о нашей армии.)

Мы сошлись у Свенцяи 14 июня — нас только и было, что одна гвар-  
дейская дивизия и несколько армейских, — и, не дожидаясь неприятеля,  
отступили до Дриссы, по которой добрались до знаменитого Дрисского  
лагеря. Говорят, что там предполагалось соединиться с Багратионом, но  
французская армия, едва войдя, вынудила наши два арьергардных кор-  
пуса совершить фланговую диверсию почти перевернутым фронтом, и  
Багратиону пришлось отступать к Минску с большой осторожностью,

\* Война французов с Испанией и беспорядки, которые они возбу-  
дили в Польше, вероятно, сыграли тут тоже свою роль.

\*\* Это сильно сказано. Еще правильнее было бы, однако, сказать:  
своей славой и счастьем своего народа, которое ему дороже венца.

\*\*\* Возможно также, что мы, слишком промедлив, упустили удобный  
момент; к тому же государь из благородства не хотел нападать первым.  
(Примечания автора.)

так как его теснила армия почти столь же огромная, как та, что угрожала нам.

Через несколько дней мы оставили Дрисский лагерь. Не говоря уж о том, что большая часть укреплений была дурно расположена, что батареи не могли действовать в некоторых направлениях более чем на двести шагов, что завалы были сделаны в той части леса, которая пришлась на нашей стороне, что вся позиция была чрезмерно растянута и наши силы, и без того уже вынужденные разделиться и растянуться, оказались бы еще более ослабленными, не говоря и о том, что всегда опасно иметь позади реку, особенно когда отход за нее плохо обеспечен,— этот пункт не представлял никакой важности для неприятеля. Дриссу можно перейти вброд в любом месте; а, обойдя нас, неприятель мог двинуться совсем в ином направлении, и мы не сумели бы его остановить.

К тому же тогда думали лишь о том, чтобы выиграть время, и отступали, чтобы скорее закрыть дорогу на Петербург и осуществить соединение обеих армий. Ежели в тот момент французская армия не пошла на Петербург, то потому лишь, что она боялась наших сил\*,— притом же мы действовали все время по внутренним оперативным линиям, а французские коммуникации оказались совершенно без прикрытия\*\*.

Мы переправились через Дриссу у самого Дрисского лагеря и пошли на Полоцк, все время стараясь соединиться с армией Багратиона. Прибыв в Витебск, мы ждали, что Багратион пробьется к нам через Оршу.

В Дриссе у нас было восемьдесят тысяч человек. Вместе с армией Багратиона наши силы могли составить до ста пятидесяти тысяч. Багратион действительно выслал сильный авангард под командой Раевского, пытаясь открыть себе путь, но, видя, насколько это предприятие рискованно и непосильно, отступил, а это заставило и нас отступить к Смоленску\*\*\*. Раевский прикрыл движение Багратиона, которому вследствие этого удалось обогнать противника на два перехода; наш же авангард под командованием графа Остермана\*\*\*\* тоже сдерживал неприятеля, пока мы не совершили отход перед лицом неприятельской армии, достигавшей ста пятидесяти тысяч человек. И только в Смоленске 2 или 3 августа мы наконец столь удачно соединились.

Восьмидесятитысячный корпус под командованием Макдональда угрожал Витгенштейну в Дресе, но этот генерал, столь же удачливый,

---

\* К тому же против Витгенштейна стоял Макдональд, который, хотя и не мог надеяться пробиться до Петербурга, все же имел возможность встревожить население и посеять ужас и беспорядок в северных губерниях.

\*\* Мы не имели опасений за свои тылы, тогда как Багратион не позволял следовавшей за ним армии разделиться, чтобы нанести нам удар.

\*\*\* Прикрытие нашего отступления стоило графу Остерману восьми пушек и множества людей, но с очень малыми силами он сумел задержать целую армию. Барклай обвиняли в том, что он посылал в сражение малые силы: и действительно, некоторые части пострадали от превосходящих сил неприятеля; но наше движение необходимо было прикрывать, и к тому же я склонен думать, что ему были даны указания свыше избежать генерального сражения.

\*\*\*\* Это предприятие толкуют, как маскирующий маневр, имевший целью скрыть отступление нашей армии, но, как бы то ни было, если оно и не увенчалось успехом, то доказало мужество наших войск и генерала Раевского. (*Примечания автора.*)

сколь предприимчивый, повсеместно отразил атаки, прикрыл и спас таким образом дорогу на Петербург и вынудил неприятеля занять выжидательную позицию, чтобы прикрыть коммуникации своей действовавшей против нас армии.

Настал самый критический момент. Смоленск — ключ ко всем дорогам. Наши армии соединились там, они требуют боя; генерал Барклай, прославившийся своим благоразумием и порядком, который он сумел сохранить в отступлении, готовит диспозицию. Неприятельская армия разделена, растянута почти на сто верст. Барклай не решается наступать. (Последующие события показали, что окружавшие его предатели скрывали от него движения неприятеля.) Несколько дней он теряет в бесполезных маневрах. Обманутый ложными слухами, он бросает армию к Поречью, северо-западнее Смоленска, затем возвращается, идет на запад, удаляется на двадцать восемь верст и не знает, что французская армия уже соединилась, что она атакует Смоленск, защищаемый милицией и прикрываемый корпусом Раевского, наименее удаленным (в сорок верстах) от города\*.

Наша армия поспешно идет к Смоленску, останавливается позади города, подступы к которому защищают два корпуса; мужество войск несколько раз уступает силе, но все-таки превосходит; сражение продолжается два дня, город все еще в наших руках; но момент для наступления упущен, силы неприятеля значительно превосходят наши; Барклай видит, что в конце концов нам все равно придется отступить, но потеряв перед тем половину армии; наконец он решается, и вечером 7-го числа мы оставляем позицию и отходим к Дорогобужу.

Сначала мы прошли четырнадцать верст в направлении Поречья, а затем вышли на большую дорогу. Третий корпус, который следовал за нами на расстоянии половины дневного перехода, двигался в беспорядке (день был очень жаркий и пыль такая, что над землей стояло густое облако, скрывавшее все из виду): вдруг голова колонны натолкнулась на передовые части неприятельской армии, выстроившейся в боевом порядке, и только мужество наших солдат, пример и бесстрашие Барклая помогли исправить допущенную им в этом случае неосторожность. Тот, кто прославился своим отступательным маневром, не знал о существовании рокадной дороги, позволившей неприятелю появиться вдруг там, где его не ждали.

Наши колонны бегут, спасаясь от опасности, почти неминуемой; эта большая ошибка имела тяжелые последствия — бесполезную гибель многих лучших полков, ничего не изменившую в ходе военных действий.

Мы подошли к Дорогобужу и остановились среди огромной равнины; Багратион предлагает сражаться, Барклай все колеблется; армия в смятении: она хочет боя, но боится его последствий, неприятель кажется страшнее, чем когда-либо. Возможно, Барклай уже предвидел свою отставку; да и позиция не представляла особых преимуществ; как бы то ни было, Барклай неожиданно оставил город и, не пытаясь дать сражение, продолжал отступать, пока, не доходя Гжатска, не был заменен фельдмаршалом Кутузовым, которого дворянство и государь избрали верховным главнокомандующим и чье имя внушало солдатам больше доверия, чем имя молодого генерала, не имеющего прочной репутации и своей чрезмерной осторожностью, своим планом ведения войны и совершенными ошибками навлекшего на себя всеобщую ненависть.

Лица, окружавшие его, вызывали подозрение; а все его маневры были

---

\* Неверовский долго держался перед неприятелем и, хотя потерял всю свою дивизию, добился замечательного успеха. Он прикрыл себя славой. (Прим. автора.)

так плохо согласованы, что многие обвиняли его в измене, в которой были с очевидностью виновны некоторые его адъютанты.

Итак, прибыв к армии, князь Кутузов был встречен как спаситель. Дух армии сразу поднялся, и там, где Барклай не мог рассчитывать на свои войска, Кутузов с уверенностью полагался на храбрость солдат.

Но и он, приняв командование, продолжал отступление, так как ему нужно было время, чтобы оглядеться, познакомиться со своими силами и силами неприятеля, а главное, чтобы подойти к Москве-реке, у истоков которой имелись выгодные позиции — условие, которое нам было очень трудно встретить раньше.

Наконец 22-го или 23-го мы стали лагерем под Бородином. Это село находилось справа от нас у реки, прикрывавшей наш фронт; наши егеря заняли его, образуя крайний правый фланг. На холмах позади реки, господствовавших над нашими передними рядами, были поставлены батареи; левый фланг прикрывался батареей, выдвинутой перед лесом, на опушке которого находилось двадцать тысяч человек центра; большая часть их была очень далеко за лесом, потому что они были оставлены в резерве на все время сражения и их поместили там только затем, чтобы внушать страх неприятелю.

*19 декабря.*

Многие черты создали нашему доброму государю репутацию милосердного и сострадательного человека. Мне приятно привести здесь пример, подтверждающий доброту его сердца.

Он теперь торжествует — но ведь французы сожгли Москву, разграбили богатейшие области, ввергли в нищету любимый им, драгоценный его сердцу народ. Судьба пленных не должна была бы его интересовать, ему должно было бы казаться естественным мстить за жестокости, в которых они повинны. И если великодушие сердца побуждает его простить, забыть все их страшные вины и отплатить лишь благодеяниями, то разве не мог он удовольствоваться тем, чтобы отдать приказания, облегчающие участь этих несчастных?

Я уже пытался изобразить ужас, пережитый мною в битком набитых пленными страшных казематах, исполненных зловонием вследствие нечистоплотности узников, где на лестницах валялось столько трупов, что невозможно было пройти. Я уже пытался описать здесь облик этих несчастных, униженных бедой, не выражающий ничего, кроме отчаяния и страдания. Но я не мог описать внутренность тех помещений, где они влачат и завершают свое жалкое существование, я не мог даже войти туда; а те, кого долг вынуждал туда заглядывать, выходили шатаясь, отравленные страшным зловонием.

Государю все это рассказали. Его охватил ужас, когда он узнал об этих отвратительных подробностях, и, чтобы показать, как он умеет побеждать и прощать, он один, без свиты, завернувшись в шинель, прошел по самым зачумленным углам этого храма смерти. Дважды он прошел из конца в конец огромные залы, где смерть предстает в тысяче мучительных образов, его кроткие и ласковые слова подобно благодетельному бальзаму воскресили несчастных, которые не знали, кто сей великодушный, вносящий покой в их душу, кого им благодарить за расточаемые благодеяния. Он все сам увидел, обо всем распорядился, все смягчил своей кротостью, и в ту минуту, когда его имя стало переходить из уст в уста, сопровождаемая самыми высокими эпитетами, в ту минуту, когда какой-то офицер узнал его, — он покинул эту обитель скорби, куда внес радость и довольство, покинул ее, оставив всех пленных исполненными восхищения его милосердием, его добротой и всеми добродетелями, которые укра-

шают его царствование не менее, чем блеск военных успехов,— добродетелями, которые заставляют его подданных видеть в нем отца и друга.

22 декабря 1812 года. Вильна.

#### ПРОДОЛЖЕНИЕ «РАЗМЫШЛЕНИЙ О КАМПАНИИ»

26-го [августа] было дано это сражение — бессмертное, ибо давно уже не было случая, чтобы две такие грозные армии (двенадцать сотен пушек и беспримерное мужество с обеих сторон) столкнулись в генеральной битве впервые после долгого уклонения от боя.

Подробности этого дела известны другим лучше, чем мне: я был в рядах и поэтому не могу судить о нем сам. Когда наступила ночь и утихла канонада, потери обеих сторон были равны, каждая считала себя одержавшей победу и в то же время, видя свою слабость, опасалась противника.

Французы были поражены тем, что значительно уступавшая им армия, которую они видели в смятении и дурно управляемой, твердо противостоит их армии, одушевленной нашей ретирадой и значительно превосходившей наши силы.

Французы атаковали по всему фронту и повсюду были отбиты; на следующий день они почувствовали себя слишком слабыми, чтобы вновь атаковать нас. Русские подошли вплотную к этому колоссу, увидели все части его, и он стал гораздо менее страшен: многие думали, что надо на него напасть, его разбить... Но как? После такой неопределенной победы вся армия пришла в беспорядок, осторожное отступление представлялось благоразумнее всего: мы могли затем сосредоточить наши силы и дать сражение, ничем не рискуя, тогда как неприятель, удаляясь от своих тылов, понимал большую опасность второго столкновения. Атаковать было невозможно, потому что неудача погубила бы империю; в армии не был наведен порядок, а решительный удар нельзя наносить, не зная хорошо своих сил. Впоследствии мы доказали, что наша армия могла бы выдержать два таких сражения, как Бородинское, и продолжать кампанию,— но в тот момент и два небольших дела подряд могли привести ее в расстройство, которое трудно было бы исправить и которое могло бы иметь весьма дурные последствия.

Утром 27-го мы отступили на Можайск и продолжали отходить в наилучшем порядке до самых ворот Москвы, куда подошли 1 сентября. Подходящей позиции для боя не было: обрывы, узкие овраги; поражение же было бы слишком опасным. Сдача столицы без боя могла проистекать из наших планов, сдача ее после проигранного сражения означала бы подписание позорного мира, упадок духа и гибель всей армии\*. Почему, спрашивают некоторые, мы ничего не вывезли из Москвы? Но ведь ее древние сокровища были главной приманкой для французов: пока они навьючивали на лошадей богатства, взятые в домах, и опустошали винные погреба, мы совершили, да еще в полной тайне от них, самый искусный маневр. Если бы Москва была подожжена, Наполеон не задержался бы в ней, он догадался бы, что мы можем выиграть от этой потери,— тогда как, сделав вид, что сдача столицы была непреднамеренной, мы заставили его надеяться на мир и бросили ему приманку, на которую он, как мы этого хотели, попался.

Мы вышли на Рязанскую дорогу. Если бы Наполеон выдвинул свой правый фланг, он мог бы перерезать Калужскую дорогу и ему достались бы огромные запасы продовольствия. Он рассчитывал приобрести

\* Последствия показали справедливость моего утверждения, ибо теперь вся Европа убеждена, что мы задолго до того имели план сдать Москву, чтоб обеспечить себе победы, которыми отомстили эту потерю. (Прим. автора.)

с Москвой слишком многое и потерял голову от своей необычайной удачи. А пока он только и занят был тем, что радовался своему успеху, мы уже осуществляли фланговый марш. Обойдя Москву слева и выйдя на Калужскую дорогу, мы приблизились к нашим житницам.

За нами шел сильный авангард, следивший за нашим движением, но всем его атакам мы давали отпор и наконец 22 сентября встали лагерем у Тарутина, в Леташевке, за Нарой, где позиция, довольно удобная сама по себе, была искусственно укреплена, так что сделалась неприступной. Французы, плохо осведомленные, считали эту позицию еще более сильной, чем она была на самом деле. Правда, в течение тех двадцати дней, что мы там находились, наши полки были так хорошо укомплектованы, что армия приняла совершенно другой вид, резервы были превосходные, кавалерия сосредоточилась, воинский дух был высок и наконец сама местность нам благоприятствовала — батареи могли стрелять так далеко, что для нападения на нас требовалось бы значительное превосходство сил, а наши сто тридцать тысяч человек представляли страшную угрозу для французов.

Наполеон стал предлагать мир, я видел его прокламации, о мире заговорили кругом; я достоверно этого не знаю, но прошел слух, будто и фельдмаршал склоняется к тому же, и это вовлекло в западню гордого победителя, опьяненного в Москве сладостью своей удачи.

В это время множество партизан находилось на коммуникациях неприятеля, беспокоя его. Москва уже не могла поставлять ему продовольствие, крестьяне захватывали фураж, неприятельская армия терпела во всем недостаток, а мы находились в восьми верстах от Калуги, откуда получали съестные припасы и всякого рода пособия.

Наконец 6 октября князь уступил настояниям всех генералов, и мы атаковали следовавший за нами корпус численностью до тридцати тысяч человек. Второй и четвертый наши корпуса наступали с фронта и левого фланга, Орлов с десятью тысячами казаков обошел его с тыла, а мы находились в центре, стоя в резерве, чтобы поддерживать оба действующих корпуса. Это дело проведено было не столь успешно, как могло быть. Неприятель понимал наш маневр, были случаи запоздания. Но тем не менее исход предприятия был блестящим. Взято было двадцать орудий, весь обоз, неприятельский корпус бежал в беспорядке, и в тот же день французы оставили Москву.

У неприятеля уже почти не было конницы — она не могла получать фуража из-за сопротивления, ей оказываемого, и какое бы то ни было пополнение конского состава было для нее совершенно невозможно. Армия тоже значительно уменьшилась, не имела припасов. Часть артиллерии тащили быки, а остальную — крестьянские лошади.

Отступление Наполеона не может рассматриваться иначе, как пример полного поражения. От самой Москвы и до того места, где он находится сейчас, когда я пишу, это был сплошной ряд неудач, сплошной затянувшийся разгром, и ни в одном случае мы не видим ни искры той гениальности, которая отмечала прежде каждый шаг Наполеона.

Князь ожидал этого. Ибо, что мог он (я имею в виду Наполеона) сделать в такой войне, как эта, когда народ, армия и даже погода — все было против него? Он захватил Москву, он мог бы захватить и Петербург — и все-таки был бы побит.

В Москве оставаться ему нельзя было, так как он терпел там во всем недостаток, наше нападение 6-го числа показало ему, что мы не дремлем; ему приходилось опасаться всего, и он надеялся удовлетворить нас, удалившись из Москвы, чтобы спокойно занять зимние квартиры в тех губерниях, которые были ему преданы и в которых у него были громадные запасы. Узнай мы об его отступлении двумя днями позднее, он мог бы спастись. Его корпуса отходили бы безопасно, и он вступил

бы — правда, после очень трудного марша — в такие области, где мог бы легко нас остановить.

Но он плохо знал нашу страну, ее климат и людей, с которыми имел дело. И хотя большинство генералов далеки от того, чтобы восхищаться поведением князя, все маневры его, несомненно, блестящи. Вероятно, он не раз мог бы уничтожить полностью неприятельскую армию. Но зачем же было терять без пользы людей, когда, лишь тревожа ее, он мог быть уверен, что зима и голод ее погубят?

Одиннадцатого мы оставили Тарутино и выступили к Малому Ярославцу. Неприятель отступал, и мы направились к этому пункту, чтобы не пустить его к Калуге и заставить вернуться на прежнюю дорогу. Когда мы туда подошли, там уже завязалось дело. Приди туда Наполеон несколькими часами раньше и прояви больше решимости, он мог бы свободно идти на Калугу, ибо мы были очень удивлены, застав французов в Малом Ярославце: этого мы никак не ждали. К тому же другие наши корпуса уже отошли отсюда и атаки тех двух, которые были налицо, хотя и живо проведенные, имели столь малую поддержку, что исход дела представлялся сомнительным — оно казалось скорее диверсией, чем действительной попыткой дать сражение \*. У нас было только четырнадцать пушек. И все же вечером неприятель отступил, а мы тоже отступили, ибо город нас не интересовал: мы должны были охранять дорогу и от взятия города отказались.

Тем временем французская армия намного нас опередила, и, несмотря на грязь, стеснявшую ее движение, нам нелегко было ее догнать. Наш авангард вел параллельное преследование, казаки беспокоили неприятельские тылы, а мы, двигаясь обходными дорогами, перерезали путь на Вязьму. Это было 23 октября. Наш марш был недостаточно быстр, и поэтому успех был только половинный. Неприятель покинул город, мы поспешили к Ельне, чтобы прикрыть дорогу; сорокатысячный авангард продолжал преследовать французов. Мы еще не сознавали всей нашей удачи и предполагали, что неприятель остановится в Смоленске. Но его отступательный маневр с каждым днем становился для него все более опасным, и он бежал, бросая пушки, снаряжение и все тяжести; его армия была совершенно рассеяна, а мы стремились более всего догнать его передовые отряды.

5 ноября мы подошли к Красному, где находилась неприятельская армия. Наш авангард должен был атаковать ее с тыла, шестой и третий корпуса — с левого фланга, а мы расположились в конном строю на дороге перед городом. Этот маневр доказал и правильность расчетов князя и его благоразумие, вследствие которого он свой план не осуществлял, так как с Наполеоном были гвардейские полки и те части, которые ему еще удалось сберечь, и незачем было идти на риск генеральной битвы, когда малые бои давали нам столько преимущества, а погода — ужасная грязь и холод — с каждым днем заметно подкашивала силы французов. К тому же у князя был втайне намечен пункт, куда он хотел оттеснить противника; если это ему и не удалось, то этим нисколько не умаляется слава, которую он заслужил.

14 ноября мы оказались за Борисовом и Минском, недалеко от Березины, переправу через которую чрезвычайно затрудняют болотистые и лесистые берега.

---

\* Впоследствии мы, может быть, узнаем, каков был замысел французов; мне кажется, что, если бы Наполеон мог догадаться о нашей медлительности, он ею воспользовался бы; но во всяком случае нелепые ошибки, сделанные им в этой кампании, заставляют забыть об этом просчете. (Прим. автора.)

Витгенштейн, одержав ряд побед, двинулся на Полоцк и оттуда непрерывно двигался на сближение с нашей армией. Чичагов делал то же самое, но с меньшим усердием. Он разделил свою армию, бывшую в превосходном состоянии: оставил Сакену пять тысяч человек, с которыми тот сдерживал австрийцев, не имевших слишком большой охоты нападать, а сам с пятнадцатью тысячами человек присоединился к Витгенштейну. Но как ни мало он был склонен действовать, дух Кутузова восполнил этот его недостаток, и Чичагов оказался на противоположном берегу Березины в то самое время, когда мы гнали французов на него, так что им невозможно было ускользнуть.

Это столкновение было, однако, счастливей (чем, разумеется, могло быть) и для Наполеона, ибо, хотя Витгенштейн, согласовав свои действия с нашими, обрушил на него все свои силы до восьмидесяти тысяч человек, это не сделало еще положение французов совершенно отчаянным.

*22 декабря.*

Вот опять я не знаю, что же мне завтра нарисовать. И что тут удивительного? Жизнь, которую я веду здесь, так однообразна, что если не рисовать без конца мою комнату и соседнюю улицу, то вообще не найдешь сюжета. Ну что ж, нарисую рынок, где торгуют французскими обносками. Может быть, изображение это меня позабавит, и то хорошо.

Ах, как я должен быть теперь благодарен, что немного умею рисовать; в Петербурге я жаловался, что это отвлекает меня от других занятий. Зато как рисование пригodiлось мне теперь: ведь мне нечем более заняться, разве только читать «Дон-Кихота» и вновь перечитывать, когда закончу.

Боюсь, однако, как бы я не был скоро наказан за свои жалобы. Мы тронемся в поход, нам придется стоять в другом городе, и, возможно, я там буду скучать еще больше. Вот как создан человек — вечно недоволен. Здесь мне спокойно, я получаю письма, хожу развлечься на базар, рисую, пишу — и все-таки жалуясь.

*23 декабря 1812 года.*

### ПРОЩАЙ, ВИЛЬНА!

Вот уже восемнадцать дней, как мы здесь; завтра мы выходим поближе к границе. Прощай же, Вильна, место столь приятное на расстоянии, столь разукрашенное издали воображением, где я, однако, не мог, как ни старался, найти себе развлечения.

Надо же все-таки записать что-нибудь на память, чтоб можно было хоть о чем-нибудь пожалеть. Попробую порыться в памяти — на чем же может остановиться мысль? Чтобы вернее это сделать, я переберу свой день с самого утра; может быть, я найду среди своих удовольствий нечто, чем я обязан Вильне.

Я встаю с постели — она очень хороша, слов нет, — но следует со мной повсюду и везде одинаково хороша, так что не она заставит меня пожалеть о Вильне. Мой завтрак также хорош, — но я всегда так завтракаю с тех пор, как началась кампания. Я сажусь рисовать. Нет, ни одним рисунком я не обязан пребыванию в Вильне! И что тут можно перенести на бумагу: улицу или мою комнату? Как я уж вчера говорил, в ней нет ничего, что говорило бы воображению. Время от времени я встречаюсь здесь с графом, — но на биваках я видел его еще чаще. Обед у меня отвратительный, трактирный еще хуже моего; нет, и наслаждений вкуса я в Вильне тоже не испытал. После обеда я пишу, — но писал и раньше и буду писать повсюду, где бы я ни был; мысли мои рассеиваются здесь беспокойством, в котором я нахожусь, их омрачают зрелища, которые

непрестанно открываются моему взору, их парализует сознание, что я нахожусь в столице, где нет даже тех удовольствий, которые встречаешь в уездном городке. С тех пор как я здесь, у нас не было ни одной беседы, подобной тем, которые мы вели прежде, когда мечты, веселье, рассуждения, все вместе радовало сердце, так что совсем незаметно было, как движутся крылья времени\*.

Но что же? Вот уже пора спать, а я еще не нашел причины пожалеть о Вильне. Что я делаю, когда мне становится скучно? \*\* Выхожу из дому, заглядываю к Кашкарову, беру несколько аккордов на клавесине, таком скверном, что его не сравнить даже с хорошим спинетом. Встаю, иду в гостиную...

Ах да, вот о ком я могу вспомнить — прелестная Розалия, тебе я посвящу прощальный вздох.

Розалии еще нет двадцати лет. Она очень свежа, по наружности настоящая полька, каштановые волосы оттеняют ее оживленные голубые глаза. У ее тетки есть приличное состояние, но Розалия занимается хозяйством, шьет, сама делает себе платья. Десять офицеров заняли все комнаты в их доме, и все видят ее всегда на одном месте с шитьем в руках, достаточно скромно и весьма равнодушно принимающую лестные, но мимолетные любезности легкомысленной молодежи; кажется, она пытается отыскать среди них хоть одно чувствительное и более постоянное сердце. Она не сурова, нельзя также сказать, чтобы она кокетничала; женщины, готовые нападать на чужие слабости и не видящие своих собственных, вы не найдете повода придрататься к ней! Не раз, когда мне нечего было делать, я повторял ей в шутку, что хотел бы жить только ради нее, а она в шутку отвечала, что хотела бы жить для меня. Закончив эти объяснения, я обычно подходил к клавесину, чтобы взять несколько минорных аккордов. Она, кажется, находила в этом признаки страсти, а я как будто немного догадывался о ее мечтах; в этих невинных шутках проходили минуты, которые мне удавалось украсть у тоски. Итак, Розалия, тебе я посвящу прощальную мысль, тебя я вспомню, когда мне вздумается пожалеть о Вильне. Дай бог тебе никогда не встретить молодого человека, любовь которого окажется менее скромной, чем моя, дай тебе бог никогда не испытать чувства более сильного, чем то, которое я мог тебе внушить, если ты хочешь быть истинно счастливой! Может быть, найдется честный жених, который даст тебе богатство и счастье,— тогда люби; но я знаю по собственному опыту, что стоит любви войти в наше сердце — и прощай покой, прощай радость на веки веков. Итак, я повторю: прощай, Вильна, прощай навсегда.

*24 декабря. Свионтники, в двадцати одной в[ерсте] от Вильны.*

Артиллерия осталась в Вильне, выступили только наши четыре полка, которые идут вместе, поэтому нынешний день был не так утомителен, как я предполагал, судя по парадом, предшествовавшим нашему выступлению.

А вообще хотел бы я знать, как может скучать философ, который из всего извлекает тему для размышлений и развлекается, осуждая речи и поступки других людей?

Сначала я шел на своем месте, совсем один. Мне нравилось это уединение: столько мыслей посещало меня одна за другой. Затем я пе-

\* Эта глава написана словно на мотив песенки «Ну что ж, сударь, тогда и жить не стоит»; только следовало бы изменить слова так: «Ну что ж, сударь, тогда и жалеть не стоит».

\*\* Я зеваю... (Примечания автора.)

решел в голову батальона, где были все наши. Мы шутили, болтали, повторяли городские сплетни, веселость оживляла наш разговор, а изредка и остроумие бросало туда свой цветок.

Мало-помалу я уединился, находясь в толпе; мне нравилось прислушиваться к чужим словам и угадывать чувства, руководившие говорящими. Тем временем полк остановился, а я, продолжая идти вперед в рассеянности, не давшей мне заметить, что делается кругом, оказался впереди музыкантов; только крик, поднятый нашими офицерами, заставил меня очнуться от мечтаний.

Во главе полка обычно идут избранные остроумцы. Близость других полков привлекает сюда самых красноречивых говорунов; но так как всегда опасно слишком свободно говорить перед незнакомыми людьми, то беседа становится чрезмерно осторожной, искусственной, все держится принужденно и кажутся смешными. У каждого есть своя любимая история, своя шутка, свой анекдот или каламбур, но ничего не удается как следует рассказать. Вот одна группа обсуждает всю кампанию, начиная с Дрисского лагеря, противоречит всем общепринятым взглядам и нападает на известные мнения. Немного далее какой-то офицер рассказывает о своих любовных похождениях. Я бы тоже мог, взяв за основу любезничанье с Розалией; сочинить историю, может быть более согласную с истиной, чем те, которые слышишь в этом кружке. Но я предпочел быть слушателем. Все так и сыпали каламбурами, шутками, острыми словами — в этих спорах не брезговали ничем... Некий Поджою<sup>1</sup> уже целый час удерживал внимание собравшегося вокруг него кружка весьма забавной историей, которую он рассказывал; дьявол зависти подтолкнул меня, я захотел поддержать честь нашего полка: у меня была уже готова история, я начал было говорить — и оказался бы сам в числе тех людей, которых нахожу нелепыми, но, к счастью, отдых окончился, и я покинул этот кружок, стыдясь того, что чуть не стал его членом.

*25 декабря. Шестьдесят три версты от Вильны. Захары.*

Сегодня мы, выступив задолго до рассвета, прошли сорок две версты. Когда солнце зашло, мы были еще в пяти верстах от квартир. Я шел всю дорогу пешком — почему же я совсем не устал? Потому, что идти было очень приятно и разумная беседа скрашивала долгий переход. Погода была прекрасная, наш полк шел один и поэтому очень быстро, мы довольно часто останавливались на привал, местность тут разнообразная. Вот почему я чувствую себя свежим, пройдя сорок две версты.

Предполагалось сначала сделать только двадцать восемь верст, но завтра будет дневка. К армии прибудет государь; ему понадобится сто квартир, и нас отправили вперед, чтобы мы не занимали деревень вокруг квартиры его величества. Итак, хотя прибытие государя должно радовать его верных воинов, хотя он сам надеется доставить нам удовольствие, разделяя наши труды, на самом деле его присутствие приносит нам неудобство и солдат вынужден проклинать его благие намерения.

*26 декабря (на отдыхе).*

#### ПРОДОЛЖЕНИЕ «РАЗМЫШЛЕНИЙ О КАМПАНИИ»

Так оно бывает в этом мире. Никогда не надо нравиться всем сразу, и самые похвальные поступки находят критику, по всей видимости

<sup>1</sup> Поджою Иосиф Викторович — в 1812 году был прапорщиком Преображенского лейб-гвардии полка; в будущем декабрист.

разумную. Я вспоминаю, что когда-то мечтал так рассчитывать все свои действия, чтобы никому не мешать, чтобы никто не мог меня ни в чем упрекнуть. Как же это могло быть, когда я сам так часто ловил себя в то время на ошибках? Чем больше я старался угодить одному, тем вернее восстанавливал против себя других.

Останемся такими, каковы мы есть, будем неустанно стремиться образовать свое сердце и украсить ум чувствами и размышлениями, вытекающими из созерцания мира; будем руководствоваться своим эгоизмом — не для того, чтобы давать пищу тщеславию, но для того, чтобы удовлетворить требованиям совести; что же касается всеобщей любви, то откажемся от нее, как от мечты, за которой можно гнаться лишь к собственному ущербу.

Объединенный маневр трех армий, наступающих с трех разных сторон, так труден, что нельзя было ожидать успеха. Я не имею полного представления о местности, но, нет сомнения, Чичагов плохо следил за неприятелем. Наша армия не могла догнать французов, несмотря на ускоренные марши; Чичагов же имел в поле зрения только Борисов. Наполеон проходит ниже, наводит мосты и начинает переправу; Чаплиц гонится за ним, но действует только двумя орудиями, неприятель бросает весь свой обоз, но Наполеону и большей части его армии удается спастись.

Он продолжает бегство до Немана, переходит границу чуть не один, без обоза и без орудий. Платов его преследует и сообщает в своих рапортах, что больше нечего делать. Теперь наши армии находятся на границе и собираются ее перейти, а наш корпус, как говорят, должен здесь остановиться, хотя очень возможно, что мы тоже пойдем вперед, сопровождая государя.

Вот история этой кампании. Читать ее будет очень скучно хорошенькой женщине, которая захочет дать себе труд ознакомиться с военными событиями; и даже для людей наименее осведомленных эта история слишком неполна. Еще раз повторяю: эти страницы я писал лишь для того, чтобы привести в порядок свои мысли, по возможности ясно изложить их, а заодно разобраться в плане кампании, высказать свое мнение о действиях армий — нашей и одной из тех, что действовали совместно с нашей...

Я уже очинил перо, как случайно открыл Жомини. Он говорит, что всякое изучение военных действий должно начинаться со знакомства с местностью. Мне очень понравилась его книга, я с удовольствием поглощаю ее страницы; и когда отсутствие карты заставило меня прервать чтение, я одновременно отказался и от своего замысла. Только в Петербурге, хорошенько изучив карты, внимательно прочитав Жомини, я возьмусь за это предприятие, которое и тогда будет очень трудным, но все же не невозможным, как теперь. Ибо у меня нет здесь карт, у меня не бывает ни одного полностью свободного дня и нет места для занятий — кругом слишком шумно, слишком многое (и, к несчастью, глупое) меня отвлекает. И почему бы не признаться, что мне даже и не очень хочется серьезно заниматься этим сейчас? Ведь однообразное и утомительное времяпровождение отучает от самых любимых занятий.

*27 декабря. Восемьдесят восемь верст от Вильны. Талькуны.*

#### ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ

Сегодня переход был тоже очень приятным. Облачно, дорога хорошая, шли мы вольно, хорошо отдыхали, хорошо позавтракали; по окончании марша меня ждали скромный, но сытный обед, приятный и оживленный разговор; а сейчас у меня удобная постель, перо и кисть при

мне... Что же еще нужно для счастья? Вы, может быть, скажете: «Какие жалкие искорки счастья!» А я вам отвечу: «Какое прекрасное рассуждение!»

Разве мог бы я найти удовлетворение, если бы желал сейчас славы, чинов, богатства? Чем больше пищи получает честолюбец, тем ненасытнее оно становится.

Если бы я даже мог рассказать здесь о той, которая заставляет меня вздыхать, разве нашел бы я в этом истинное счастье? Один взгляд опьянял бы меня, одно слово приводило бы в восторг, но черные змеи недоверия очень скоро превратили бы восторг любви в тревогу и сомнения, и я тщетно пытался бы искать в каждом слове залог своего счастья. Любовь дарует нам наслаждение, но она же примешивает к нему тайную отраву, оставляющую в глубине сердца горечь.

Я убежден, что быть счастливым в этом мире можно, лишь находя наслаждение во всякой малости, уступая различным увлечениям, наслаждаясь самыми разнообразными впечатлениями, обдумывая в подробностях свои занятия, стараясь из каждого извлечь приятность — и так заполняя свой день, чтобы оставлять место лишь для советов рассудка и приятных воспоминаний.

Вы меня знаете: я дал клятву служить отечеству, сколько хватит моих сил; я не принадлежу к числу тех, кто считает, что выполнил свой долг, проведя несколько лет на государственной службе и смотря на эти годы как на потерянные, потому что не мог в то время предаваться лени и бездействию.

Я много раз мечтал о богатстве, воображал себя вельможей; видите, я далеко не достиг такого совершенства, чтобы отречься от суеты мира сего! Я забыл еще сказать, сколько времени я отдал воздыханиям (которые — о жестокая! — были совершенно бесплодны), сколько раз одно слово, казалось, делало меня счастливым. Но даже если мои мечты бывали близки к осуществлению, день был мне хорош, лишь когда я мог располагать им вполне по своему усмотрению. Я не мог быть счастлив, если сутки не держал в руках кисти, если книга, которую мне хотелось прочесть, оставалась нераскрытой на столе, если мне не удавалось побеседовать с вами, прелестная графиня, поучиться мудрости, внимая вашим изящным и разумным речам, если мне не удавалось видеть — ту, чьи черты запечатлены в моей душе. Как мне бывало грустно, если в течение дня не удавалось ни разу перенестись мыслью к моим любимым родным, вообразить себя среди них; если у меня не оставалось времени, чтобы записать вечером прожитой день.

Вот что такое, по-моему, истинное счастье.

Я решил непрестанно стремиться к тому, чтобы быть полезным, и предоставляю судьбе заботиться об успехе моих честных намерений; я хочу верить в ее справедливость и в свои силы, но предпочитаю мечтания, не слишком удаляющиеся от действительности; другие видят истинное счастье лишь в далеком будущем, а я согласен найти его в мелочах жизни, в скромных радостях, украшающих и услаждающих наши дни. Это счастье недолго длится, но зато непрестанно возобновляется, и наши дни протекают в мирном довольстве.

*28 декабря. В ста пяти верстах от Вильны. Мереч.*

Еще один приятный переход сегодня. И почему бы ему не быть таким? Добрый командир<sup>1</sup> не только не отталкивает нас, как его предшественники, но привлекает своими хорошими манерами и любезностью.

<sup>1</sup> Командир Семеновского полка, генерал-майор Яков Алексеевич Потемкин; его предшественником был полковник К. А. Крюденер.

Погода прекрасная, пройти надо было всего восемнадцать верст — как же этому маршу не быть приятным?

Теперь, когда наш полк идет один, я с удовольствием занимаю место впереди. Генерал всегда принимает участие в разговоре, мы шутим. Иногда же я ухожу совсем один вперед, к музыкантам.

Берега Немана холмисты и представляют самые разнообразные пейзажи, которыми я с удовольствием люблю; пока мои глаза наслаждаются этими прекрасными видами, воображение воскрешает счастливейшие минуты моей жизни и сердце раскрывается для самых нежных впечатлений.

Марш продолжался недолго. Отдых был кратким, но в удачно выбранном месте, и солнце еще стояло высоко над горизонтом, когда мы увидели издалека этот городок, дома которого рассыпались по берегу Немана.

На главной улице нас встречала толпа. Подойдя ближе, мы увидели, что это были евреи, вынесшие свой ковчег навстречу его величеству, а рядом стояли монахи из соседнего монастыря с хоругвями. Немного спустя прибыл государь и при многократных криках «ура» освятил своим присутствием границу, оскверненную неприятелем, чья дерзость уже понесла достойное наказание.

*29 декабря.*

Нас разместили здесь в большой тесноте, и так как мы остаемся здесь еще и завтра, я очень недоволен. Я люблю уединение и ненавижу шум, нарушающий мои занятия.

Вспоминая о том, как по-разному мне случалось жить с тех пор, как стал сам распоряжаться собой, я вижу, что шумные развлечения никогда не доставляли мне радости. Я любил балы, спектакли, прогулки, поскольку эти удовольствия позволяли мне отдохнуть от моих занятий. В тот день, который я посвящал шумным удовольствиям, утро всегда принадлежало книгам. Если я обедал в обществе друзей, то потом уходил к себе, чтобы провести несколько часов в уединении перед камином, вызывая в памяти образы дорогих мне людей, или же давал отдых своему воображению за приятным чтением. Шумное веселье бала сменяло тихие наслаждения моих утренних занятий.

Но когда моя комната заполнялась сборищем товарищей, когда шутки и каламбуры так и сыпались и веселье не смолкало ни на минуту, а голоса становились все громче, — я чувствовал себя не в своей тарелке и нередко, для передышки, брался за краски или открывал клавесин. Я вовсе не поклонник той свободы, которая лишь утяжелит наши цепи; но в повседневной жизни я хотел бы полнейшей свободы. Когда я один (это я и называю: свободен), я не знаю скуки, я всегда могу найти себе интересное занятие. Но к чему бесполезные разговоры? — Пребывание в Иварке доказало мою любовь к одиночеству, а самые приятные минуты за весь поход я провел в Петровках, в семье любезного Кирилла.

*30 декабря.*

Сегодня любопытство, словно нарочно, чтобы испытать и возбудить мою способность чувствовать, сделало меня свидетелем раздирающего душу зрелища, — и я все еще вижу перед собой эту страшную картину.

Молодой драгунский офицер в начале кампании дезертировал и уехал в Вильну к своей сестре; когда наша победная армия вступила в этот город, его нашли, судили и приговорили к расстрелу. Казнь должна была совершиться сегодня. На улице замечалось сильное движение,

все наши ушли смотреть казнь<sup>1</sup>. Облака затянули небо, и я не мог рисовать — на меня нашла тоска, я оделся, вышел из дому и последовал за толпой, как идут, чтобы увидеть нечто любопытное, отнюдь не обещая себе приятности, но не испытывая волнения!

На берегу Немана перед ямой и столбом выстроился отряд в шестьсот человек, впереди стояли шестнадцать лучших стрелков. Я оказался в толпе любопытных и заговорил с Вилье<sup>2</sup>, когда услышал, что преступника ведут. Повернув голову, я увидел его в сопровождении стражи. Он опирался на руку своего духовника, читавшего молитвы. Перед ямой он остановился, исповедался, выслушал приговор и высказал свою последнюю волю. Наконец религиозная церемония окончилась, стрелки сделали шаг вперед, на него надели саван, подвели и привязали к столбу.

«Что должен сейчас испытывать этот человек,— подумал я,— как драгоценны должны ему казаться последние минуты жизни! Он мой ближний, и ведь я его приговорил; этот человек, в котором запечатлен образ божий, должен погибнуть по воле человеческой. Его называли трусом, а он выдержал все эти муки и в момент расставания с жизнью еще нашел в себе силы, ускоряя казнь, сам надеть повязку, которая навсегда скроет от него свет, и прислониться к столбу — последнему предмету, ощущая который он будет осознавать, что еще способен чувствовать.

Сердце мое разрывалось, страшная дрожь охватила меня всего... Раздался роковой выстрел, за ним последовал залп, кровь брызнула из ран, предсмертные муки сотрясли тело преступника... Мои страдания окончились: этого человека больше не было на земле, оставался лишь труп — холодная и безжизненная материя. Мое сердце уже привыкло даже к более жестоким зрелищам, но страшные приготовления к этой казни, мрачное молчание всей толпы, ужасные мысли о том, что должен был испытать этот несчастный, сдавили мне грудь, черные мысли вызвали слезы на глазах. Душевные страдания кажутся мне невыносимыми, физическая боль мне не страшна.

Несчастливого отвязали, тело еще подергивалось, и, чтобы прикончить его, в него еще несколько раз выстрелили в упор, словно это была просто мишень, а не человек, подобный тем, которые его убили. Наконец тело бросили в яму, и я прошел мимо нее, даже не вздохнув.

*2 января [1813]. В двадцати восьми верстах от Мереча. Главная квартира в Лейпцунах.*

Вчера мы начали год отвратительным переходом. В 8 часов утра собрались на берегу Немана. Перед выступлением отслужили молебен. Реку переходили под музыку и крики «ура». Наконец берега Немана остались позади, я вступил в эту чужую страну и невольно почувствовал себя растроганным. Заканчивая переход, я перекрестился — в последний раз на родной земле,— это привело мне на ум моих друзей, моих милых родных; первые восемь верст я шел словно среди них, мысленно прощаясь с ними. Но поднялся сильный ветер, идти становилось все труднее, и постепенно я перестал думать о чем бы то ни было, кроме неудобств похода в такую скверную погоду.

Мы прошли двадцать восемь верст, мне показалось пятьдесят. Солнце уже село. Я сказал генералу:

<sup>1</sup> Как записал в своем дневнике командир 9-й роты П. С. Пушня, расстрелян был корнет Нежинского драгунского полка Городецкий.

<sup>2</sup> Вилье Яков Васильевич — по происхождению шотландский баронет, гофмедик (придворный врач) Александра I, состоявший в его свите. Во время Отечественной войны был назначен главным доктором русской армии.

— Как досадно, что мне требуется так немного, чтоб забыть пережитые огорчения и досады.

И действительно, когда мы прибыли на место, обед был уже подан, а утолив голод, я позабыл все тяготы похода и уснул до утра.

Барабан зовет, я встаю еще совсем сонный и в предвидении отвратительного дня думаю, что год начался для меня очень дурно.

*Захары, в пятидесяти шести верстах от Немана.*

Я шел сегодня с генералом Лавровым, и он мне сказал, между прочим, что для моего собственного блага мне необходимо повидать чужие земли, ибо только там я научусь любить свое отечество. Я почти не возражал ему и лишь сказал, что уже довольно люблю отечество и не нуждаюсь в новых впечатлениях для того, чтобы укрепить мою привязанность.

Войдя в эту деревню, мы были встречены русским крестьянином. Он принес нам сметаны, обед, просил нас оказать ему честь расположиться у него и, когда мы предпочли дом одного поляка, не утешился, пока не принес нам все, в чем мы могли нуждаться. Вы помните моего доброго Кирилла в Петровках; теперь, едва выйдя за пределы родной страны, я опять встречаю предупредительного и заботливого соотечественника; каждый сделанный мною шаг заставляет меня все больше любить мой дорогой край, где сосредоточены все мои привязанности.

Я вспомнил сейчас, как расставался с Россией, переходя Двину. Теперь я могу по-настоящему попрощаться с ней.

Каждый шаг удаляет меня от ее покрытых снегом равнин, огромных и неживописных лесов, родных гор, от всех этих мест, которые тем не менее имеют для меня такую волшебную прелесть.

Я люблюсь хорошей дорогой, проходящей по разнообразной местности; окрестные виды пленяют мой взор. Но на каждом шагу я вспоминаю, что я уже среди чужих, на каждом шагу я клянусь еще больше любить мое дорогое отечество и нахожу все больше причин для этой любви.

*15 марта.*

#### [ПРОДОЛЖЕНИЕ «РАЗМЫШЛЕНИЙ О КАМПАНИИ»]

Эта кампания доказывает более всякой другой, что если народ заслужил себе имя, отличающее его от других европейских наций, то неприятелю, сколь бы он ни был могуществен, опасно переносить театр войны на территорию этого народа. Особенно же опасно пускаться в такую авантюру, не установив надежных и хорошо обеспеченных коммуникаций. Ему придется прибегнуть, мне кажется, к старинному методу ведения войны; и хотя Жомини порицает австрийцев за то, что они рассчитывали свои действия в соответствии с запасами продовольствия, я думаю, что он посоветовал бы Наполеону не уходить вперед, пока не будут устроены магазины. У Наполеона запасы, конечно, были, но они остались слишком далеко позади. К тому же его окружали со всех сторон партизаны и враги (крестьяне), и он вынужден был более, чем когда-либо, заботиться о прикрытии своих чрезмерно растянутых сообщений.

В настоящее время я еще плохо и мало осведомлен обо всех событиях и, конечно, ошибаюсь гораздо чаще, чем если бы обладал всеми необходимыми сведениями, но мне кажется, что зазимуй Наполеон в Смоленске, он мог бы добиться известного успеха и уж во всяком случае не испытал бы и сотой доли того, что навлек на себя своим дерзким или, скорее, безрассудным походом на Москву.

Мы так боялись Смоленска, и потеря этого города привела нас в такое уныние... А ведь Наполеон мог рассчитывать там на жителей. Когда мы вновь проходили через эти места, я видел приготовленные для него магазины; жадность помещиков могла служить Наполеону гарантией, что они ему предадутся.

По самим этим магазинам видно, что Наполеон, опьяненный своей удачей, даже не позаботился о том, чтобы выдвинуть их вперед. Не задумываясь над тем, что будет, когда он продвинется дальше, надеясь всюду встречать такую же покорность и отсутствие патриотизма, он дерзко, сломя голову мчался вперед, к бездне, куда низвергся и откуда выбирается теперь с таким трудом.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дневник А. В. Чичерина — исключительно ценная находка, значительно обогащающая мемуарную литературу об Отечественной войне 1812 года. Его записи представляют интерес с двух точек зрения. Прежде всего они показывают быт и нравы офицерства русской армии и, что еще важнее, настроения, господствовавшие в ту эпоху среди его лучшей части.

Многие из офицеров смотрели на свое участие в войне как на жертвенное служение Родине. «Я,— пишет Чичерин,— еще буду сражаться у врат Москвы и пойду на верную гибель... Я не усташу никаких опасностей, я брошусь вперед под ядра... потому что хочу исполнить свою присягу и буду счастлив умереть, защищая свою Родину, веру и правое дело». И так думал не только Александр Чичерин, но и многие другие офицеры, не щадившие жизни, защищая Родину. Многие из них умерли смертью храбрых на поле брани. Многие получили высокие награды за проявленную стойкость и мужество, и среди них были будущие декабристы П. И. Пестель, И. Якушкин, С. Трубецкой и другие.

Чичерина восхищает поведение простого народа и возмущает поведение помещиков. В дневнике явственно ощущается формирование идей, предшествующих идеологии декабристов. Чичерин пишет о позорном положении, до которого дошли помещики, об «унизительном зрелище, которое они представляют своим крестьянам...»

Дневник Чичерина позволяет сделать вывод, что у значительной части офицеров русской армии процесс формирования передовых идей начался еще до Отечественной войны 1812 года. Война заставила их еще серьезнее задуматься над судьбами Родины. На первый план выступили идеи борьбы за национальную свободу и независимость. В этом смысле Александр Чичерин — фигура типичная для преддекабристски настроенной молодежи.

Особенно ценна трактовка войны и военных действий, содержащаяся в походном дневнике А. В. Чичерина. Она свидетельствует о его широком военном кругозоре и умении разобраться в самых сложных обстоятельствах боевой обстановки. Его суждения о планах военных действий во многом отражают точку зрения штаба Кутузова. В литературе сложился неправильный взгляд, будто Кутузов никогда и никому не доверял своих замыслов. Это не так. Огромная переписка свидетельствует о том, каким сложным был труд самого полководца и его штаба, когда дело касалось разработки планов военных действий. Естественно, при этом принимались необходимые меры для сохранения военной тайны. И, однако, штаб Кутузова постоянно и настойчиво разъяснял офицерскому корпусу, а через него и всей армии цели войны и весь ее «концепт», как говорили в то время, и в этом видна обдуманная система.

В распоряжении Кутузова находилась походная типография, печатавшая не только приказы по армии, но и листовки, направляемые войскам противника, известия из армии «наподобие французских бюллетеней», брошюры. Вся эта литература призвала бороться против тирании Наполеона и имела целью поднять боевой дух армии и народа. Но при этом призывы к борьбе за свободу и независимость неизбежно оборачи-

вались против крепостнического режима. И, несомненно, существен тот факт, что во главе походной типографии стоял профессор А. С. Кайсаров, автор нашумевшей перед войной диссертации «Об освобождении крестьян в России».

У Чичерина мы, в частности, находим ту же трактовку хода войны, что дана в такой весьма важной военно-политической брошюре, как «Отступление французов», изданной штабом русской армии в начале декабря 1812 года. И нужно сказать, что у этого, в сущности, очень молодого человека многие оценки оказываются более глубокими, нежели у иных его современников, занимавших куда более высокое положение в армии, чем он.

Оценки первого периода войны Чичерина очень осторожны. Он никого не обвиняет в неудачах и считает, что многие промахи, в которых обвиняли Барклая, были следствием осторожности этого полководца.

26 августа было дано «бессмертное сражение» под Бородином, в результате которого «каждая [сторона] считала себя одержавшей победу и в то же время, видя свою слабость, опасалась противника».

Французы были поражены мужеством и стойкостью русских, а русские увидели своего противника в истинном свете, и его армия показалась куда менее страшной.

Фланговый марш к Тарутину позволил занять русской армии столь выгодное положение, что она оказалась в безопасности. А дальше началось наступление, завершившееся разгромом французской армии. Их отступление «от самой Москвы и до того места, где он находится сейчас, когда я пишу,— указывает Чичерин,— это был сплошной ряд неудач, сплошной затянувшийся разгром, и ни в одном случае мы не видим ни искры той гениальности, которая отмечала прежде каждый шаг Наполеона».

Говоря о Кутузове, Чичерин дает замечательную характеристику великого полководца, которую завершает такими словами: «В армии его обожали и за его имя и за его знакомое и любимое лицо; достаточно было ему показаться, чтобы все радовались» (запись 1813 года). Чтобы не вносить смятение в ряды войск, ставка скрывала смерть Кутузова, и приказы довольно долго еще шли от имени фельдмаршала.

На страницах дневника перед нами предстает человек удивительно скромный. Он рассказывает о сотоварищах, о себе, своих чувствах, стремлениях и желаниях. «Образ мыслей, который для себя я составил, не позволяет мне желать мира для себя», хотя «я тоже хочу мира, я тоже стосковался по нем; впервые за пятнадцать месяцев я решаюсь сказать об этом» (запись 1813 года). Александр Чичерин жил для отечества и умер за него.

**Л. БЕСКРОВНЫЙ,**

*доктор исторических наук.*



---

*Семнадцатого сентября 1962 года Максиму Танку исполняется пятьдесят лет. Знакомя наших читателей с новыми стихотворениями Максима Танка, сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему здоровья, счастья и литературных успехов.*

МАКСИМ ТАНК

★

## НОВЫЕ СТИХИ

*С белорусского*

\* \* \*

Когда расставания песню  
Поют журавли,  
На травы поблекшие  
И на прибрежные лозы,  
На кочки, на мох,  
На просторы осенней земли  
Дождем проливаются  
Птичьи прощальные слезы.

Мы их собираем  
В платочки, в лукошки, в корзины.  
Куда ни помотришь —  
Повсюду полно журавины! <sup>1</sup>

\* \* \*

В городе,  
Опустошенном, разбитом, безмолвном,  
Вдруг увидал я  
В соборе, сожженном врагами,  
Двух в голубых одеяниях ангелов.  
Надпись гласила,  
Что ангелы эти заносят  
В толстую книгу  
Фамилии и имена —  
Списки входящих сюда,  
Выходящих отсюда.

В списке вошедших сюда  
Насчитал я, пожалуй,  
Более тысячи

---

<sup>1</sup> Журавина — клюква (белорусск.).

Разных имен и фамилий.  
 В списке другом  
 Не нашел я, увы,  
 Никого.

Где они?  
 Может быть, ангелы смогут ответить?

Ангелы тоже молчат,  
 Опустив опаленные крылья.  
 Их, как и смертных,  
 Осколки снарядов  
 И пули  
 Не миновали.

\* \* \*

Пусть яростно спорят поэты,  
 Когда и кому  
 Поставить положено памятник.  
 Я ведь не так уж наивен,  
 Чтобы думать всерьез,  
 Будто строки простые мои,  
 Корявые, словно ладони рабочего,  
 Рожденные мной  
 На скрещенье ветров и дорог,  
 Весят больше,  
 Чем малый глоточек  
 Обычной воды.

Я рад и тому,  
 Что веселая продавщица  
 Сегодня в стихи мои  
 Мне завернула селедку.  
 Меня подмывает  
 Спросить у прохожих:  
 — А вы не успели отведать  
 Селедку,  
 Приправленную стихами?

\* \* \*

Я обиду простил тем речушкам, что в давние дни  
 В сушь и зной напоить меня не захотели,  
 Соснам гем, что меня приютить не желали в тени,  
 Тем кострам, что меня не согрели средь белой метели.

Даже пули простил я, что срезать меня на бегу  
 Норовили, ища под шинелью сердце солдата.  
 Лишь тебе до сих пор все простить я никак не могу,  
 Что меня подождать лишний день, лишний час не могла ты.

\* \* \*

Не верьте, что некогда  
Был уже век золотой,  
Что сладко жилось человечеству  
В сказочном веке,  
Что в пышных садах и дубравах,  
В Аркадии той,  
Под сенью деревьев  
Струились молочные реки.

Нет, все это сон,  
Что кому-то приснился в ночи.  
Объездил я мир,  
Видел знаки страданья людского.  
В музеях с мотыгами рядом  
Я видел мечи,  
В соседстве с коронами царскими  
Видел оковы.

Лишь только сегодня,  
Ведомые давней мечтой,  
К вершине ее  
Поднялись мы на крыльях свершений.  
Лишь только теперь  
Открывается век золотой  
И воздух грядущего свежестью пахнет весенней.

*Перевел Яков Хелемский.*



---

АЛЕКСЕЙ НЕКРАСОВ

★

## СТАРИКИ КИРСАНОВЫ

*Повесть*

I

— **А** нехорошо... Честное слово, нехорошо, Василь Григорьевич, получается... Люди бы мы вроде все свои, все вроде бы сообща в одну точку должны метить, а выходит не так... Навыворот, Василь Григорьевич, выходит. Не ту линию гнешь...— Так говорил, не торопясь, старик Тюрязев, председатель ревизионной комиссии колхоза, высокий, худой, с рыжей бородой и большими трясущимися руками.

Он сидел против стола Василия Григорьевича Качалова, только что вернувшегося с совещания в Кашине, на котором руководимый им уже второй год колхоз «Смычка» был отмечен с положительной стороны. Василий Григорьевич по такому случаю не преминул после совещания встретиться со своим дружкой — заготовителем в сельской чайной (заготовитель был ему должен: Василий Григорьевич позволил ему накосить в колхозе травы для своей коровы), — отлично покушал, выпил и был теперь в самом хорошем настроении.

— Право же, Николай Данилыч, не знаю, что ты увидел нехорошего у нас... Что тебе не глянется в моем руководстве, — отвечал в свою очередь председатель колхоза, обходя веселыми глазами присутствующих в конторе людей: молчаливого, когда он был трезв, бухгалтера Гаврилу Кузьмича Савина, сердито уткнувшегося в свои толстые папки, его помощницу, красивую вдвоюю счетоводку, не спускавшую восторженных глаз с председателя, и здоровую, нарядную, тоскующую от безделья продавщицу колхозной лавки Клавдию Савину, младшую сестру бухгалтера. — Дела в нашем колхозе идут вроде бы ничего, не хуже других... Вот и сейчас только с совещания приехал, опять наш колхоз хвалили: коровы наши боле всех по сельсовету дали молока... И сена, я думаю, ноне поболе прошлогоднего поставим... А про урожай и говорить нечего! Дай бог погоды до снегу убрать — беспременно колхозники с хлебом будут... Что ж ты еще увидел в нашем колхозе плохого?.. Каку таку линию председатель гнет? — Василий Григорьевич в беседе с колхозниками, подобно председателю райсовета товарищу Папаю, имел обыкновение говорить о себе чаще всего в третьем лице.

— А то нехорошо, Василь Григорьевич, — сказал старик Тюрязев, — что сами же свои порядки нарушаем. Сперва, значит, постановление принимаем, а потом, значит, чтоб легче было, нарушаем эти самые постановления.

— Какие постановления?

— Какие? А вот какие! Вспомни-ка перво-наперво, что говорил колхозникам, когда в прошлом году без корму остались?.. Косить не дал,

сказал: колхоз траву выкосит, а как косил?.. Боле тыщи гектар под снег пустил... Колхозникам не дал и колхоз без сена оставил... Ноне опять эта же история повторяется.

— Знаешь, Данилыч,— перебил председатель, который не любил выслушивать замечаний,— есть пословица: кто старое вспомнит, тому глаз вон... Без глазу я, конечно, не хочу тебя оставлять,— оговорился он с улыбкой,— а насчет покосу не сумлевайся: мы, это самое, на правлении обсудили, передумали...

— Как же передумали,— возмутился старик,— когда опять своим колхозникам запрещаешь косить, а на сторону даешь?! Шахта ноне кссит, курорт тоже, заготовитель, бабы сказывают, опять надел получил...

— И своим колхозникам разрешаем косить по околкам... Можешь не сумлеваться,— перебил председатель, снял фуражку и бросил ее вверх тульей на стол.

Тюряев трясущимися руками достал из кармана кiset и стал закуривать.

— Ну что ж, коли разрешил, хорошо,— сказал он, отходя. Как видно было по выражению его сурового, обросшего рыжей бородой лица, старик остался доволен тем, что заставил председателя пересмотреть его решение.— Теперь, Василь Григорьевич, у меня к тебе есть еще один вопрос.— Тюряев раскуривал папиросу.— Что это ты с рыбой в колхозе порядка не наведешь? — Он посмотрел внимательно на председателя, помолчал, и Василий Григорьевич опять схватился за фуражку, поправил под ремнем гимнастерку.— Колхозники больно шумлять,— продолжал старик.— «Что это, говорят, за порядки?.. Правление колхоза принимало решение запретить в пруду неводом рыбу ловить?.. Принимало. Общее собрание колхозников постановляло штрафовать тех, кто ловит?.. Постановляло. А люди ловят да ловят. Что это?.. Опять только на гумаге записали?»

— Кто ловит?.. Скажи, мы это самое дело на правлении обсудим, разберем.

— Кто ловит? — переспросил старик.— Сам, поди, знаешь, кто ловит. Городские приезжают на машинах, ловят... Вот кто ловит.— Он помолчал.— Я ноне на обед пришел,— принялся рассказывать он.— Только, это, к пчелам собрался, дымарь разжег, Авдотья Баталова бежит, кричит: «Миколай Данилыч, пойдем, городские на машине приехали, полными мешками карасей из пруда выуживают... Скорей беги!» — И старик показал, насколько позволял это его суровый вид, как к нему прибежала Авдотья, как махала руками, как заговаривала с ним.— Я, это, дымарь быстрехонько погасил, собрался, пришел. Смотрю, это, верно: «победа» у пруда стоит и два мужика полную мотню рыбы из пруда на берег вытаскивают. Я, это, подошел, спрашиваю: «Вы это что, граждане, без разрешения порядки в колхозе нарушаете? Зачем, говорю, в пруду рыбу неводом ловите?» Что ж ты думаешь, Василь Григорьевич, оне отвечают?.. «А нам, говорят, председатель разрешил»... Вот что оне отвечают!

Василий Григорьевич возмутился.

— Вишь, что придумали: председатель разрешил! Я ноне с утра и дома-то не был,— сказал он и сел от возмущения удобнее на табуретке.— Гнал бы их, Данилыч, с пруда взаши, а рыбу надо было отобрать, на склад колхозный сдать.— Он засунул под широкий командирский ремень большие пальцы обеих рук и, разведя их в стороны, решительно поправил на перевалившемся через ремень животе гимнастерку. Потом, чтоб, очевидно, еще нагляднее показать присутствующим свое возмуще-

ние, достал из глубокого кармана брюк галифе ключ, отпер верхний ящик стола, решительно его выдвинул и стал перебирать лежащие в нем бумаги.

Тюряев спокойно и внимательно проследил за всем, что сделал председатель.

— Я, это, тоже, Василь Григорьевич, этому не поверил, — сказал он. — Грашину девчонку к тебе послал. Она тут, возле пруда, поблизости бегала, — пояснил он. — Да, вишь, тебя-то как на грех дома не оказалось. Баба твоя сказала: «В сельсовет уехал».

— Верно, на совещании был, — не глядя на старика, подтвердил председатель.

— Я вот тут на всяк случай номер ихней машины записал, — продолжал старик, не обращая ровно никакого внимания на слова председателя. — Коли не разрешал, так давай-ка акт, Василь Григорьевич, составим да в милицию передадим, тоже другим наука... Али в крайнем случае давай в районную газету пропечатаем. Тоже стыдно от людей будет... Уж больно колхозники шумлят: «Нам, говорят, в своем пруду рыбой нельзя попользоваться, а городские приезжают, ловят». — Тюряев достал из верхнего карманчика пиджака чистую оторванную от газеты полоску, на которой был записан номер машины, и подал ее председателю. — Ведь добро б, Василь Григорьевич... — продолжал он, когда председатель, надев предварительно очки, в которых видел хуже, взял бумажку с номером машины. — Ведь добро б, если б за рыбой приезжали организации... Ну, положим, та же шахта, которая над нашим колхозом шефствует. Ведь тогда б в деревне и слова супротив никто бы не сказал... Тоже ведь в городе шахтеры-то не часто свежую рыбу видят... А то ведь кто приезжает?.. Хапуги! Ну, спрашивается, куда одной семье полон мешок рыбы?.. Разве съесть? Так выбросят али на базар продовать понесут...

Председатель снял очки и терпеливо ждал теперь, когда старик перестанет говорить. Кому принадлежала машина, номер которой записан на клочке газетной бумаги, он, конечно, не знал. Но со свойственной ему быстротой соображения вспомнил, кому из своих многочисленных дружков в городе давал разрешение на лов рыбы в пруду. Таким человеком, по его предположению, мог быть начальник пятой автоколонны Спирин, находившийся в отпуске.

— Ты знаешь ли, Данилыч, чей номер-то записал? — спросил он, когда старик замолчал.

— Не знаю... Почем я знаю... Мало ли из города к нам в деревню на машинах ездит.

— Вот вишь! — заметил с важностью председатель. — А говоришь: акт составляй... Что хошь, Данилыч, делай, а акт составлять я не буду... Ведь это знаешь ли, чья машина? — переспросил он.

— Не знаю... Почем я знаю, — еще сердитее ответил старик.

— Ведь это, Данилыч, машина-то Спирина, начальника пятой автоколонны!

— А по мне хоть будь она самого господ бога. Мне все равно, — сказал решительно Тюряев. — Постановили не ловить неводом в пруду рыбу — значит, не ловить... Зачем и постановлять, коли сами же это постановление нарушаем...

— Ах, Данилыч, Данилыч, ну как ты не понимаешь, — укоризненно сказал председатель. — Ну как ты на него пойдешь жалиться, когда к нему по каждому же делу обращаешься... Вот сейчас уборочная наступает. Ты скажи мне: запасные части к машинам в колхозе нужны али нет?.. Ну, что молчишь? Нужны, я спрашиваю, али нет?

— Ну, нужны, — ответил старик.

Председатель решительно задвинул ящик с бумагами и сел к столу поближе.

— А теперь скажи: покрывки для машин нужны?

Старик молчал.

— Ну, что молчишь? Нужны али нет, я спрашиваю? — переспросил председатель.

— Ну, нужны.

— Где ж ты, Данилыч, все это достанешь, окромя автоколонны?

— Достают же люди по наряду через сельхозснабсбыт али другим каким путем...

Председатель опять от возмущения выдвинул ящик стола и откинулся на табуретке к стене, известь на которой в этом месте была вытерта.

— Ах, Данилыч, Данилыч, — вздохнул он и покачал головой. — Мужик ты вроде бы умный, хозяйственный, а таких простых вещей не можешь понять... Ведь если бы я через этот самый сельхозснабсбыт все для колхоза доставал, так и теперь, поверь ты мне, наши машины на приколе стояли... Ей-богу, стояли бы на приколе, — повторил с чувством он. (Слово на «приколе» он услышал от своего шофера и тем решил удивить теперь старика.)

— Как же другие-то председатели все достают, у кого в деревне нет рыбы? — спросил Тюряев, действительно обративший внимание на это новое слово своего председателя.

— Не знаю, Данилыч, не знаю... А только ты опять напрасно всю эту кутерьму заварил... Не стоит рыба этого. — Председатель снял очки, надел фуражку и решительно задвинул ящик.

Данилыч тоже, вероятно, не знал, что сказать, молчал. Потом он встал.

— Как хошь, Василь Григорьевич; гляди — ты хозяин, тебе виднее... А по-моему, нехорошо ты делаешь: своему брату колхознику не смей в пруду рыбу ловить, а приедем можно... Не по закону это, — сказал он, открыл дверь и медленно, как все, что он делал, вышел, выворачивая ноги пятками в стороны, из конторы.

## 2

— На вот вам два письма и газеты, Василь Григорьевич, — сказал бошедший после него к председателю старик почтальон Клим Дмитриевич Миронов.

Клима Митрич, как его звали в деревне, весело со всеми поздравался — человек он был общительный, — выложил перед председателем на стол газеты с письмами, прихлопнул по ним ладошкой, как-то старчески присев при этом, и с доброй улыбкой на чисто выбритом морщинистом лице подвинул их председателю.

Василий Григорьевич, расстроенный неприятной беседой со стариком Тюряевым, не торопился просматривать почту. Слова старика «а нехорошо ты делаешь: своему брату колхознику не смей в пруду рыбу ловить, а приедем можно», как ни был до этого он весело настроен, задели его за живое. Он никогда не желал ничего плохого своим колхозникам. Это противоречило его доброму характеру. «Уйду, уйду!.. Беспременно уйду с этой проклятой должности, — думал он, не помня, конечно, что говорил это всякий раз, когда колхозники критиковали его или что-либо было не так. — Чтоб я еще нервы трепал!.. Да за какой такой грех!.. Что я... Что мне, больше других надо? Да пропади все пропадом, — он не сомневался, что после него дела в колхозе пойдут хуже, — чтоб я еще год в председателях остался... Пусть как знают, так и делают, коли все так умны стали... То сделаешь — не так, другое — не эдак... Ровно министры какие... Вот ведь до чего дослужился...»

Клима Митрич решил напомнить председателю о почте.

— Письма-то, Василь Григорьевич, погляди, кажись, важные. Одно, кажись, из району,— откашлявшись, сказал он почтительно-осторожно, переступил с ноги на ногу и, взявшись за козырек, приподнял над седой головой кепочку.

По расстроенному лицу председателя, а также старика Тюряева, который встретился с ним на крыльце, холодно поздоровался, не спросив даже, есть ли ему письма, Митрич догадывался, что между ними, то есть между председателем и Тюряевым, вышел неприятный разговор. Честность, ум и хозяйственность старика Тюряева были широко известны в деревне. Клима Митрич, как, впрочем, и многие в деревне, уважал его. На общих отчетно-перевыборных собраниях, когда Тюряев как председатель ревизионной комиссии докладывал колхозникам о нарушениях в расходовании средств, Клима Митрич всегда возмущался больше других. Но, посмотрев теперь на расстроенное лицо председателя, Митрич пожалел его. «Вреднувший же старик,— подумал он о Тюряеве.— Опять пронял председателя. И что он уж шибко-то на него наступает; конь о четырех ногах, да и то спотыкается... Никакого снисхождения не знает». Он опять откашлялся, поправил на голове старенькую, сплюснутую, как блин, кепочку и хотел было еще раз напомнить о письмах, но Василий Григорьевич, надев очки, все с тем же невеселым, обиженным лицом сам занялся ими. Клима Митрич повеселел.

— Слышь, Клавдия,— обратился он к нарядной продавщице, сидевшей на табуретке возле счетоводки. Клавдия негромко, смеясь, рассказывала счетоводке о вчерашнем флирте с агрономом. Она обернулась, постаралась придать своему лицу спокойное выражение, но в глазах ее и красных, полных, вывернутых губах играла прежняя улыбка.— Слышь, Клавдюша,— обратился в другой раз к ней Клима Митрич,— пойдешь домой обедать, не зайдешь ли, не отдашь ли старухе Кирсановой письмо от сына... Давно ждет...

— Отчего не отдать?.. Отдам, нетрудно,— ответила своим сильным гортанным голосом Клавдюша.— Не беспокойся, отдам, сегодня же отдам...— прибавила она, взяла письмо, под села опять к счетоводке, чтобы дорассказать ей о вчерашнем.— Он говорит (то есть агроном говорит),— начала она:— «Пшеница в колхозе у вас неважная, не сортовая, говорит...» Я говорю: «Что ж, бывает, говорю, и в лавку товар не того сорта привозят».— Она закрыла лицо руками, уткнулась счетоводке в бумаги и так расхохоталась, что даже председатель, как ни был расстроен, бросил украдкой на нее взгляд и улыбнулся.

Клима Митрич тоже с улыбкой несколько минут поглядел на нее, в особенности на ее широкую спину и пышные плечи, потом, как будто очнувшись, решительно захлопнул большую непромокаемую, из кожмита, сумку, сердито попрощался и вышел из конторы. Его стоптанные, пахнувшие дегтем сапоги весело простучали сначала в другой комнате конторы, потом в сенях, потом на крыльце.

— Но, Илька! Поехали, милый!.. Скорей домой побежали,— послышался еще через минуту с улицы его добрый старческий голос. Он зачмокал, задергал вожжами; телега, удаляясь от конторы, загремела по дороге.

Василий Григорьевич распечатал одно письмо. В этом письме, адресованном лично ему, плановый отдел райсовета предлагал немедленно и срочно выслать данные по колхозу о наличии на конец августа месяца (как будто август мог быть не месяцем) крупного рогатого скота (в том числе коров), свиней, овец и птицы. Письмо это Василий Григорьевич молча передал для исполнения бухгалтеру.

— Отпиши им, Гаврила Кузьмич,— сказал он.— Да пропиши, что это они за моду взяли спрашивать о коровах каждый месяц... Не грибы ведь коровы-то... За месяц не вырастут... В прошлом месяце писали, в этом опять требуют... Пусть поглядят у себя в бумагах... Недолго ведь... Что пишут?

Гаврила Кузьмич знал, конечно, что писать этого не следует, что слова эти Василий Григорьевич говорит не для начальства, которому он боялся сказать слово против, а для счетоводки с продавщицей; хоть здесь, у себя в конторе, перед ними ему хотелось показать себя умнее планового отдела райсовета. Гаврила Кузьмич это знал, но ничего не сказал председателю, а только улыбнулся долгой значительной улыбкой опытного, все понимающего бухгалтера, засовывая под стекло на столе поданный председателем конверт.

В другом письме секретарша председателя райсовета предлагала смычинскому председателю т. Качалову В. Г. явиться 2 августа с. г. к двум часам дня в зал заседаний исполкома райсовета на совещание. На совещании предполагалось обсудить вопрос о завершении сеноуборочной и начале хлебоуборочной кампаний в колхозах района. Председателю предлагалось иметь при себе все данные по этим вопросам, выслать отчет о выполнении плана заготовок кормов по колхозу и увидиться накануне совещания с председателем райсовета т. Папаем М. Ф. Письмо это Василий Григорьевич молча положил в верхний карман гимнастерки, где у него хранились особо важные бумаги.

— Увидишь, Августа, Егора с Иваном, скажи, чтоб подождали меня вечером в конторе, сводку надо написать,— сказал он, выходя из конторы, счетоводке.

— Хорошо, скажу, обязательно скажу, Василь Григорьевич,— прокричала полненькая с остреньким носиком счетоводка, любившая выполнять все распоряжения своего председателя.

## 3

Василий Григорьевич Качалов был местным, то есть из этой же деревни, человеком. Грамота у него была небольшая, в машинах он не разбирался, и все же я допускаю возможность, что из него бы получился неплохой председатель, если бы он хоть сколько-нибудь был ознакомлен с тем, как правильно вести большое колхозное хозяйство, если бы за ним был постоянный контроль местных властей, если бы он не путал свой карман с колхозным да если бы в деревне было побольше мужиков, которые могли спросить с него работу. Сам же Василий Григорьевич видел свои обязанности в том, чтоб, во-первых, выполнить, по возможности в срок, все распоряжения начальства, которого он, как всякий малограмотный человек, знавший за собой много провинностей, страшно боялся; во-вторых, невзирая на цену, достать все нужное и ненужное для колхоза; и, в-третьих, в том, чтобы «ублагодолить», как он выражался, колхозников.

В это слово Василий Григорьевич вкладывал следующее понятие. Попросит, бывало, у него какая-нибудь колхозница лошадь съездить на базар в город или в лес за дровами. Василий Григорьевич, конечно, ей даст, не откажет. Колхозница из ложной благодарности, чтобы председатель ей и впредь ни в чем не отказывал, торопится скорей купить вина, наварить браги и пригласить председателя с бригадиром в гости.

Отправит, бывало, Василий Григорьевич людей на работу, забегит как-то незаметно в дом к кому-нибудь, выпьет, закусит, через час или немного поболее выйдет еще более красный и деятельный, одернет под широким командирским ремнем гимнастерку, пройдет эдаким козырем

по деревне, велит запрячь себе жеребца и едет в поле проверять работу. Там он, если ему с утра не испортили ни жена, ни кто-нибудь из колхозников настроения, обязательно пошутит, посмеется, а другой раз и поборется на душистом сене с молодыми колхозницами.

Хозяйство в колхозе Василий Григорьевич вел не менее странно. Надо, например, колхозу уголь. Василий Григорьевич обратится с этой просьбой не к управляющему шахтой, шефствующей над его колхозом, не в плановые органы райсовета, а к своим многочисленным дружкам из числа заведующих складами, базами, гаражами, конторами снабжения и сбыта. Те, конечно, за счет колхоза хорошо погуляют и тот же уголь, который шахта свободно отпускает частным лицам по шестьдесят рублей за тонну, Василию Григорьевичу выпишут по восемьдесят или девяносто рублей, да еще и убедят его в том, что делают это они только для него по дружбе. Его уверенность, что только таким путем, через знакомых, можно было что-нибудь достать, была удивительной.

— Не старайтесь... Не убеждайте... Не первый день живу... Не цыпленок ведь, который только что вылупился из яйца и ничего не знает... Не мене вас знаю, как эти дела делаются,— ответит он, бывало, членам правления, которые начнут критиковать его за то, что неэкономно расходует колхозные деньги. После этого рассердится и во весь вечер не скажет более ни слова.— Уж коли вы эдак умны, так следующий раз поезжайте в город сами, да сами все и доставайте для колхоза,— встав из-за стола, выложит он несколько театральным голосом, когда заседание окончится и члены правления начнут расходиться из конторы.

Даже отработанное машинное масло, которое на многих заводах и шахтах в городе не знали куда девать, Василий Григорьевич умудрялся покупать у своих дружков по цене, намного превосходившей стоимость переработанной нефти! Не удивительно после этого, что колхозники в конце года получали на трудовень копеечки.

Но было бы совершенно неправильно после этого думать, что Василий Григорьевич был каким-то мошенником. Напротив, по его твердому убеждению, все, что он делал, шло на пользу колхозу и колхозникам. Пил он, по его твердому убеждению, тоже из этих же соображений: «Не выпьешь сам да не угостишь нужного человека, так разве что-нибудь достанешь, добьешься чего»...

Василия Григорьевича давно уже освободили от должности, на его место прислали из города другого, но я как сейчас вижу его невысокую плотную энергичную фигуру в защитного цвета гимнастерке с широким командирским ремнем (из армии он демобилизовался в звании старшины), в ладных хромовых сапогах. Он начнет, бывало, рассказывать что-нибудь колхозникам, еще и смешного ничего не скажет, а расхохочется так, что маленькие глазки превратятся в шелки, сам весь покраснеет, не может сказать и слова, потом вдруг увидит, что никто, кроме него, не смеется, прогонит с лица улыбку, делается вдруг необычайно серьезен, откашляется, одновременно поправит ремень, гимнастерку, воскликнет, схвативши себя за голову: «Ах ты грех, совсем забыл!» — и спешит скорей в контору, хотя в действительности ничего он не забыл и делать ему там, в конторе, совершенно нечего.

Из всех людей деревни, пожалуй, один старик Тюрязев, председатель ревизионной комиссии колхоза, по-настоящему осуждал председателя. С Тюрязевым у Василия Григорьевича были особенные счеты. Василий Григорьевич был многим обязан этому старику: когда умер отец Василия Григорьевича, а сам он, находясь в армии, лежал в госпитале, старик Тюрязев, который был дружен с его отцом, выслал ему двести рублей денег и посылку с медом и топленым салом; у себя в деревне старик часто помогал жене Василия Григорьевича привезти то дров, то соломы, то

угля из города. Они и сейчас еще по старой традиции ходили друг к другу в гости по праздникам, но в душе ненавидели один другого: умный, хозяйственный старик, проработавший в колхозе несколько лет хозяйственным (тогда колхоз «Смычка» был самым богатым в районе), никак не мог смириться с растраниванием колхозного добра. При первой же ревизии он обнаружил у председателя недостачу в одиннадцать тысяч рублей. Как ни энергично доказывал ему Василий Григорьевич, на что издержаны деньги, старик отказался подписать фиктивные акты, составил докладную и послал ее в город председателю райсовета Папаю. Василия Григорьевича по этому вопросу вызывали три раза в район. Дело, возможно, приняло бы плохой оборот, если бы не вмешательство районного прокурора Еловских, с которым Василий Григорьевич был особенно дружен. Прокурор, которому было поручено разобраться в деле, побывав у Василия Григорьевича в колхозе, посоветовал секретарю райкома партии Никитину и председателю райсовета Папаю дело прекратить. Дело замяли, Василия Григорьевича пожурнили, предупредив, чтоб впредь он тщательно оформлял все денежные документы. Теперь председатель опасался, как бы старик не написал в райсовет новую жалобу о нарушении в колхозе «Смычка» постановления общего собрания колхозников о запрете ловить в пруду неводом рыбу.

## 4

Продавщица Клавдия, выйдя из конторы, огляделась, нет ли кого поблизости, повертела конверт в руках, хотела его тут же на крыльце вскрыть, чтоб прочитать, что пишет родителям Григорий Кирсанов, на которого она, когда он был холост, имела виды, но письмо было крепко заклеено. Тогда Клавдия решила, чтоб не покупать другого конверта, вскрыть его после обеда в лавке с помощью лезвия безопасной бритвы. (Идти специально в лавку из-за этого ей тоже не хотелось.) Она положила письмо в сумочку и пошла домой обедать. Всю дорогу, идя домой, думала она о Григории. Вернувшись из госпиталя, он гулял несколько вечеров с нею. Высокий — он был ростом немного менее двух метров, — статный Григорий ей нравился больше других парней в деревне, которые когда-либо ухаживали за ней. В воображении ей все представлялась следующая картина: по деревне идет он, высокий, статный, косая сажень в плечах, Григорий, и рядом с ним она, Клавдия, в ярком, нарядном платье. Мужики и бабы провожают ее завистливым взглядом и говорят промеж себя с завистью: «Вишь, Клавдия-то наша какого мужика себе опять отхватила».

«Все это она, Аниска, сводница такая, сбаламутила его на Ксении жениться... Не она, так жил бы теперь со мной, и работать бы не заставляла: сама бы прокормила», — ворчала она. Анисья была замужняя сестра Григория, у которой на квартире жила эвакуированная во время войны из Старой Руссы девушка-сирота Ксения Спирина. Анисья, привязавшаяся к девушке, уговорила брата взять ее в жены, когда он вернулся из госпиталя. Вот об этом и думала теперь продавщица.

Домик стариков Кирсановых — Семена Кондратьевича и его жены Настасьи Николаевны, высокой дородной старухи с широким лицом и большими черными глазами, которую на деревне звали Миколаевной, — стоял посреди деревни, у лога. Отдохнув после обеда, продавщица в пятом часу возвращалась к себе в лавку. Еще издали она увидела во дворе старуху Кирсанову. В своей пестрой кофте, широкой юбке с фартуком и в прорезиненных тапочках на босу ногу она сидела на крыльце своего дома, спрятавшись от солнца (день был жаркий), и

чистила в тазу картошку. Миколаевна тоже издалека еще заметила яркое крепдешинное платье продавщицы.

— Куда, милая, нарядилась? — поздоровавшись, спросила, как пропела, она, когда продавщица поравнялась с ее домом.

— А в лавку к себе, Миколаевна, — ответила своим сильным гортанным голосом нарядная Клавдия.

Приветливый голос Миколаевны подействовал на продавщицу. Как ни была она сердита на ее сына за то, что он не женился на ней, как ни горела желанием прочесть его письмо, как ни хотела отомстить ему за измену, но и она после этой встречи нашла неудобным не уважить старуху. «Поди, ничего интересного не пишет», — подумала она, приворачивая к небольшому аккуратному домику старухи.

— На вот письмо тебе, Миколаевна, — сказала она, подходя к калитке и вынимая письмо из сумочки:

Сумочка эта была гордостью продавщицы; кроме нее, ни у кого не было такой сумочки.

Миколаевна, давно дожидавшая письмо от сына, заторопилась. Ее правая рука, под мышкой которой росла грыжа, стала подниматься как-то в сторону и вверх выше плеча.

— Ах ты господи, какая радость... Вот не ожидала, — заговорила она, сняла быстро с колен полный таз картошки, утерла о фартук красные мясистые, натруженные руки, прогнала под сени залаявшего на продавщицу кобеля Дружка и скорым шагом подошла к калитке. — Здравствуй, Клавдия, — еще не доходя, поздоровалась она в другой раз, низко кланяясь. Она хоть и не уважала продавщицу, но находила нужным быть приветливой с нею: Клавдия на деревне играла не последнюю скрипку, к ней нет-нет, да и приходилось обращаться с какой-нибудь просьбой. — Говоришь, письмо от Гриши привезла? Ну вот спасибо, милая. Радость старухе доставила, — продолжала своим добрым напевистым голосом Миколаевна, принимая из мягких с короткими пухлыми пальцами рук продавщицы письмо. — Что, сам Гриша письмо-то передал али Ксения?

— Сам Клима Митрич отдал, — ответила продавщица.

— А не сказывал Клима Митрич, что Ксения, не родила еще?

— Нет, ничего не сказывал.

— А ходит ли?

— Ничего не сказывал.

— Я, милая, как с Гришей ходила, неделю пластом в кровати лежала, встать не могла, — вздохнула Миколаевна и принялась разглядывать помятый, с картинкой, конверт сына. По внешнему виду письма она хотела догадаться, что пишет сын.

— Ну, так, Миколаевна, я пойду к себе в лавку... Поди, и так народ меня заждался, — сказала продавщица.

— А что, погодила бы, милая... Кто тебя теперича ждать-то будет: все люди в поле, — возразила Миколаевна, проворно засовывая конверт в карман фартука.

— Нет, идти надо... От людей нехорошо, — сказала продавщица, одернула на себе платье, собралась было совсем идти, но Миколаевна остановила ее.

— Погоди-ка, милая, я тебя квасом угощу, — сказала она, направившись через двор к погребу. — Только третьего дня свежий поставила... Поди, ведь пить хочешь... Вон ведь жар какой стоит, дышать нечем.

— Не ходи! Не беспокойся! Не надо! — закричала ей вслед продавщица, однако не ушла, а стала дожидаться старуху с квасом.

Клавдия находила, что, принеся Миколаевне письмо от сына, она заслужила с ее стороны такое внимание.

Как только Миколаевна, приговаривая что-то про себя, спустилась в погреб, Клавдия поглядела сперва направо вдоль деревенской улицы, потом налево. В жарком неподвижном воздухе, ходившем слоями над высохшей черной дорогой, четко обозначался каждый дом со всеми надворными постройками. Свиньи, куры, собаки, телята — все попрятались в тень от зноя. Только ребятишки в коротеньких выгоревших рубашках и платьицах, игравшие в густой траве меж домами под присмотром старух, оживляли картину деревни, все трудоспособное население которой было в поле. Старухи Фотиева и Сидельникова, жившие в соседях со стариками Кирсановыми, прильнули к окошкам, наблюдая за продавщицей. Клавдия их приметилла. Она нагнулась и стала поправлять на белых, толстых, как бревна, ногах круглые резинки. Клавдии хотелось, чтоб старухи Фотиева и Сидельникова оценили бы не только ее платье, капроновые чулки с черной пяткой и туфли, но и шелковую комбинацию, которую она купила себе недавно в Шаблине по знакомству. Клавдия знала, что старухи Фотиева и Сидельникова — плохие ценители ее толстых белых ног, но зато толк в комбинациях знают больше, чем кто-либо другой в деревне. Круглые новые резинки так надавили ей ноги, что оставили красные рубцы. «Вишь, опять расставлять надо. Видно, все полнею. Давно ли, кажись, перешивала», — не без гордости подумала продавщица, поправила на ногах резинки, выпрямилась и стала кокетливо одергивать поднявшееся на ее высокой груди тонкое платье. Старухи Фотиева и Сидельникова продолжали наблюдать за ней. «Пусть поглядят да полюбуются, как я одеваюсь», — сказала про себя Клавдия, оправила под мышкой сумочку, надвинула на глаза косынку, чтоб не загореть, отставила ногу и стала дожидаться Миколаевну.

Старуха в это время медленно, с полным ковшиком пенистого кваса, приговаривая что-то про себя, вылезала из погреба.

— На-ко, милая, попей, попробуй, удался ли квас-то? — сказала она, подходя к калитке. (Миколаевна и не подозревала, конечно, какой здесь форс без нее задавала продавщица перед старухами Фотиевой и Сидельниковой.)

— Ей-богу, Миколаевна, ты только напрасно беспокоилась... Я и пить-то не больно хочу... Пришла бы в лавку, там бы напилась, — ответила продавщица, принимая, однако, из рук старухи полный ковшик кваса.

Она сдула пену, вытянула шею, чтоб как-нибудь нечаянно не капнуть себе на платье, и принялась пить.

Миколаевна, стоявшая по другую сторону калитки, с доброй улыбкой на широком морщинистом лице тоже оглядывала наряд продавщицы. «Ничего не скажешь, красивая девка, — думала она, с интересом наблюдая, как ковшик с квасом, а с ним и красивая голова продавщицы, повязанная шелковой косынкой, все больше запрокидываются назад. — Не смотри, что гуляющая, а видно, жить умеет... Вишь, опять платье новое себе справила, чулки шелковы с часами и туфли хромовы. Видно, много зарабатывает».

— Ну, вот спасибочко, Миколаевна, — напившись, сказала, тяжело вздохнув, продавщица и подала старухе порожний ковшик. — Вот тебе и пить не хочу, — прибавила она с улыбкой. — А полный ковшик выпила. — И Клавдия громко засмеялась.

— Пей, милая, пей. Квас-то что? Свой, не жалко... Удался ли?

— И не говори: лучше твоего квасу отродясь не пивала, — ответила с жаром продавщица, опять одергивая перед старухой тонкое крепдешиновое платье.

— Что, иль узко? — спросила ее Миколаевна.

— Не узко, а на грудях вздымается.

— На твоих грудях как не будет вздыматься. Тут хоть како платье, так на твоих грудях будет вздыматься... Погляди-ка, сколь они у тебя велики... Скоро ног своих не будешь видеть, — польстила ей старуха, так что Клавдия от удовольствия опять громко захохотала. — Сама шила али готовое в городе брала?

— Готовое в городе брала. Такое разве сама сошьешь?

— Что говорить, хорошее платье... Видно, помногу зарабатываешь?

— Кому как, а по мне так хорошо... Меньше трехсот не выходит в месяц.

— Чего еще лучше! А туфли-то что, тоже в городе брала?

— Нет, туфли у себя в лавке покупала. В городе таких не скоро купишь. Там народ поденжнее нашего брата, живо хорошие вещи разбирают. — Клавдия предполагала, что старуха сомневается, что она честным путем на свой небольшой заработок могла купить столько ценных вещей за такой короткий срок. Поэтому продавщице хотелось объяснить, какими доходами она живет. — Я нынче летом в городе у брата Михаила гостила, — принялась рассказывать она, но Миколаевна, которой, напротив, хотелось поскорее узнать, где, по какой цене продавщица все себе покупала, перебила ее.

— А часы-то, что, тоже в лавке брала? — спросила она.

— Нет, часы в ШабLINE покупала, — ответила Клавдия и хотела было продолжить свой рассказ, но старуха в другой раз ее перебила.

— Дорого ли стоят? — спросила она.

— Девятьсот.

— Дорого же!

— Я нынче летом у брата Михаила в городе гостила, — снова принялась рассказывать продавщица. — Так посмотрелась, как они там, в городе-то, живут... Что хоть и Михаил полторы тыщи зарабатывает, а все беднее меня живет. Ведь им что, Миколаевна? Морковь ли надо, капусту ли, свеклу ли надо, картошку ли — все с базара тащи. А ведь за это, Миколаевна, деньги плати, даром не дают. Вот и выходит на то же. Что хоть Михаил-то в пять раз побольше мово принесет, а на руках все равно меньше мово останется... Ведь я что, Миколаевна? — продолжала она. — Живу одна с матерью. Все у нас свое. Мясо ли, картошка ли, огурцы ли с помидорами — все у нас свое... Ведь я, Миколаевна, окромя конфет да пряников, ничего в лавке не покупаю. Вот и выходит, что я побольше Михайлова зарабатываю, — закончила с важностью она.

— Верно, девка, — решительно согласилась с ней Миколаевна. Она согласилась не потому, что поверила Клавдии, а потому, что слова продавщицы отвечали ее взгляду на жизнь в городе. — Я тоже своей Алефтине (так звали ее младшую замужнюю дочь) все говорю: «Бросила б, говорю, свой этот город. Что, говорю, в нем хорошего? Переехали б, говорю, к нам в деревню, обзавелись бы скотиной, огород свой имели бы, дом бы хороший поставили...» Муж-то у Алефтины по плотнической части мастак, — пояснила она. — «Что, говорю, вам еще? Все, говорю, полегче бы стало жить».

— Ну, и что Алефтина?

— Алефтина-то согласна, да муж не едет... «Что, говорит, я там, в деревне-то, не видал? Что, говорит, я там делать-то буду?» — передразнивая зятя, отвечала старуха. — Ровно в деревне не люди живут... Али в деревне работы нету?..

— Известно дело: все они так, городские-то, на нашего брата, деревенских, смотрят. Как чуть, так что вы — колхозники, деревня, вах-

лаки,— заметила Клавдия. Она помолчала. — А что, разве Алефтина-то с мужиком худо живет? — спросила она.

Миколаевна задумалась.

— Как тебе, милая, сказать,— начала она после раздумья.— Не скажешь, чтоб больно худо, а и радости, милая, не видит. Не как другие, не бьет он ее... Что напраслину на зятя говорить... Не скажешь этого... И к нам, милая, хорошо относится. Как приедем, так: «Мама, ешь, мама, отдохни, мама, здесь не садись, дует, вот здесь садись»,— продолжала она.— В общем ничего, милая, не скажешь плохого о парне. Только вот ведь беда, милая: пьет страшно. Ведь все, милая, пропивает. Ну разве, милая, это дело? Ведь, милая, Алефтину жалко. Что ни говори, а дочь она... Ты ведь помнишь, какая Алефтина-то в девках красивая да пригожая была. Грудь что теперича вон у тебя, были; лицо, как шаньга, круглое, румяное да белое. А теперь, милая, вся высохла... Да и сама посудь: как не высохнешь, коли все мужик пропивает. Одеться ведь, милая, скоро не в чего будет... Грудь у самой пропали, молока в них нету. Ребенка кормить нечем, коровьим кормит. Болеет часто... В общем, совсем девка зачахла,— закончила она печально.

Клавдия тоже с минуту из приличия помолчала.

— Нет, по нынешним временам нашему брату, девкам, замуж не след выходить,— сказала она с присущей ей определенностью.

Миколаевна долго молчала, глядя на Клавдию отсутствующими глазами.

— Как тебе, милая, сказать,— медленно заговорила она, обдумывая, очевидно, каждое слово.— С мужиком бабе худо, а без мужика и того хуже. Дело молодое, долго ли с ума нашему брату, бабе, свихнуться. Теперича вон хоть и в нашей деревне сколь девок да молодых баб без мужиков-то на неправильную дорогу вышло.— Она хотела еще что-то сказать, но продавщица, хорошо знавшая, о каких бабах и девках деревни говорит Миколаевна, перебила ее.

— Ну, так я в лавку, Миколаевна, к себе пойду,— решительно сказала она, видя, что разговор принимает не желательный для нее характер.— Народ, поди, и так меня заждался... С утра ведь лавку не отпирала,— прибавила она, отходя от калитки.

## 5

Вспомнив о письме, Миколаевна поспешно, как будто очнувшись, достала его из кармана, повертела в руках и пошла будить спящего на печи старика, который знал немного грамоту.

— Семен, а Семен! Вставай-ка, письмо от Гриши,— сказала она, войдя к себе в чистенькую, аккуратную избушку, половину которой занимали русская большая печь, стоявшая в правом углу возле двери, и большой девичий сундук хозяйки.

Почти оглохший и ослепший восьмидесятидвухлетний старик, ее муж, работавший в колхозе водовозом, продолжал спать, свесив с печи ноги в сапогах. Старик был старше жены на одиннадцать лет. Он теперь быстро утомлялся, любил тепло и спал так тихо, что Миколаевна боялась, как бы он вот так, неслышно, не умер на печи.

Старик не услышал голоса жены. Миколаевна потрогала его за ноги. Старик проснулся, поднял с подушки седую, со спутавшимися волосами голову, поправил на глазах очки, без которых ничего не видел, поглядел с печи на старуху и медленно, найдя ногой внизу лавку, стал спускаться, не спросив даже, зачем его будят. По долгому опыту супружеской жизни старик знал, что у жены, видно, есть веские причины разбудить его безо

времени. Он знал, что вставать ему рано, что он не отдохнул еще настолько, чтоб был в силах съездить три раза с сорокаведерной бочкой по воду, налить и вылить из нее воду и отвезти еще два раза молоко на «молоканку» — так звали в деревне приемный пункт молока — с колхозных ферм. Спокойно, все с тем же значительным видом, с каким он вот уже больше двадцати лет в жару и стужу сидел у хвоста такого же старорого, как он сам, мерина Оверьки, возя для ферм воду, он слез с печи, встал против жены и отыскал ее слабыми, старческими глазами, которые из-за сильных линз очков казались непомерно большими и бесцветными.

— Ну, что тебе? — сказал он глухим, как у всякого теряющего слух человека, слабым и несколько недовольным голосом.

— А вот письмо от Гриши... На-ко, прочитай, — ответила ласково Николаевна, подавая конверт.

Старик не расслышал жену. Он не понял ее и по движению губ, на которые внимательно смотрел, когда разговаривал с женой. Старик понимал ее больше так. Сегодня же он не понял ее и по движению губ. Он хотел было нагнуться и подставить к ее рту заросшее седыми волосами морщинистое, с дряблой мочкой ухо, но почувствовал, что жена что-то сует ему в руки. Он посмотрел на жену — лицо ее выражало досаду на его глухоту, он привык уже к этому выражению, — потом перевел взгляд на ее руки. Жена совала ему белый с темным пятном конверт.

— На, на, прочитай, — с досадой, негромко, чтоб не слышал ее старик, говорила она, суя в его скрючившиеся от старости и работы руки конверт. Про себя она опять отметила, что старик видит и слышит все хуже и хуже. «Наверное, уж много не проживет», — подумала она, и эта мысль, что старик может умереть раньше, как всегда, расстроила ее.

Старик взял письмо, пощупал его, помял, посмотрел к чему-то на свет, чем вызвал опять неудовольствие своей старухи, которой не терпелось узнать поскорее, что пишет сын, потом, шаркая слабыми, старческими ногами пошел к столу, стоявшему в углу меж окнами под книжной самодельной полочкой. Там он обыкновенно читал газеты и писал детям письма. Жена тоже вслед за стариком пошла к столу. У ней было за столом свое место, против старика. Старик сел, распечатал конверт и, с трудом разбирая слова, принялся негромко читать. Жена, не спуская с него глаз, внимательно слушала. В тех местах, где сын извещал о чем-нибудь важном, она вздыхала, шептала с улыбкой: «О господи, все ведь знает, обо всем подумает» — и пересаживалась с табуреткой к старика поближе, чтоб ничего не пропустить.

Старший, любимый сын отца и матери Григорий извещал родителей о том, что исполнительный комитет Шаблинского сельского Совета депутатов трудящихся отпускает его на две недели в конце этого месяца в отпуск. Сын этот был очень аккуратным, пунктуальным человеком и как бывший кадровый офицер относился к вопросам субординации особенно шепетильно. Ему хотелось подчеркнуть отцу и матери, что он как директор маслозавода подчинен непосредственно не председателю сельского Совета, а исполкому. Сын знал, что этих служебных тонкостей ни престарелый отец, ни тем более мать не поймут, но ему было приятно для себя подчеркнуть эту независимость перед председателем сельского Совета, которого он считал выскочкой и с которым был в плохих отношениях. По своему служебному положению, а также зарплате он не считал себя ниже председателя сельского Совета. Сын обещался скоро приехать в отпуск с беременной женой к родителям в деревню. «Карасей половить да пива, мама, твоего производства на сыворотке попить», — писал он в заключение своего письма.

И отец и мать нашли это желание сына самым радостным местом в письме.

— Вишь ты, господи! Помнит ведь, не забыл,— прошептала со слезами радости на глазах мать, когда старик окончил чтение.— Приезжай, голубчик, приезжай; у матери всегда найдется, чем тебя угостить... Сегодня же к Кириллу Игнатову за сывороткой схожу, пиво тебе поставлю,— обращаясь мысленно к сыну, негромко проговорила она. Ей теперь хотелось, чтоб и старик ее был вовлечен в эти заботы и хлопоты перед приходом сына.— Ты, Семен, не сегодня, так завтра осмотри-ка в завозне удочки, исправны ли... Да почини, которые не исправны; Гриша на пруд с ними ходит!

— Я уж и то подумал... Завтра займусь, поплавки починю...

— А не пишет Гриша, когда приедет? — перебила Миколаевна.

Старик не помнил этого.

— Вроде бы не пишет,— сказал он негромко и неопределенно, развернул письмо и принялся в другой раз его перечитывать.— Не пишет когда, а пишет скоро, на этой неделе,— перечитав письмо, ответил он.

— Что ж он не пишет-то... Недолго ведь... Можно и написать. Когда нам вас ждать? — Она замолчала, соображая, какой сегодня день, сколько осталось до конца недели и что ей раньше приготовить для снохи и сына.— Так ведь, Семен, сегодня четверг, завтра пятница — три дни осталось,— все высчитавши, прокричала она.— Я думаю в лавку сходить, вина бутылку купить Грише да Ксении грамм триста пряников да столько же конфет... А то ну как Клавдия опять куда уедет, и встретить нечем,— прибавила она не так уж громко.

Расход с приобретением для сына вина и для снохи конфет и пряников был хоть и небольшой, но все же значительный по их доходам — нельзя было не спросить об этом старика. Миколаевна не привыкла делать покупок без разрешения на то мужа.

Старик, как и ожидала Миколаевна, ничего ей не ответил. Он понял ее, но ничего не сказал, а только улыбался, слушая ее, какую-то слабою, как будто просившею извинения за его глухоту, улыбкой.

«Ты же знаешь, что я вина не пил, не пью и не хочу, чтоб мой сын пил. Я не одобряю этот обычай людей деревни устраивать пиры по случаю приезда детей. Я нахожу это расточительством. Но если ты считаешь, что это надо, то делай. Делай, как считаешь нужным, чтоб нас не осудили на деревне люди, и не думай, пожалуйста, что я что-нибудь жалею для своих детей» — вот что сказала старухе эта слабая, жалкая улыбка старика.

За долгую жизнь с ним Миколаевна знала точку зрения мужа на эти вопросы.

И старик знал, что матери есть чем угостить сына, что дело было не в вине и не в том, что продавщица Клавдия могла уехать из деревни, а в том внимании, которое хотелось проявить матери по отношению к своему любимому сыну. Старик сложил письмо, положил на полочку, где у него хранились деловые бумаги с письмами детей и внуков, потом, поднеся к самым глазам старинные, в металлическом застекленном футлярчике часы, игравшие «Славься» Глинки (часы эти старик купил в германскую войну у раненого офицера на перроне одного вокзала в Австрии), поглядел, который был час — часы показывали пять,— встал с табуретки, надел на голову выгоревший желтый картуз, лежавший на полатях, и вышел в сени. До вечера ему надо было еще выкосить траву в березничке, на задах своего огорода.

В противоположность своей жене старик внешне ничем не выразил радости по поводу скорого приезда сына. Он сделал после чтения пись-

ма то, что делал ежедневно в течение всей своей долгой жизни. Это внешнее равнодушие, как ни хорошо жена знала своего старика, оскорбляло ее. Ей казалось, что муж равнодушен к детям. Она знала, что этого не было, но в первую минуту, когда сама она испытывала необыкновенный прилив любви к детям, ей всегда так казалось. О том, что отец был рад приезду сына, мать догадалась не по выражению лица и бесцветных, больших под сильными линзами очков глаз мужа — лицо и движения его оставались такими же спокойными, как и всегда, — а по тому, что после чтения письма, несмотря на жар и раннее время, старик не лег еще немного отдохнуть, а нашел в себе силы пойти и выкосить до вечера перестоявшую на огороде траву. По этому и только по этому приливу сил в старом теле мужа жена поняла, что старик рад приезду сына и не осудит ее, если она купит немного вина для сына и пряников и конфет для беременной снохи. Работа для старика была той единственной отдушиной, через которую могла еще проявиться в нем радость.

## 6

Раз сын обещал приехать на этой неделе, то некогда было медлить. Как только старик вышел из дому и принялся в завозне точить косу (в избе хорошо было слышно характерное живканье бруска о косу), Миколаевна отперла большой сундук, замок которого играл, когда в нем вращали ключ, достала новый слежавшийся платок, юбку с фартуком, чулки с ботинками и аккуратно завернутые в тряпочку деньги, хранившиеся в самом низу сундука. Миколаевна знала, что денег в тряпочке двести рублей, что их не могло прибавиться оттого, что они долго лежали у ней в сундуке. Все это она хорошо знала и, несмотря на это, не удержалась от искушения пересчитать их. Подобно всем старым неграмотным людям, она не знала счета, но деньги считать умела. Счет денег ей был приятен не только сознанием своего богатства, пусть небольшого, но все же значительного, по ее мнению, чтобы считать себя обеспеченной лучше многих людей в деревне; счет денег ей был приятен и самым процессом счета. Ее удивляло и радовало то, как из трешен, пятерок, рублей, десяток складывается такое большое число, как сотня и даже две сотни.

— Рупь, еще рупь, к ним трешня, потом пятерка — вот и десятка вышла. Еще два рубли с трешней и пятеркой — другая получилась. Трешня, еще трешня, рупь с трешней — третья взялась, — шептала она, раскладывая по столу отсчитанные стопками деньги. Она их накопила за лето от продажи яиц, молока и картофеля.

Пересчитав деньги, она отложила себе на расходы пятьдесят рублей, а остальные полторы сотни, завернув опять в тряпочку, спрятала в сундук.

«Бог даст здоровья, опять накоплю», — подумала она, запирая со звоном сундук. Большой фигурный ключ от сундука она положила под подушку на полати.

Миколаевна знала, что теперь, когда выросли дети и внуки, ей незачем запираť сундук и прятать от себя и старика ключ, что никто теперь без ее разрешения в сундук не полезет, а ключ не потеряется. Это она знала наверное. Но инерция жизни, сила привычки, которая впиталась в нее через отца, деда и прадеда, была сильнее этого понимания. Поэтому она продолжала запираť сундук и прятать от себя и старика ключ на полати.

Городскому жителю, в особенности женщинам, вынужденным несколько раз на дню совершать покупки, стоять в очереди, посещение

магазина представляется простым, будничным делом. Они не видят в этом ничего из ряда вон выходящего. Не то было у Миколаевны. Ей редко приходилось ходить в колхозную лавку, да еще за такими покупками, как сегодня. Обычно она ходила в колхозную лавку за солью, спичками да иногда за сахаром. Посещение лавки, где всегда был народ, было важным в ее жизни событием. Не менее важным событием оно было с точки зрения ближних старух деревни, ее товарок. Миколаевна знала, что они обязательно расспросят ее, куда, зачем, по какому поводу она пошла. Поэтому к предстоящему посещению лавки она отнеслась со всей серьезностью. Она умылась, надела новую широкую юбку из черного сатина, пеструю старушечью кофту, потом принялась натягивать чулки, подаренные замужней внучкой. Это было самым трудным в ее жизни занятием. Тонкие хлопчатобумажные чулки никак не лезли на ноги; кожа на пятках настолько была груба, так потрескалась, что нитки чулок цеплялись, вытягивались, и она совсем было собралась уж отложить свою затею и обуть на босу ногу новые ботинки, которые ей привез недавно младший сын из города. Она так бы и сделала, если бы ноги хоть немного были бы почище, а ботинки были бы поношены; чистые ботинки ей не хотелось пачкать грязными ногами. Повозившись так минут пять или более, она натянула в конце концов чулки, обула ботинки, оглядела себя в зеркальце, подбила против линии носа угол платка и, взяв мешочек для покупок, направилась в лавку.

Старик, наточив косу, косил в березничке траву. Через тын огорода Миколаевне видно было, как он мерно размахивал косой.

«Вишь, как обрадовался, что Гриша скоро приедет, и в жар косить замог»,— подумала она с улыбкой.

Как ни привыкла Миколаевна к своему старику, но и ей замкнутый, сосредоточенный, всегда спокойный вид старика, доживавшего последние дни своей жизни, внушал почтение.

«Хоть бы пожил еще... Что я одна останусь? Ни продать, ни купить не умею... Пуговицы без его совета не покупывала».

Она заперла калитку и вышла на улицу.

Как и предполагала Миколаевна, у первого же дома ее окликнула старуха Сидельникова.

— Куда, Настасья, собралась? — спросила она своим тонким старушечьим голосом.

— А в лавку, Прасковья.

— За чем?

— От Гриши письмо, значит, получили; сулится в гости приехать. Так, вишь, значит, бутылку вина со стариком решили купить да Ксении грамм триста конфет да столько же пряников.

— Что, продавщица Клавдия за тем к тебе и приходила?

— За этим, значит, Прасковья. Письмо от Гриши принесла.

— А не пишет сын, когда приедет?

— Не пишет, милая. В субботу жду.

— А Ксения что? Не родила еще?

— Нет, ничего не пишет, не родила, значит.

— Ну-ну. Иди с богом,— негромко, про себя сказала старуха Сидельникова.

Получив на все свои вопросы исчерпывающий ответ, она согласно, не торопясь, покивала головой и ушла дремать в сени. А Миколаевна важно продолжала свой путь. У другого дома другая старуха спросила ее, куда она пошла, за чем. И Миколаевна все с тем же важным видом объяснила ей, куда и за чем она пошла. Пока она дошла до лавки, ей пришлось три раза остановиться и три раза рассказать своим товаркам

одно и то же. И если бы ее спросили не три, а пять, восемь раз, она не устала бы отвечать людям на их вопросы.

Ставни колхозной лавки, стоявшей наискосок от конторы, возле амбара, были закрыты, но через открытую дверь слышны были голоса и смех молодых парней и девок.

«Торгует, значит,— подумала про себя Миколаевна.— Вишь, ваше благородие, ставень лень открыть. Жарко стало без дела-то сидеть. Хоть бы крыльцо починила, все ведь подгнило... Только и знает, что с парнями возится... Эх, девка, девка, кто только тебя на работу назначал»,— с этими мыслями она вошла в лавку.

Со свету Миколаевна не сразу узнала, кто был в лавке. Когда же глаза ее привыкли к сумраку, она увидела парней и продавщицу за прилавком. Сын молоканщика и сын председателя в белых рубашках, шевиотовых брюках, заправленных в хромовые сапоги, сидели перед Клавдией на прилавке, курили и о чем-то, смеясь, разговаривали, не обращая никакого внимания на пришедшую старуху. В их позе, костюме, словах, даже в папиросах, которые они держали каким-то особенным манером во рту, видна была небрежность и выражение того, что они не редкие здесь гости и знают лучше других, как вести себя.

— Слышь, Клавка, вина бутылочку подбрось-ка нам,— говорил, смеясь, сын председателя и хотел было обнять продавщицу, но та отстранилась, так что он только поднял ей на затылке волосы.

Сын молоканщика при этом озирался и громко хохотал, будто смотрел веселое представление.

В противоположном углу стояла счетоводка с третьим парнем, который был одет победнее. На нем была сатиновая розовая рубашка, суконные брюки, заправленные в закрученные носки. Это был неродной сын бригадира тракторной бригады Ивана Полухина. Сын Ивана хотел снять с шеи счетоводки шелковую косынку. Счетоводка этого не позволяла, но была, кажется, очень и очень довольна интересом парня к ее косынке.

— Отступись, Ванюшка, не надо, вот пристал,— говорила она, закатывая глазки, таким томным, веселым и капризным голосом, так втягивала шейку, закрывала, обороняясь, грудь руками, что если бы Ванюшка действительно послушал бы ее, что было маловероятно, то был бы совершенный дурак и делать с ним счетоводке было бы больше нечего.

Клавдия при виде Миколаевны встала с табуретки.

— Чего тебе, Миколаевна?.. За чем пришла?— спросила она, поправляя на затылке волосы, которые, обнимая ее, спутал сын председателя.

— А вишь, милая, вина пришла к тебе купить; Гриша, значит, в гости сулитесь приехать, так, вишь, вина надо купить.

— Какого тебе вина-то?.. Горького или сладкого?

— А какое, милая, получше, поначе <sup>1</sup>, милая, какое.

Продавщица подала ей вина. Миколаевна взяла бутылку, поболтала ею в воздухе, посмотрела к чему-то на свет, как будто что-то понимала в вине.

— А еще, милая,— обратилась после этого она,— конфет дешевых для Ксенин свешай триста грамм да пряников столько же.

Клавдия принялась вешать товар, а Миколаевна, справившись о цене, стала высчитывать причитающуюся с нее сумму. Как она, безграмотная, это делала, по каким законам арифметики, одному богу было известно. Но Миколаевна сосчитала и сосчитала бы, вероятно, скорее, если бы ей не мешала счастливая счетоводка своим взвизгиванием.

<sup>1</sup> Поначе — то есть получше.

— Столь ли, милая? — все же на всякий случай спросила она, подавая деньги.

— Еще рупь, — ответила Клавдия.

Это расходилось с Миколаевниным вычислением. Она несколько недоверчиво посмотрела на продавщицу.

— А не много ли ты с меня сегодня, милая, взяла? — усомнилась она.

— Давай пересчитаем, коль сомневаешься, — отрезала Клавдия и как ни в чем не бывало вслух громко стала пересчитывать: — Вино с бутылкой, это самое, значит, стоит двадцать девять пятьдесят... Конфет триста грамм по шестнадцать рублей — пять восемьдесят и пряники с сахарным кремом — три рубля... Вот и посчитай: тридцать восемь тридцать.

Расстроенная немного тем, что издержала так много денег и обидела своим подозрением продавщицу, но довольная, что совершила столько больших покупок для снохи и сына, Миколаевна сложила в мешок из прочного ряда конфеты с пряниками, сдачу и пошла домой. Она пошла теперь не той стороной улицы, которой шла в лавку, а другой. И здесь старухи, завидев у себя под окошками ее крупную фигуру в новых чулках, новых блестящих черных ботинках, спрашивали опять, куда она ходила, что купила. Миколаевна показывала мешок, встряхивала им, прося их убедиться, что он не пуст, и теми же словами, в тех же выражениях рассказывала, что ходила она в лавку, что купила вина хорошего бутылку для Гриши и пряников с конфетами для Ксении. С покупками только прибавилось несколько важности в ее лице и походке.

До вечера она успела еще сходить к молоканщику за сывороткой, купила меду, поставила пиво. В восьмом часу пришел с огорода старик. Миколаевна на ухо громко рассказала ему, куда ходила, что купила, сколько издержала денег.

— О сене-то, Семен, ведь забыли, — прокричала она в заключение своего отчета. — Зима на носу, а у нас с тобой много ли своего? Чем корову зимой кормить будем? Люди уж косят. Молоканщик сегодня сказывал, снял участок в Южинских березничках, с председателем договорился.

Старик по обыкновению выслушал ее, но не ответил сразу. Прошел в избу, снял картуз, положил на полати, сел и только после этого заговорил.

— Я не забыл, старуха, — сказал он. — Да не знаю, как за это дело и братья... Сам не могу, ты тоже... Давай Григория подождем, уж буде он приедет, что скажет. — Он замолчал, оглядел с ног до головы старуху. — Про молоканщика говоришь, — прибавил он. — Ему что?... Денег — куры не клюют, даром что жалования двести рублей получает... Купит вина, напоит председателя — и участок дадут и сено выкосят... Еще и домой на колхозной машине привезут.

Миколаевна не спорила; она лучше старика знала, как живет молоканщик. «Правда, что нас равнять с молоканщиком, — подумала она. — Живет, как сыр в масле катается... Контролю за ним никакого, еще меньше, чем за Клавдией... Одному колхознику сбавит жиры, другому... Сколь ему лишков набегит... А все ему в карман... Недаром один работает, а пятерых кормит». Она хотела было рассказать старику еще, как хорошо отзываются рабочие о их сыне Григории, о чем ей поведал, чтоб польстить старухе, хитрый молоканщик, но раздумала. «Врет, поди... Да и старик не расслышит», — решила она.

— Давай, Семен, лагушок с пивом на печь поставим: скорей бродить начнет, — прокричала вместо этого она.

Старик встал. Вдвоем со старухой они едва-едва подняли небольшой двухведерный лагушок на печь. Миколаевна укрыла его шубой. Старик попросил есть.

— Ехать ведь надо, скоро стадо придет,— сказал он.

Миколаевна собрала на стол. Старик поел молока с хлебом, пошел во двор запрягать лошадь. До вечера ему надо было привезти две бочки воды на фермы, потом отвезти молоко на молоканку. Миколаевна, проводив старика, принялась дочищать к ужину картошку.

## 7

Вечером, как и было условлено, в конторе собрались председатель с бухгалтером, два бригадира и хозяйственник.

По плану колхоз «Смычка» должен был заготовить двадцать четыре тысячи центнеров сена и семьсот восемьдесят тонн силоса. Заготовлено же было семнадцать тысяч четыреста тридцать шесть центнеров сена и четыреста девяносто тонн силоса. Но сообщить так, как есть, ничего не приукрасив, Василий Григорьевич понимал, нельзя было — какой бы получился отчет? С таким отчетом начальство на будущий год еще подумает, оставить ли его в председателях.

Оно, конечно, не велика должность председателя, но, если с умом подойти, резон в ней был: и лошадь, куда съездить, можно было взять, никого не спрашивая; и овец своих в колхозное стадо пустить, чтоб не платить пастуху лишних денег (потом, по осени, из колхозного стада можно было выбрать самых крупных, ведь колхозу что: были бы головы налицо, а какие они, не так уж важно); и угля машину за колхозный счет привезти; и денег из колхозной кассы взять, когда своих не окажется, а вещь подвернется хорошая (потом эти деньги опять же можно было перевести на колхозные нужды); и лесу с шифером для своего строящегося дома (старый дом вполне был добротный, так что, не будь Василий Григорьевич председателем, он и не подумал бы строить себе новый); и многое-многое другое, разве все перечислишь, что незаметно тянулось из колхоза. Так что вот из этих соображений уходить с председательской должности никак не хотелось. Поэтому надо было что-то придумать, сочинить, создать видимость благополучия с заготовкой кормов в колхозе. Василий Григорьевич решил в этот раз выехать на большом, почти в сто гектаров, луге, который только что начали косить, и кукурузе, которую предполагали засилосовать. Кукурузы было двадцать шесть гектаров. С луга Василий Григорьевич хотел положить кругло две тысячи центнеров, тогда бы сена в общей сложности получилось девятнадцать тысяч четыреста тридцать шесть центнеров (Василий Григорьевич округлил это число до двадцати тысяч), и кукурузы триста тонн, то есть немного больше того, что требовалось по плану. С таким отчетом можно было ехать в район на совещание — нечего было бояться, что в последних рядах будешь.

Теперь оставалось уломать бригадира, чтоб он согласился с его расчетами.

Бригадир был немного постарше Василия Григорьевича. Жили они с ним дружно, по праздникам ходили друг к другу в гости, в будни иногда вместе хаживали к колхозникам, но при решении многих дел, особенно в присутствии колхозников, бригадир, показывая свой нор, противоречил председателю. Василий Григорьевич объяснял это тем, что бригадира редко вызывали в район на совещания, не знал он большой полигтики. «Один бы раз съездил, пропесочили бы так, небось тогда бы по-другому заговорил. Знал бы, что в сводку проставить», — часто, подвыпивши, говорил он ему в конторе. Вот и сегодня, узнав про расчеты Василия Григорьевича, бригадир одним махом их отвергнул.

— И не думай, двух тыщ с того луга никак не соберешь,— сказал

он. — Начнется уборочная, сам же прикажешь всех людей снять, на хлеб бросить... А ты вишь, что хватил!

Василий Григорьевич хотел сказать, что луг тот хорош, он не один раз метывал на нем сено, и людей из городу пришлют, но бригадир не стал его слушать.

— Что пустое молоть...— сказал он.— Тех, что пришлют, на картошку бросишь. Да и сам знаешь, велика ли от них польза. Больше съедят, чем сделают.— Он сердито посмотрел на председателя.— Насчет кукурузы это ты тоже лишку хватил,— прибавил он.— Дай бог половину собрать, а ты вишь чего захотел — триста тонн. Не забывай: у нас ведь ее гектара полтора скотом потравлено да пять гектар скошено с этим зеленым-то конвейером. (Бригадир не одобрял этот метод.) Тоже взяли моду, летом коров кормить зеленой, как будто в поле травы мало, не наедаются коровы. Вот и выходит: летом густо, а зимой пусто.— Он недовольно замолчал.

Василий Григорьевич тоже молчал, не знал, что возразить. Доводы бригадира были правильны, но и согласиться с ними нельзя было: служба не позволяла.

— Послушай, Егор Васильевич,— помолчав, заговорил председатель.— Пусть будет по-твоему, хотя я с этим и не согласен,— оговорился он.— Пусть будет по-твоему,— повторил он.— Ну, а какая от этого польза колхозу?.. Что, иль сена у нас с тобой прибавится, как мы себя хуже других представим?.. Иль ты думаешь, начальство нам теперь поможет? И не думай... С осени тебе никто помогать не будет: дай бог хлеб убрать... Есть тут время с сеном Папаю возиться, когда уборочная насаждает... Иль ты думаешь, мне хуже сделаешь? То тоже напрасно. Работой меня не испугаешь. И рядовым колхозником я буду жить не хуже нынешнего. Так что какой нам расчет прикидываться с тобой хуже других. О колхозе подумай! Помни, что хорошему колхозу всегда помогут, а плохим и заниматься никто не будет.

В общем он наговорил бригадиру столько, что последний действительно усомнился в своей правоте. Какой прок от его правды, если колхозу от нее только вред?

Бухгалтер, не принимавший по обыкновению участия в споре и знавший, что председатель обязательно одержит верх, чтоб не тянуть попусту время, достал из стола чистый лист бумаги, штемпельную подушку со штампом, подул на него, с силой оттиснул и стал писать.

«Настоящим колхоз «Смычка» подтверждает,— не думая, по привычке писал он мелким, убористым почерком,— что заготовлено кормов в колхозе:

сена сухого . . . . .	20 000 ц. 00 кг.
силоса . . . . .	790 т. 00 кг.
веников березовых . . . . .	2 500 шт.»

Кроме этого, колхоз обещался заготовить не менее 5—6 тысяч центнеров соломы.

На другой день с этим отчетом Василий Григорьевич выехал в город на совещание.

Миколаевна утром, до того как председатель уехал в город, успела так поймать его и договориться насчет сена.

В полдень, отстряпавшись и прибрав все по дому, она подошла к окну поглядеть, не едет ли с пруда от молоканки старик. Вместо старика от конторы по улице верхом без седла на чалой, прихрамывающей на

левую заднюю ногу лошади тряся на ватнике, растопырив в сторону руки и завалившись назад, незнакомый мужик. Чалых лошадей в их колхозе не было, поэтому Миколаевна сразу определила, что ехавший был не из их деревни. Что-то подозрительное, нехорошее вызвал в груди у Миколаевны этот мужик, растопыривший, по ее определению, как ворона крылья, руки, и его чалая лошадь. Она пожелала, чтоб он проехал мимо ее дома и оказался бы ей человеком совершенно незнакомым. Чтоб не видеть его, она было совсем собралась отойти от окна, но что-то вдруг удивительно знакомое показалось в нем. Она попыталась вспомнить, где и когда его видела, но, делая в уме разные предположения, куда и к кому мог ехать в деревне этот человек, а также из-за охватившей ее тревоги, никак не могла сосредоточиться и вспомнить. Но когда мужик доехал до угла соседнего дома, она узнала его. Это был конюх с Шаблинского маслозавода, где работал директором ее сын.

«Зачем он? — спросила она себя, чувствуя, как что-то тяжелое подступает ей к сердцу и горлу. — Может быть, Ксения родила», — ответила тут же, стараясь успокоить себя.

Она поправила на голове платок, утерла концами его нос и губы и, выворачивая правую большую руку, скорым шагом вышла на крыльцо встретить приехавшего человека. Конюх, избегая взгляда Миколаевны, слез у ворот с лошади. Не спрашивая разрешения, открыл калитку, ввел во двор лошадь. Потом все с тем же выражением большой значительности того, что он делал, привязал к тыну лошадь, снял ватник, повесил сушиться. Миколаевна с остановившимся лицом, молча, в своей длинной юбке и пестрой старушечьей кофте, опустив руки, стояла на крыльце, наблюдая за тем, что он делал. Она не решалась заговорить с ним первой. У крыльца конюх смахнул картузом с сапог пыль, оскреб ноги, хотя они были чистыми.

— Здорово, бабка, — сказал он громким уверенным голосом, взойдя к Миколаевне на крыльцо. — Узнаешь ли? — спросил он, как будто это было чрезвычайно важно ему знать. — Поди, уж забыла? Давно тебя не видал, — продолжал он, проходя бесцеремонно мимо нее в сени.

— Здравствуй, здравствуй, мил человек, — отвечала вся потерявшаяся от догадок Миколаевна каким-то жалким, не своим голосом, идя позади конюха в свою избу. — Как не узнать? Еще издали, милый, сразу по обличью признала: в прошлом году с Гришей приезжал... Как, милый, не узнать? Сразу узнала, — повторила она.

— И в этом году собирался, да, вишь, не пришлось, — многозначительно ответил конюх, присаживаясь у порога на выскобленную лавку.

В доме у Миколаевны, конюх знал, и всегда было чисто. Но сегодня в избушке было как-то особенно тепло и уютно. По тому порядку, чистоте, запаху свежего хлеба и терпкого полынного веничка, лежавшего в тазу под умывальником, которым хозяйка, по-видимому, недавно подметала пол, конюх догадался, что она ждала сегодня сына.

Миколаевна все с тем же остановившимся лицом, несмело, как будто боялась расплескаться что-то в себе, прошла мимо него в передний угол, села, но тут же встала, взяла старикову табуретку, поставила против печи у кровати.

— Пересядь, милый, сюда; там жарко... Только до тебя, милый, печь и протопила, — сказала она и осторожно попятилась на свое место, не спуская с конюха внимательно напряженных глаз.

Конюх, как того требовала Миколаевна, пересел на табуретку, громко откашлялся.

— Не с доброй вестью я приехал к тебе, бабка, — начал он, снял картуз и, хлопнув им, положил на лавку возле печи, как будто это необходимо было сделать после того, что он сказал.

— Это с какой же, милый? — спросила Миколаевна. Она поправила на голове платок, привстала, но тут же села.

— А сын твой, бабка, захворал,— ответил конюх таким громким и сердитым голосом, как будто Миколаевна была виновата в этом.

— Как захворал?!

— А вот так, значит, бабка, взял и захворал, не спросивши никого,— ответил он и развел руками, полагая, очевидно, что таким образом будет понятнее старухе, как заболел ее сын.— Как все хворают, так и он захворал... Что, разве не знаешь? — спросил он. Подумав, он широко, во все лицо улыбнулся так, что показал все свои редкие желтые зубы, вероятно, от глупого вопроса старухи и собственного ответа, который он находил, по-видимому, очень и очень удачным.

— Как же он, милый, захворал-то?.. Ты расскажи все толком, по порядочку,— спросила опять жалобным, не своим голосом Миколаевна, не поняв, конечно, шутки конюха. Она привстала, но тут же села, оправила на коленях юбку, опять привстала, хотела что-то сделать, но не знала что, положила одну руку на край стола, другой, перебирая пальцами складки юбки, уперлась в колено.— Ты расскажи, милый, все по порядочку. Как он заболел-то? — переспросила она.

Конюх после этого перестал улыбаться, сердито откашлялся.

— А вот так, значит, бабка, твой сын захворал,— начал громким и внушительным голосом он.— Пришел, значит, вчера на работу. Людей, значит, расставил. Митрия Перекрасова, значит, за камнем в карьер послал. Ледник потому что новый строим,— пояснил он.— Другого Митрия, Прохорова, значит, сено послал привезть. Миколая Овсянникова в город на машине с маслом отправил...

— Да ты мне, милый, не тяни... Что про Митриев-то рассказываешь, про Гришу говори,— перебила Миколаевна. Она пересела, поправила на голове платок.

Конюх внимательно и долго поглядел на нее.

— Знаешь, бабка,— подумав, сказал он,— ты меня лучше не перебивай. Я люблю порядок. Чтоб все было по порядочку, честь честью... Чтоб сбруя висела, где надо, чтоб лошади вовремя были покормлены и прочее. Не то мы эдак с тобой до вечера просидим, а рассказать тебе толком так ничего и не успею.

Он замолчал, а Миколаевна опять жалко и виновато улыбнулась.

— Ты уж прости меня,— попросила, привстав, она. Ее лицо собралось, все сморщилось.— Только рассказывай, милый, поскорее, не тяни.

Конюх опять на нее поглядел, подумал.

— Ну вот, значит,— принялся в другой раз рассказывать он.— Пришел, значит, на работу; людей, значит, расставил. Гумаги там у себя в конторке подписал, зашел потом ко мне на конюшню. «Ты, говорит, Хрисанф Иваныч, приготовь мне на завтра лошадь. Покорми, горит. Свезешь меня с Ксенией к старикам в деревню...» — «Как же, Григорь Семеныч, обязательно, горю, покормлю. Разве можно не кормленной лошадь оставлять? Никак нельзя. Что, горю, вы мне про это наказываете? Разве, горю, плохо за лошадьми смотрю? Ослободите, коли плохо. Другова, горю, подыщите... Пусть он походит...» — «Нет, горит, Хрисанф Иваныч. Хороший ты у меня работник, мало у меня таких работников...»

С присущей русскому человеку привычкой придавать какой-то тайный смысл каждому слову, поступку человека, которого постигло несчастье, он рассказал Миколаевне, не пропустив ни одного слова, о том, как пошел Григорь Семеныч с конюшни в сельсовет, что там говорил, что отвечал ему председатель сельсовета, как он от председателя пошел

домой, как прибежала к нему Ксения в слезах, как запрягли они лошадь, поехали в больницу, как Григорь Семеныч по траве валялся от боли, Ксения ревела, а он душой маялся.

— Совсем, бабка, извелся... И сам-то, думал, заболею,— закончил он с важностью.

## 9

Миколаевна не вытерпела, заплакала.

— Ну, как он там без меня? Кто ему поможет?.. Неуж врачей нельзя было уговорить, чтоб ему там, в Знаменке, сделали операцию... Меня, что ль, вызвали, я б добилась... Шутка шестьдесят верст до городу тащиться...

Конюх сердито откашлялся, поглядел на нее из-под бровей, потом принялся заправлять в сапог штанину.

— Никак нельзя было, бабка,— решительно сказал он, закончив свое дело.— Сколь Григорь Семеныч просил, Ксения молила, я пытал шуметь... «Как, горю, человека вам не жалко... Посмотрите на него... Человек при смерти, горю, лежит, а вы какую-то гумажку даете, в город, горю, посылаете. Без вашей гумажки видно: человеку срочна операция нужна... Сердца в вас нету... А еще врачи, дохтура; людей, горю, лечите...» Сколь ни ругался, а нет, бабка, ничего не добился... Нельзя, горят, да и баста; инструмента, горят, у нас нет такого, чтоб такие операции делать...

Миколаевна еще пуще заплакала.

— Оступись, бабка, что реветь,— проворчал конюх. Он не переносил женских слез.— Мужик он крепкий, здоровый, авось поправится... Теперича он в городе... Сам отвез; в больницу положили...

На дворе заскрипели ворота. Конюх как будто этому обрадовался — встал, выглянул в окошко.

— Старик приехал,— пояснила ему Миколаевна. Она встала, размазала по лицу слезы.

— Ты посиди, милый, подожди... Старика расскажешь,— сказала она. Всклипывая, она вышла в сени.— Семен? А Семен? — начала она, не доходя еще до старика.— Ведь Гриша наш захворал... Слышь, ведь Гриша наш захворал,— подойдя, повторила она в самое ухо старика.— В больнице, сказывает, лежит... Заворот, сказывает, кишок у него случился...

Старик ей в первую минуту не поверил. Вожжи из его рук упали, лицо побледнело. Несколько секунд он внимательно, остановившимися глазами смотрел на сморщившееся, заплаканное лицо своей старухи. Миколаевна не вынесла этого взгляда. Если б он говорил, ей было бы легче. Она подошла к нему, уткнулась в грудь и разревелась. Старик дрожащей большой рукой поднял ее голову.

— Как захворал?.. Чем?.. Кто сказал? — спросил он таким глухим холодным голосом, что у Миколаевны, как потом она всем рассказывала на деревне, остановилось сердце.

— Конюх его сказал... Помнишь, в то лето с Гришей приезжал... Вишь, его мерин стоит,— указала она мокрой от слез рукой на привязанную у тына лошадь.— Говорит, в городе, в больнице лежит; заворот, говорит, кишок у него случился.

Старик отстранил жену и с несвойственной ему поспешностью пошел в избу. Миколаевна проводила его, постояла, поплакала, утерла фартуком слезы, стала распрягать лошадь. Старый, восемнадцатилетний мерин Оверька, на котором старик более десяти лет возил в колхозе воду, как ни был рад предстоящему отдыху, увидев расстроенную, в слезах старуху, положил на оглоблю голову и долго, пока старуха распрягала его,

смотрел на чалую лошадь, принесшую, по его мнению, старухе несчастье. Миколаевна сняла хомут, седелко, дала воды, вывела за ворота, спутала.

— Поди ешь, Оверька,— сказала она. Голос ее дрогнул, и она, опять облокотясь на ворота, заплакала.

Оверька долго не уходил в тот раз от ворот. Только тогда, когда Миколаевна, наплакавшись, ушла к себе в избу, мерин глубоко вздохнул, собрался с силами и запрыгал в лог, где росла мягкая, по его зубам трава. «Сколь ни смотри, сколь ни жалко старуху, а поесть надо; старик скоро опять запрягать станет»,— сказал его понурый глубокомысленный вид, когда он, напрягшись, как заведенный, запрыгал по деревне.

В избе старик, поставив против конюха табуретку, расспрашивал о сыне. Конюх громко отвечал. Но старик от волнения плохо слышал. По несколько раз он переспрашивал одно и то же. Миколаевна подседа, громко стала повторять ему на ухо, что отвечал конюх. Вспомнив, что надо покормить мужиков, она встала, пошла к печи, собрала на стол. За столом старик, не притронувшись к еде, расспрашивал о болезни сына. Конюх с аппетитом ел, охотно отвечал на стариковы вопросы.

— Ну вот, спасибо, бабка,— наевшись, сказал он, оглаживая с улыбкой живот.— Так ты меня напотчевала, не знаю, как и доеду... Еще один раз так наестись, и у меня, чего доброго, заворот кишок случится...

Он засмеялся, присел на лавку, выкурил папиросу, потом попросился за руку с глухим стариком и старухой и вышел на улицу. Миколаевна пошла проводить его.

— Худо дело, бабка, у твоего сына,— сказал, взобравшись на лошадь, конюх.— Не ровен час, всяко бывает, поезжай к нему в город... Все душа покойнее будет.— Он выехал за ворота.

Миколаевна опять заплакала. Когда конюх доехал до лавки и завернул за угол амбара, она вернулась в избу. Старик сидел все в том же положении, в каком она оставила его.

— Делать нечего, старуха,— сказал наконец он.— Поезжай в город. Сам бы поехал, да что я там... Ничего не вижу, не слышу, поезжай ты, больше проку будет.

Решение старика хоть в какой-то мере вернуло Миколаевне былую энергию. Она убрала со стола, оделась, умылась, пошла искать на деревне бригадира.

— Давай, Егор Васильевич, лошадь,— сказала она, найдя его на сушилке.— Гриша шибко заболел... В город ехать надо.

— Да куда ты, Миколаевна! Ведь ночь на дворе, подожди до утра; завтра на машине уедешь,— пробовал уговорить ее бригадир.

— Нет, не такое дело, Егор Васильевич, чтоб годить. Ехать надо. Немедля давай лошадь.

Она взяла от него записку, пошла на конный двор запрягать лошадь. По пути, когда ей казалось, что дело со здоровьем ее сына безнадежно плохо, она то останавливалась, плакала, то чуть не бежала, когда в ее сердце возникала надежда на выздоровление сына.

Старший конюх с опухшим ото сна лицом, узнав о ее несчастье, помог ей смазать телегу, запрячь лошадь.

— Поезжай, Миколаевна... Дай бог здоровья твоему сыну... Телега легкая, лошадь хорошая, скоро доедешь,— сказал он и сам наложил в телегу свежей зелени.

Миколаевна взобралась на воз и неумело, как все женщины, обеими руками взялась за вожжи. Она заехала еще к замужней внучке, рассказала о несчастье, поплакала, попросила ее подоить старику корову, заехала домой, взяла мешок с хлебом, бидон молока для Алептины, кар-

тошки мешок Олексану, второму сыну, и выехала в город. Всю дорогу она то плакала, то торопила лошадь. Когда лошадь уставала, начинала потеть, Миколаевна слезала на животе с телеги, шла с нею рядом, держась за оглоблю, полагая, очевидно, что таким образом она доедет до города скорее. Ее правая рука, под мышкой которой росла грыжа, еще неестественнее, как-то совсем не по ходу движения тела выворачивалась в сторону. Дав лошади немного отдохнуть, она взбиралась опять на телегу и усиленно, обеими руками, принималась дергать за вожжи.

— Но, милая, поехали, потрусили помаленьку.. Отдохнула теперича... Скорей ведь, милая, надо; Гриша шибко заболел,— говорила она своим добрым, размякшим от горя голосом невысокой буланой кобылке Думке.

## 10

В подъезде небольшого двухэтажного особняка райсовета, что находился в центре города, против кинотеатра, стояли два человека. В одном из них, что был повыше, Василий Григорьевич узнал председателя Мусохрановского колхоза «Победа», здорового, жизнерадостного, но, как казалось Василию Григорьевичу, не очень умного, то есть неловкого в делах, человека; в другом, что был пониже,— председателя Пестеревского колхоза имени Калинина, тихого, скромного, очень незаметного на вид мужчину, которого Василий Григорьевич почему-то побаивался. Оба председателя смотрели в его сторону, ожидая, по-видимому, когда он подойдет.

— А, Василий Григорьевич!.. Приветствую тебя! Приветствую! — заговорил, как будто только его сейчас увидел, мусохрановский председатель, пожимая ему с излишним усердием руку.— Ну как, дорогой, дела? Сколь сена накопил? Выехал ли жать рожь?

Василий Григорьевич знал привычку этого председателя казаться тем более довольным, чем хуже обстояли у него дела в колхозе.

— Ничего дела,— скромно ответил он.— Шибко хвастать нечем, а помаленьку идем, шевелимся... Рассказывай, как у тебя дела?

— У меня что?.. Про меня и говорить нечего... Мы люди негордые, вперед не лезем, не как другие.— При этих словах мусохрановский председатель толкнул локтем в бок пестеревского товарища и громко засмеялся.

На втором этаже открылось окно, и молоденькая завитая секретарша высунула голову.

— Мешаете, товарищи,— сказала она, улыбаясь.— Нельзя ли потише...

— Людям работать не даешь,— заметил с напускной серьезностью Василий Григорьевич, и опять все громко, довольные собой и друг другом, засмеялись.— Не знаешь, у себя Михаил Фадеевич? — спросил он, когда все просмеялись.

— У себя, иди... Я только от него вышел,— ответил мусохрановский председатель и шутя, по дружбе, как это ему хотелось показать, втолкнул Василия Григорьевича в дверь.

Василий Григорьевич вошел в помещение. Нижний этаж райсовета занимали: в одном крыле — аппарат районного отдела народного образования, в другом — финансовый отдел и отдел социального обеспечения. В этом крыле было особенно много народу. В коридоре народ гудел, как пчелы в улье. Из всех кабинетов слышались голоса работников: некоторые кричали по телефону, другие отвечали посетителям, третьи рассказывали что-то друг другу. Василий Григорьевич прошел нижний этаж, поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй. На втором этаже было тише, чище, спокойнее. Посетителей почти не было. Не было

и суетни. Второй этаж занимали кабинеты председателя исполкома, его заместителя, секретаря и зал совещаний. В приемной молоденькая секретарша, та самая, что высовывалась в окно, от нечего делать, сидя за столом, перебирала в ящике бумаги.

— Не скажете, у себя Михаил Фадеевич? — поздоровавшись, спросил ее Василий Григорьевич.

— У себя, но он занят... А вы по какому вопросу? — Секретарша любила, чтоб все дела в районе проходили через ее руки.

— Видите ли,— начал Василий Григорьевич. Фуражка ему стала мешать, он снял ее, положил на стул.— Видите ли,— повторил он.— Я не по вопросу... Я по вызову.— Торопясь, он стал расстегивать верхний карман гимнастерки.— Вот тут, видите... пишут, просят зайти... Увидеться накануне совещания,— прибавил он, достав бумагу, и, путаясь руками, подал ее секретарше.

Та как будто ничего не знала об этом извещении: с самым серьезным видом взяла, перечитала.

— Тогда подождите, присядьте... Я спрошу; он, может, вас примет,— сказала она, встала и, стуча каблучками, скрылась за дверью.

Василий Григорьевич сел, достал платок, утерся.

«Да, вишь ты, какое дело,— подумал он и потер двумя пальцами лоб, что служило у него признаком сильнеешего умственного напряжения.— Здесь, чтоб доложить председателю, можно ли войти, держат человека, а у меня там сено некому убирать... Платят ведь жалование... И, наверно, не меньше, чем у меня доярка в колхозе получает... А разве сравнишь ее труд с дояркиным? — Он поглядел на дверь, вздохнул.— Впрочем, не мое это дело,— как всегда, сказал он себе, вспомнив, где он находится и зачем пришел. Он нашел неприличным сейчас думать об этом.— Начальство на то есть... ему виднее... Знает, что делает... Я, видно, тоже у старика Тюреева рассуждать научился...»

Из кабинета в это время вышла секретарша.

— Можете пройти; он вас примет,— сказала она, улыбаясь, вероятно, еще тому, что услышала в кабинете.

Председатель поспешно встал, положил на стул фуражку, с какой-то значительностью пригладил на висках и затылке волосы и осторожно приоткрыл высокую, обитую черным дерматином дверь.

— Разрешите? — спросил он, как всегда, конечно, забыв, что за первой дверью есть еще вторая.

«Фу ты, грех,— с досадой подумал он.— Какой раз бываю, а все не упомяну, что ему теперича две двери сделали».

Василию Григорьевичу показалось, что секретарша хихикнула. Он поспешно закрыл первую дверь, нащупал впотьмах вторую и опять, осторожно просунув голову, спросил, можно ли ему войти.

Михаил Фадеевич Папай, председатель исполкома Медянинского райсовета, невысокий, сухошавый, производивший впечатление очень собранного, аккуратного человека, встал из-за стола.

— Можно... Конечно, можно,— сказал он.— Что об этом спрашивать?.. Ведь знаешь, что я председателей без доклада принимаю,— прибавил он, протягивая руку.

Василий Григорьевич поспешил пожать ее. Тут зазвонил один из многочисленных телефонов, стоявших на столике возле Михаила Фадеевича. Михаил Фадеевич сел, взял трубку. Василий Григорьевич постоял, дождался конца телефонного разговора. Он решил сегодня сам повести беседу в нужном для него направлении.

— Слышали ли, Михаил Фадеевич, новость? — спросил он, когда Михаил Фадеевич освободился.

— Нет, не слышал. А что?

— Директор Шаблинского маслозавода Григорий Семенович Кирсанов помер.— И Василий Григорьевич подробно, как конюх Миколаевне, рассказал все, что знал и слышал об этой новости.

## 11

Дементий Синьцов, сторож смычинского заезжего двора в городе, одевшийся, как старый приказчик, в суконные брюки, заправленные в кожаные сапоги, синюю навывпуск рубаху, подпоясанную тонким с бляшками ремешком, сидел у окна, сторожил во дворе машину. Был двенадцатый час ночи. Вечером прошел дождь. Во дворе стояли лужи. Дул ветер. Моросило. Вдали погромыхивало. Темное небо освещалось то в одном месте, то в другом. Тополя за окном тревожно гудели. Посреди двора горела лампочка, и Дементию все хорошо было видно. Дементий видел, как пробегал по лужам ветер, рябил в них воду, как она вспыхивала холодным фосфорическим светом. Колхозники, находившись за день, крепко спали, подстелив под себя на полу верхнюю одежду. Председатель, набравшись со своими дружками, храпел так громко, что Дементий боялся, как бы он не разбудил ребятишек. Жена Дементия Анисья, раздобревшая за время жизни в городе, перемыв посуду, укладывалась осторожно спать. Дементий одним ухом прислушивался к храпу председателя, другим — к жене, воображая, как она снимет сейчас платье, как, закинув назад полные белые руки, примется скручивать на затылке волосы и как потом, озябнув, откинёт одеяло, сядет на кровать, спрячет быстро ноги, озираясь на председателя, и, свернувшись, как кошка, тотчас же уснет. Прислушиваясь к жене и воображая, что она делает и будет делать, Дементий думал о том, что вот как ни ругают колхозники своего председателя, а он, вишь, хоть и пьёт, а нашел время, ходил, не забыл, к начальству, обхлопотал для Григория гроб, оградку с памятником сделали, сегодня, сказывают, нарядили, к Алефтине свезли; о том, что, кабы Григорий не помер да взял бы Миколаевну с Семеновом Кондратьевичем к себе в Шаблино, неплохо бы купить ихний домишко в деревне, в аккурат по цене для них с Анисьей подходящий; о том, что как ни хорошо живется ему сейчас на заезжем дворе, а придется, видно, скоро в деревню собираться: колхозники все чаще поговаривают убрать его отсюда: «Хватит, говорят, пожил — довольно; обжился больно, богат стал шибко, Анисья растолстела, вроде барыни выправилась».

Он думал о том, что, кабы вот он, Дементий, был бы не дурак, а немного поумнее, то давно, еще до войны, как поженился, уехал бы из деревни в город, на шахту поступил, зарабатывать бы прилично, квартиру казенную получил или свой домишко какой с Анисьей справил, жил бы теперь припеваючи... До пенсии, поди, теперь дослужился. «А сейчас что? — рассуждал Дементий. — Какой я работник... В шахте работать не могу, на заводе тоже, грамота мала... И рад бы не ехать в деревню, да на что жить?.. Ведь тех денег, что с Анисьей скопили здесь, надолго не хватит... Как стану жить?.. И в деревню тоже возвращаться не хочется... Анисью жалко... Вишь как в городе-то выправилась, в девках такой гладкой не была... Да и сам: как вот пошлют в такую-то ночь лошадей пасти, прохлещет дождь — нитки сухой не останется... Не дай бог еще волки к табуну привяжутся... То-то страху не оберешься».

Вдруг Дементию показалось, что кто-то стукнул в калитку. «Ветер, должно быть, — подумал Дементий. — Или пьяный какой не в свои ворота лезет». — Он вернулся к своим мыслям.

Но стук повторился, и настойчивее.

— Кому это не спится-то в такую-то ночь,— проворчал Дементий.— Ходи теперь, марай ноги... Ведь Анисье завтра пол-то скрести.

Он встал, выключил в избе свет, который не гасился из-за клопов, и приложил лицо к стеклу. Через забор махала рукой какая-то старуха. Дементий пригляделся.

— Да ведь это, кажись, Миколаевна,— протянул он.— Она и есть.

Он зажег в избе свет.

Колхозница Федосья Савенкова, приехавшая в город подавать на сына в суд на алименты и не спавшая по этой причине, встала, выглянула в окошко.

— Верно, Дементий, Миколаевна приехала,— сказала она.— Поди открой ей скорее.

Жена Дементия Анисья, начавшая только засыпать, вскочила с кровати, выглянула в одной рубашке в дверь.

— Слышь, Дементий,— прошептала она, как будто Миколаевна за забором могла ее слышать.— Слышь, Дементий,— повторила она еще более таинственным голосом, озираясь все время на председателя.— Про Григория, смотри, ничего ей не сказывай... Подготовить старуху надо... Пусть обогреется... Случись что с ней, у нас с тобой и нашатырного спирту нету.

«Знаю без тебя, сорока, знаю... Спала бы лучше»,— подумал про себя Дементий, но ничего не сказал, а только сделался еще серьезнее, надел дождевик с башлыком и вышел в сени.

Миколаевна нетерпеливо ждала его у ворот.

— Открой-ка, Дементий,— сказала она.— Совсем иззябла... Насквозь промокла.

Дементий, не торопясь, как и подобает настоящему мужчине, вытащил березовый засов, открыл ворота.

Миколаевна быстро, выворачивая в сторону правой больной рукой, ввела под уздцы лошадь.

— Ты уж, голубчик Дементий, будь добр, распряги мне лошадь,— сказала она.— Совсем не могу; дух зашелся.— Она взяла из-под сена бидон с молоком, мешок с хлебом, корзину с яйцами, пошла было в избу, но вернулась.— Не слыхал, Дементий, как здоровье-то у Гриши? — спросила она.

Дементий смутился.

— А ничего, Миколаевна... Ничего,— быстро сказал он, не понимая, очевидно, и сам того, что говорит.— Давеча Алефтина приходила, тебя ждала, думала, с машиной приедешь... Ничего плохого не говорила.— Он замолчал, спрятался в тень за лошадь.

Миколаевна постояла, подумала, хотела было переспросить, но, вероятно, не решилась — пошла медленно в избу.

Анисья, одевшись, стояла в дверях своей половины, ждала ее. Федосья сидела на полу, прикрыв ноги шалью. Обе женщины, поздоровавшись, наперебой стали угощать ее чаем.

Миколаевна поблагодарила, разделась, села возле духовки греть ноги. Приветливость Анисьи, которая никогда не вставала в полночь встречать колхозников, да и поведение Дементия насторожили ее. Она спросила, не слышно ли что про Григория.

— Нет, не слыхала, Миколаевна... Ничего не слыхала,— ответила Анисья.— Кабы было что плохо, так я бы непременно узнала... Пришла бы Алефтина, сказала... Уж я бы непременно узнала,— повторила она, взяла клюку и, пряча от Миколаевны глаза, принялась обеими руками с усилием разбивать спекшийся в печи уголь.

Немного погодя в избу ввалился с мешком Миколаевниной картошки Дементий. Анисья как будто ждала его.

— Слышь, Дементий,— обратилась она к мужу.— Уважь Миколаевну, проводи ее до Алефтины... Какой ей здесь сон... Переодеться надо, а во что? Так, в сыром, и проворочается до утра, не уснет.

— Право, Дементий, проводи меня,— подхватила Миколаевна.— Время еще не много; вся до утра истомлюсь.— Она встала, принялась натягивать мокрую жакетку.

Дементий так сердито посмотрел на жену, что Анисья, как только Миколаевна принялась обуваться, не вытерпела и движением рук и губ принялась объяснять, почему она так сделала. Дементий ей так же, одним движением губ, отвечал. «Тебя бы послать, вот тогда бы знала... Небось бы по-другому запела»,— говорил он, передразнивая ее губами.

Скоро они вышли.

На улице моросило. Дул ветер. В узком проулке было так темно, что не видно было воды в лужах. Миколаевна шла впереди, не выбирая дороги, и так быстро, что Дементий едва поспевал за ней.

Так, впотьмах, они прошли проулок, в котором стоял заезжий двор, вышли к базару. Дементий вглядывался в тень каждого строения. Но никого не было видно. За базаром идти стало легче: был тротуар, горели лампочки, встречались редкие прохожие.

В доме, где жила Алефтина, дочь Миколаевны, все спали. Только в одном окне, на втором этаже, горел свет. В подъезде Миколаевна пригласила Дементия зайти отдохнуть.

— Нет, спасибочко, Миколаевна,— ответил Дементий.— Время позднее, что людей тревожить?

А про себя подумал: «Как же!.. Только на ночь глядя покойников и смотреть».

Миколаевна вошла в подъезд. Шаги ее быстро-быстро простучали по лестнице первого пролета, потом еще скорее протопали по приступкам второго. На втором этаже остановилась, перевела дух и постучала в дверь. Из-за двери спросил ее чей-то голос. Миколаевна ответила. В дверях загремел ключ, дверь открылась, и Алефтина с плачем кинулась матери на шею. Дементий поспешил отойти. Он слышал, как Миколаевна низким, испуганным, не своим голосом что-то спросила, в комнате заговорил еще чей-то голос, дверь захлопнулась, и в ту минуту, когда Дементий с середины двора посмотрел в освещенное окно, в комнате раздался страшный, душераздирающий крик. Потом стало так тихо, что Дементий услышал свое дыхание. Затем опять раздался еще более страшный крик, и что-то грузно, как мешок с зерном, упало.

## 12

На другой день тело Григория в гробу, обитом красным сатином, поставили в застланный казенными коврами дорожками кузов машины, выделенной шахтой, и траурная процессия тронулась в деревню.

Григорий был наряжен в свой любимый костюм: темно-зеленую офицерскую гимнастерку с приколотыми к ней орденами, такого же цвета брюки и сапоги. В гробу он казался еще больше. Лицо его было бледно, неподвижно и значительно. Желтые виски провалились, лоб, как у всякого покойника, сбозначился резче, нос заострился; глазные яблоки казались непомерно большими. В голове у покойника стояли с неподвижными лицами, придерживая оградку с памятником, брат умершего с племянником. Вокруг гроба сидели: с одной стороны — заплаканная, вся размякшая от горя Миколаевна, с выбившимися из-под платка седыми волосами, с другой стороны — старшая сестра умершего Прасковья. За

ними сидели все остальные родственники. Миколаевна, склонившись над гробом, не плакала (она не могла уже больше плакать), а стонала, конвульсивно вздергивая плечами. Про себя она что-то все время говорила. С нею несколько раз пытались заговорить, но смысл сказанного так медленно доходил до нее, на говорившего она смотрела такими скорбными, глубоко ушедшими во внутрь глазами, что ее оставили в покое.

Когда машина миновала последнюю большую деревню Кашино и до своего колхоза осталось десять километров, Миколаевна подняла голову и в первый раз за все это время осмысленно, с каким-то вопросом оглядела окружавших ее людей. Казалось, она хотела что-то спросить, но не могла найти тех слов, которые бы могли выразить ее мысли. Немного погодя она спросила, где Ксения. Ей ответили, что она придет на другой, колхозной, машине с Алефтиной.

— А знает ли старик, что Гриша помер? — спросила Миколаевна.

Никто этого не мог сказать.

Миколаевна опять склонилась над гробом и разревелась.

Первой в деревне машину с гробом заметила свинарка Марья Крупина. Она только что привезла с молоканки бочку сыворотки, стояла на телеге, вычерпывала. Другая свинарка, ее помощница Саня Полухина, носила сыворотку в свинарник, выливала в чан. Марья подняла голову поглядеть на Кашинскую дорогу, не едет ли из города машина. Машина ехала, но не своя. Марья в одну минуту сообразила, что это за машина.

— Везут! Везут, мужики! — закричала она сидевшим возле кузницы колхозникам, бросила ведро, спрыгнула с телеги и первой, пригибаясь чуть не до земли, побежала к овчарне, возле которой должна была проехать машина.

За нею побежала помощница, потом подошли, поспешая, кузнец с молотобойцем, два старика плотника, конюх с шорником и несколько ребятишек, оказавшихся случайно на конюшне. Марья взобралась на угол утонувшей в навозе овчарни, чтоб первой (она непременно хотела быть сегодня во всем первой) поглядеть на покойника.

За головами плачущих родственников, сидевших возле гроба, Марье не видно было лица Григория. Однако это не помешало ей утверждать совершенно обратное.

— Как живой! Сама видела! Не лежал бы в гробу, так можно подумать, что спит... Нисколько не страшен, — спрыгнув на землю, выпалила она одним духом и, забыв о свиньях, которые остались непоеными до вечера, побсжала догонять ушедшую вперед машину. — А гроб-то, бабы, до чего хорош!.. Весь в красной матерье... Как в шелку лежит! — догнав машину, говорила она подбежавшим к ней птичницам.

От мельницы к траурной процессии, обраставшей, как снежный ком, по мере углубления в деревню, присоединились мельник с помощником, потом подбежали в халатах телятницы, потом доярки. Не успела машина въехать в деревню, а уж все колхозники знали, кого везут.

— Едут! Едут! — кричали по всей деревне ребятишки и, обгоняя друг друга, бежали навстречу машине.

— Анисья!

— Кузьмовна!

— Слышали, Миколаевнина Григория везут! — оповещали друг друга старухи и тоже впробежку спешили навстречу машине.

У конторы машину ожидали председатель, два бригадира, бухгалтер со счетоводкой и Клавдия. Как только машина поравнялась с ними, они вошли в толпу, следовавшую за машиной. Клавдия принялась рассказывать колхозницам, что она как знала, как чуяла сердцем, что не будет ей за Григорием счастья.

— Уж как он меня сватал! Как сватал! Не знаю, как пуше и сватать! — говорила она своим сильным гортанным голосом, разводя почему-то перед женщинами руками, как будто выкладывала перед ними товар.

Ее слушали и, хотя знали, что Клавдия все врет, отдавали должное и ее пронизательности, и высокой груди, и тонкому крепдешиновому платью.

В первом ряду за машиной шли свинарка со своей помощницей и женщины их лет. За ними шли старухи, потом оказавшиеся в деревне девки во главе с Клавдией и счетоводкой, потом мужчины. По бокам машины бежали, крича, ребяташки. Марья без умолку трещала, рассказывая, как приехала с молоканки с сывороткой, как поглядела на Кашинскую дорогу, увидела машину. «Да ведь, батюшки мои, это Николаевнина Григория везут!» — восклицала она и всем показывала, как взмахнула от удивления руками, как спрыгнула с телеги, как побежала к овчарне. При этом Марья особенно старалась подчеркнуть, что все это она, Марья Крупина, первая увидела, узнала, что, не будь ее, так и теперь деревня жила бы в полном неведенье.

Одна из женщин спросила, а не знает ли она, Марья, где Ксения, жена умершего; Марья этого не знала.

— А в городе осталась! — ответила, однако, она, вспомнив, что Ксении в кузове не было.

— А не знаешь, не родила Ксения? — спросила ее другая женщина.

— Мальчонку, говорят, родила, — как ни в чем не бывало ответила Марья и испугалась, подумав, что ее смогут уличить во лжи. Беспokoйно оглянувшись, но все ей верили.

После этого Марья и сама поверила себе и стала расспрашивать у других о подробностях этого события. Теперь выдумывала каждая, что приходило ей в голову. Одна говорила, что Ксения родила девчонку, другая — мальчишку, и «всего в отца» — добавляли третьи; четвертые уверяли, что весом в пять килограммов; самые осведомленные замечали, что Ксении еще рано родить.. А народ все валил и валил навстречу машине. Теперь бежали уже из-за пруда.

### 13

Старик сидел на лавочке возле палисадника своего дома. Николаевна из кузова сразу увидела его своими дальнoзоркими глазами. Старик, видно, знал о несчастье. Он сидел задумавшись, облокотясь на колени. На нем был все тот же желтый выгоревший картуз, опущенный на затылке и за ушами седыми волосами, серый, залоснившийся от молока пиджак и плотные, из льняной ткани, чтоб не промокали, штаны с большими заплатами на коленях. Он не замечал бежавшего мимо него народа. И люди не спешили сказать ему, что везут сына. Старик думал не о себе, как полагал бежавший мимо него народ, — на девятом десятке жизни ему нечего было думать о себе — старик думал о сыне, как лучше проводить его в последний раз.

Замужняя внучка Фаина, ночевавшая сегодня с ним, увидев в окно машину, выскочила за ворота и на ухо громко прокричала об этом старику. Старик очнулся, быстро встал, поднял высоко голову, так что на солнце блеснули очки, и пошел навстречу машине. То ли потому, что встречное солнце ему слепило глаза, то ли от волнения, но старик ничего не видел. Зажатая народом машина была уже близко, и шофер не один раз подавал сигнал, а старик все шел и шел ей навстречу. Старуха Фотиева не вытерпела, выбежала, тряся юбкой, на дорогу, схватила его за рукав и оттащила в сторону.

— Не видишь разве, машина идет...— сказала она и вошла в толпу, валившую за машиной.— Как маленький, прости меня господи, ничего не соображает,— прибавила она набросившимся на нее с расспросами старухам.— Машина рядом, а он прется ей навстречу.— И она неодобительно поглядела на высокого, в очках, глухого старика.

Старик теперь шел рядом с машиной, ухватившись за борт. Он, видно, хотел взглянуть на сына. Но Миколаевна, боявшаяся, как бы ему не придавило ног, кричала ему в рот, чтоб не лез на ходу в машину. Старик заглядывал с правой стороны, туда же клонилась Миколаевна; старик заглядывал с левой стороны, там же торчало широкое, морщинистое, распустившееся от слез лицо старухи с выбившимися из-под платка седыми волосами. После этого старик отошел в сторону.

У дома машина остановилась. Мужчины подошли неловко к старику.

— Снимите его... Снимите... Домой привезли... В избу надо... Чего он здесь на улице лежит,— беспомощно твердил он.

Те, что помоложе, пробрались к машине.

— Ну-ка, бабы, слезай, хватит; потом насмотритесь,— заговорили они.

Бабы, девки, мальчишки попрыгали из машины. Мужчины открыли борта. Старухи подхватили обессиленную от горя Миколаевну, спустили на землю. Гроб осторожно взяли, понесли в избу. Старик шел сбоку, неловко придерживая обеими руками гроб, будто боялся, что его могут уронить.

— А не пройдет ведь в сенках!

— Через окно надо!— заговорили в народе.

Попробовали все же через сени. Но большой гроб не могли развернуть в узких сенях, чтоб через дверь занести его в избу.

— Передок малость спустить, а задок поднять... Тогда пройдет!

— С другой стороны попробовать надо!

— Вперед пронести!— слышались опять голоса.

Попробовали и так и эдак — гроб не проходил. Старик был в отчаянии. Как маленький, он суетился, всем мешал, предлагал одно нелепее другого.

Наконец мужчины выставили раму, внесли гроб в избу через окно. Народ повалил в избу.

Теперь в первом ряду вокруг гроба стояли старухи с ребятишками, готовые при первой нужде оказать Миколаевне помощь. За старухами стояли женщины, за ними — девки. В сенях стояли мужчины.

Клавдии показалось, что один глаз у покойника немного приоткрыт. Ей стало страшно от мысли, что покойник наблюдает за ней. Она закрыла глаза и спряталась за счетоводку.

Василий Григорьевич негромко рассказывал в сенях колхозникам, что он только было собрался этой зимой передать Григорию колхозные дела, «а вишь, что получилось»,— и Василий Григорьевич указывал глазами на покойника. Ему не видно было его. Он встал на цыпочки и через головы баб и девок, о которых он делал про себя разные замечания, поглядел на него.

Старик Тюржев со свойственной ему спокойной рассудительной уверенностью предложил председателю назначить Семену Кондратьевичу колхозную пенсию.

— Так-то оно так, Николай Данилыч... Да дело-то, понимаешь, это ново. Не знаю, как за него и браться,— сказал Василий Григорьевич и стал делать разные выкладки, как лучше по этому вопросу подъехать к начальству, с кем поговорить, у кого проконсультироваться и так далее.

Чем больше он говорил, тем меньше оставалось у всех надежды, что он что-нибудь сделает для старика.

Семен Кондратьевич сидел в избе, на своем месте у окна, к досаде ребятишек, которым он загородил покойника. Он ничего не слышал, что о нем говорили. После того, как гроб внесли в избу, он успокоился, сидел смиренно. Слабыми бесцветными глазами он спокойно осматривал собравшийся в избу народ, не понимая, очевидно, зачем он к нему набился и скоро ли уйдет.

Только после того, как народ, насмотревшись на покойника, стал расходиться, старик подошел, сел к сыну. Возле него он просидел остаток этого дня, вечер и большую часть ночи. Миколаевна покормила кур, свинью, подоила корову — старик сидел все в том же положении. В двенадцатом часу, помолившись богу, она легла спать на печь. Старик остался сидеть возле сына. Свет в избе в эту ночь не выключался. Миколаевна несколько раз за ночь просыпалась, выглядывала из-за печной трубы на сына. Старик сидел все в том же положении. Только перед утром он уснул. Когда Миколаевна встала, старик в сапогах, не раздевшись, лежал на кровати, разбросав руки, и чему-то во сне улыбался.

## 14

Ему снился сон.

В деревню к нему с женой приехал сын. Он здоров, в каждом его движении чувствуется сила. Да и сам старик тоже еще бодр. Сын приехал его звать к себе. Старик никак не может понять, куда он его зовет. Туда ли, куда уходят после смерти все люди, или же в Шаблино.

«Ну, конечно, в Шаблино... Куда же иначе?» — смеется сын. «Но ты же помер?!» — «Кто тебе сказал?.. Не верь этому, отец... Сплетня... Разве первый раз меня хоронят?.. Был на фронте, тебе тоже похоронная приходила... И сейчас так же». Сын так весело хохочет, что старик помаленьку тоже начинает верить и тоже, как маленький, от радости смеется, обнимает и жмется к своему любимому сыну.

Григорий снова начинает звать его к себе. «Я б поехал и нонче к тебе, Гриша, — отвечает старик. — Да не торопись. — Он опять начинает обнимать сына, чтоб не обидеть его своим отказом. — Я поработаю еще с годик в колхозе... Тебе ведь надо обжиться... Ксения вот скоро родит, сколь всего надо в дом... Ведь нелегко тебе на свое жалование двух стариков содержать будет». Он высказывает сыну все, что он много раз думал и говорил об этом старухе, уговаривавшей его переехать к сыну. Он говорит, что «много ли нам со старухой теперь надо; мы проживем и здесь, а о брате и сестрах подумай. Алефтина теперь собирается уйти от мужа, а разве это дело?.. Где, кто ей сказал, что другой мужик попадетс ей не пьяница... Еще, может, почище Ивана попадетс (Иваном звали меньшого зятя), еще, может, драться станет... Тоже помоги, Гриша, Олександу определиться в жизни, — продолжает старик. — Пусть он или женится на этой вдове, с которой сейчас живет, удочеряет девчонок, или выбирает невесту... Надо же что-то делать... Так же невозможно все время жить».

Сын со всем согласен, готов обещать ему все сделать, но, вошедший в свою колею мыслей, старик не дает сказать ему слова.

«Еще, Гриша, вызови к себе Аниску, — говорит он. — Устрой ее у себя на маслозавод, обхлопочи у сельского Совета казенную квартиру. .»

Григорий весело его слушает, готов, еще не выслушав, дать обещание. «Олександу, — говорит он, — Ксения уж подыскала невесту... Анисью тоже к себе приму; как раз одно место освободилось». — И сын снова начинает его звать к себе. Отец обещается.

Потом они идут косить сено. Впереди идет сын, позади старик. Отец видит его шрам под правой лопаткой от ранения. «Да разве найдется на свете такая сила, которая бы свалила моего сына?» — думает про себя старик, глядя на его широкоую, сильную спину. Старик говорит, что эту деланку отвел им нынче председатель, старуха попросила. Сын, не оглядываясь, идет вперед, широко размахивая косой. Старик едва поспекает за ним. Он начинает просить сына потише идти. Сын как будто не слышит. Так он ушел далеко вперед, вышел к реке. Когда запыхавшийся, усталый старик прошел свой ряд, сын уже купался. Заплыл на середину реки, нырнул и долго-долго не показывается из воды. Старик забеспокоился, стал звать его: «Плыви ко мне, Гриша... Я боюсь, утонешь еще!» — «Нет, ты плыви ко мне», — отвечает сын. И опять нырнул и опять долго-долго не показывался из воды.

Старик вскочил, стал кричать, бегать по берегу, звать на помощь людей. Наконец сын вынырнул, и старик удивился бледности его лица и синеве губ. «Вылезай, Гриша, хватит, ты замерз, пошли домой... Там Ксения ждет, мать... Утонешь еще... Я боюсь». Сын ничего не ответил. Как-то долго поглядел на него и ушел под воду. Старик думал, что он вынырнет. Долго его не было. Старик все ждал. Из воды наконец выплыла его фуражка, а под ней его мокрые, распустившиеся по воде волосы. «Утонул!» — закричал старик, упал на берег и заплакал.

Миколаевна подошла, разбудила его.

Сон этот после Миколаевна много раз рассказывала на деревне колхозникам.

## 15

В воскресенье были похороны.

После завтрака старик пошел зачем-то на деревню. Миколаевна, боявшаяся, как бы он от горя не наложил на себя рук, не спускала с него глаз. Она видела, как старик вошел к свояку, Егору Николаевичу Чумыкину. Побыл немного, вышел. Пошел к Тюряеву. От него зашел еще к двум колхозникам из числа тех, кого больше других уважал на деревне умерший. Миколаевна поняла: старик, видно, звал их копать могилу. За ночь, решила она, старик все это хорошо продумал. Скоро он вернулся. Следом за ним пришли приглашенные. Все были, как и старик, собранны, молчаливы. Зашли в избу, поглядели молча на покойника. Старик взял лопату, подождал их, повел на деревенское кладбище. Там уже два парня, посланные председателем, копали могилу.

— Подите-ка, молодцы, в контору, — сказал им старик. — Скажите Василию Григорьевичу спасибо, сам выкопаю... Не часто отцу перед смертью приходится... — Голос его осекся, большие, бесцветные под очками глаза замигали, он взял лопату, стал копать.

Товарищи его стали говорить, что они одни, без него, выкопают могилу.

— Нет, нет... Я сам провожу, — твердил старик и, не торопясь, как все старики, ступал ногой на лопату, отваливал ком и так же размеренно, не торопясь, выбрасывал наверх.

К обеду могила была готова. Старик ее выкопал по-своему, с нишей, куда он хотел поставить гроб, чтоб не валить на сына землю.

Дома тоже все было готово к выносу тела. Товарки Миколаевны, старухи Фотиева и Сидельникова, взявшие на себя все хлопоты по похоронам, достали на деревне холсты нести гроб. Старик не хотел, чтоб сына везли на кладбище на машине. Ксению привели от замужней внучки Фаины, где она ночевала, проститься с мужем. Она лежала на кровати у гроба и плакала. Против нее сидела молоденькая, хорошенькая, в бе-

лом халате сестра-акушерка, присланная специально по такому случаю из города. Сестра то слушала перешептывавшийся в избе народ, то с интересом и страхом взглядывала на покойника, удивляясь его слишком большому росту. Покойник все так же неподвижно, значительно лежал в гробу, занимавшем всю середину избы. Как ни кропили в углах уксусом, в избе чувствовался запах разлагавшегося тела.

Людей опять набилось в избу столько, что нечем было дышать. Подростки заглядывали в окна. Часть народу стояла в сенях, другая — большая — в ограде. Все негромко в ожидании выноса тела обсуждали положение Семена Кондратьевича и Миколаевны. Куда, к кому из детей поедут? Будут ли продавать в деревне дом? Если будут, то кому? (В деревне приценивались двое: Дементий Синьцов и Иван Переkrасов.) Сколько кто даст? Одни говорили, что Дементий согласен заплатить три тысячи, другие — две с половиной, тогда как Иван Переkrасов больше двух тысяч ни в коем случае не даст. Женщин занимало положение овдовевшей беременной Ксении. Кого родит? Где будет жить: здесь, у стариков, или же поедет в Шаблино? Пойдет ли после такого мужика замуж? По этому вопросу у каждой была своя точка зрения.

Пока обсуждали эти вопросы, старухи Фотиева и Сидельникова делали свое дело: одному мужику велели вынуть из окна раму, меж родственниками распределили обязанности — кому остаться с Ксенией (акушерка не позволяла ей идти на кладбище), кто понесет гроб, кто из старух останется собирать стол для поминок. Выбранные Семеном Кондратьевичем старики стояли у гроба, готовые при первом указании старух распорядительниц приступить к выполнению своих обязанностей.

Дошла очередь проститься Ксении с телом мужа. Народу в избу и сени набилось в два раза больше прежнего. Старуха Сидельникова протискалась, тронула Ксению за руку и осторожно, плаксивым голосом сказала, что гроб сейчас понесут, пора ей проститься с мужем. Ксения подняла с подушки опухшее от слез и беременности черное лицо, безумно всех оглядела, как-то тяжело, как все беременные женщины; встала, нашла глазами лицо мужа и со страшным криком: «Мой! Не пущу!» — бросилась на тело. Все испугались. Женщины заплакали. Мужчины, чтоб скрыть волнение, отвернулись. Маленькая девчонка, пришедшая с бабкой, заревела. Старуха, размазывая рукавом слезы, взяла ее на руки. Сестра-акушерка подошла со стерильной ваткой, пропитанной нашатырным спиртом, к Ксении, стала успокаивать ее. Ксения оставалась неподвижной. Сестра поднесла к ее носу ватку. В избе стало совершенно тихо.

Вдруг с Ксенией стало делаться что-то непонятное. Ее большое, с выпирающим из-под юбки вперед животом тело стало расслабляться, расслабляться, и она медленно поползла вниз с гроба; подхватила снизу живот руками и вдруг заплакала тонким, совсем уже другим, просящим помощи голосом.

— Да ведь, бабы, у ней роды начались! — заговорили женщины.

Все заволновались, пришли в движение. Гроб было тотчас же велено вынести на улицу, девок, мужиков и лишних баб попросили из избы.

Похоронная процессия медленно тронулась по деревне. Семен Кондратьевич со стариками нес сына. Глаз его не было видно; старческое лицо не выдавало чувств. Знал ли он, услышал ли, что у снохи начались роды, никто бы не мог этого сказать.

Я не буду описывать, что было дальше. Скажу только, что прошло уже несколько лет, а в деревне все еще помнят эти похороны. Старик сам хотел заколотить крышку гроба, но ему не дали люди; от волнения и слез, давивших его, он не мог молотком попасть по шляпке гвоздя —

колотил себя по пальцам. Тюръяев первый не вытерпел, подошел, отобрал молоток, хотел прибить, но и сам не мог. Его заменил другой колхозник, помоложе. Пока люди занимались гробом, старик на животе спустился в могилу — установить гроб в нишу. Ему подали. Он сам, все сам поставил его на место. Закапывать сына он тоже никому не позволил... Старухи плакали, глядя на этого слепого, оглохшего старика, окаменевшего от горя. С кладбища он пришел последним со свояком. Ксению, чтоб не отменять поминок, увезли к внучке Фаине. Миколаевна сама, как могла, угощала гостей. Старик сидел с краю, ничего не ел, оглядывал своими слабыми, старческими глазами гостей. Иногда к нему обращались, он как-то неловко, жалко улыбался, прося, очевидно, извинить его, что он не слышит.

В восьмом часу пришла запрягать Оверьку Федосья Глушкова. Ее послал бригадир привезти на фермы воды. Старик каким-то образом увидел ее. Миколаевна со слезами на глазах стала уговаривать его не ездить сегодня. Другие колхозники и прежде всех председатель тоже стали говорить это же.

— Нет, нет... Я поеду... Мне надо побыть одному, с ним, — сказал старик, извинился перед гостями, надел картуз и медленно вышел на улицу.

Оверька, увидев старика, поднял голову и тихонько заржал, как ржут лошади, когда просят воды или овса. «Хороший все же у меня старик, — вероятно, подумал Оверька. — Он понимает, ну разве на мне, старом мерине, ездить теперь бабе по деревне».

Старик привязал вожжи, сел; заплаканная Миколаевна открыла ворота, и телега медленно, отбрасывая большую тень, выехала за ворота, пересекла дорогу и скрылась за домом молоканщика.

Вечером Ксения благополучно родила старику и Миколаевне внука.

Сухой Лог, Свердловской области.



---

## СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

\* \* \*

Как видно, детство — здесь память строга —  
Мне зимними звездами больше сияло.  
Изба, уткнувшаяся в снега,  
Казалось, у самых созвездий стояла.

Когда по деревне шел человек  
Мужицкой походкой обыкновенной,  
То так ревел под ногами снег,  
Что слышалось, может, во всей Вселенной.



---

ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

## «САНТА-МАРИЯ»

ИЛИ

### ПОЧЕМУ Я ВОЗНЕНАВИДЕЛ ИГРУ В МЯЧ

*Рассказ*

**С** балкона моей комнаты видно море. По нему с утра до вечера ходят теплоходы. Маленькие — раньше они назывались катерами, а теперь тоже теплоходами — в Алупку, Симеиз, Форос. Большие подалее — в Одессу, Батуми. Все они белые, а большие — с красными полосами на трубах.

Я их умею уже отличать по очертаниям. Самая красивая и важная — это «Россия», самый большой — «Адмирал Нахимов»: у него две трубы и он не теплоход, а пароход. Остальные — «Петр Великий», «Крым», «Абхазия», «Литва», «Латвия» — те поменьше, но тоже красивые. По вечерам, обгоняя друг друга, носятся по морю красненькие прогулочные катера на подводных крыльях. Среди них один большой — «Стрела»: он развивает скорость до восьмидесяти километров в час и оставляет за собой невероятной длины белый хвост.

Раз в неделю привозит иностранцев немецкий лайнер с желтой трубой и длинным названием «Фольксфройндшафт», иногда появляется грек «Агамемнон», иногда румын.

Всех их я знаю, я к ним привык, полюбил. Но сегодня появилась «Альфа», и я не могу уже смотреть ни на важную «Россию», ни на стремительную «Стрелу». У «Альфы» три мачты и сероватые паруса. И идет она гордо, спокойно, величаво. От нее нельзя оторвать глаз. Она такая изящная, стройная. И глядя на нее, хотя она только учебное судно, хочется быть флибустьером, отчаянно смелым и лихим, хочется, сидя на баке, пить ямайский ром, бегать по реям, кричать с марса: «Земля!». открывать Америку, быть Колумбом...

Я знаю: все это от детства, от прочитанных тогда книг. А вот нынешние десятилетние мальчишки? Дрожит ли у них что-то внутри, когда они видят живой парусник? Или все дети теперь мечтают быть не флибустьерами, а космонавтами? Неужели это так?

Я привез из Америки одному мальчику подарок. Когда я увидел его, этот будущий подарок, на полке детского отдела большого нью-йоркского магазина, я сразу понял: оставшиеся деньги потрачены будут не на авторучки, не на клетчатые «безразмерные» носки, не на кальвадос «Триумфальная арка», а именно на нее — колумбовскую «Санта-Марию».

Рядом с «Санта-Марией» стояли: слева — «Куин Мэри», справа — знаменитый авианосец, название которого я забыл. Но на них не хоте-

лось даже смотреть. Я заплатил один доллар семьдесят пять центов и получил коробку удивительной красоты — на пестрой глянцевой крышке, надув паруса с алыми крестами, неслась по пенистым волнам океана прекрасная «Санта-Мария».

Когда через несколько дней я вручил эту коробку мальчику, которому она была предназначена, и когда он, открыв ее, увидел лежащую внутри в разобранном виде «Санта-Марию», он, мальчик, на какое-то время лишился дара речи, потом были крики, объятия, восторги, желание немедленно, тут же, сейчас же начать сборку легендарной каравеллы. Но родители сказали, что каравелла подождет и до завтра, а сейчас пора ужинать и спать.

На следующий день утром была школа, потом пионерское собрание, а вечером надо было готовить уроки. Сборку и на этот раз отложили.

Назавтра мальчик опять ушел в школу, погладив на бегу коробку, а мы с его отцом, хозяином квартиры, в которой я всегда остаиваюсь, когда приезжаю в Москву, допив чай, закурили.

Кончив курить, отец мальчика сказал:

— А что, если мы сами начнем склейку? Сынок мой — товарищ неаккуратный, того и гляди чего-нибудь сломает, а мы с тобой...

— Что ж, можно... — сказал я.

Мы выключили телефон и пошли за коробкой.

«Санта-Мария» была пластмассовая и состояла из отдельных кусков. Отдельно палуба, отдельно борта, бак, ют, фок-, грот- и бизань-мачты, отдельно все реи, бушприт, надутые уже ветром паруса, флаги и вымпелы, отдельно и моряки, среди них, очевидно, и Колумб. Все перенумеровано. Ко всему приложен был чертеж и тюбик клея.

Мы сели за работу. Визит в издательство был отложен. Телефон, слава богу, молчал. Когда пришел мальчик, которому подарена была «Санта-Мария», ему было сказано: «Не мешай, иди готовь уроки» — в этот момент приклеивался квивер, а это дело нелегкое.

Вечером должны были прийти гости, но им позвонили, что-то наврала, и работа продолжалась. Иногда к нам в комнату заглядывал хозяин «Санта-Марии» и просил, чтобы ему разрешили приклеить к мачте вымпел, но отец пристыдил его, напомнив, как плохо он наклеил неделю тому назад в ботанический альбом паслен, и хозяин каравеллы вынужден был уходить, а вымпел мы приклеивали сами.

Но гости все же пришли. Не те, а другие, совсем неожиданные. Мы с отцом хозяина «Санта-Марии» возненавидели их на всю жизнь. Они сидели до часу ночи, говорили о всякой ерунде — о литературе, какой-то выставке в Манеже, театре «Современник», о своей поездке в Армению, а мы мрачно курили, иногда переговариваясь между собой, куда надо приклеить деталь № 57, которой на чертеже почему-то нет.

В этот день мы легли... В общем неважно, когда мы легли — утром «Санта-Мария» гордо стояла на своей подставке на самом видном месте, и свежий атлантический ветер упруго надувал ее паруса с большими алыми мальтийскими крестами. Марсовый бушприта смотрел в подзорную трубу. «Санта-Мария» неслась на запад в поисках Индии...

Хозяин «Санта-Марии» был в восторге. Друзья его тоже. И друзья отца тоже. И дети друзей отца тоже. Все шупали паруса, ванты, приклеенных к палубе моряков, а мы с отцом говорили: «Осторожно, не трогайте пальцами, может быть, клей еще не совсем засох», — и все были довольны и сетовали на нашу игрушечную промышленность, которая почему-то не делает такие милые игрушки — ведь можно было сделать «Три святителя» или какой-нибудь другой знаменитый корабль.

Место для «Санта-Марии» было выбрано на невысоком книжном шкафу. Время от времени мы к ней подходили и что-нибудь на ней под-

правляли или слегка поворачивали, чтобы она красивее выглядела с того или иного места. Несколько дней шел спор, в какую сторону должны развеваться вымпелы — вперед или назад. Одни говорили назад, другие — вперед, доказывая, что ветер дует сзади, по ходу корабля, а не спереди. Но договориться так и не удалось.

С появлением «Санта-Марии» комната сразу стала красивее. Порой казалось, что в ней пахнет водорослями, рыбой, соленым морским ветром. Сам хозяин каравеллы, парень ехидный и с юмором, сказал как-то, что скорее всего пахнет джином или ромом. В наказание он был отправлен, как всегда в таких случаях, учить уроки.

В воскресенье к мальчику в гости пришел другой мальчик. Родители ушли по делам, и старшим в квартире остался я. Дети начали играть в мяч, а я ушел в соседнюю комнату то ли писать, то ли читать, то ли спать. Уходя, я сказал:

— Смотрите, играйте в мяч осторожно, не попадите в каравеллу.

Дети обещали не попасть в каравеллу и начали осторожно играть в мяч.

Минут через пять что-то с грохотом упало — и воцарилась могильная тишина. У меня внутри все оборвалось. Я выскочил в соседнюю комнату. «Санта-Мария» лежала на полу с поломанными мачтами. На мальчиках не было лица.

Я страшно рассердился, накричал на мальчиков и даже дал им несколько подзатыльников, чего со мной до сих пор никогда не случалось. Мальчики обиделись: «Ведь мы ж не нарочно», а я подобрал каравеллу и унес ее в другую комнату.

На починку ушло не меньше часа. Грот-мачта сломалась пополам, и срastить ее было не так-то просто. Две другие мачты, к счастью, только погнулись, но порвались и попутались ванты — с ними тоже пришлось повозиться.

В конце концов я все-таки восстановил каравеллу. Сейчас она по-прежнему стоит на своем месте, и попутный ветер по-прежнему никогда не изменяет ей. Обидно другое: буквально через три минуты после катастрофы мальчики как ни в чем не бывало опять начали свою идиотскую игру в мяч, начисто забыв о Колумбе, бом-брамселях, гиках, стеньгах, клотиках и соленых брызгах.

С тех пор я навсегда возненавидел игру в мяч и еще больше мне захотелось убежать юнгой на корабль.

А может, на «Альфе» нужен библиотекарь?



---

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

## НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

*Записи давних лет*

Несколько лет назад, после долгого перерыва, мне вновь довелось побывать на родной Смоленщине, в некогда диких, лесных захолустных местах, где проходило мое далекое детство, где я провел годы, когда перестраивалась и ломалась жизнь русской деревни.

С великим волнением смотрел я на эти милые сердцу родные поля, леса и дороги, на знакомые деревеньки, носившие прежние имена. Я встречался с молодыми и старыми, пережившими бурные годы людьми, дивясь совершившимся переменам.

Следа не осталось от старого пустовавшего помещичьего дома Пенских, в зарадужелые высокие окна которого мы, деревенские ребята, заглядывали когда-то с суеверным и трепетным любопытством. Было трудно распознать место, где стояло при дороге «волостное правление», хозяйничали полицейский урядник и бородатый волостной старшина; у заросшей развесистыми ветлами мельничной плотины на духов и троицын день бабы и девки водили хороводы, а возле «казёнки» с зеленой «орленой» вывеской дрались кольями фурсовские и бурмакинские буйные мужики.

Изменилась и маленькая речка с звучным сказочным именем Гордота, обсох, зарос непролазным мелким олешняком и лозою мельничный старый пруд. Лишь в тихих заводях знакомой реки по-прежнему отражались летние облака, плавали белые лилии и желтые кувшинки, на круглые листья которых трепетно присаживались легкие стрекозы.

Я долго стоял на берегу родной реки, радуясь и печаясь, невольно вспоминая давние, навсегда отжитые времена. Тесно связана моя жизнь с этой маленькой речкой, текущей в зеленых кудрявых берегах. Здесь прошло мое давнее детство, перед глазами впервые раскрывался живой радостный мир. Здесь услышал я русскую ладную речь, слушал чудесные народные песни. Здесь почувствовал, полюбил материнское тепло родной земли. И здесь же сделаны мною в двадцатых годах записи, которые я хочу предложить вниманию читателей.

**С** конца германской войны бродили по нашим лесам дезертиры, скрывались в землянках среди непролазных болот, воровали с крестьянских полей картошку, резали в деревенском стаде овец; как волки, таскали из стада телят. По ночам дезертиры заходили в деревню, тихо стучали под окна, и сердобольные бабы подавали им на пропитание хлеб. В то время сложились на деревне о дезертирах частушки:

Дезертиры, дезертиры,  
Дезертиры — лобуда.

Красна армия в деревне,  
 Дезертиры — кто куда!  
 Дезертиры, дезертиры,  
 Дезертирам горюшко,  
 Красна армия в деревне,  
 Дезертирам — полюшко!

Миновал тяжкий год войны, не стало дезертиров. Впервые за долгий срок зазвучала по деревням прежняя песня, стали бабы и девки в дружный веселый хоровод:

Дуня бережком ходила-гуляла,  
 Дуня ноженькой притоптывала,  
 На сторонущку поглядывала:  
 — Хороша наша деревня Кочаны,  
 Заросла она малиною!  
 У нас есть кому притоптать, приломать.  
 У нас девушки в башмачках, в башмачках,  
 Ребятущки при калошах, при часах!

Емельян Архипов купил у солдат-дезертиров, возвращавшихся с фронта, новую казенную телегу. Когда был объявлен по деревням «гуж-трудналог», пришли телегу отбирать. Емельян схитрил: надел на телегу разбитые старые колеса.

Спрашивают:

— Телега новая у тебя имеется?

— Есть разбитая телега.

— А ну, покажи!

Пришлось показывать. Привел во двор.

— Так, так, — говорят, — у твоей телеги только колеса не годятся. Мы новые подберем. Открывай, гражданин, ворота!

— Дорогие товарищи, братцы! — взмолился Емельян. — Сделайте божешкую милость, оставьте телегу.

Перемигнулись:

— А чем подмажешь!

Вынес Емельян семь фунтов топленого масла, да шесть рамок меду, да сотню яиц. К вечеру Емельяну Архипову телегу вернули.

Глеб Фильченков, переименовавший себя в Глеба Невского, служил некогда при волостном правлении на побегушках. Теперь стал начальником милиции. Ехал он однажды с родным дядькою Иваном Осиповым в Клетки, в народный суд. В селе Мутишине остановились у бывшего поповского двора. «Сойди-ка, дядя Иван, мне пособи!» — говорит Глеб. А в поповском чулане бочонок самогонки приготовлен. «Ну-ка, дядя Иван, выпей за мое здоровье!» Выпил Иван Осипов стакан, пошел к лошади. Минут через пять Глеб снова с крыльца пальцем манит: «А ну, дядя, ступай сюда!» Выпили еще. Пока стояли в Мутишине, осталось полбочонка. Сели, поехали. Глеб свесил через грядку ноги в новых сапогах, стал похваляться: «Ну, дядя Иван, теперь выше меня во всей волости никого нету. Постой-ка здесь!» Остановились у мельницы, вышли. Навстречу от мельника им опять самогонку несут...

Пошелквивая кнутовищем по пыльным солдатским сапогам, рядом с повозкой идет ямщик, дорогобужский мешанин. Вернулся с войны героем, с четырьмя георгиевскими крестами. Как все солдаты, о войне, о своих подвигах рассказывает с усмешкой, без малейшего хвастовства.

Слушаю его рассказы, смотрю на его спину, на солдатскую выгоревшую гимнастерку, облепленную слепнями. Яркое печет солнце, на дороге лежит пыль. Над потными спинами лошадей роем выются злые слепни. Время от времени ямщик бьет ладонью налипших на лошади, напившихся кровью слепней, окровавленную руку вытирает о пыльное голенище.

О войне рассказывает с привычной неторопливостью, свойственной всем ямщикам, привыкшим к дальним дорогам. Первый крест получил за то, что вынес из огня раненого командира. Второй крест ни за что дал корпусный генерал, проходивший по окопам. Генерал спросил его имя, а адъютант генерала вынул из коробочки и прицепил на грудь новый крестик. Ямщик служил в гвардии. Рассказывал о ротном командире, жестоко избивавшем солдат, о том, как его убили и спрятали свои солдаты. У офицера была немецкая фамилия, в тот день его видели разговаривавшим с немецкими парламентарями, пошел слух, что офицер перебежал к немцам. Рассказывал о том, как однажды заняли деревенское старое кладбище, как рвались тяжелые немецкие снаряды, вместе с землею вылетали из могил гробы с покойниками и истлевшими костями...

Когда была введена гужевая повинность, у всех мужиков оказались вдруг кобылы жеребые. Ивану Осипову сказали так:

— Самогоночки поднесешь, мы твоего кривого мерина запишем жеребым.

Зимой, ежели две подводы встречаются — ни одна, ни другая не желает уступать. Стоят, долго ругаются:

— Сворачивай ты, у меня кобыла жеребая.

— Нет, сворачивай ты, и моя жеребая.

Мельников зять Семиченок так-то ехал на своем мерине, повстречался на дороге с незнакомым мужиком. Ни тот, ни другой сворачивать не желает. Стояли, стояли — Семиченок спокойно сполз с саней, опустил у своего мерина чересседельник, подложил мерину сена, накрылся тулупом и лег в сани спать.

— Мне,— говорит,— спешить некуда, подремлю часика два, все равно пора лошадь кормить.

Встречному мужику, хочешь не хочешь, пришлось сворачивать в снег, объезжать спавшего Семиченка.

Егор Листаров рассказывает в Акимовой избе — нашем деревенском «клубе», как в самом конце войны ходили «брататься» к немцам. Подговорил взводный. Взяли с собой гармонь, пошли всем взводом. Им встретились два немецких солдата — познанцы. Поляки, бывшие с ними, разговорились с земляками.

— Вы куда? — спросили познанцы.

— Идем к вам брататься.

— Нас двое,— говорят познанцы,— а вас сорок человек. Вы нас можете убить.

— Мы с вами брататься идем.

Два немецких солдата привели в свой штаб сорок человек русских. Немецкий офицер угостил их папиросами с золочеными мундштучками. Боялись брать: не травленные ли?

Посадили их немцы в каменный подвал, всех сорок, не велели выходить. В подвале ни лечь, ни сесть. Просидели целые сутки. Гармонь надоела, то один поиграет, то другой: пись да пись! «Эх, туды твою!..» — Один солдат не вытерпел, схватил гармонь да об стенку.

Когда у всех не стало терпения, решили вылезать. Оказалось — ни-

кого кругом нет, никто их не сторожит, никто не караулит. Немцы давно ушли. Зря целые сутки в подвале сидели...

Двоюродный брат Илюша два раза бегал из немецкого плена. Вернувшись в деревню, горячо взялся за работу. В самом конце лета попал рукой в молотильный привод. Хватило терпения показать бабам, как освободить из привода кисть раздробленной руки. Сам дошел до больницы. Когда отнимали руку, командовал докторам: «Выше, выше режьте!» После операции плакал, как ребенок, жалел руку. Ободряя себя, показывал, как станет прилаживать к плечу ремешок, чтобы косить одной рукой.

— Мне только бы встать,— говорил, плача,— только бы встать! Буду работать, детей своих прокормлю.

Выйдя из больницы с одной рукой, по-прежнему истово работал.

Почти всю зиму спорили мужики в Акимовой избе, как быть с землицей. Либо по едокам весною делить, либо, как было раньше, надельно? За едоков были те, у кого много ртов, кто жил победнее. За надель — богачи, однокорытники, у кого крыша тесовая, а земля купчая.

Так спорили во всех соседних деревнях: в Архамонах, Круче, Бурмакине, Желтоухах и Подопхаях, в дальней Заворони, по всей волости, по всему уезду. В уездном городе перед УЗУ (уездное земельное управление) толпились мужики, как на базаре. Хлопотали, судились и все о землице:

— Земля, землица, кормилица!

Повсюду слышалось это знакомое мужицкое слово. Только одному нашему деревенскому пастуху Прокопу, «дяде Ремонту», земли не нужно. Все лето ходил дядя Ремонт с кнутом и трубою за деревенским стадом, ловил в речке Невестнице рыбку и раков, а зимой плел лапти, попивал самогонку. Дядя Ремонт своей жизнью доволен. А вот злой и завистливый горлан Гаврик — этому нужно много, этот чужого и своего не упустит. Гаврик на язык востер, а горло — труба!

Так и разбивались люди повсюду: чем проще — тем добрее, покладистой человек, тем меньше у него жадности. Ну-ка попроси хлеба у богача Нефедя! Или у горластого Гаврика! А вот безземельный и безлошадный дядя Ремонт свой последний кусок отдаст.

Тут весь счет и вся правда: с одной стороны, бессребреник дядя Ремонт, бедняк и отколыш, табачку-самосаду летось посеял, а и тот от кур уберечь не успел, соседские куры табак потоптали. С другой — богач и десятичник Нефед и горлан Гаврик, эти своего не упустят. А вся разница в том: у дяди Ремонта совесть есть, а у Нефедя и Гаврика совести нет, как у баранки — одна посреди дырка!

Пожалуй, самое примечательное в быте и ладе тогдашней деревни, переживавшей тяжелые переходные времена,— необыкновенное обилие семейных разделов, стихийное почкование, распадение старинных, крепких, многодушных дворов. Делились сын с отцом, брат с братом, зять с тестем, внук с дедом. Многих деревень стало совсем не узнать: так разрослись, так расстроились эти деревни; куда ни помотришь — видны новые крыши!

С «землей-землицей» было все так же тесно: выли мужики от безземелья, били лапти, гоня в город к начальству, и земельный голод на деревне оставался в прежней силе.

Объяснялось это тем, что по нашему Дорогобужскому уезду больших помещичьих имений было мало, а свей земли у крестьян никогда не хватало. После изгнания помещиков земельный «госфонд» оказался тощим:

едва прикрывалась насущная нужда в покосных лугах, а было много деревьев, отрезанных от бывших помещичьих угодий.

Порядок выхода на земли «запасного государственного фонда» (так назывались тогда отобранные у помещиков земли) был довольно сложен: мужикам приходилось долго бить лапти, проходить бумажную волокиту, не раз побывать у начальства, в уездной земельной комиссии при УЗУ, где сидели начальники «спецы», бесконечно долго приходилось ждать землемера, а в землемерах оказался в те годы великий нехват.

Нужда в землемерах была насущнейшей нуждой тогдашней пере-страивавшейся деревни. Недаром из всех новых учреждений в городе было самое толкотное УЗУ, где с утра до позднего вечера толклись про-пахшие хлебom, землю, овчинами деревенские бесчисленные ходоки, ожидая решения и суда.

Захватническая горячка на землю, которой переболела деревня, уже избывалась, не стало слышно о земельных лихих неподелёжках. Иное дело — ежегодная летняя дележка сенокосных угодий: каждый год луга распределялись заново перед покосом, и ни одно лето не проходило без драки и ссор.

Главная причина луговых неподелёжек — спор за лучшие покосные места, обозначение меж и границ. Отобранные у помещиков удобные луга находились в распоряжении лесничеств и УЗУ, и эти новые учреждения еще не успели поделить между собою луговые и лесные угодья. Нередко случалось, что на один дальний луг разом являлись с косами разноименные деревни, спор кончался кровопролитной дракой.

По-прежнему в те давние годы из всех вопросов в деревне был самый острый вопрос земельный: как и где расселяться на свободной земле человеку, как унять давнишнюю деревенскую тесноту? Недаром так неожиданно, так неудержимо поднялся в деревне бурный поток распадаения старинной крестьянской общины, стихийного выхода на «особняки», на хутора, а также поток переселенцев. Снимались с насиженных мест целыми деревнями; закрыв глаза, уезжали куда-то в «хлебную степь», на «теплый Кавказ», наивно веря в сказочные молочные реки и кисельные берега, мечта о которых с древнейших времен так свойственна русскому человеку.

Белый каменный дом на городском соборном валу под каланчою, на которой день и ночь дежурит пожарный в овчинном тулупе. Так же де-журил на этой каланче часовой десять, и полсотни, и сотню лет назад, еще при крепостном праве, когда на соборном валу теснилось тогдашнее уездное общество и городское начальство: городничий, исправник, прото-поп. Пожарному с каланчи видна мощенная булыжником базарная пло-щадь, железные и деревянные крыши домов, протекающая через горо-док река, протопопшины индюки возле соборной ограды, виден весь горо-док — Крест, Ямщина, Заречье...

Нынче под каланчой кучатся люди, лошади и телеги. На телегах си-дят бабы, жуют баранки. Под телегами натрушено сено, пахнет теплым конским навозом, от которого идет пар.

Бородатые и безбородые мужики, старые и молодые, в армяках и полушубках собрались у входа на лестницу земельного суда. Везде слышно знакомое слово:

— Земля, земля, кормилица!

В комнатах суда, бывшего полицейского управления, стрекочут ма-шинки, барышня с куньим воротником и востреньким синичьим носом, племянница протопопа, по-мышьему шебуршит в бесчисленных, разло-женных по столам бумажках.

— Шапки снимите! — строго говорит судья.

У председателя земельного суда усталое, измученное лицо. Он читает скороговоркой, привычно. С ним за столом молодой и старый — заседатели суда. Старый — опытный судейский «спец», бывший уездный мировой судья. Еще в царские времена объел на судебных делах зубы.

— Гражданин Артюхов, что скажете по вашему делу? — произносит председатель-судья.

С передней скамьи поднимается одетый по-городскому высокий костлявый человек с рыжеватой бородкой.

— Чего я скажу? Хочу получить землю. А общество меня не принимает, говорят, что я бесправный, жил долго в городе. Называют шлющим, по городам, мол, болтался...

У Артюхова бойкий городской говор с новыми словечками. По всему видно, для деревни он чужак и отколыш, отбившаяся от стаи птица. Деревня не хочет пускать его на землю за то, что «сошел с корня», давно откололся от деревенского мира.

Со стороны деревенского общества выступает маленький, лысый, бойкий «бывалый человек». Он подсовывает судьям то одну, то другую бумажку (деревня за эти годы научилась хорошо разбираться в казенных бумажках, от которых зависели судьбы и достояние людей).

— Это у вас что?

— Это вот плантик, взгляните!

Больше всего спорили и судились о разделах: мать судилась с сыном о праве на надельную землю, два брата в пятый раз приходили в суд и никак не могли помириться, вдова солдатка тягалась за землю со свекром. На побеленной стене в судейском коридоре вывешена доска, залепленная извещениями с перечислением земельных тяжёбных «дел»:

#### *С л у ш а ю т с я д е л а :*

- 1. Гражданина дер. Кокушкина Павла Артюхова о наделении землей.*
- 2. Граждан дер. Починок о закреплении лугового участка.*
- 3. Деревни Подопхаи гр. Прохора Павлюченкова с гр. Никифором Павлюченковым о семейно-имущественном и земельном разделе.*

И так далее, и так далее, без конца на многих бумажках-квитках.

Все о том и о том же: делят и делятся, спорят и ссорятся, грозят и доносят — со слезами, со злобой, с надеждою, все о том же. Ибо так было, так пока и осталось: земля человеку — спор, земля человеку — мать, земля человеку — могила.

Тяга из старого общинного мира на хутора, на «особняки», как называли тогда на деревне, распространялась центробежно: от подгородных мест в глубь деревни. По местности нашей ближайšie к уездному городу деревни давно жили «особняками» и земля на хуторах-особняках была уже обогрета. В наших глухих, далеких от городов местах еще держался старинный общинный уклад, но с каждым годом были слышнее голоса выходцев из старинного общинного мира. Спор «особняков» с общиной наибольшую остроту приобретал к весне, ко времени взмета. Зимой спор шел с перебоями: одни наседали, другие отнекивались, и только к весне, к теплым ветрам, вопрос ставился на ребро. И затихавший зимою спор нередко превращался в ссору и жестокую потасовку. Общинному крестьянскому миру приходилось уступать настойчивости «особняков».

Однажды ранней весной, возвращаясь с охоты, я проходил полевой тропинкой из леса к деревне. По обеим сторонам поля, направо и налево, шумели мужики, собравшиеся делить землю. В руках у мужиков белели заостренные новые колышки, которыми отмечали новые межи. На той

и другой стороне широкого поля два мужика несли на плечах длинные жерди. Эти легкие длинные жерди заменяли землемерную цепь.

— Ивану Осипову две сажени и три четверти! — кричал кто-то с конца широкого поля.

— Две сажени и три четверти! — отвечал другой на левой стороне поля, и шест три раза поднимался над головами мужиков, ложился на землю. Бородатый широкий мужик, наклонившись над проведенной по земле чертой, ударами обуха вбивал в еще не оттаявшую весеннюю землю обструганный колышек-метр.

— Гришке Косому!

— Гришке Косому! — отвечали на другой стороне, и обе кучки мужиков, деля землю, неторопливо передвигались краями общинного поля.

— Лисею!..

Мне было видно, что на другой стороне поля произошла заминка. От кучки мужиков отделился человек и побежал через все поле, сорвав с головы шапку.

Это был Шуненков Елисей, уже второй год добивавшийся у деревенского общинного «мира» позволения выйти на «особняк». Всю зиму в Акимовой избе он уговаривал деревню, сулил мужикам обильное угощение, но каждый раз дело останавливалось за малым. Теперь решалась судьба Лисея. Сорвав с головы шапку, он бежал через поле. Мужики спокойно поджидали Лисея, смотря себе под ноги. Переводя дух, вытирая шапкой пот с лица, к ним подбежал Лисей.

— Братцы! — говорил он, задыхаясь. — Ставлю полтора ведра! На той стороне все мужики согласны.

Молчали мужики, глядели в землю. Напрасно глаза Лисея искали сочувствия.

— Ты брось молотъ,— равнодушно сказал ему черный кривой мужик, с шестом в руках трогаясь с места. Шест высоко поднялся над головами мужиков.

— Братцы,— молил Лисей, прижимая шапку к груди,— войдите в положение! Как же мне быть?

Шест одним концом уперся в землю, другой его конец медленно наклонялся.

— Ставлю три! — выдохнул из себя Лисей.— Три ведра, братцы, и мое угощение. Сейчас побегу в деревню.

Ударь с неба гром, провались земля у самых ног Лисея — не отступил, не отстал бы от своего заветного пожелания. Он рукавом вытирал пот с лица, ветер шевелил на открытой его голове светлые льняные волосы. Поколебавшись в воздухе, шест застыл неподвижно.

— Согласны? — лепетал Лисей.— Ей-богу, сейчас и бегу!

— Ну ладно, беги. Не забудь прихватить закуску,— раздался чей-то голос.

И, сорвавшись с места, Лисей опять бежит через поле, теперь прямо к деревне.

— Ишь ты,— услышал я тот же голос,— как с чеши сорвался! Сколько в ём желания.

И опять, шаг за шагом, деля землю, двигались по краям поля мужики, а весенний ветер рвал, относил в сторону их голоса.

— Кузнецу Максиму полторы!

— Полторы! — доносил через поле ветер.

Над полем, над крышами деревенских овинов, над дальней рекой плывет весеннее нежаркое солнце. Жаворонки взлетают с меж, столбом поднимаясь в небо. Ярко горят на том берегу реки озимые. Под ногами мужиков дышит, булькает проснувшаяся, ожившая земля.

Особенностью тогдашнего быта, рожденного переходным временем, являлось обилие на деревне разжених (это новое словечко появилось у нас в начале двадцатых годов). Так называли тех, кто разводился с мужем или женою. Война как бы разбила, расстроила семейный лад и очаг: солдаты-мужья надолго ушли из родного дома, покинутый мужем дом холодел и пустел. На вынужденном безмужье многие бабы «гуляли», в семье заводилась измена. На далекой стороне солдаты-мужья сходились с другими женщинами и законных своих жен нередко забывали. Известно, деревня мало карала мужскую измену, а женская была не страшна, пока в семью не входил прижитой ребенок. Тогда «спрокудившей» женщине не прощали ни муж, ни «мир», ни своя родня, ни досужие говорливые соседки. В прошлые времена развод на деревне был неслыханным делом. А после гражданской войны не найти ни одной деревни, чтобы не оказалось разжених. Самый быт и лад в деревне поколебались, все чаще и чаще происходили семейные разделы, мужья уходили от жен, жены покидали мужей.

«Записаться» и «расписаться» стали словом и делом самым обычным. «Записывались», чтобы жить как законные муж и жена, «записывались» для одного показу, лишь для отвеса глаз, чтобы получить на лишнего едока добавочный клоч земли, освободить от налога и повинности лишнюю лошадь или корову. У многих зажиточных многосемейных мужиков происходили показные, фиктивные разделы: на самом деле семья жила под одной крышей, ели из одного котла, а в казенной бумажке с печатью был записан семейный раздел.

Другая особенность тогдашнего деревенского быта — обилие абортов. Не было такой деревеньки, такого захолустного угла, где бабы и девки не делали абортов. Случаи смертельных исходов были так часты, что их перестали считать.

Во всех деревнях объявились самозванные акушерки — «кушорки», как звали их на деревне, приобретающие нередко широкую известность. К таким знаменитым «кушоркам» приходили женщины с широкой округи (больницу обычно миновали), и в их деревенских «приемных» был длинный черед. За производство абортов деревенские бабки-«кушорки» брали хлебом и самогоном, бабы и девки тащили в подарок холсты и платки.

Даже в глухих деревеньках объявились бойкие люди, видалые лихие удалыцы, всему свету проходцы: вернувшиеся из немецкого плена солдаты, рабочие с остановившихся городских фабрик, шахтеры, красноармейцы. Каждый из них приносил в деревню частичку нового, и хоть каждого из них деревня растворяла в себе очень быстро, но все же от каждого оставался неизгладимый след. Многие из этих «новых» от деревни совсем отхинулись, отбились от старой общины, разбежались на «особняки» — хутора. Стали жить «культурно», «на германский манер», повесили на окнах городские кружевные занавески, прорубили широкие «тальянские» окна (в деревне в те годы на такие «тальянские» окна была мода, как на штаны «галифе» или на прически «с начесом»), приобрели граммофоны. И совсем от нас недалеко жил хуторянин чужак Кирей Кузнецов. Вернувшись из немецкого плена, этот Кирей Кузнецов дошел до того, что приказал ближним именовать его Карлом Шмидтом, курил немецкую длинную трубку, с женой разговаривал по-немецки.

У Михаила Ларионова, умного и дельного мужика, жена Марфута шибко погуливала. В годы войны сам Ларионов служил на Кавказе в санитарях. На деревне Марфуту вспоминают добром: баба была красивая, крепкая, белозубая, мужики липли, как мухи на мед. Марфута

им не отказывала. Сперва скрывалась, а потом пошла гулять в открытую. Свекор, отец Михаила, совестил, бранился, а как стали Марфуте дорогие подарки в дом носить, замолчал. И всего-то в доме стало много: и сахар, и чай, и гостинцы сынишке Аношке. Толковали бабы, что по праздникам Марфута какао и кофей пила. И одеваться стала нарядно, чистенько, простынки полотняные. Много мужиков перебивало у Марфуты, а из всех полюбила Пашку Савинова. Пашка белобрысый, чахоточный, служил волостным писарем.

На деревне солдатку строго не судили, любили за открытый и веселый нрав. Когда Пашка Савинов задумал жениться на богатой невесте, Марфута загоревала. Ходила к Пашкиной невесте, упрашивала не ходить за муж. После женитьбы Пашки стала грозить молодой Пашкиной жене. Шептались бабы, что в болезни Пашкиной жены Аннушки была повинна Марфута. Все бегала по колдунам и колдуньям, испортила Аннушку колдовским наговором. Недаром кричала Марфута на всю деревню, когда молодые ехали в церковь к венцу:

— Ой, попомнишь ты меня, Анна, попомнишь! Не нажить тебе доброго с Пашкой.

Вернувшись с войны, ее муж Михаил Ларионов ни словечка не сказал согрешившей жене, не выпытывал, не бил. Сам свекор потом рассказывал, что по возвращении Михаила разговора у мужа с женой не было. Только очень долго не ложился муж с женой спать.

Марфута опять загуляла, забросила хозяйство. Михаил Ларионов сам хлебы пек.

Недолго прожила Марфута на свете: умерла от сыпного тифа. Муж и жена лежали на одной кровати, оба в жару. Михаил Ларионов не понимал, что помирает жена. Марфута сильно мучилась. Плакала и кричала, порвала на себе рубаху. То сына Аношку за голову держит, глядит не наглядится, то начнет целовать мужнины руки, то вцепится в свои длинные косы, начнет рвать. Бабы рассказывают, что, глядя на ее муки, плакали даже мужики.

Михаил Ларионов выздоровел. О покойной жене никогда не поминал. Через четыре месяца женился. Взял бабу красивую, строгую.

В наших глухих деревенских местах еще со старых времен был свичай такой: землю пахали женщины, а мужик до плуга был недоходчив. Мужичье дело: летний и зимний отхожий промысел, сев, косьба, дрова и сено возить, топить овины, на мельницу с помолом ездить, зимою — в лес, по весне ходили по реке на плотях. На баб ложилась тяжелая хозяйская и домашняя забота: и детей растить, и за скотиной ходить, и сено грести, и холсты ткать, и хлеб печь. Весною, как отойдет земля, ходили бабы за сохой и плугом, летом, когда созреет рожь, — с серпами. Выезжая или выходя первый день в поле на пахоту или зажинки, наряжались бабы, как на языческий праздник: надевали новые паневы и сарафаны. Радовался глаз, когда по черной отдышавшей земле или по спелому ржаному полю рассыпались цветные яркие пятна женской праздничной одежды.

В деревне, отдаленной от больших городов, новое время мало всколыхнуло привычный крестьянский лад-быт. Пришли на язык из города новые, неслыханные прежде словечки, как будто смекалистее и бойчее стал народ, почти не оставалось взрослого человека, чтобы до косточек не простругала война, чтобы не прошел огни, воды и чугунные повороты. Но самый деревенский быт, житье-бытье в основном оставались все те же. Так же на «красную горку» звенели по дорогам бубенцы, гуляли по деревням свадьбы, разъезжали по дворам говорливые хмельные сваты. Так же по весне на зеленях катали бабы и девки по ниве дьячка, чтобы

высока родилась рожь, и по-прежнему самым почетным на деревне человеком слыл колдун Анох, знаменитый по нашим местам костоправ. На троицын день завивали девки в лесу венки, собиралась на селе многолюдная ярмарка, кружилась веселая карусель. По-прежнему на девичниках девки, подружки невесты, украшали цветами и лентами воткнутую в ковригу хлеба сосну, пели за столом старинные свадебные песни.

В соседнем Юхновском уезде крестьян-землекопов кличут курлыками. Еще с давних времен юхновцы-землекопы работают артельно. Их руками насыпаны тысячи верст железнодорожных путей и шоссейных дорог, много вырыто канав и каналов, возведено мельничных высоких плотин. На труде землекопов богатые юхновские подрядчики наживали большие капиталы.

Любо смотреть дружную работу землекопов. В их руках легкие деревянные, окованные железом лопаты. Глину и песок они возят в широких деревянных тачках, перекинув на шею холщовые лямки. В работе землекопов та ладная, веселая спорость, которую видишь в дружном артельном труде.

В нашем Смоленском краю, бедном землею, во многих волостях и уездах крестьяне извечно занимались отхожим артельным промыслом. Дорогобужские и ельнинские мужики, обогащая лесопромышленников купцов, занимались сплавом леса и дров по рекам Угре и Оке. На всю Россию прославились бизюковские плотники, с топорами и пилами исходившие все большаки и дороги.

Вошли в избу чинно, неторопливо перекрестились на икону, засиженную мухами, повесили у двери на гвоздь кожаные сумки с немудреным «струментом». Прохожие деревенские коновалы.

Посидев и договорившись с хозяином, длинным суетливым мужиком, пошли на двор смотреть молодого гнедого жеребчика, стоявшего в загородке. Жеребчик повел темным глазом на незнакомых людей.

Долго готовили «струмент», обтершиеся деревянные «лешотки» с тонкими ремешками, посыпали из пузырька сухой сулемою. Через час вернулись в избу, вымыли над лоханью окровавленные руки. Связанный по ногам жеребенок лежал на соломе, поднимал голову, пытался встать.

Потом, прочитав молитву, широко крестясь, сели за стол, накрытый холщовой праздничной скатертью, пили самогонку, закусывая холодцом. Хозяин потчевал гостей. Они привычно рассказывали новости, пили за благополучие хозяйского дома.

А гнедой некрупный жеребенок, ставший меринком, все бился и мучился в загородке, лежа на сухой, овинком пахнувшей ржаной соломе.

Они повстречались мне на дороге: идут по морозцу, в коротких полушубках, в валенках, в овчинных стареньких шапках. По клещам и другим инструментам, торчавшим из кожаных сумок, признал шорников.

В дом вошли просто, деловито договорились, разложив инструменты, тотчас взялись за работу.

Тот, что постарше, с небольшой путаной бородой и голубыми глазами, неторопливо развернул розоватую сыромятную кожу, пахнувшую спиртуозно, ловко и быстро стал резать сыромятину на длинные ремни, вешая их на стену, на гвоздь. Другой, черноватый, похожий на цыгана, со шрамом на бритом лице, сучил и смолил дратву. Я с удовольствием глядел на их спорую работу, на умелые, неторопливые и грубые руки. Наклонив головы со свисавшими волосами, сидели они у самого окна и, придерживая в губах дратву, накалывали дырья в розовой коже, шили сбрую.

Точно так же в дальние годы заходили в дом шорники, и еще в детстве я любовался на их работу, слушал их рассказы и сказки.

Через два дня шорники уходили. После них надолго оставался особенный, острый и приятный запах.

В голодное время замершую торговлю в деревне поддерживал отважный мешочник-спекулянт, на свой страх и риск ездивший куда-то в далекую «степь» за солью, за сахаром и махоркой. Минувя бесчисленные заставы, привозил в деревню «товар», менял его на «хлебушко»: хлеб в те годы на деревне был единственной твердой валютой. Ходили по деревням отощавшие горожане, меняли на хлеб свое барахлишко.

В двадцатых годах на деревенских и сельских лавчонках опять запестрели жестяные вывески с намалеванной связкой баранок. Открылись кооперативные и частные бараночные. Появились в лавках селедки и сахар. Деревня давно не видала белого хлеба, и, взявшись за баранку, простой человек долго и любовно глядел на нее, как бы не зная, откуда и как приниматься. Долгое время в деревне сидели без керосина, по-старинному жгли в железных светцах березовую лучину, от дыма которой текли у людей слезы, пили голый, без сахара «чай», паря в печах «цыбулки» лесной малины, а за фунт соли на долгий срок можно было закупить человека. С развитием нэпа в деревне стало вдоволь товаров, о соли и керосине пропала забота. В деревенских лавчонках появился всяческий ходовой товар, а вместе с новым товаром прилетели из города на деревню новые неслыханные словечки. Подойдя к прилавку, кума Марья, бывало, долго шупала куски разноцветного ситца, выбирая на платье (в те годы бабы и девки перестали носить старинные русские сарафаны), умильно просила приказчика-кума, видалого человека:

— Кум Арсеня, отмерь-ка мне энергичного ситцу, такого, что в городе теперь носят...

Председатель фурсовского кооператива Алешка, корявый, невзрачный мужичишка, на деле — голова! В пору устройства первых деревенских кооперативов он с увлечением взялся за новое дело. Поначалу мужики как будто дружно пошли навстречу: все поголовно записались в кооперацию, но паевые взносы внесли очень немногие. Паевого капитала для начала дела не хватало. Тогда Алешка продал собственную кобылу, продал корову и плуг и вырученные деньги внес в кооперацию. Много раз пришлось ему ездить в Вязьму хлопотать. В те времена никаких командировочных у нас не давали, на всё шли Алешкины кровные денежки. «Только б на торную дорожку выйтить!» — говаривал, бывало, Алешка. И вот — кооператив на торной дороге, торговля идет бойко, на днях фурсовские мужики пускают кирпичный завод, и все благодаря Алешке. За время хлопотливой работы он сильно изменился: поседел и постарел, свое домашнее хозяйство запустил. На последних перевыборах правления кооператива решил было отказаться от должности председателя, заняться своим хозяйством. Отчетный доклад сделал спокойно, толково ответил на все вопросы. А как дошло до выборов, встал, чтобы отказаться, и видят все: не может слова молвить, трясется, как в лихорадке, только и слышно: «а-ва-ва-ва!» Постоял, помолчал, махнул рукой и заплакал, как малый ребенок. Так и не смог отказаться, опять стал предводителем кооператива.

Когда фурсовский кооператив пускал свой новый кирпичный завод, всех мужиков и баб одно беспокоило: как начинать дело без освящения, без попа. «Семьдесят червонцев на завод истратили, деньги немалые,—

сказал один мужичок.— Вроде как не годится без креста начинать. Отслужить бы, как полагается, молебен с попом — половина забот с плеч долой!»

На деревенской свадьбе у богатого архамоновского мужика сидит его сын, бывший урядник. Помню, когда был урядником, приезжал к отцу на сером жеребчике в беговых дрожках, носил золотые очки и серую офицерскую куртку.

Теперь сидит за столом понуро, болезненно чувствуя свое положение, под хмельком разговаривает с приказчиком деревенского кооператива.

— А гвозди у вас имеются? — спрашивает бывший урядник.

— Гвозди у нас есть.

— А почему у вас гвозди? — спрашивает урядник.

— Гвозди у нас по восьми рублей пуд.

— Дорого! — с удовольствием, обрадовавшись, говорит урядник.— По восьми рублей пуд!

И опять спрашивает:

— А плуги почему?

— По одиннадцати рублей плуг,— отвечает приказчик.

— Дорого! — торжествует урядник.

На собрании членов деревенского кооператива приезжая молодая женщина, природная горожанка, по наивной доверчивости стала горячо защищать приказчика плута Федьку. Из уважения ее поддержали некоторые бабы и мужики.

Кто-то, послушав, сказал из толпы:

— Баран через тын, и овцы за ним!

Зимой в нашей кисловской школе проводилась «неделя помощи беспризорному ребенку». Ставили пьесу из жизни беспризорных ребят, читали рассказы на эту же тему, стихи Демьяна Бедного. Добровольная помощь всего Кисловского района выразилась в сумме гридцати семи копейек. Наряду с этим оказались другие неожиданные результаты. Двух ребятшек, наших приятелей, Ваньку Котова и Федосея, сбили с толку рассказы о беспризорниках. В их ребячьи головы крепко вошла романтическая мечта: «В Москву, в Москву, в беспризорники!» Три месяца ребята готовились к победе: правдой и неправдой копили деньжонки, продукты. У приезжавших из Москвы людей подробно расспрашивали о жизни городских беспризорников, о возможности проезда «зайцем» по железной дороге. В самом начале лета ребята сбежали, украв у матерей по куску сала. Их видели в Мутишине, где они покупали в потребилровке конфеты, баранки и папиросы, видели в Клетках. Добравшись до Дорогобужа, они остановились в Доме крестьянина, пили чай и сбедали, восхищались впервые увиденной городской жизнью. Потом направились на станцию железной дороги, но как ни старались, не могли сесть в поезд. Каждый раз милиция их гоняла с платформы. У ребят вышли все деньги и продукты, волей-неволей пришлось возвращаться к родителям домой. Возвращаться домой, разумеется, было стыдно, и целый день они скрывались в саду в старом вишеннике, стараясь никому не попадаться на глаза. Родители узнали о возвращении детей, привели их домой. Ваньку Котова отец не наказывал, не бил, боясь, что повесится, а мать Федосея, вдова солдатка, сына своего высекла и в наказание на три дня посадила привязанным на веревку.

В школе — собрание. Из ближних деревень сошло много мужиков и баб. Только что избрали председателя — Михаила Ларионовича, дельного и умного мужика. Михаил Ларионович сидит за председательским

столом, на руках у него годовалый мальчишка — сын. Мальчик пускает ротиком пузыри, отец слушает доклад приехавшей из города женорганизаторши. Докладчица, высокая нарядная девица в городском платье, путано говорит о Розе Люксембург, о всемирной революции, о необходимости избавить деревенских баб от самопрялок, о женском равноправии, о расточительном пьянстве мужиков. Фамилия городской докладчицы — Кузменко.

Бабы слушают разиня рты, мужики насмешливо, подмечая каждую оплошность, переговариваются, смеются: «Всего, мол, наплела, а что к чему — не поймешь!»

По окончании доклада со скамьи поднимается высокий худой мужик в армяке, не глядя на докладчицу, зло говорит:

— Если такие товарищи Кузменки будут к нам ездить, языком трепать, мутить наших бабенок, думается мне, приступят бабенки к самой этой докладчице Кузменке, скажут ей: «Не станем прясть, не будем ткать, только научите нас, товарищ Кузменко, как достать нам, не прявши, не ткавши, такой нарядный, как у вас, городской капот?» Что ответит им на это товарищ Кузменко?

Кто-то насмешливо замечает:

— Коли нашим бабам не ткать и не прясть, придется тогда с голыми ж..... бегать. Особливо нам, мужикам, беда!

Из угла голос:

— Ну, бабы! Ваша власть в Москве да на том свете, а у нас, мужиков, пока власть на местах!

На упрек докладчицы, что мужики **много** пропивают, деревенский пьяница Афанасий насмешливо замечает:

— Много ль мы, мужики, пьем? На кисет не хватит, что за год пропьем. Раз равноправие, бабам теперь в обязанность надо вменить: винтовочки в руки да на войну вместе с нами!

— Ребята! — продолжает мужик в армяке. — Будет вам языком прокудить. Чего болтать зря! Что ж это нам впервой? К нам не один раз такие вот барышни приезжали, рисовали картины всякие. Да што я, малый дитенок, што ли? У меня вон борода седая, а она девчонка, даром что высока выросла. Ей ли меня учить? Поют да поют: «Бабу, мол, губите за прялкой!» А приехали бы к нам да объявили, что новые фабрики и заводы пооткрывали. Тогда на кой черт мне ваш лен и ваши прялки, бабы! Поеду на заработки в город, нарядов, ситцев на все семейство из города привезу. А на словах далеко не уедешь, на словах сыт, одет, обут не будешь. Так-то вот, товарищ Кузменко. Нечего зря языком трепать!..

*(Окончание следует)*



---

---

### 3. ВАЛЬШОНОК

★

## МАТЬ-И-МАЧЕХА

Пахнувшие талыми снегами  
По песчаным кручам там и тут  
Бурые побеги под ногами  
В золоченых венчиках встают.

Много лет живет неразделимо  
С материнским именем святым  
Мачехи поруганное имя  
В тех цветах неброской красоты.

«Мачеха!» — как горькое проклятье  
Произносят люди до сих пор.  
Почему, хотелось бы понять мне,  
Так суров житейский приговор?

...Прежде, чем победа зачехлила  
Жерла утомленных батарей,  
Тесные военные могилы  
Приютили многих матерей.

Фронтовик, сложив землянку-хатку  
На краю спаленного села,  
Взял в хозяйки вдовую солдатку,  
Чтоб сынишке матерью была.

А у той — своих девчонок куча,  
Длинноруки, тощи и бледны.  
Только бабьей жалости плакучей  
Хватит всем — родным и не родным.

И когда к воскресным шам в придачу  
Хлеб давала строгая рука,  
В кулаках заждавшихся ребячьих  
Не было неравного куска.

Если за грехи сыновьи школа  
Вновь звала на исповедь отца,  
От солдатской пятерни тяжелой  
Заслоняла мачеха мальчика.

И в заботах сгорбившись до срока,  
Больше всех чужого берегла,  
Чтобы словом «пасынок» жестоко  
Паренька молва не обожгла.

Так судьба навеки породнила  
Общей мерой радостей и бед  
Женщину, которая вскормила,  
С женщиной, родившей нас на свет.

Потому, едва спадут морозы,  
По песчаным кручам там и тут  
Их перемешавшиеся слезы  
Скромной мать-и-мачехой цветут.

Харьков,



ТАДЕУШ БРЕЗА

★

## ЛАБИРИНТ

Роман \*

### XVIII

**Б**ыстрым шагом я прошел дворы и улочки внутри Ватикана, ведущие к воротам святой Анны, и вскочил в троллейбус. Мне хотелось как можно скорее очутиться подальше от этих мест. Близ площади святого Андреа, и значит совсем рядом с дворцом Борромини, у меня была пересадка. Сердце мое сжалось при виде этого отеля, любимого отеля отца, где недавно я пережил минуты надежды, твердой уверенности, что все образуется. Я чувствовал, что произошли новые события, нарушившие наши расчеты. Я не подозревал Кампилли в неискренности и вовсе не думал, что он сказал мне неправду. Да, его семья, наверное, в этом году раньше обычного перебралась в Абрुццы, а он — в Остию. Но почему он не передал мне своего разговора с Корси? Почему не избавил меня от невыносимо неприятной сегодняшней истории? Не объяснил мне ее настоящие причины? Струсил! Вне сомнения, струсил! Горечь, досада, бешенство душили меня, когда я въехал на железнодорожный мост неподалеку от улицы Авеццано. Мост дрожал. Поезда гудели. Со всех сторон меня оглушал шум, крик, звучащая по радио музыка. Таким образом, я сразу отказался от намерения прогуляться пешком, чтобы успокоить нервы. Перспектива одинокого затворничества в комнате тоже меня не привлекала. Поэтому, наткнувшись в холле «Ванды» на Малинского, я с благодарностью принял его предложение прокатиться за город. Быть в движении, не смотреть все время в одну точку, развлечь себя каким-нибудь разговором — вот в чем я нуждался! Малинский вернулся в свою комнату за собакой, а я со злостью швырнул на кровать больше мне не нужные заметки и лупу. Увидев меня, бульдог заворчал, но в машине он успокоился и уселся у меня на коленях. Машина тронулась.

— Куда мы направимся? — спросил Малинский. — К морю?

— Лишь бы не в Остию! — воскликнул я.

— А почему?

— Не знаю!

— Там слишком людно? Вы этого боитесь? Но сегодня ведь будни.

— Остию я видел, — сказал я. — Лучше поедем туда, где я еще не был.

— Очень разумное решение, и, кроме того, вы очень разумно поступили, решившись провести день в праздности.

Я не понял. Он пояснил:

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

— Я вижу, что сегодня вы наплевали на свою библиотеку.

При слове «библиотека» я вздрогнул. Собака начала ворчать. Я со злостью возразил:

— Да нет, я там был. Только ушел раньше обычного.

Малинский снял руку с руля и погладил собаку.

— Вы сегодня очень взволнованы,— отметил он.

— Не спорю,— согласился я.

— У вас неприятности?

На этот вопрос я не ответил. Немного погодя Малинский сказал:

— Мы мало знакомы, но, поверьте, у нас в пансионе все относится к вам с симпатией. А что касается меня, так я, сверх того, с полным удовольствием окажу вам помощь. Вы всегда можете рассчитывать на мое сочувствие, и я умею хранить тайны.

— Искренне благодарю.

— В таком случае жаль, что вы не хотите мне сказать, что произошло. Но если случились неприятности деликатного свойства, то я, естественно, не настаиваю. Деликатного или, скажем, оскорбительного для вас.

— Меня выставили из библиотеки,— брякнул я тогда.— Вот что случилось. Я не чувствую себя оскорбленным. Я только возмущен. Кому это нужно, кто может быть заинтересован в том, чтобы меня, начинающего научного работника, который...

Малинский прервал меня:

— Минуточку. Начнем по порядку. Вам дал рекомендацию для библиотеки адвокат Кампилли. Не правда ли?

— Да.

— Я догадался об этом. Он человек с большими связями в курии. Я не допускаю, чтобы у вас отобрали пропуск, не сообщив ему об этом заранее. Вы должны с ним сейчас же переговорить и выяснить, в чем тут дело.

— Бесцельно,— возразил я.

— А почему?

Тогда я ему объяснил, почему я уверен, что Кампилли ничего не сделает. Его заранее обо всем уведомили, а он при встрече со мной словно воды в рот набрал. Значит, не хочет вмешиваться. Вероятно, кому-то, с чьим мнением он считается, не понравилось, что я хожу в библиотеку. Например, прелату Кулеше или другому высокому лицу из среды польской белой эмиграции.

Услышав это, Малинский пожал плечами.

— Чистая фантазия! — иронически заметил он.— Кампилли имеет больше весу, чем десять Кулеш! Я очень хорошо знаю курию и кто как в ней ценится и не бросаю слов на ветер. Могу вас также заверить, что дело не в вашей особе. Кампилли как Кампилли, его рекомендация — своим чередом, но он вас не рекомендовал бы, если бы ваша биография вызывала у него сомнения, да и в библиотеку вас бы не допустили, не проверив, все ли в порядке. У него не было сомнений, библиотека проверила, и примите как абсолютную истину, что тогда вы были чисты, как стеклышко. До сегодняшнего дня или до вчерашнего — безразлично. За эти дни, за это время, вероятно, случилось нечто новое, и отношение к вам сразу изменилось. Вот почему забили отбой. Вот почему поднялась паника. Но что такое? Что это такое?

— На моей совести нет ничего. Я ни в чем не виноват. Ручаюсь вам. Он поморщился.

— Вы все принимаете на свой счет. А между тем, представьте, что сами по себе вы в порядке, а вокруг вас ведется какая-то темная игра. Я держусь в стороне от курии, так что не знаю, в чем там дело. Но люди, которые стоят к ней ближе, уже что-то вынюхивают. Это ясно!

Мы въехали в маленький городок. Замусоренный, грязный. Одна улица, другая, третья, площадь. Еще один поворот, и вдруг открывается вид на десятки мачт, белые корпуса кораблей, барки — порт.

— Это Фиумичино,— объяснил Малинский.— Рыбацкий порт и захудалый пляж. Мы можем здесь спокойно побеседовать. Знакомых не встретим.

Он остановил машину возле большой беседки с видом на море. Мы вошли в беседку. Малинский заказал какую-то рыбу и подробно описал мне ее достоинства. К рыбе вино, по его мнению — тоже необыкновенное. Он обстоятельно обсуждал с кельнером все заказанные блюда. Я слушал краем уха. Когда же он закончил разговор с кельнером, вернулся к теме, которую уже частично осветил, и снова сказал, что старается держаться подальше от курии, хотя она фактически его кормит,— я стал слушать внимательней. Оказывается, он помогает благотворительным учреждениям и монашеским орденам обменивать товары, получаемые ими в дар из-за границы — всякие ненужные предметы роскоши,— на разные полезные вещи первой необходимости, а иногда продает эти товары, соображаясь с тем, что в данный момент диктует положение на рынке.

— Помимо этого, я никуда не лезу. Тружусь. Зарабатываю. В течение тридцати лет я был офицером, к старости стал коммивояжером. Как говорится: ничего не поделаешь. К счастью, я несколько лет занимался дипломатией. До войны был советником в Риме, пришла война, меня прогнали. Потом, когда перестали травить людей моего типа, я после смерти Сикорского вернулся на заграничную работу. На этот раз консульскую. Побывал в разных местах, пока наконец снова попал в Рим. Благодаря этой службе познакомился с коммерцией. После срока пятого года пустил в ход свои наличные деньги и знакомства и занялся торговым посредничеством, о котором вам уже говорил. Не сую нос, куда не следует. Не гоняюсь за ватиканскими сплетнями. Склоками не пробавливаю. Не подглядываю и не подслушиваю. И все же я знаю среду.

— Курию? — спросил я.

— Курию,— подтвердил он.

А потом:

— Вы согласны поговорить со мной откровенно?

— Разумеется!

— Правда ли, что ваш отец был врагом епископа Гожелинского?

— Нет.

— Вы можете это категорически опровергнуть?

— В последнее время они не питали друг к другу симпатии.

— Значит, все-таки?..

— Мне кажется, что враждебность и отсутствие симпатии — вещи совершенно различные. Уверены ли вы, что здесь именно так оценивают отношение моего отца к епископу? Не скажете ли, кто вам это сообщил?

— Я уверен, что говорили о враждебности. О враждебности или о ненависти, да, да! А что касается того, кто говорил, то, увы, я должен сохранить тайну. Скажу только, что я слышал об этом в одном монастыре. Даже уточню — в польском. Я как-то сказал, что у нас в «Ванде» остановился симпатичный молодой человек, приезжий из Польши. Там это было известно, речь зашла о вашем отце, и мои собеседники выразили сожаление именно по тому поводу, о котором я говорил.

У меня бешено заколотилось сердце.

— Это и есть, разумеется, источник всех интриг,— прошипел я сквозь зубы.— Монастырь и его сплетни. А между тем если кто кого ненавидел, если кто кого преследовал, так это епископ моего отца, а вовсе не наоборот! Можете от моего имени сообщить об этом своим монахам!

— Монахиням! — мягко поправил меня Малинский.— Старым доб-

рым женщинам. Тихим и не имеющим никакого голоса в курии. Если они и насплетничали на вашего отца, так только богу в молитвах, прося его смилостивиться. Источник другой!

Теперь я с напряженным вниманием слушал, что он говорит. К сожалению, он отвлекся. Сперва потому, что кельнер подавал вино, салат, рыбу, и каждое новое блюдо Малинский встречал шутливым афоризмом. Затем куда-то запропастился бульдог. Нашелся. Потом нужно было ответить рыбу, пока она горячая. Наконец я не утерпел:

— Но где же первоисточник? Кто? Почему?

— А если предположить, что причина в епископе Гожелинском?

— Ведь он умер! — воскликнул я.

— Но память о нем жива. Разве нельзя предположить, что в курии решили создать культ его памяти и на вашем пути возникла помеха?

— Создать культ! — испугался я. — О чем вы говорите?

— Разве не понятно? — возразил он. — Вы, как сын консисториального адвоката, должны в таких вещах разбираться лучше, чем я — офицер, консул и коммерсант.

Он заплатил по счету и взял своего бульдога под мышку. Мы сели в машину и поехали в сторону Рима. Его слова душевно парализовали меня. Они меня испугали, хотя им не хватало точности и отчетливой связи. Вопреки его предположениям я вовсе не был специалистом по церковным делам, однако я был достаточно в них сведущ, чтобы отвергнуть его гипотезу. Это правда, что епископа все уважали. Человек он был упрямый и злопамятный, но, несомненно, порядочный. Допустим, что даже больше того, намного больше, но ничего сверх заурядных достоинств и заурядных добродетелей. Разумеется, если применять к его личности не обычную меру, а такую, какой следует судить священнослужителей и прелатов на руководящих постах. Он был выше своего окружения. Согласен. Против этого нельзя было возражать. Поэтому-то многие люди и считали епископа человеком выдающимся. Я тоже, всякий раз как о нем заходила речь, особенно в Риме, называл его выдающимся. Так мне советовал отец. Впрочем, я и сам не возражал. В моем положении было бы некрасиво принижать достоинства епископа. Но это все! Все!

— Епископ умер в прошлую среду, — в конце концов я заставил себя ответить Малинскому. — Шесть дней тому назад. Я слышал, что в Ватикане решения принимают исподволь, после зрелого размышления. Почему же вдруг такая спешка?

— А кто же говорит о решениях! — вскричал Малинский. — Ничего подобного! Пришло сообщение о смерти. В некоторых монастырях и церквах организовали богослужения. Заупокойные обеды, скажем, более торжественные, чем обычно. Только и всего.

— Но почему же как раз в данном случае более торжественные? — напирал я на него, требуя объяснения. — Ведь для Ватикана такая смерть не в новинку. Масштабы церкви так велики, что в Рим чуть ли не каждый день должны приходить скорбные вести. Вероятно, только очень немногие из них вызывают здесь особый отклик, в таком духе, что могут возникнуть разговоры о культе.

— Не знаю, — ответил Малинский. — Я вас уже предупредил, что не разбираюсь в этих вопросах. Вы заметили, что к вам стали относиться настороженно, вас выставили из Ватиканской библиотеки, адвокат Кампилли, хоть он и человек влиятельный, не вступился за вас. Услышав об этом непосредственно из ваших уст, я поставил диагноз: вокруг вас ведется игра! Затем я вспомнил, что мне довелось услышать о вашем отце и покойном епископе и какой шум вызвала в Риме его смерть. Сопоставив одно с другим, я предложил диагноз самого общего характера. На этом моя роль кончается.

Я закрыл глаза и раза два потер влажными руками вспотевшее лицо. Чувствовал я себя скверно. Был измучен, разбит. Могу сказать, что в этот прекрасный день с кристально чистым, прохладным воздухом даже физически я чувствовал себя хуже, чем во все последние знойные дни с таким низким давлением, что сердце едва не лопалось. Я старался пересилить себя и поддерживать беседу, но Малинский сказал уже все, что знал, и теперь повторялся. Он выражал сожаление по поводу того, что мы раньше не беседовали, у него ведь с самого начала было такое намерение, и он мне предлагал свою дружбу с первого же дня. Малинский подчеркнул, что мне это было бы полезно. Внимательней прислушиваясь к тому, что говорят в разных кругах и в разной среде, я, к примеру, сегодня намного больше знал бы о деле и, опираясь на более богатую информацию, пришел бы к более веским выводам.

— Подумаем! Подумаем! — твердил он в ответ на мои дальнейшие расспросы. — Подумаем, что все это может означать. Попробуем разузнать. Но вы своим путем тоже ведите розыски. Может быть, ваши дела вовсе не так плохи, как нам кажется. Не знаете ли вы в Риме, помимо Кампилли, какого-нибудь важного солидного человека, с кем вы могли бы откровенно поговорить? И который захотел бы и смог бы вам помочь?

— Я знаю одного влиятельного иезуита, — заметил я.

— У каждого здесь найдется такой знакомый, — без энтузиазма встретил мое сообщение Малинский. — Где его резиденция? В их главном штабе на Борго Сан Спирито или в канцеляриях Вилла Мальта?

— Нет. На пьядца делла Пилотта. В университете.

— Гм! Ну так бегите туда.

Я попросил его остановить машину поблизости от Грегорианы; расставшись с Малинским, купил в первом попавшемся киоске почтовую бумагу и конверты. Затем в баре написал несколько слов священнику де Восу, таких же точно, с какими уже однажды обращался к нему: просил о встрече и предупреждал, что позвоню на следующий день с самого утра — справлюсь, может ли он меня принять и когда. Потом я отнес письмо. К обеду в «Ванду» я не поехал. У меня не хватило силы. Впрочем, после рыбы в Фиумичино я не был голоден. Я выпил только кофе. А потом направился вниз, в сторону Колизея. Затем по лестнице — к Эсквилину<sup>1</sup>. Здесь, в садах, провел несколько часов, бродя среди руин и памятников древности. Наконец я успокоился и за ужином в «Ванде» уже запросто принимал участие в общем разговоре. Когда же я очутился в комнате один, нахлынула новая волна раздражения и горечи. Однако я еще раз пересилил себя. Ведь Малинский мог ошибаться. Его уравнение в значительной мере строилось на неизвестных. Необязательно все из них идут вразрез с моими интересами. Следовало крепко взять себя в руки и, пока еще полностью не сдаваясь, дожидаться разговора со священником де Восом. Я твердил это про себя, твердил до тех пор, пока наконец под утро, бог знает в котором часу, не заснул.

## ХІХ

Тяжелые, железные двери. В верхней их части массивные, кованые решетки с причудливым орнаментом защищают толстые пласты стекла. Ручка двери похожа на кирпич — большая и неуклюжая. Нажимаю ее и тяну уже в третий раз. Раньше она легче поддавалась. Упираюсь ногами и дергаю. Я знаю, что должен вести себя спокойно, и не могу. Полчаса назад я позвонил священнику де Восу. Тихим голосом, лишенным всяких интонаций, он сообщил, что может меня сейчас принять. Звонил я без

<sup>1</sup> Один из семи холмов, на которых был расположен древний Рим.

всякой уверенности, сомневаясь, согласится ли он, а если согласится, то не станет ли откладывать встречу. Услышав, что он согласен, я поблагодарил его. Во время разговора крепко прижимал трубку к уху.

— Благодарю, от всего сердца благодарю,— повторял я.

Его молчание длилось одну, две, пять, десять секунд. Потом:

— Итак, я жду.

Выбегаю из пансионата. Минуту спустя я уже на площади Вилла Фьорелли. Автобус уходит у меня из-под носа. Мчусь на площадь Рагуза к стоянке такси. Нет ни одной машины. Поворачиваю назад. Наконец что-то едет. Троллейбус. Вскрываю. Возле Главного вокзала спрыгиваю. Ловлю такси. Вбегаю по парадной полукруглой лестнице перед входом в Григориану. Пытаюсь открыть эти двери. Наконец они уступают. Вестибюль. Направо дежурная комната и окошечки, где орудуют два молодых иезуита: один сидит у коммутатора, другой выдает справки. Я вижу его. Он — меня. Мы здороваемся. Я подхожу.

— К отцу де Восу? — спрашивает он.

Я утвердительно киваю головой.

— Он уже ждет вас.

Я направляюсь к лифту.

— Нет. Он ждет вас в приемной. Пожалуйста за мной.

Я сжимаю в руке карманный календарь со списком вопросов, которые нужно задать священнику де Восу. Я собирался еще раз их просмотреть по дороге. Теперь уже поздно. Главное: как можно меньше говорить самому, слушать. Я про себя повторяю это условие, хотя и знаю, что оно совершенно нереальное. Ведь известно, что священник де Вос неразговорчив, а я от волнения становлюсь болтливым. Молодой иезуит отворяет небольшую белую дверь в конце коридора. Значит, меня ведут в какую-то другую приемную, не в ту, первую! Вхожу. Комната другая, но мне сразу бьет в нос прежний, знакомый уже запах пыли и дезинфекции. Священник де Вос сидит посередине комнаты за маленьким столиком, оперев на него руки, сложенные словно для молитвы. Он не встает. Не здоровается. Не поворачивает головы. Указывает мне стул у противоположной стороны столика. Он держится так, словно нам предстоит вернуться к прерванному разговору, с той лишь разницей, что мы перешли в другое помещение.

— Слава господу нашему,— говорю я.

— У вас неприятности.

Это не вопрос, а утверждение.

— Да. Вы уже о них слышали? В Ватиканской библиотеке...

Он остановил меня движением руки.

— Об этом я тоже слышал.

— И о чем еще?

— И о том, что, конечно, внушает вам наибольшее беспокойство.

— Значит, вам известно, что в курии внезапно решили превратить моего отца из пострадавшего в агрессора.

Я снова увидел перед собой задрожавшую, маленькую, худую руку де Воса. Жест его означал, что он возражает против моей формулировки, но не опровергает ее.

— Вот как! — воскликнул я. — Значит, это верно, что общественное мнение восстанавливают против моего отца!

— В вас говорит горечь,— сказал священник де Вос.

— А что же иное должно говорить,— с раздражением ответил я.— Я в курсе дела, хорошо знаю обоих противников — и моего отца и епископа. Я приехал сюда в Рим полный веры. Приехал, воодушевленный надеждой, что тому злоупотреблению властью, какое допустил епископ в отношении моего отца, будет положен конец. Как можно тактичнее, как можно деликатнее — согласен, но все-таки в соответствии с правом и справедли-

востью. А между тем ничего из этого не получилось! И вдобавок еще мои хлопоты обернулись во вред отцу!

— Ваши хлопоты не имели и не имеют ни малейшего влияния на то, как складывается ситуация. Они не принесли плодов. Это не подлежит сомнению, как не может подлежать сомнению и то, что они не принесли плодов потому, что никто теперь в курии не решит ни одного вопроса, к которому причастен священной памяти епископ Гожелинский, не в его пользу. А все по той причине, что образ усопшего, выдающегося князя церкви, растет на глазах. В данных условиях вы должны с этим примириться. Никому не удастся прийти вам на помощь.

— Я хочу понять,— прошептал я.— Если я не в состоянии помочь моему отцу, то по крайней мере хочу объяснить ему, почему так получилось. Но я и этого не смогу сделать. Потому что я не понимаю! Не понимаю!

— Такой простой вещи? — удивленно спросил де Вос после затянувшейся паузы. Видимо, не вполне она была проста, если он так долго размышлял, прежде чем ответил: — Ведь мертвые живут!

— Живут! Живут! — жестко возразил я.— Живут, когда их оживляют! Я хорошо знал епископа Гожелинского. Коль скоро сегодня его «образ растет», как вы говорите, и к тому же так вот сразу, так быстро, то происходит это не в силу его собственной святости, а по воле людей, которые это затеяли.

Священник де Вос нахмурился и повторил:

— В вас говорит горечь. Напомню вам однако: когда мы в первый раз беседовали о покойном, вы иначе о нем отзывались. Разве вы не сказали, что он ведет жизнь святого?

— Признаюсь! — воскликнул я.— И отнюдь не собираюсь оспаривать того, что он был чистый, достойный уважения человек. Среди духовенства таких очень много. И поэтому, по моему глубочайшему убеждению, одних хороших качеств епископа Гожелинского не хватило бы для того, чтобы так отличить его, как это делают теперь в Риме. Значит, ясно, что кому-то это выгодно! Кто-то в этом заинтересован!

— Может быть, церковь,— прошептал де Вос.— Вы произнесли некрасивое слово. Вы сказали: затеяли. Вы повторяете инсинуации: кому-то, кто-то. Такими выражениями вы еще больше себя взвинчиваете. Зачем? Слова ваши неуместны и звучат фальшиво. Произшло событие, которое смешало расчеты — ваши и вашего отца. Вас оно возмущает, вы подозреваете злой умысел и корыстные интересы. Неужели вам ни разу не пришло в голову, что природа этого события может оказаться неземной?

Я раздраженно ответил:

— Не верю и никогда не поверю в святость епископа Гожелинского.

— А если церковь ее признает, вы и тогда будете отрицать? — спросил он.

Я больше не владел собой; забыв о предостережениях отца, о правилах тактики и даже о простой вежливости, я повысил голос:

— Но это же бессмыслица!

— Или, совсем наоборот, полно глубокого смысла, сын мой. Ведь часто мудрость, которую не понимаешь, кажется нам глупостью. Смирение, смирение, сын мой. Вам нужны смирение и воля, самая искренняя, добрая воля, чтобы понять непонятные вам вещи, которые вы должны, даже обязаны понять, если действительно, несмотря на неудачу, хотите морально поддержать отца, правильно осветив истинные причины постигшей его неудачи.

— Да,— сказал я.— Ничего другого мне не осталось.

Мне было бы куда легче, если бы минуту назад, чуть ли не крича от возбуждения, я вскочил бы и убежал прочь от того места, где мне вполне

официально сообщили о поражении и где мне больше нечего было делать, разве что еще час или два переливать из пустого в порожнее. Но я не убежал. Я остался из уважения к священнику де Восу. Меня не интересовало, что он мне скажет. А в моем взволнованном состоянии я определенно не годился для роли человека, оказывающего другому ту моральную поддержку, о которой упомянул де Вос. Да и пререкаться с ним было бы так же нелепо, как пререкаться с почтальоном из-за того, что доставленное им письмо содержит дурные вести. И все-таки я не двинулся с места. Я не смог. Именно из уважения к отцу де Восу. Я хорошо понимал, что ему тоже невесело. Не мог я забыть и того, что вначале, когда это было возможно, он обещал мне помочь. И даже еще сегодня принял меня, не откладывая неприятной для него встречи.

— Я жду. Жду этой моральной поддержки,— сказал я, стиснув зубы.

Священник еще ниже опустил голову. Некоторое время он сидел неподвижно и молчал, прижимая сплетенные руки к столу, разделявшему нас. То ли он размышлял, то ли молился, то ли собирался с духом — не знаю. Пожалуй, верно последнее! Вне сомнения, он тоже охотнее всего ушел бы отсюда, он не привык, чтобы такие люди, как я, незначительные люди, которых не пускают дальше приемной, возражали ему и к тому же криливо, саркастически. Но вот его маленькая, красиво вылепленная голова с остриженными по-немецки седыми волосами шевельнулась. Сперва вправо, потом влево. Он несколько раз повертел ею, глубоко втягивая в себя воздух.

— Нет, нет, нет,— услышал я наконец.— В таком настроении вам не следует внимать моим словам.

Я прикоснулся к его рукам, лежавшим на столе. Я хотел их пожать, но он их отдернул.

— Простите меня, пожалуйста,— сказал я.— Тон мой был неправильный. Вы, однако, понимаете, что со мной происходит. Я знаю, что вы не такой, как все прочие здесь. И еще раз прошу простить меня, поскольку я в обиде не на вас, а только на курию.

Священник де Вос выпрямился.

— Я ее частица. А теперь послушайте меня спокойно. Не прерывайте меня. Вы курите? Если да, пожалуйста, курите. Здесь можно.

Итак, я закурил, крепко прижимая сигарету к губам. Голову я откинул набок, уставившись в одну точку на полу, в один черный квадрат отполированной каменной шахматной доски. Мне казалось, что в такой позе мне легче будет соблести приличия, вяло, без протеста принять все разъяснения, без дальнейших ненужных возгласов выслушать до конца его выводы, хотя бы и самые казуистические. Пусть говорит, пусть выскажется, выболтается! У него есть на это право. Я от всего сердца наделяю его этим правом в обмен за проявленную ко мне доброжелательность. Без возражений все проглочу. И даже гораздо больше: пообещаю передать отцу все, что услышу. Но что касается лично меня, то я откажусь от всякой аргументации, поскольку мне известна ее цель — она должна обосновать неприемлемый для меня исход. Я докурил сигарету. Достал из пачки другую. Все это время священник де Вос говорил. Разумеется, по-итальянски. Но по мере того, как его рассуждения затягивались и усложнялись, в его итальянской речи все заметнее пробивался северный, голландский акцент. Иногда я даже с трудом понимал его. Правда, только изредка, некоторые фразы. Зато мало-помалу мне становилась все более ясной его основная идея. Он старательно, подробно развивал ее минут пятнадцать, а может, и двадцать. Сводилась она, собственно говоря, к тому же, что высказывал прелат Кулеша в воскресенье за чаем у пани Рогульской: церковь уже много-много лет горячо ищет великую святую фигуру, фигуру-символ, символ мученичества и борьбы с той силой, которая в наши

дни воплощает основное заблуждение эпохи и является главным врагом бога на земле.

— Великой тоске по идеальному образу,— говорил он,— нужна ось, вокруг которой она могла бы кристаллизоваться. Она лихорадочно пульсирует кровью и огнем в сердцах верующих, в сердцах миллионов, миллионов людей, любящих религию. Это не выдумка курии и не чей-либо — если пользоваться вашим ужасным выражением — злой умысел. Это мистический зов неисчислимой массы человеческих душ, зов, на который может откликнуться одно лишь небо.

Он замолчал и после паузы спросил:

— Теперь вы все поняли? Если нет, спрашивайте, пожалуйста.

— А если небо еще не откликнулось? — начал я размышлять вслух.— Откуда можно знать, что это уже окончательный выбор?

— Да, это пока еще неизвестно. Вы знаете, что процедура в вопросах канонизации или причисления к лику святых тянется годами. Таким образом, теперь можно говорить только о некоем первом порыве. О первом предчувствии.

— Предчувствие может оказаться ошибочным!

— Может. Но если оно не окажется ошибочным, то, как вы думаете, ваш отец ему подчинится?

— Епископ ненавидел моего отца,— напомнил я де Восу.— Как же отцу уверовать в святость епископа, от которого он видел только ненависть?

— Подумайте о том, что покойный ненавидел не вашего отца, а то зло, которое в нем заключено? Разве вам не кажется, что отец ваш должен поступить так, как поступила бы в данном случае церковь, то есть отнестись с уважением к этой ненависти и склонить перед ней главу?

— Не знаю, как поступит мой отец,— ответил я.— Во всяком случае, если он и проглотит горькую пилюлю, отнесется к ненависти епископа с уважением, как вы говорите, это не окажет никакого влияния на дело, ради которого я приехал.

— Никакого,— подтвердил священник де Вос.— Если образ покойного и дальше будет расти, то все более плотная тень начнет окутывать вашего отца. На годы.

— До конца жизни,— сказал я.

— Да. Я знаю это. Искренне о том скорблю. Я люблю вашего отца, как и всех моих учеников. Я искренне стремился оказать ему помощь. Меня лишили такой возможности. Надо нам, однако, с этим примириться, и мне надо, и вашему отцу.

— Вам-то легко. Для вас это только неприятный инцидент.

— Нет, это тернии! Не первые. Не последние.

Взгляды наши встретились. Ненадолго. На несколько секунд. Единственный раз в ходе всего разговора. Во время предыдущих бесед он если и глядел мне в глаза, то лишь мимолетно и словно по рассеянности. Сегодня он повел себя несколько иначе. Поглядел на меня так же быстро, но, наверное, умышленно. Я прочитал в его взгляде, что у него на самом деле тяжело на душе.

— И, значит, больше ничего, ничего не удастся сделать,— прошептал я.

— Я так полагаю.

— Нет таких дверей, в которые я мог бы постучаться? К монсеньеру Риго мне, пожалуй, не стоит снова обращаться...

— Безусловно.

— Но, может быть, существует еще кто-то, кто...

Он прервал меня:

— Кто. где. через кого?

И развел руками.

— С нашей помощью, то есть через синьора Кампилли и через меня, ничего уже здесь не сделаешь. А кроме нас, у вас ведь нет никого...

— Но я спрашиваю: стоит ли? Вообще стоит ли еще пытаться?

— Скитаться здесь еще месяц, два, пять, год, чтобы вернуться к исходной точке? Вы должны сами ответить себе на вопрос: стоит ли? Курия — это лабиринт. Механизм с сотней, с тысячей неизвестных. Я ведь не один размышлял о вашем деле. Я советовался. Приглашая вас сегодня к себе, я знал, что перед нами возникнет дилемма, важнейшая для вас в данный момент: пробовать ли еще или уже возвращаться? И я продумал мой ответ. На вашем месте я вернулся бы. Но это не совет; таково лишь мое мнение. Если вы, однако, его разделите и покинете Рим, вы покинете его на собственную ответственность. По собственному решению, никем не при-  
нуждаемый.

— Спасибо. Понимаю. Ну, я уже пойду.

Но все-таки еще несколько минут я не двигался с места. Я молчал. Священник молчал. Ждал, пока я успокоюсь. Наконец я встал и крепко пожал худую, сухонькую руку священника. Мне очень искренне хотелось его поблагодарить за всю проявленную ко мне добрую волю. Я не сумел. Поэтому я только низко поклонился.

— Я знаю, что ничего не могу, — прошептал священник. — И не обманываю вас насчет каких-то моих возможностей. Если, однако, у вас будет тяжело на душе, прошу помнить, что есть в Риме старый преданный вам священник. Я говорю это на тот случай, если вы останетесь.

— Не думаю, — ответил я.

## XX

После обеда я рассказал Малинскому о моей беседе со священником де-Восом. Я начал с того, что дальнейшее мое пребывание в Риме считаю теперь бесцельным. И под конец вернулся к первоначальному тезису. Но я еще не принял окончательного решения. При мысли об отъезде из Рима мне становилось тошно. И в особенности при мысли о том, что, например, завтра или послезавтра нужно зайти в какое-нибудь бюро путешествий и прокомпостировать обратный билет до Кракова на определенную дату. Однако надо это сделать. И к тому же сразу, как можно быстрее. Если действительно ничего нельзя добиться, надо отсюда удирать. Сидеть сложа руки в комнате или бродить по городу, утратившему для меня свой вкус и цвет, было бы невыносимо, мучительно. Все это я сказал Малинскому. Он терпеливо выслушал. Не прерывал. Не утешал. Не старался поддержать мой дух, уверяя, будто еще не все потеряно. Я был ему искренне за это признателен. Под конец разговора я добавил еще фразу о том, что сохраню о нем благодарную память.

— Обо мне? — удивился он. — А нельзя ли узнать почему?

— Вы мне раскрыли глаза, — ответил я.

— Неужели? По-моему, это сделал священник де Вос.

— Вы мне посоветовали еще раз к нему пойти. И оказалось, что это единственный разумный поступок, который я мог сделать. Разговор с де Восом положил конец делу. В противном случае я еще много недель слонялся бы по Риму как идиот.

Я встал. Мы пожали друг другу руки. В дверях Малинский задержал меня еще на минутку.

— Вы едете прямо в Краков или с остановками в пути? ·

— Не знаю. Не думал об этом.

— А не прокатиться ли вам со мной на машине в Болонью? Я еду послезавтра.

— Ох, нет! — вздохнул я.

Внезапно все во мне восстало против его проекта. Против того, чтобы уже сегодня принять решение, чтобы уже сегодня назначить срок отъезда. Конечно, нужно было ехать. Но какая-то сила внутри меня еще противилась тому, чтобы сразу, теперь же, назначить день. Малинский затащил меня назад в комнату.

— Кажется,— сказал он,— вы намерены продолжать свои попытки.

— Нет. Даю вам слово, я и не собираюсь.

— Даже даете слово! — засмеялся Малинский.— Искренне говоря, я бы больше не пытался. Но это не значит, что новые попытки совершенно лишены смысла.

— К сожалению, отец де Вос ясно дал мне понять, чтоб я не обольщался никакими иллюзиями.

— Ничего подобного! Он вам сказал — по крайней мере это вытекает из того, что вы мне передали,— что через него и через Кампилли, как и через других видных деятелей университета или юристов, вы ничего не добьетесь. Но одновременно он подтвердил, что существуют разные другие двери и вам вольно решать, хотите вы туда стучаться или не хотите.

Он пододвинул ко мне кресло, то самое, с которого я только что встал, когда мы начали прощаться.

— Я вас отнюдь не уговариваю,— сказал он.— Но если позднее, вернувшись в Польшу, вы будете упрекать себя, что не использовали какие-то шансы, то лучше, пока есть возможность, еще раз попытайте счастья. Тем более что вы ничем не рискуете.

Затем он перешел к подробностям.

— Я вам сказал вчера, что в Риме каждый человек имеет доступ к какому-нибудь влиятельному иезуиту. Я тоже. Даже к двум. К счастью, это фигуры не такого масштаба, как ваш священник де Вос. К счастью, потому, что участок, на котором они действуют, скрыт в тени и не привлекает всеобщего внимания. Ну и, к счастью, мои иезуиты принадлежат к другой формации. Стало быть, их не смутит, что де Вос уже поставил на вас крест. Их это ни к чему не обязывает. Они люди иного типа. Что вы скажете? Вас это интересует?

Я утвердительно кивнул головой, после чего добавил:

— Лишь бы этот тип не оказался слишком...— я не сразу нашел подходящее определение и наконец шепотом произнес: — скользким.

Малинский понял и иронически засмеялся.

— Ни в коем случае. Всякие скользкие типы в курии — не моя специальность. А даже если бы это было иначе, я никогда не позволил бы себе шутить с человеком в вашем положении. Ведь вы безусловно согласитесь, что только в порядке дурацкой шутки я решился бы направить к таким типам человека — простите меня,— столь оторванного от практической жизни, как вы.

Я его обидел! Надо было объясниться.

— Извините,— сказал я.— Но вы так загадочно выразились. Вы говорите: «иной тип», «другая формация», не давая им точного определения. Отсюда мое предположение.

— Ничего. «Иной» означает попросту: конкретный. А другая формация — значит та, что твердо ступает ногами по земле. Безо всякой мистики или тому подобных абстракций. Даже скажу грубее: она корыстна. Если мои священники — не один, так другой — усмотрят в вашем деле хоть какие-нибудь выгоды, то сразу его уладят. Только вы опять-таки не вздумайте их заподозрить в материальной корысти. Например, будто им нужны взятки или уж не знаю, что еще вам может взбрести в голову!

Он все еще был раздражен. Тогда я ему объяснил, почему не надо обращать внимания на мои необдуманные слова.

— Разговор со священником де Восом вывел меня из равновесия. Надеюсь, вам это понятно. Я мог сморозить какую-нибудь глупость. Не правда ли? Забудьте об этом и давайте перейдем к нашим делам.

Он вытянул руку и опустил ее на мое плечо.

— Хорошо. Перехожу. Теперь, пожалуйста, подумайте, а вечером зайдите ко мне. Или даже завтра утром. Во всяком случае так, чтобы я до отъезда в Болонью успел предупредить ваших предполагаемых собеседников, что вы к ним явитесь. Разумеется, в том случае, если вас заинтересуют мои предложения.

Я постучался к нему час спустя. Он был прав. Следовало все испытывать. Пусть и без веры, даже без той скромной, глубоко запрятанной веры, с какой я вошел в первый раз к священнику де Восу и к монсеньеру Риго. Но — следовало. Я должен был покинуть Рим, только исчерпав все возможности, не раньше того. Я так и сказал Малинскому. Он как раз собирался ехать в город. Вернувшись, он сообщил мне, что переговорил по телефону со своим знакомым из генеральной курии Общества иезуитов на Борго Сан Спирито священником Дуччи, и тот, узнав, что я приезжий, согласился принять меня вне очереди.

— Мы должны у него быть ровно в половине девятого, — закончил Малинский.

Однако на следующий день священник Дуччи заставил нас долго ждать. У него был секретарь. Приемная. Просторная, как в большой конторе. В приемной полно посетителей. Толчея. Непрерывное движение. Телефонные звонки. Быстрый темп. Секретарь, тоже священник, то и дело появлялся в дверях. Все присутствующие устремлялись к нему; движением руки или легким наклоном головы он вызывал к своему начальнику очередного просителя, и часто тот сразу же возвращался на прежнее место, так как звонила междугородная и начинались долгие разговоры по телефону. В приемной — мягкие, удобные стулья и кресла, только их слишком мало. Сперва я вставал всякий раз, как кому-нибудь из ожидающих. монаху или священнику, — впрочем, сюда приходили преимущественно такие посетители, — негде было сесть. Но Малинский меня удерживал. Наконец, после очередной моей попытки, он рассердился и прошептал:

— Зачем? Сидите спокойно. В эти часы здесь бывает только очень скромная клиентура.

Как раз тогда-то и подошел к нам секретарь.

— Священник Дуччи просит извинить его за задержку и приглашает к себе.

Мы вошли. Прекрасная, светлая, большая комната; красное дерево. Священник — среднего роста, красивый, молодой. Глаза голубые, острые. Взгляд пронизательный, устремленный прямо на вас, не такой уклончивый, как у де Воса. Голос звучный, приятный, решительный и вместе с тем словно снисходительный.

— Никаких телефонных звонков. Абсолютно. Пока не побеседую с господами.

Но едва он отдал это распоряжение, раздался звонок. Долгий разговор. Потом еще один, потом другой. Так что приказ приказом — вернее всего, только из любезности к нам, — а звонки звонками. Наконец минута спокойствия. Легкий наклон головы в направлении ко мне и поощрительное движение руки. Наклон и жест те же, что и у секретаря, который, видимо, перенял их от своего шефа. Я откашлялся. А заговорил Малинский. Я не очень хорошо изъясняюсь по-итальянски — объяснил он, вот почему слово берет он, а не я. Это был предлог. А самая идея правильная. Потому что я никогда не смог бы решиться так кратко изложить дело, подведя ему итог без длительной аргументации. Поначалу его речь показалась мне слишком лапидарной. Я вмешивался, пытаюсь добавить какую-то подроб-

ность. Но Малинский так же решительно, как недавно в приемной, осадил меня.

— Спокойно,— сказал он.— Я вчера уже говорил об этом священнику.

Когда Малинский замолчал, священник Дуччи снова подарил мне характерный для него и заразительный для его подчиненного жест — наклонил голову и взмахнул рукой. Затем перешел к вопросам.

— Ваш отец, разумеется, превосходно владеет латынью. И устной и письменной.

— Он окончил «Аполлинаре».

— Знаю. Но это было тридцать лет назад. Он не утратил беглости?

— О, нет. Отец свободно говорит по-латыни и даже выступает с речами.

— А по-английски?

— Не так, как по-латыни или по-итальянски. Но этот язык он тоже хорошо знает.

Священник внимательно слушал мои ответы. Вопросы задавал отчетливо. Не торопясь. Но и без пауз. Следующая серия вопросов касалась темы, которой интересовался также и де Вос: физическое состояние отца. Теперь я сказал правду.

— Значит, он не приехал в Рим только потому, что не хотел толкаться в прихожих?

— Не очень это приятно,— прошептал я.— Во всяком случае уверяю вас, что состояние здоровья моего отца вполне хорошее.

— А может быть, известную роль здесь сыграл вопрос о паспорте? Может быть, вам легче было получить паспорт, чем вашему отцу?

— Нет,— возразил я,— ему получить паспорт совершенно так же легко или трудно, как и мне.

— Значит, ваш отец в любой момент может уехать из Польши?

— Не в любой момент, но, разумеется, может.

Зазвонил телефон. Священник Дуччи протянул руку. Не к трубке, а к звонку. В дверях появился секретарь. Священник Дуччи быстро, резко сказал:

— Меня нет. Договорились. Ни для кого! — Потом обратился ко мне.— В таком случае,— сказал он,— я предлагаю следующее решение: наше Общество возьмет дело вашего отца в свои руки. Ваш отец на три года покинет Торунь. Получит кафедру церковного права в указанном нами университете. Наше Общество в последнее время основало несколько высших учебных заведений на территории бывших колониальных стран. Профессоров для этих университетов мы охотнее всего подбираем из представителей народов, не имеющих колонизаторского прошлого. До отъезда вашего отца из Торуни мы, разумеется, полностью уладим конфликт между ним и курией. Он уедет из Торуни, получив полное удовлетворение. А три года спустя даже сможет вернуться в свою канцелярию и к своим консисториальным обязанностям и делам.

Я развел руками. Не обратив внимания на мой жест, священник Дуччи спросил:

— Вы уполномочены принять решение за отца?

— Это вещь невозможная,— воскликнул я.

— Ну, тогда постарайтесь как можно быстрее связаться с ним.

— Невозможно! Невозможно! — повторил я.— Мой отец никогда не согласится на такую сделку!

— А почему?

— У моего отца ничего нет на совести. Зачем же ему обречь себя на изгнание? На новую несправедливость!

Сдавленным голосом я выдавил из себя еще несколько фраз на эту тему. А вернее, одну, только в нескольких вариантах. Я не мог вырваться

из заколдованного круга и упрямо повторял столь ясную для меня мысль: отец должен получить удовлетворение безо всяких уступок с его стороны, потому что санкции епископа Гожелинского по отношению к нему были необоснованны. После недолгого колебания священник Дуччи положил конец моим рассуждениям:

— Хорошо, согласен, совершена несправедливость. Могу также заверить вас, что раньше или позже Рим ее исправит. Рим не обидит вашего отца. Но что с того! Время его обидит. Годы неуверенности и ожидания. Вот почему прошу вас еще подумать.

После этих слов мы ушли; кажется, Малинский дал сигнал к отступлению. А может быть, священника снова вызвала междугородная и звонок, видимо, был важный, если секретарь, невзирая на формальное запрещение, подозвал своего шефа к аппарату. Не помню. На улице я немножко остыл. В разговоре со священником я отверг его план из принципиальных соображений. Я знал, что план Дуччи неприемлем для отца. Даже если бы ему предложили покинуть Торунь на самых почетных условиях, он считал бы себя оскорбленным. Я не сомневался в том, что в курии найдутся длинные языки, и в Торунь сразу обо всем станет известно. Иными словами, все узнают, что запрещение, наложенное покойным епископом, снято, но с известными оговорками. Пока я сидел у священника Дуччи, соображения эти проносились в моей голове сплошным потоком, теперь они зазвучали раздельно и в результате стали еще более четкими и убедительными.

В машине короткий разговор с Малинским. Он не понимает моей позиции. Уговаривает подумать, обсудить, дать телеграмму отцу. Подозревает, будто я что-то скрываю. Например, я отказался от предложения Дуччи потому, что меня тревожит физическое состояние отца и вызывают опасения климат, санитарные условия, болезни, которые легко могут обрушиться на пожилого человека, не подготовленного к жизни в колониях. Спрашивает, сколько лет отцу.

— Шестьдесят,— говорю я.

— О, значит он немножко старше меня!

Потом он интересуется тем, какого отец сложения, крепкого или слабого.

— Примерно, как я,— отвечаю я.

— В таком случае действительно надо подумать о чем-то другом.

Мы расстаемся сразу за Тибром.

— Остановитесь здесь, пожалуйста,— говорю я.

— А что тут такое?— спрашивает он.

Я указываю рукой на вывеску, которую только что заметил. Малинский читает.

— Ах, бюро путешествий!— и наставительно добавляет:— Для этого у вас еще есть время.

Однако мы прощаемся, я благодарю его и остаюсь один.

## XXI

Еще один визит. Уже последний! На этот раз на Вилла Мальта. Огромный дворец стоит в саду, примыкающему к парку Боргезе. Во дворце помещается много учреждений, подведомственных Обществу Иисуса. Разные редакции, комиссии, комитеты. С четверть часа я блуждал по этажам и коридорам, прежде чем разыскал священника Миросу, к которому меня направил Малинский. Наконец нашел его в небольшой, почти пустой комнате. Нависшие брови, крупный нос, очки в тонкой золотой оправе. Возраст определить трудно: с одинаковым успехом ему можно дать и тридцать лет и шестьдесят. Улыбающийся, любезный. Если он

грек, то во всяком случае давно живет в Риме. Безупречная итальянская речь. Без акцента. Быть может, он попросту итальянец греческого происхождения. Я рассказал ему свою историю. Я уже научился ее излагать. По возможности кратко и, что важнее всего, выделяя только существенные обстоятельства. Священник поглядывал в окно, в парк. Время от времени он закрывал глаза, и лицо его приобретало сосредоточенное выражение, а иногда, в такт моим словам, он слегка покачивал головой, как бы подчеркивая этим, что прекрасно все понимает. Когда я кончил, он сказал:

— Не будем строить иллюзий. Дело не из легких. Я слышал от нашего общего друга, Малинского, что вы решили покинуть Рим. Это очень нехорошо! *Les absents ont toujours tort*, что значит отсутствующие всегда не правы.

Я возразил. Мое дело по характеру своему было не из тех, которые следует подталкивать. Просто оно приняло дурной оборот. Что изменится оттого, что я буду торчать в Риме и ждать? Время тут ни при чем. Помочь моему делу может исключительно акт доброй воли, решение восстановить правду. Вот и все, чего я добивался, и как раз теперь в последний раз пытаюсь добиться. А сидеть здесь? Зачем? Что еще я могу здесь сделать?

— Ничего. Быть на месте!— вернулся к предыдущей мысли священник Мирос.— Держать руку на пульсе.

Некоторое время мы оба молчали. Нарушил молчание священник.

— Я корю себя,— сказал он,— за то, что дал согласие на нашу встречу и тем самым ввел вас в заблуждение, пробудил в вашем сердце надежду. Выходит, что не следовало вас приглашать. Обманывать ближних не только жестоко, но и грешно. И все-таки, быть может, грех этот мне простится, потому что мной руководило важное соображение. Вы приезжаете к нам из стран, по существу так мало нам знакомых. Мы плохо в них разбираемся. Теряемся в массе документов, которые прибывают от вас, тонем в потоке материалов, которые вас касаются.

По мере того как он говорил, голос его смягчался, а фразы становились все более внятными и точными. Я понимал, что мысль эта запала ему в душу и тревожит его не первый день. То и дело с уст его срывались политические или научные термины, с которыми я давно освоился, поскольку у нас, в Польше, они вошли в повседневный обиход; здесь, однако, мне было странно их слышать. Мне даже показалось на какое-то мгновение, что священник ими шеголяет. Нет, совсем наоборот! Поразив меня целой гаммой научно-политических терминов, он стал жаловаться, что путается в них, не ухватывает во всем объеме их значение, от этого в равной мере страдает и он сам, добавил отец Мирос, и все его сотрудники.

— Впрочем, это не самое худшее,— продолжал он.— Я имею в виду, что такой беде еще можно помочь. Хуже всего то, что за терминологическими или лексическими изменениями скрываются и другие изменения. Они совершаются в ваших душах и вашем разуме! В вашем обществе. В комиссии, которой я руковожу, мы изучаем все: вашу прессу, литературу, научные публикации, специально для нас подготовленные отчеты, разработки. Но нам не хватает ключа.

Я предположил, что все сказанное до сих пор было вступлением к долгому разговору о положении в нашей стране.

— Пожалуйста,— сказал я,— если мои разъяснения могут вам пригодиться, я к вашим услугам. Однако попрошу вас задавать конкретные вопросы.

— Да нет же!— воскликнул священник.— Меня интересует не случайный обмен мыслями, а принципиальная постановка вопроса. Судьба

нам посылает вас. Человека, выросшего в вашей атмосфере. И вместе с тем человека науки, интеллектуалиста. Скажу больше: судя по характеристике Малинского, вы человек беспристрастный, здравомыслящий. Благодаря этому, благодаря всему этому ваша помощь была бы для нас бесценной. Здесь в Риме. На месте.

— Но ведь я возвращаюсь домой!

— Значит, не надо возвращаться.

И добавил:

— Мы вас устроим.

— Но меня это не устраивает!

— Можно спросить почему? Разве жизнь в Риме для вас недостаточно заманчива?

— В Польше я занимаюсь научной работой.

— Будете заниматься научной работой и здесь.

— То, что вы предлагаете, не научная работа.

— А что же особенное я вам предложил?

Я покраснел.

— То, что вы мне предложили!

Тогда он спокойно спросил:

— А почему вы не хотите это делать?

Я ответил нервно:

— Да разве я знаю! Не хочется, и конец.

Священник снова устремил взор к окну. Вдоволь насмотревшись, он возобновил прерванный разговор.

— Не спорю,— сказал он,— что занятие, которое я вам предлагаю, находится на известном рубеже... Полагаю, однако, что та область, в которой действуем мы, я и моя комиссия, не должна ни у кого вызывать рефлексов самозащиты. В особенности же та роль, которую я для вас отвел. Роль интерпретатора. Попросту сотрудника, разъясняющего нам как материалы, так и факты.

В этом месте я попытался вставить слово. Он помешал мне.

— Еще одно,— продолжал он.— Не думайте, что вы столкнулись с человеком, консервативно настроенным. Мне близки многие ваши идеалы. Признаю также, что в понимании общественных тенденций церковь допустила ошибки. Значит, мы найдем общий язык. Да и цели наши и средства, если вы решитесь в них вникнуть, окажутся близкими вам. Я в этом тоже уверен. Мы не куем в нашей комиссии никаких орудий борьбы. Не стремимся раздувать конфликты. Мы ищем правду. Хотим изучить вашу действительность. Действительность эта является фактом, образует новый компонент мира. Мы это поняли и хотим извлечь отсюда окончательные выводы. Но прежде чем к этому приступить, нам надо выяснить многие детали, осмыслить свершившиеся перемены и в первую очередь те процессы, которые происходят на территории чисто католических стран, таких, как ваша. От должного объективного анализа явлений зависит будущее всего лучшего, что есть в человечестве.

Мирос умолк. Я думал, что он хочет перевести дух. Нет. Теперь он ждал, что я отвечу. Не желая обидеть Миросу, потому что в его рассуждениях звучали искренние ноты, я подхватил взятый им тон и начал ему поддакивать. Щеки священника покрылись легким румянцем. Однако, когда ему стало ясно, что, несмотря ни на что, я не согласен с его планом, он поднял брови и так застыл с выражением удивления и недовольства на лице. Анализ, конечно, нужен, только я дал ему понять; к чему у меня не лежит душа. Ведь те доклады и материалы, о которых он говорил, следовало — как он сам признал — организовать. Их нужно заказывать. Прямо или косвенно воздействовать, чтобы у нас искали людей, которые будут их составлять.

Голова священника Мироса снова пришла в движение. Он отрицательно помотал ею.

— По этой части вам ничего не придется делать,— сказал он.

— Нет, право, не могу,— повторил я.

— Жаль,— заметил священник.— Помимо всего, это было бы свидетельством доброй воли. Вы ожидаете ее от нас, а со своей стороны не стараетесь пойти нам навстречу.

Он сразу заметил, что я смутился, и догадался о причинах моей растерянности.

— Содержание нашей беседы,— сказал он,— я сохраню в тайне. Никому не передам. Вы можете уйти отсюда, ни о чем не тревожьтесь. Если наша беседа ничем не помогла вашему отцу, то она ничем ему не повредила и не повредит.

Он проводил меня до двери. На пороге попросился, дружески пожав мою руку. В коридоре я оглянулся, не твердо зная, куда идти. Священник Мирос стоял в дверях. Он помахал мне рукой. Я поклонился. Очтившись на улице, я повернул налево. Потом пошел вниз до пьядца Барберини, посредине которой красуется фонтан Тритона. Здесь, у фонтана, я отдыхал в конце первого дня моего пребывания в Риме. Я напомнил себе теперь об этом. Ровно три недели назад! Либо, если угодно, столетия! Я вошел в бар — выпить кофе. Теперь я часто испытываю в нем потребность. Иногда мне кажется, что без кофе я не смогу сделать ни шагу. Двенадцать часов. Площадь забита автомобилями. Воздух стал синим от перегара бензина. Да и без того почти нечем дышать. Я пью кофе и думаю. Вчера в бюро путешествий мне заявили, что на спальное место Рим — Варшава я могу рассчитывать не раньше, чем через десять дней, и самое меньшее — через неделю. Обратные билеты я купил еще в Польше. Но не указал определенную дату. Попал я сюда в самый разгар туристского сезона. И следовательно, вынужден ждать. Но как быть: ждать или не ждать? Я мог бы махнуть рукой на спальное место. Выйти в Катовицах. Тогда я провел бы в вагоне только одну ночь. День, ночь и день. Но как раз днем-то и тяжелее всего. Томиться с утра до вечера в раскаленном вагоне. в давке — да для меня ничего хуже не придумать при моем нынешнем состоянии! Что представляет собой такое путешествие, я могу судить по нашей поездке со священником Пиоланти в Ладзаретто, а это под самым Римом, и езды-то, кажется, всего полчаса. Пожалуй, все-таки надо ждать спального места. А если ждать, то обязательно ли в Риме? Не лучше ли где-нибудь на пути, во Флоренции или Венеции? Осматривать эти города у меня нет охоты. В моем настроении меньше всего меня привлекает туризм. Однако я знаю, что дурное настроение пройдет. И едва оно пройдет, я начну упрекать себя, почему не использовал удобной возможности, почему пренебрег удовольствием тогда, когда оно мне не доставляло ни малейшего удовольствия. В таком случае надо уехать через день, через два. Ну, и, останавливаясь по пути в разных городах, добраться до Кракова. Прежде чем пуститься в путь, самое главное — остыть! Физически перестроиться, восстановить силы. Забыть о своем поражении, о стоящей за ним нелепости, отвлечься от любых мыслей об отце. Еще хватит времени на обдумывание того, как ему объяснить, что, собственно говоря, произошло. А пока — точка! Ничего не желаю знать! Спокойствие любой ценой. Так, чтобы покинуть Рим, пока я зол, потому что я хоть злюсь, но сохраняю ясное сознание и отлично вбираю в себя впечатления внешнего мира. Не могу же я ехать в моем теперешнем состоянии, забившись, как собака, под лавку железнодорожного вагона!

В пансионате «Ванда» мне не больно хорошо. Но убираться оттуда не стоит. Было у меня такое намерение, но я его отверг. Можно было бы

вернуться в «Неттуно», где я поселился вначале. Я и от этого отказался. Паковать вещи, потом распаковывать, чтобы снова, день спустя, запихивать все в чемодан, — бессмысленно. С виду пустячное дело, тем не менее требует усилий. Даже на такую малость мне теперь трудно отважиться, невзирая на то, что я замечаю резкую перемену в отношении ко мне обитателей «Ванды», и меня это раздражает. Только Малинский относится ко мне так же, как прежде. Для остальных я нуль. Пани Рогульская при встрече в коридоре или в передней ускоряет шаг. Здороваясь, едва кивнет головой, и уже след ее простыл! Кидается к двери на кухню или к двери в свою комнату, притворяется, будто очень озабочена чем-то или рассеянна. Маневры ее слишком ясны, чтобы я их не заметил, и вместе с тем она держится в таких границах, что причиняет боль, не обижая. Она и не думает грубить, по крайней мере я так считаю. Избегает меня, вот и все. Точно так же, как и ее брат Шумовский. За столом он молчит. Мое присутствие лишает его дара речи. На этот счет у меня нет сомнений. Благодаря своему хорошему воспитанию или из деликатности он не желает слишком обострять ситуацию и не разговаривает ни с кем. О посещении «Аполлинаре» нет и речи. Раньше, когда я бывал занят, он несколько раз предлагал составить мне компанию, теперь у меня сколько угодно свободного времени, однако он молчит.

В какой мере тут сказывается влияние прелата Кулеши, не знаю. Я готов поверить, что не он навредил мне в курии. Но здесь, в пансионате, по всей вероятности, именно он поносил моего отца. Несомненно, наша история широко обсуждается во всей эмигрантской общине. И, следовательно, во всех комнатах постоянных обитателей пансионата «Ванда». Все здесь подчиняется мнениям прелата. Должно быть, он наговорил с три короба, поэтому-то они и так холодны со мной и так сторонятся меня. К счастью, они знают от Малинского, что я уезжаю. Ну и терпят.

Меньше всего изменились наши отношения с пани Козицкой. Они никогда не были хорошими, могли, однако, стать еще хуже. В ее взгляде и так сквозило немало иронии, она могла стать еще более колючей. Ничего этого не произошло. Без крайней необходимости пани Козицкая не заговаривает со мной, из любезности не улыбается, но, увидев меня, не удирает из комнаты. Не вскакивает со стула, притворяясь, будто что-то вспомнила. Малинский тут ни при чем. Так я полагаю. Если бы она считалась с его мнением, то с самого начала вела бы себя иначе. Я думаю, она только из духа противоречия проявляет свое отношение ко мне иначе, чем ее родственники. В сущности, она осуждает меня так же, как и они, считая, будто я приехал в Рим по несправедному делу. Стадный инстинкт толкает ее в ту же сторону, что и всех остальных. И если она повернулась ко мне не спиной, а профилем — велика ли для меня разница!

Впрочем, и в отношениях с Козицкой напоследок произошла заметная перемена. Не по моей вине. Как раз вчера. Расставшись с Малинским после визита к священнику Дуччи, я вошел в первое попавшееся бюро путешественников. Небольшое помещение полно народу; американцы, англичане, испанцы и, что хуже, руководители какой-то большой немецкой туристской группы — в течение получаса они занимают всех служащих множеством своих проектов и дел. Наконец от окошечка, к которому я устремился, меня отделяет только одна женщина. Узнаю Козицкую, к сожалению, слишком поздно, чтобы отступить. Она оборачивается и густо краснеет. Хотя она держит себя в пансионате любезнее, чем ее тетка и дядя, я не знаю, как вести себя в данных обстоятельствах, чтобы выдержать светский тон. По правде говоря, мы друг с другом не разговариваем. Наконец она получила все справки. Я вздыхаю с облегчением.

Сейчас Козицкая уйдет. Нет, она оборачивается. Тогда я смотрю на часы и, желая что-нибудь сказать, сообщаю:

— Боюсь, что опоздаю к обеду.

Она:

— Нет. Мы не опоздаем.

Служащий объясняет мне, что теперь очень трудно достать спальные места на Вену и Варшаву, а я уголком глаз наблюдаю за Козицкой. Она меня ждет. Сперва разглядывает огромные плакаты, призывающие вас посетить разные страны или соблазнительные для туризма местности. Морщит свой высокий лоб, поджимает большой чувственный рот. Она красива. Ее маленький вздернутый носик не гармонирует с ее вечно мрачным, нелюбезным настроением. Вдруг наши глаза встречаются. Я подаю ей знак, что сейчас освобожусь. Она кивает головой, подтверждая, что поняла меня. Но тут же исчезает из помещения бюро. Теперь я ее вижу через огромное окно витрины. Козицкая не сводит глаз с макета трансатлантического парохода, красующегося за стеклом. Получив от служащего нужные сведения, я выхожу. Мы быстрым шагом идем к остановке. Смотрим, не подъезжает ли троллейбус. Да, подъезжает. Вскакиваем. За всё время мы не произнесли ни слова. Но в троллейбусе нас притиснули друг к другу, и нам неудобно дольше хранить молчание. Я спрашиваю:

— Вы уезжаете?

— Ведь вы слышали!

— Я не слышал.

— Стояли позади меня и ничего не слышали? Ну и ну!

Я уверяю ее, что говорю правду. Но мои слова до нее не доходят, потому что троллейбус делает поворот и дуга его с оглушительным скрежетом трется о провода. Я вижу, как шевелятся губы Козицкой. Начала фразы не слышу. А конец звучит так:

— ...и, значит, уезжаю.

— В Польшу? — спрашиваю.

— Нет! В противоположную сторону.

Новая остановка — новая волна пассажиров, нас окончательно разъединяют. Мы снова находим друг друга только возле собора святого креста в Иерусалиме, уже неподалеку от дома. В троллейбусе теперь пусто, и мы занимаем свободные места. Садимся друг против друга. Козицкая нагибается и вдруг дергает мою руку.

— Я знаю, что вы все слышали, — говорит она. — И вам отлично известно, куда я уезжаю. Если вы из деликатности отрицаете, будто слышали, спасибо, и прошу вас продолжать в том же духе.

Из ее слов я сделал вывод, что не следует с ней говорить об отъезде. Я ответил, что, разумеется, не буду, и добавил, что мне тем легче сдерживать обещание, поскольку мы все равно никогда друг с другом не разговариваем. Тогда она уточнила свою мысль:

— Я имею в виду, чтобы вы не говорили другим. Абсолютно никому.

— Обещаю.

— Рука?

— Рука.

Минуту спустя мы уже выходили на площади Вилла Фьорелли. На пути к пансионату мы обменивались, да и то изредка, замечаниями в таком духе: «Жарко», «Мы все-таки успели вовремя», «В обеденные часы ужасно работает транспорт». После этого случая Козицкая тоже изменилась — подражает пани Рогульской и пану Шумовскому. Из самолюбия. Злитесь из-за того, что ей пришлось меня о чем-то просить. Боже мой! Здесь, в «Ванде», меня сторонятся. Меньше ли, больше, мне-то совершенно безразлично.

## XXII

Не знаю, каким образом я вспомнил об этом письме. Отец дал мне его, когда я приехал к нему в Торунь. Я взял у него тогда пакет для синьора Кампилли и мемориал, а на третьем конверте стояла фамилия кардинала Чельсо Травиа — декана трибунала священной Роты. После долгих колебаний отец вручил мне это письмо. Он не сомневался, что кардинал помнит его. Травиа в свое время руководил «Аполлинаре». Приезжая в Рим, отец всегда являлся к нему с визитом. Монсеньер Травиа тогда еще не был кардиналом. Теперь именно его кардинальское звание смущало отца. Смущало до такой степени, что позднее, когда я вернулся из Торунь в Краков, отец мне телеграфировал, что «письмо к Травиа недействительно», а вскоре письменно объяснил причины. В двух словах: кардинал Травиа слишком крупная фигура и в Риме не принято затруднять таких людей частными делами, к тому же, минуя тех, кто занимает более низкие должности, что само по себе рискованно.

В Торунь отец несколько раз повторил, что я обо всем должен советоваться с Кампилли; поэтому в ответном письме я спросил, не стоило ли на месте узнать мнение Кампилли. Отец ответил, что вопрос этот он еще раз продумал и твердо стоит на своем.

Тогда я решил, что отец и монсеньер Травиа, вероятно, недолюбливали друг друга. У отца была чувствительная струнка: ему хотелось всем нравиться. Даже убедившись в чем-то недружелюбии, он неохотно в этом себе признавался. Если моя догадка верна, то письмо не имеет никакой ценности. Если же неверна — я имею в виду, что кардиналам действительно ни при каких обстоятельствах не следует надоедать, — то письмо может принести вред. Таким образом, я совершенно забыл о нем.

Я захватил его в Рим случайно, просто оно лежало вместе с другими материалами. Поселившись в «Ванде», я брал письмо с собой всякий раз, когда уходил в город. Я давно бы уже его уничтожил, оно сохранилось только потому, что я засунул его в конверт с различными черновиками, служебными бланками отца с его подписью и первым экземпляром мемориала, касающегося спора с епископом Гожелинским. Вначале, готовясь к визитам, я заглядывал в мемориал. Потом перестал, потому что знал почти наизусть все десять страниц машинописного текста. Но, конечно, мемориал еще мог пригодиться. По крайней мере до вчерашнего дня!

Письмо к кардиналу было короткое. Оно занимало три четверти страницы и содержало просьбу принять меня и выслушать. Просьбу свою отец выражал усложненно и раболепно. Ни единым словом не упоминал о деле. Глагол «выслушать», дважды повторявшийся в письме, однако, не оставлял сомнений в том, что отец имеет в виду нечто весьма для него существенное. После разговора со священником Миросом я часа два просидел в баре на пьядца Барберини, размышляя обо всем, с чем столкнулся в Риме, но не вспомнил о письме. И всю остальную часть дня тоже. А вечером, уже собираясь лечь, я, как обычно, выложил содержимое моих карманов на столик у окна и тогда лишь обратил внимание на бумаги, которые постоянно ношу при себе — чтобы не вводить в искушение обитателей «Ванды», — и стал внимательно разглядывать письмо к кардиналу, проверил, в каком оно состоянии, не слишком ли истрепалось.

А лежа в кровати, вплоть до рассвета я думал: пойти или не пойти? Запрет отца уже не имел значения, раз отпали все предпосылки, с которыми стоило считаться: будто в Роте обидятся, будто я задену Кампилли, будто так поступать не принято! Ну и что? Хуже того, что случилось, ничего быть не может. Другой вопрос: захочет ли кардинал меня при-

нять? Согласится ли на аудиенцию, коль скоро он с самого начала передал дело моего отца в руки монсеньера Риго? Я знал, что кардинал очень стар, ему далеко за восемьдесят, такими стариками чаще всего управляют домочадцы или подчиненные, а для них мой отец, наверно, совершенно посторонний человек, не пользующийся в курии доброй славой. Эти люди встанут мне поперек дороги. Что касается кардинала, то у меня тоже не могло быть никакой уверенности, что он заинтересуется моей особой. На каком основании? Только потому, что я приехал из Польши? По мнению Малинского, это имело свое значение. Он уверял, что людям из курии редко предоставляется возможность непосредственно столкнуться с кем-либо из нас. Он даже высказал предположение, что священник де Вос или монсеньер Риго не приняли бы меня так быстро, если бы их не побуждало к тому любопытство. Допустим. Но разве из этого следует, что кардинал Травиа тоже проявит любопытство? Не говоря уже о том, что сам по себе такой взгляд на вещи не очень приятен, да и мало что хорошего сулит.

Утром я встал, надел темный костюм, взял такси и попросил отвезти меня к палаццо делла Канцеллерия. Туда, где помещаются Рота и трибунал Сеньятуры. Я знал, что второй этаж дворца занимают кардиналы. По всей вероятности, там живет и кардинал Чельсо Травиа. Держа перед собой письмо, я постучал в маленькое окошечко к швейцару. Он открыл окошечко и протянул руку за письмом.

— Нет, я должен передать письмо лично, — сказал я. — Здесь ли живет его преосвященство кардинал Травиа?

— Да. Письмо надо передать секретарю.

— Я прошу аудиенции. В Риме ли находится теперь кардинал?

— Да. Но уезжает. Послезавтра.

Я помертвел. С утра я боролся с собой, через силу заставил себя сюда идти. Единственный смысл предполагаемой аудиенции был в том, что я смогу вернуться в Польшу с чистой совестью, исчерпав все возможности. Раз кардинал уезжает, то последняя из возможностей отпадает сама собой, избавляя меня от унижений, от угрозы нарваться на отказ. Мне не нужно затрачивать усилий — либо напрасных, либо окончательно запутывающих дело. Значит, я должен почувствовать облегчение. А между тем как раз напротив. Внизу мелькнула сутана. В ворота вошел высокий, широкоплечий священник. Я прижался к окошечку швейцарской, с перепугу решив, что сюда идет монсеньер Риго. Но это был не он. Тем временем швейцар поднес к уху трубку телефона, докладывая обо мне. Я услышал:

— Пришел иностранец с письмом к его преосвященству.

А мгновение спустя он обратился ко мне:

— Вас просят наверх.

Мы поднялись в лифте на второй этаж. Лифт был маленький, темный, находился в углу того самого монументального по размерам двора, который привел меня в такой восторг после удачного разговора с монсеньером Риго. Наверху у дверки лифта меня ожидал человек, одетый во все черное, в коротких штанах и чулках. Я представился и, здороваясь, протянул ему руку. Он смутился и едва к ней прикоснулся. Тогда я сообразил, что это служитель.

— У меня письмо к его преосвященству, — сказал я.

— Знаю, пожалуйста. Сейчас вас примет секретарь его преосвященства.

Он указал мне на кресло. Большое, музейное. Письмо, не выпуская из рук, я держал на коленях. В просторном зале, где я очутился, было холодно, но меня прошиб пот. В моих вспотевших руках конверт, и без того уже не первой свежести, еще больше измялся. Я опустил руки на по-

ручки кресла, изо всех сил сжимая пальцами эбеновые львиные головы. Служитель неподвижно стоял поодаль. Я тоже сидел, не шевелясь, в своем кресле и смотрел вперед, в гигантское окно, до половины заслоненное тяжелыми малиновыми портьерами. Здесь царил тишина, как и в соседнем зале.— дверь туда была приоткрыта. Несколькими минутами спустя до нас донесся нежный звон колокольчика. Я понял, что меня вызывают, и посмотрел на служителя. Он кивнул головой.

Зал, куда я вошел, был больше, чем первый. Его заполняла рассчитанная на такие масштабы мебель. Я огляделся. У одного из окон стоял письменный стол. За ним сидел священник с красивым, молодым лицом и ничего не выражавшими глазами и не сводил с меня взгляда все время, пока я проходил через гигантские покои, стараясь держаться по возможности ровно и естественно. Наконец я у цели. Я назвал фамилию и должность отца, сообщил, что привез от него письмо, и пояснил, что в связи с содержанием письма я со всем смирением решаюсь просить его преосвященство об аудиенции.

— Будьте любезны вручить мне это письмо,— сказал священник.

Я протянул ему конверт. Он оглядел его с обеих сторон.

— Письмо открыто,— заметил он.— Не хотите ли его запечатать?

— Нет, нет,— возразил я.— В письме содержится только просьба об аудиенции.

— Вы, кажется, прибыли в Италию из-за границы. Откуда именно?

— Из Польши.

Священник записывал мои ответы. Перед ним лежал блокнот. Писал он шариковой ручкой, которую держал за самый кончик, как кисточку, едва прикасаясь к бумаге. Он спрашивал, слушал и аккуратно вносил в блокнот все нужные данные. Вопросы он ставил так, что на них приходилось отвечать кратко и по существу, не иначе. Когда я сообщал о себе сведения общего порядка и стал по буквам произносить свою фамилию, как всегда поступаю, сталкиваясь с итальянцами, он прервал меня, сказав, что знает, как она пишется. Я перешел к изложению сути дела, и он отложил перо в сторону. Тогда я понял, что ему все обо мне известно. Я отвечал стоя. Священник не попросил меня сесть, хотя два кресла для посетителей были придвинуты вплотную к столу. Последний вопрос звучал так:

— Когда вы намереваетесь покинуть Рим?

— Меня задерживает в Риме только надежда на аудиенцию.

Я пояснил, почему пришел сюда так поздно, и рассказал, как трудно мне было решиться просить аудиенции, но я превозмог себя, убедившись в бесплодности ранее предпринятых мер. Тем не менее я по-прежнему понимаю, сколь дерзкой является моя просьба, и знаю, как дорого время кардинала. Священник так же спокойно выслушал мои объяснения, как и мои ответы. Он не сказал ничего сверх того, что было необходимо, и ничего, ни единого словечка от своего имени. Только в этом месте нашего деловито-сухого диалога он перебил меня таким замечанием:

— У его преосвященства найдется время для всего, что он сочтет нужным. Вопрос не во времени.

Молодой священник смотрел на меня стеклянным, пустым взглядом, в его глазах не было ничего живого, ни искорки сочувствия. У меня не могло быть сомнений в том, что он выскажется не в мою пользу. Я чувствовал, что мне откажут. Сам не знаю, то ли потому, что я хотел, чтобы мне подсластили пилюлю, то ли совершенно машинально, я напомнил себе и ему:

— Его преосвященство послезавтра уезжает!

Тогда я увидел, что плечи священника слегка вздрогнули. Он едва-едва, почти незаметно, повел ими и протянул руку к небольшому изящ-

ному колокольчику. Взял его ручку за самый кончик так, как брал перо, собираясь писать, и — позвонил. В дверях показался служитель.

— Проводите, пожалуйста, синьора к лифту. Синьор явится к нам за ответом в пять часов.— Только после этого он обратился ко мне: — В пять.

Он кивнул головой. Я ответил тем же. За дверь, уже направляясь к лифту, я на мгновение еще раз его увидел. Он не тронулся с места. Сложил руки, осторожно шевеля пальцами, и ничего не выражающими глазами поглядывал в мою сторону. Вряд ли он меня видел. Казалось, он о чем-то задумался. Вернувшись сюда в пять, я его не застал. За тем же письменным столом сидел другой священник — плотный, подстриженный ежиком. Услышав мой вопрос, он тут же потянулся к изящному колокольчику, ручка которого изображала нераспустившуюся лилию. Оказалось, что колокольчик служил также прессом. Под ним лежало несколько листков из того блокнота, куда молодой священник сегодня утром заносил данные обо мне и о моем деле. Священник, сидевший теперь за столом, порылся в бумажках, достал один листик и показал мне. Увидев свою фамилию, я сказал:

— Да, это я.

Тогда священник сообщил, что кардинал Травиа примет меня.

— В каком часу? — спросил я.

Священник внимательно просмотрел все листки, которые извлек из-под колокольчика. Потом уложил их веером, как игральные карты. Он долго раскладывал их, меняя порядок. Мой листик к ним не присоединил.

— Очевидно, уже не сегодня,— сказал он наконец.— Но на всякий случай загляните к нам, пожалуйста, около семи. А если сегодня ничего не выйдет, пожалуйста, справьтесь завтра в десять.

Тогда я спросил, нельзя ли позвонить к нему по телефону. Поступил я так из опасения, что в конце концов встречу монсеньера Риго, если слишком часто буду здесь вертеться.

— У нас не принято, чтобы просители по телефону добивались аудиенции,— наставительно заметил священник.— Зайдите, пожалуйста, сами.

Я был уже в дверях, когда он окликнул меня. Таким образом, я второй раз прошагал через гигантский зал и снова встал перед письменным столом. Священник только теперь внимательно поглядел на меня, потому что раньше был поглощен исключительно листками.

— Пожалуйста, тщательно подготовьтесь к аудиенции,— сказал он.— Постарайтесь говорить сжато, ясно и не волнуйся.

— Понимаю,— ответил я.— Буду держать себя как надо.

Однако на следующий день, уже далеко после полудня, когда меня наконец вызвали к кардиналу Травиа, сердце у меня бурно заколотилось. В пансионате я записал все, что надо сказать, и выучил наизусть. Мой взгляд на аудиенцию не изменился. Я не обольщался, ничего от нее не ждал. И все-таки мне хотелось, чтобы и это осталось позади. Сердце у меня стучало. Ожидание аудиенции, тянувшееся уже сорок часов, было для меня немалым испытанием. Когда я исправлял стиль и уточнял текст подготовленной мною речи, по телу моему пробегали мурашки. Меня била дрожь, когда я приближался к дворцу Канцеллерия, и холодело сердце всякий раз, как я переступал порог апартаментов кардинала Травиа. Более всего я опасался встречи с монсеньером Риго, но так и не наткнулся на него. Ни в воротах, ни здесь. В обоих залах почти всегда было пусто. Один только раз я увидел в том, первом зале, где находился служитель, двух посетителей, как и я одетых в темные костюмы. Они неподвижно сидели друг подле друга на диванчике и молчали. Впро-

чем, я едва разглядел их с большого расстояния, с другого конца огромного зала. Да и длилось это одно мгновение, пока служитель выпроваживал меня, так как час аудиенции еще не был назначен. А так, кроме священников, которые меня принимали, никого. И всегда та же самая мертвая, застывшая тишина.

Молодой священник, с которым я говорил в первый день, проводил меня в покои кардинала и тут же удалился. Здесь было довольно темно. Обыкновенная конторская лампа с зеленым абажуром освещала больничный столик, такой, на котором подкатывают к кроватям еду. Незнакомый мне священник как раз теперь его отодвинул. Сам кардинал сидел в большом удобном кресле, обитом цветным кретоном. Человек очень преклонного возраста, он был худ старческой, птичьей худобой. На голове — остатки желтоватых вьющихся волос. Отодвинув столик, незнакомый мне священник встал возле кардинала. А по другую сторону встал второй, которого я видел раньше, — плотный, стриженный ежиком. Я подошел и склонился к руке кардинала, лежавшей на поручне кресла, он не пошевелил ею, и только после того, как, коснувшись губами большого перстня, я выпрямился, кардинал поднял руку и сухим искривленным пальцем указал на табурет, стоявший позади меня. Табурет придвинули поближе к кардиналу. Я сел.

Священник, стоявший слева от кардинала, типичный итальянец с юга, черноволосый и смуглый, дотронулся до моего плеча и произнес несколько слов, но так тихо, что я ни одного не расслышал. Однако я угадал смысл сказанного: надо начинать.

Ну, я и начал. Первые фразы прозвучали нескладно. Но только первые, потому что я взял себя в руки. В дальнейшем я говорил гладко, спокойно. И все-таки черноволосый священник раза два прерывал меня. Он отрывался от кресла и, нагнувшись, шептал: «Немножко громче». К счастью, его замечания не сбивали меня. Я читал свою речь, как урок, чувствуя на себе взгляд всех троих. А я смотрел в глаза кардинала, усталые и сонные. Он слушал меня. Голова у него была слегка скошена, и рот чуть приоткрыт. Священники, стоявшие возле его кресла, тоже внимательно вслушивались в мои слова. Вдруг старший из них, тот плотный, с подстриженными ежиком волосами, сложил руки на груди и выпрямился, вскинул голову и устремил взгляд в потолок. Длилось это всего несколько секунд. Потом он принял прежнюю позу и снова смотрел на меня. В заключение я сказал:

— Вот и все дело, которое я позволил себе предложить милостивейшему вниманию его преосвященства.

После этой ничего не значащей фразы я встал и низко опустил голову. Когда же я ее поднял, то увидел, что кардинал шевелит губами. Сперва они у него шевелились совсем беззвучно. Потом я услышал голос — высокий, чистый, детский. И слова. Обращенные не ко мне, а к смуглому темноволосому священнику:

— Он учится в Риме?

— Нет, ваше преосвященство, он приехал только по своему делу.

— Но в Риме изучает церковное право.

— Его отец учился у нас. В «Аполлинаре».

Затуманенный взгляд старых коричневых глаз кардинала устремился ко мне и на мгновение задержался на моем лице.

— Ага, вспоминаю. Он даже похож.

Он снова повернулся к священнику, которому задавал вопросы:

— А отец где? Жив?

— Жив, ваше преосвященство, прислал к нам сына по своему делу.

— Откуда?

— Из Польши. — сказал я. — Я приехал из Торуня.

Священник, стоявший справа от кардинала, жестом попросил меня помолчать. А мои предыдущие слова уточнил следующим образом:

— Из торуньской епархии, подчиненной познанскому архиепископату.

— Да, да,— прошептал кардинал,— вспоминаю.

Он умолк. После данного мне указания я тоже молчал. Священники ждали. Прошло секунд пятнадцать бездействия и тишины, и кардинал тем же жестом, что и раньше, пригласил меня сесть.

— И скажи мне еще, дитя, как там у вас?

— Стало лучше,— ответил я.

— А почему? — спросил кардинал.

Я снова почувствовал на себе его взгляд. Впрочем, кардинал почти неотрывно смотрел в мою сторону. Но не всегда меня видел. Только время от времени глаза его приобретали сосредоточенное выражение. Тогда мне казалось, будто он снимает очки с мутными, дымчатыми стеклами и пытается проникнуть взором в самое мое нутро. Я тоже постарался сосредоточиться, чтобы ответить на его вопросы точно и понятно. Едва я заговорил, оба священника пододвинулись ко мне. Теперь они стояли у меня с обеих сторон. Кардинал не шевелился. Несколько раз он прерывал меня. Один раз он сказал:

— Прекрасная страна. Хорошая страна. И столько, столько ей выпало страданий!

А в другой раз он пытался вспомнить, когда же это он был в Польше, но не смог, пока ему не пришел на помощь один из священников — видимо, большой знаток его биографии. Кроме того, кардинал повторял с некоторыми интервалами: «Понимаю, понимаю». Но лишь изредка. Я говорил с трудом. Как я ни стремился излагать свои мысли ясно и логично, это не всегда мне удавалось. Я догадывался, что плохо объясняю некоторые вещи, пользуясь терминами, непонятными на Западе, либо же затрагиваю темы, касаться которых необязательно. Тогда мне на помощь приходили священники. Едва слышным голосом они советовали мне выразить яснее ту или иную мысль или тихо подсказывали недостающие слова. Священники ловко вмешивались в дело и в тех случаях, когда я отклонялся от темы,— они слегка сжимали мне плечи. Не знаю как бы выкарабкался без их помощи, особенно важной в те моменты, когда взгляд кардинала терял остроту и затуманивался. Меня это смущало. И добавлю, что некоторое требование для того, чтобы смутить меня. После вступительного диалога кардинала со священником относительно моей особы я поддался чувству полнейшей безнадежности. Чего я мог ожидать от этого старого человека, в голове которого все спуталось? Сосредоточенный взгляд кардинала на минуту-другую придавал какой-то смысл нашему разговору. Но только на минуту-другую. Когда я кончил, кардинал слегка выпрямился в кресле и опустил глаза. Священники вернулись на свои прежние места. А он сидел в одной позе, ничего не говоря, не шевелясь. Наконец снова раздался его голос — детский, звонкий. Вопрос, обращенный к смуглому священнику:

— Он возвращается на родину?

— Возвращается. Приехал к нам лишь ненадолго.

— Хорошо. Хорошо. Но с чем он вернется от нас в свою далекую, далекую страну, которая так много, так много пережила?

Кардинал оторвал взгляд от пола. Во второй раз глаза наши встретились: мои — полные ожидания, его — внимательно сосредоточенные.

— Неужели он вернется ни с чем? Неужели он вернется с пустыми руками в страну, где бушуют идеи и страсти, которые мы не способны даже понять? Пламя этих страстей по нашей вине захватило молодежь,

ибо мы оттолкнули ее. Пламя разгорается, восстанавливая молодых против нас, стариков, и, признаюсь, с горечью бия себя в грудь, восстанавливает вполне справедливо. Но, целясь в нас, они одновременно целятся в самые святые идеалы. В сладостный мир на земле и взаимную любовь между людьми, в благуую весть, возвещенную нам две тысячи лет назад, которую мы, старики, в последние годы не отстаивали, ибо мы отстаивали ее эгоистически, трусливо.

В первый момент, в особенности когда кардинал выразил тревогу по поводу того, как бы я не вернулся домой с пустыми руками, я слегка привстал с табурета. Какое-то мгновение я думал, что сейчас он скажет нечто такое, после чего я кинусь его благодарить. Но, услышав следующие фразы, я понял, что старый кардинал далек от мысли о моем отце и моем деле. Я понял, что старец этот привык все видеть в широкой перспективе и мне не удалось привлечь его внимание к частному случаю, который так для меня важен. Я чувствовал, что один мой вид вызывает у него скорбную рефлексию и то, что он говорит, имеет для него перво-степенное значение. Я слушал его слова в замешательстве, с уважением, но и с обидой. А он еще долго говорил, развивая мысли, мучившие его, наверное, не первый день, рассуждая о великом эгоизме, который владеет уже многими поколениями христианского общества и который сперва заставил миллионы людей отречься от самых святых идеалов, а потом довел христианский мир до катастрофы.

— Это происходит не впервые, — сказал он в заключение. — Великие раны, нанесенные христианству в ужасные времена реформации, не зарубцевались по сей день. Будем молиться и доверимся высочайшему милосердию в надежде, что хоть частично зарубцуются те раны, которые нанесены церкви, ибо мы не стояли на высоте задачи. Мы — старые пастыри. Несмотря на это, вы, молодые, которым принадлежит будущее, должны объединиться вокруг нас. Церковь требует от вас сегодня того же, что требовала в ужасные времена смуты, о которой я упоминал. Не потому, что мы считаем, будто наше поведение должно служить для вас примером. А потому, что таково строение христианского мира, во главе которого основатель церкви поставил нас, пастырей. Сознвая вашу горечь и разочарование, церковь, так же как и в те далекие времена, укажет вам на образец святой жизни, который захватит вас. Захватит своей молодостью! Обстоятельствами своего мученичества! Тем фактом, что он жил почти на вашей памяти, а не века назад. Вот прекрасная весть, с которой ты сможешь вернуться на родину, сын мой. Возвращайся же с миром!

Нелепо было думать, будто что-то еще может измениться в моем деле. Последние высказанные им слова означали, что он прощается со мной. Следовало встать. Однако прошло еще несколько долгих секунд, прежде чем я решился на это. Я поднялся, услышав вопрос, который кардинал тихим голосом задал старшему из священников. Тот же самый вопрос, на который уже один раз получил ответ.

— Он возвращается на родину, не правда ли?

Я прикоснулся губами к перстню. Кардинал не пошевелил рукой. Младший из священников поставил табурет на прежнее место. Не оглядываясь, быстрым шагом я прошел через зал. В следующем зале, том самом, где я вчера подал письмо, сидел священник, который у меня его взял и подготовил для кардинала заметки. Увидев меня, он потянулся к колокольчику. Тихо, молча мы обменялись поклонами. Еще одна дверь, а потом дверь лифта. Я спустился вниз злой, но не разочарованный, ведь я не связывал с аудиенцией никаких особых надежд. Во время беседы с кардиналом я еще верил. Я чувствовал, что если он захочет, то сможет все изменить. Но я не смог его заставить. Не сумел как следует за-

деть его внимание. Взгляд кардинала скользнул поверх моей головы и сразу унесся ввысь. Я виноват, но виноваты и эти пороги, слишком высокие пороги, которые я неведомо для чего переступил. На низших ступенях ничего не могут. На высоких — не видят. Я с горечью пережевывал эту мысль, я был раздражен, но вместе с тем испытывал облегчение от того, что наконец и последняя попытка осталась позади. Взглянув на часы, я удивился. Половина седьмого! Значит, все вместе — ожидание, разговор, возвращение — не продолжалось даже получаса. Я проголодался, и мне хотелось как можно скорее очутиться в своей комнате. Я купил несколько иллюстрированных еженедельников, которые вполне уместны в момент душевного расстройств, так как помогают отвлечься, и сел в такси, чтобы поспеть к ужину. В «Ванде» нововведение! Камерьера сообщает, что в пансионате полно и ужин подают в две очереди. Я должен ужинать во вторую очередь. Она мне это говорит в тот момент, когда я уже стою в дверях столовой и вижу, что все домочадцы сидят за столом. Ничего не поделаешь, отступаю. А после ужина, который я провожу в незнакомом обществе, я не сразу сажусь за журналы. Укладываю вещи. По этому случаю натыкаюсь на злосчастную лупу, взятую у Кампилли. Пишу письмо, прошу извинить меня и добавляю несколько банальных фраз на прощание. Пишу и другое письмо, более сердечное, — Малинскому, который уехал в Болонью. Я заклеиваю конверты, и в этот момент мне вдруг становится скверно. Пот, боль в груди, головокружение, перед глазами черные точки. Не знаю, что это такое, должно быть, сердце, никогда в жизни со мной ничего похожего не бывало. К счастью, через четверть часа все проходит. Тогда я тянусь за журналами.

### XXIII

Я в Ладзаретто! Возможно, это разумный выход, хотя и неожиданный. После бессонной ночи я раненько вскочил, чтобы доставить Кампилли пакетик с лупой еще до того, как начнется дневная жара. Однако, когда я сел в такси, мне внезапно пришло в голову, что стоило бы разыскать Пиоланти и попросить его отнести письмо и лупу на виллу Кампилли. Легко понять, как мне не хотелось самому идти туда. Но другого выхода не было, что оставалось делать? Теперь выход нашелся. По крайней мере возник план, избавляющий меня от неприятной необходимости явиться в дом, где мне, деликатно говоря, отказали в гостеприимстве. Я взглянул на часы — восемь. Если Пиоланти по-прежнему посещает Ватиканскую библиотеку, то в это время уже должен спешить к поезду, шагая через весь городок от своего лепрозория до станции. Я попросил шофера такси отвезти меня на Стациона Термини. Там я вышел и разыскал перрон, к которому прибывают пригородные поезда с севера. Потом уселся в тени на каменной скамье, прислонившись к колонне из железобетона. От холодной скамьи и холодной колонны на меня повеяло приятной свежестью. Я, конечно, не был болен. Просто немножко расклеился. Нервы в постоянном напряжении, к тому же жара, духота. Отсюда вчерашнее полуобморочное состояние, да и теперешняя стесненность в области сердца. Спать мне не хотелось, однако я отчаянно зевал. Непрерывно, целых двадцать минут, пока пришел поезд, которого я ждал. Весьма удачно. Так и есть! Мне повезло. Один из первых пассажиров, высаживающихся из битком набитого, серого от пыли вагона, следующего сразу за паровозом и остановившегося совсем рядом с моим наблюдательным постом, — священник Пиоланти.

— Целая вечность! — удивленно восклицает он. — Каким чудом вы здесь?

Объясняю, откуда я взялся. Затем — почему не показываюсь в библиотеке. Внезапно он перебивает меня и с тревогой в голосе, искренне взволнованный, говорит, что вид у меня такой, будто я сбежал из больницы. Наконец кончается крытый перрон. Из тени мы выходим на яркий свет. Я пожимаю плечами.

— Я вижу, что вам не нравится моя физиономия, — смеюсь я.

Он:

— Вы страшно похудели! Что случилось?

С этого и началось. Мы сели в баре на вокзале. Полчаса спустя священник уже более или менее вошел в курс событий. Ни на кого и ни на что не жалуясь, я кратко описал свои мытарства. Он не высказал своего суждения, но, видимо, так же хорошо, как и я, понял, что все кончено, потому что спросил, когда я уезжаю. Тут я признался ему, что чувствую себя не очень хорошо и вернусь в Польшу не прямо, а с остановками в пути. После чего я попросил его оказать мне услугу: отнести письмом и пакет Кампилли. Он согласился. И тогда — вертя в пальцах письмо — Пиоланти ни с того, ни с сего робко стал меня уговаривать поехать в Ладзаретто.

— Вы отдохнете, придете в себя, — повторял он.

В конце концов я сказал:

— Может быть, это идея!

Он понял, что я согласен, и тотчас встал. Обрадовался. Веки его глубоко посаженных глаз задрожали.

— Я пойду и сейчас же вернусь, — сказал он. — Встретимся здесь через час. У нас поезд в десять.

— Ах, что вы! — возразил я. — А библиотека?

Ведь он приехал не за тем, чтобы увезти меня, он приехал ради своих занятий. Когда я ему об этом напомнил, он на мгновение растерялся, но не пожелал отступить от своего плана. Я думаю, что он чувствовал себя одиноким в Ладзаретто в обществе других священников. Кстати, Пиоланти был уверен, что они не станут возражать против моего пребывания в бывшем лепрозории. Мы и об этом поговорили. И еще о том, согласится ли начальство монастырской гостиницы, чтобы я там жил. В этом он тоже несколько не сомневался. Итак, мы в конце концов расстались на час. Пиоланти никого не застал в доме Кампилли и оставил письмо и стеклышко на соседней вилле. Что касается меня, то, пока я доехал в такси до «Ванды», мне снова стало нехорошо, и отчасти поэтому я решил взять с собой только сумку, и попросить, чтобы чемодан поберегли до моего возвращения. С этой просьбой я обратился к пани Рогульской. С нею же уладил счета и вручил ей письмо для Малинского.

— Благодарю вас за все; — сказал я. — Передайте, пожалуйста, мой прощальный привет брату и племяннице. Я прощаюсь, так как не уверен, увидимся ли мы еще, я ведь только на минутку забегу за чемоданом от поезда до поезда.

— А на случай, если кто-нибудь про вас спросит или захочет узнать ваш адрес, что сказать?

— Ничего. Дело в том, — запнулся я, — что я собираюсь немножко попутешествовать и нигде надолго не задержусь.

Я почему-то удержался и не сказал ей, что еду в Ладзаретто. Вернее всего, потому, что в моем положении соблазнительно было этак вот провалиться сквозь землю, скрыться от всех, исчезнуть. Так или иначе, я промолчал.

На вокзале я нашел Пиоланти за тем же самым столиком, где мы сидели раньше. Мы улыбнулись друг другу. Впервые за все утро, потому что во время недавней беседы нам было невесело! Теперь настроение

резко изменилось, и мы стали даже шутить. Пиоланти твердил, что я не должен опасаться, будто соседи, которым он передал пакет, украдут его, ибо «на виале Ватикано живут исключительно люди, достойные доверия». А я, смеясь, его успокаивал: пусть не боится, что я перееду к нему на долгие времена. И приводил доказательство — малое количество вещей в небольшой сумке.

Первые два дня в Ладзаретто меня не покидало чувство усталости. Ложился я рано и после обеда спал часа два. Зато вставал я тоже рано, потому что с утра воздух тут свежий и прохладный. Кроме того, я считал, что священнику Пиоланти было бы неприятно, если бы я не заглядывал в церковь, когда он отправляет мессу. От причетника я узнал, что служат мессу отнюдь не все священники, пользующиеся гостеприимством монастыря. Рядом со мной, например, жил священник, которому это запрещено. Он вставал раньше нашего и до полудня не показывался на территории бывшего лепрозория — уходил в горы или, вернее, на холмы, тянувшиеся за монастырем. Другой священник, который за трапезой сидел особняком, на все остальное время запирался в комнате.

После мессы и завтрака я провожал Пиоланти до городка. Здесь мы расставались. Он шел к вокзалу, а я сворачивал влево и, проделав огромный крюк, обходил больницу и лепрозорий, а затем поднимался на вершину Монте Агуццо, где и оставался до обеда. Я брал с собой газеты и полотенце, крепко его скатывал и подкладывал под голову. Спустя какое-то время солнце сгоняло меня с облюбованного места, и приходилось искать новой от него защиты. Воздух — изумительный. Чистый, освежающий. Особенно в ранние часы. Позднее — немножко дурмящий. Эвкалипты, пинии, кипарисы да еще множество трав, среди которых я различал только знакомый мне чебрец, — нагревались и испускали целый букет бьющих в нос ароматов. От такой ингаляции в голове мутилось, мысли теряли четкость. Уже не хотелось читать. Лежать бы и лежать лениво, равнодушно, хоть от моря и дул освежающий ветерок.

Море виднелось справа отсюда. Я узнавал его не по яркой синеве, сгущавшейся в том направлении, а по серебристым бликам, игравшим вдоль всей линии горизонта. Под прямым к ней углом — Рим; он ближе от нас, чем море, сказал священник Пиоланти, примерно километрах в двадцати. С этого расстояния Рим похож на гигантскую серо-розово-лиловую цветочную грядку. Иногда яркие блики появлялись и в этой стороне то в одном месте, то в другом; вероятно, это сверкали купола соборов. Так бывало лишь изредка. В мыслях я почти не возвращался к дням, проведенным в Риме. Об отце я тоже не думал. Я понимал, что обязан ему написать, но все откладывал. Не потому, что не стоило спешить с дурными вестями. Просто я еще не чувствовал себя в силах написать такое письмо как следует, без горечи, дельно.

На второй день я заснул на вершине холма. Проснулся я с тяжелой головой и в дурном настроении. Получилось так потому, что сон, как непрощеный утешитель, извлек на поверхность то, о чем я почти не думал уже около двух суток. Сперва мне приснился вращающийся пюпитр, о котором я читал у кардинала Эрле. Только это был пюпитр-гигант — еще больших размеров, чем тот, который смастерил бы столяр, всерьез принявший данные, приведенные в книге Эрле. Каждая из сторон верхней части в отдельности — так называемые *godetae* — была величиной с крыло ветряной мельницы. На одном крыле вращался я, на другом — отец. Мы вращались без конца в тишине и в пустоте, не привлекая к себе ничего внимания. Потом, по странной логике сна, мы пробирались через подземелье, заполненное статуями с живыми, бегающими глазами. Я шел все вперед и вперед и вдруг заметил, что мы вернулись к тем самым статуям, возле которых уже один раз были. Тогда я понял, что на самом

деле мы не двигаемся, а только вертимся на одном месте. С этим чувством я и проснулся — удрученный, с тяжестью на сердце, долго еще докушавшей мне. Но в конце концов она прошла бесследно.

К часу я спускаюсь обедать. Это самые неприятные минуты в моем распорядке дня. Пиоланти возвращается только около трех, и за обедом я сижу один. Я стараюсь прийти за минуту до молитвы и стою в неподвижности за своим стулом, опустив глаза. После *Benedicite* я, как и все, беру тарелку и стакан и становлюсь в самый конец очереди. Все тут относится друг к другу весьма предупредительно. Так, например, священник, сидящий напротив меня, заметил, что мне мешает солнце, и опустил шторку на окне. Я поблагодарил его на здешний манер: наклонил голову, едва-заметно улыбаясь. Такая улыбка здесь очень принята. Мы улыбаемся при встрече за пределами территории монастыря или у входа в церковь, когда один из нас уступает дорогу другому. Однако никто со мной не заговаривает. За столом слова роняют скупое, и никогда беседа не бывает общей. Разговор ведут только с соседом или с соседями. Всегда с одними и теми же. Вот так, как я с Пиоланти. В общем настроение тяжелое. Как в доме, где за стеной кто-то опасно болен или с кого-то снимают допрос. К счастью, мы не засиживаемся за столом. И, кроме того, тягостное настроение, по крайней мере у меня, бывает только тогда, когда я сижу за столом один, то есть во время обеда. За завтраком и за ужином рядом со мной находится Пиоланти.

Он возвращается из Рима, когда я сплю, и ложится в своей келье — напротив моей. Около четырех я просыпаюсь и захожу к нему выпить кофе. Затем ненадолго мы идем в церковь. Священники, которым запрещено служить обедню, могут служить вечерню. Соблюдая вежливость по отношению к ним, мы присутствуем на богослужении, которое они управляют. А потом неизменная прогулка, вплоть до самого ужина на Монте Агуццо. Здесь красиво в любое время. Красивее всего к концу дня. Море, видимое с запада, блестит тогда сильнее и переливается красноватыми тонами. Далекие контуры Рима приобретают фиолетовый оттенок. Испарения над ним сгущаются. А выше — безмерно длинная гряда медно-розовых облаков с мягкими, расплывчатыми очертаниями.

Мы не слишком много разговариваем. И в особенности избегаем того, что угнетает меня и что угнетает его. Если уж говорим, то скорее о деревне, где у него приход, чем о причинах, по которым он временно ее покинул и засел в Ладзаретто, чтобы находиться поближе к Риму. Из сказанного им я делаю только один вывод: как я и догадывался, все действительно произошло из-за книги. Он издал ее год тому назад с одобрения своего епископа, того самого, который часто говорил, что и библиотеки являются домами божьими. Однако сочинение, которым священник Пиоланти обогатил эти дома, пришлось не по душе разным важным церковным ведомствам в Риме. Пиоланти туда вызвали. То обстоятельство, что епископ дал согласие на издание книги, ухудшало положение Пиоланти. Считалось, что он ввел епископа в заблуждение. Пиоланти поехал в Рим, пытался защищаться, просвещал себя чтением разных трудов, а кроме того, искал помощи у людей, которые знали его с тех времен, когда он окончил семинарию, и позднее. Но пока безрезультатно. Департамент, который занимался делом Пиоланти, все реже вызывал его из Ладзаретто в Рим. Однако бедняга не терял терпения. Держался как мог. Только тосковал о своем приходе.

И получалось так, что чаще всего мы говорили с ним о его приходе, о деревушке Сан Систо, лежавшей в горах под Орсино. Мы располагались в тени. Удобнее всего нам было не на самой вершине, а чуть пониже, там, где когда-то были огороды прокаженных. В давние времена целый склон был изрезан такими огородами, большие террасы грозозди-

лись здесь одна над другой. В наши дни их частью размыло, а остальные густо заросли. Но кое-какие следы еще сохранились. Осторожно, чтобы не уколоться и не запачкать платье, мы раздвигали ветки одичавшей малины или крыжовника и вытягивались на уцелевшей террасе, как на широкой скамье.

— Как здесь чудесно,— говорил Пиоланти.

— О да, чудесно,— повторял я, как верное эхо.

— А в Сан Систо!..— начинал он тогда.— В Сан Систо воздух в сто раз чище. И поэтому видишь все кругом, как сквозь сильные оптические стекла. Уверю вас: кристалл.

С этого начиналось. А потом он рассказывал, что провел в Сан Систо пять лет, и объяснял мне, что если исчислять время священнической мерой, по которой духовному лицу случается всю жизнь провести на одной должности, то пять лет это немного. Но Сан Систо его первый самостоятельный приход и потому это большой и важный период в его жизни. К этой мысли он возвращался всякий раз. Высказывая ее, он понижал голос, опускал рыжеватую голову и довольно долго вглядывался в кончики своих истоптанных башмаков, густо покрытых овальными грубыми заплатами. Из этого я делал вывод, что этот важный период был, кроме того, и трудным. А когда он вновь поднимал голову, тусклое выражение его глубоко посаженных глаз убеждало меня, что это был равно и период горьких испытаний, которые и погубили Пиоланти. В первый раз, когда мы заговорили о его приходе и он так загрустил, я спросил, руководствуясь простейшей ассоциацией:

— Я слышал, что здесь в горских деревушках царит нищета. Значит, и ваш приход очень бедный?

— Бедный. Очень бедный,— ответил он.

— Оттого-то, вероятно, и тяжело там работать духовному пастырю?— сказал я.

— Тяжело, но тяжелее всего не из-за бедности прихожан.

— А из-за чего?

— Из-за их недоверия,— прошептал священник.— Из-за недоверия.

Я удивился и попросил объяснить. Он с готовностью согласился и изложил свои мысли с непривычным для него многословием. Правда, в первый раз я не совсем понял, что он имеет в виду. Но поскольку мы изо дня в день возвращались к этой теме, я в конце концов разобрался.

— Они не доверяют мне по моей вине,— твердил Пиоланти.— Держатся со мной настороженно. Считают, что я вмешиваюсь не в свои дела. А как же не вмешиваться, если мне известно, что вокруг свершается великое множество преступлений, а в исповедальной я о них ничего не слышу. Сперва я думал, что люди стесняются меня и предпочитают исповедоваться у других. Да нет. В другие приходы они тем более не пошли бы. Спустя некоторое время я понял почему. Это было бы равносильно полупризнанию, означало бы, что у них есть тайны, в которых они не хотят исповедаться своему приходскому священнику. Разобравшись в этом, я стал поучать с амвона, что, исповедуясь у меня и утаивая свои грехи, они избирают наихудшее зло. Я сказал: «Если вы собираетесь и впредь так поступать, то лучше не исповедуйтесь вовсе». Но они по-прежнему приходили. Хотя с этого времени еще больше мне не доверяли, потому что приняли мои слова за ловушку, увидели в них коварный прием, с помощью которого я пытаюсь установить, кто из людей втайне от меня пребывает не в ладах с законом. А зачем? Разве я не исповедник, а судебный следователь, что они так остерегаются меня, боятся открыть предо мною душу?

Жалуясь, он сплетал руки. Сжимал их все крепче, потом широко разводил. И снова печально опускал голову.

— Сперва я считал, — продолжал он, — что так обстоит дело только у меня в Сан Систо. Но то же самое происходит и в соседних приходах, только большинство священников к этому привыкло и самый факт умолчания объясняют темнотой населения. А я не думаю, что это результат странности христианство, люди, хоть и, наверное, еще более темные, чем в наши дни, были откровенны со своими духовными пастырями. Я думаю, что только позднее они мало-помалу стали другими. По мере того как и мы, священники, становились другими. Это значит такими, что откровенничать с нами могло быть опасно.

После такой беседы мы спускались в трапезную и быстро ужинали, но потом уже не возвращались на вершину холма или на наше излюбленное место. Для этого было слишком темно. А кроме того, у самого подножья горы, между застроенным участком и террасами, тянулася широкая полоса земли, в которой некогда хоронили прокаженных. Днем об этом не думалось, но по вечерам все мы избегали прогулок в таких местах. Одни священники, пользуясь вечерней прохладой, отправлялись в городок за газетами или в лавки, которые летом здесь не закрывались допоздна. Другие шли в больницу сестер святого спасителя за лекарствами или навещали знакомых. Мы с Пиоланти проводили последние часы дня на внутреннем дворике. Там стояла широкая скамейка, на которую падал свет из окон трапезной. Я садился на скамейку верхом. Пиоланти следовал моему примеру, хотя и несколько смущаясь, потому что для этого ему приходилось задирать сутану. Но в такой позе удобнее было играть, повернувшись лицом к доске, расчерченной на десять клеток согласно с условиями старой итальянской игры, называющейся сальта, правилам которой священник Пиоланти обучил меня сразу, в первый же вечер. Сам он играл великолепно: бил меня, стало быть, как хотел.

#### XXIV

Сегодня последний день в Ладзаретто. Двинусь отсюда завтра утром, ровно через неделю после приезда. Физически чувствую себя замечательно. Прошла постоянная сонливость. Сердечное недомогание тоже. Если и заколет в сердце, то лишь при мысли об отце. Никак не могу заставить себя написать ему, а следовало бы. Письмо должно прийти до моего возвращения в Краков. Высчитываю, сколько это займет времени, и получается, что больше нельзя медлить. Напишу завтра.

Вчера, провозжая Пиоланти в городок, я купил малый путеводитель по Риму. Большой, привезенный из Польши, остался в чемодане, который ждет меня в «Ванде». Он сейчас пригодился бы мне, но в то утро, когда я дважды встретился на вокзале с Пиоланти, я и думать не мог о таких вещах. По новому путеводителю я проверяю, какие достопримечательности Рима я уже видел и какие не видел. Пробелов много, но что поделаешь. На завтра у меня намечен такой план: заехать в пансионат за чемоданом, отвезти его на вокзал в камеру хранения, в час — Ватиканский музей, потом обед на Пинчио, письмо и снова вокзал. Уже в последний раз. В семь часов вечера — Орсино, там я переночую из уважения к моему хозяину, священнику Пиоланти. В его приход я не потащусь, слишком это далеко от города, и, кроме того, я чувствовал бы себя там неловко. Но в самом городе Орсино мне приятно будет побывать. Пиоланти там родился, окончил семинарию. Напишу ему из Орсино. Я знаю, что открытка, присланная оттуда, доставит ему удовольствие. Хоть таким путем я отблагодарю его за доброе отношение ко мне. Знаю также, что в Орсино находятся знаменитые фрески Рафаэля. В этом отношении я ненасытен. Мне хочется еще до возвращения в Польшу мно-

гое увидеть. Лишь бы не в Риме. Теперь Рим угнетает меня, это глупо, но я с облегчением оттуда уеду. В завтрашний план вопреки моей горькой обиде я сознательно включил Ватиканский музей, потому что не хочу, чтобы мною управляли нелепые импульсы. Но мысль о том, чтобы снова пойти гуда, вызывает у меня глухое сопротивление.

Образ моей здешней жизни в общем все тот же. С той лишь разницей, что теперь — по крайней мере так было третьего дня и вчера — я провожаю Пиоланти до самого вокзала, затем сажусь в автобус, разумеется предварительно составив план поездки. И вот в первый день я побывал во Фреджене, на чудесном пляже среди пиний, а во второй — в Витербо, замечательном средневековом городе, расположенном на скалах. К обеду не поспеваю. Возвращаюсь только к пяти, к кофе, который мы выпиваем вместе с Пиоланти в его келье перед прогулкой на Монте Агуццо, весь южный склон которой некогда занимали огороды. Усевшись так, чтобы вдыхать свежий морской ветерок, мы, не сговариваясь, неизменно возвращаемся к одному и тому же. Он — к своему конфликту с ватиканскими инстанциями. Я — к своей неудачной миссии. Мы даже не пытаемся беседовать о чем-либо другом, все равно нам это не удастся. Самое большее, на что мы способны, — кружить какое-то время на ближних подступах к главной теме. Да и то не дольше четверти часа.

Вчера зашел разговор о тех двух священниках из Ладзаретто, которые имеют право служить только вечерню. Я спросил:

— Их отстранили от обязанностей?

— Да.

— Они в чем-то провинились?

— Можно и так сказать.

— Нарушили шестую заповедь?

Пиоланти покраснел, как девушка.

— Да нет же, — сказал он, — таких здесь нет. Священники, которые согрешили плотски, или те, что из корыстолюбия нарушили заповеди господни, не останавливаются в Ладзаретто, когда Рим вызывает их для объяснений.

— В чем же их вина? — заинтересовался я.

— В толковании доктрины, — прошептал Пиоланти. — Может, мы лучше оставим этот разговор...

Но сам же продолжал об этом говорить. Он рассказал, что много лет назад, однако в те времена, когда в лепрозории давно уже не было больных, священники, оказавшиеся в его положении, останавливались в Ладзаретто, потому что в римских монастырях и домах, принадлежавших орденам, где обычно находит приют приезжее духовенство, их боялись и неохотно к себе пускали. Считалось, что общение с такими людьми может бросить тень на наивных или неосторожных или на тех, у кого есть враги.

— Так было когда-то, — сказал он. — В наши дни и это изменилось. Но обычай сохранился, и многие из тех, кого вызывают в Рим по тем же причинам, что и меня, по-прежнему держатся за Ладзаретто.

— Из смирения?

— Вероятно. А кроме того, не хотят навязываться. Потому что хоть и смешно в наши дни предполагать, будто общение с нами для кого-то опасно, удовольствия оно никому не доставляет.

— Почему? — спросил я. — Неужели из-за вашей репутации?

— В известной мере. Но мы сами находим способ, чтобы не замарать репутацию у других. Мы избегаем тех, кому встречи с нами могут повредить. Вообще стараемся быть от них подальше. Даже здесь, в Ладзаретто, как вы заметили, мы держимся друг от друга на расстоянии. Значит, главная причина, по которой мы выбираем Ладзаретто, не в этом. Мы

попросту в тягость некоторым людям. Наподобие того, как голодные тягуют сытых. Мы это понимаем.

— Но меня вы не избегали,— напомнил я ему.— Вы даже пригласили меня в Ладзаретто.

— Я ничем не мог вам повредить, потому что вы не принадлежите к нашей среде,— ответил Пиоланти.— И мое общество не тяготит вас, ибо в том смысле, как я употребил это слово, присутствие наше тягостно только для тех, кто мог бы нам помочь.

— И не приходят к вам на помощь,— закончил я его мысль.

— Не могут,— поправил он меня.— Не всегда могут.

— А отец де Вос? — спросил я.— Вы ему тоже были в тягость?

— Не думаю,— ответил он.— Он проявил ко мне столько доброты!

— Ко мне тоже,— заметил я.— Только ничего из этого не вышло.

— Потому что таких, как он, мало,— сказал Пиоланти.— И слишком много таких, как мы. Нуждающихся.

— А какой же он? — размышлял я вслух.— Чем же он отличается от других?

Пиоланти снова покраснел. Но на этот раз по совсем другой причине. Пожалуй, испугался, как бы его слова не показались бы мне слишком наивными. В конце концов он тихо сказал:

— Добротой.

— Ну, а что такое доброта? — рассмеялся я.

Пиоланти помрачнел и слегка от меня отодвинулся. Я увидел его лицо в профиль. Выступающие скулы, выразительный, кривой нос и стиснутый рот.

— Ну? — повторил я.

— Мысли о другом человеке,— услышал я наконец.— Люди по преимуществу думают только о себе, и это исключает понятие доброты. Некоторые думают о всех, и это тоже не есть доброта. И только люди исключительные думают о других, иначе говоря — о том или ином человеке в отдельности, и это и есть доброта.

— То есть любовь к ближнему,— отметил я.

— Зачем же так иронически? — возмутился Пиоланти.— А во имя чего вы обращаетесь к отцу де Восу или даже к его преосвященству, если не во имя любви к ближнему?

— Во имя справедливости,— возразил я.

— Нет, сударь,— твердо сказал Пиоланти.— Вы обратились к ним не потому, что рассчитывали, будто они вознегодуют, узнав, что нарушено право. Вы обратились к ним, рассчитывая тронуть их сердца вестью о том, как пострадал ваш отец!

— Возможно,— согласился я.

— Вот видите!

Если до сих пор мы затрагивали темы, лишь косвенно связанные с нашими невзгодами, то после этих слов заговорили о них впрямую. Первым не выдержал священник Пиоланти.

— У вас были некоторые шансы, а у меня, пожалуй, никаких,— сказал он.

— А в чем же, собственно, разница? — спросил я.

— Вы приехали сюда,— ответил он,— чтобы заступиться за одного человека. А я — за многих, очень многих. Впервые в Риме я понял, что участь всех моих прихожан разделяют сотни, сотни тысяч людей. Потому-то и безнадежно их дело. А значит, и мое. Либо же мне надо отречься от них, от правды о них и от моих мыслей об этой правде.

— Как это понять?

— Я должен поставить крест на моей книжке. Но разве мое отречение от книги изменит действительность хоть на самую малость?

— А что же такое ужасное вы написали в своей книге? — заинтересовался я.

— Ничего сверх того, что каждый заметит, если захочет раскрыть глаза. Следовательно, ничего сверх того, о чем я вам говорил вчера или позавчера. А говорил я о том, что люди у нас боятся своих священников и лгут им.

Из дальнейших слов Пиоланти я понял, что в сочинении, которое мне не захотели продать в книжной лавке на виа делла Кончилиационе и даже отказались сообщить его заглавие, он пошел дальше: не ограничиваясь описанием фактов и статистикой, он углубился в исторические параллели и занялся их анализом. Рассказывая историю Сан Систо, Пиоланти напомнил, что селение это принадлежало церкви, а его епархия в течение целых столетий входила в состав церковного государства. Это кое-кому не понравилось. Не понравились также страницы, на которых говорится о страхе, внушаемом церковью, а более всего формула (в ее достоверности он сам теперь усомнился), обращенная против слепого фанатизма священников, из-за которого духовное начало жизни становится чисто формальным, а посему и лживым.

Но хуже всего были заключительные страницы книги. Кажется, там приводилось нечто вроде письма или воззвания, в котором содержалось поучение, а это само по себе уже было оскорбительно. Состояло это поучение из двух частей. В первой Пиоланти говорил о нищенских условиях существования в Сан Систо, о разящем контрасте с жизнью богачей, помещиков и фабрикантов, обитающих в роскошных особняках. Во второй части он обращался к священникам, работающим в таких же приходах, как Сан Систо, и призывал их любой ценой вернуть доверие бедняков, ибо может настать день, когда они пойдут на своих пастырей, а те, против кого бедняки возмутятся и на кого поднимут руку, ни в какой мере не станут мучениками, ведь мучениками становятся только малые сии, против которых пошли богатые, а вовсе не богатые или их пособники, против которых пошли убогие. Письмо заканчивалось прямой скобкой с латинскими словами: «Sanguis iste non est venerandus».

— Это значит,— пояснил он, излагая мне смысл своего рассуждения,— «крови той не может быть воздана честь».

— Кровь всегда есть кровь,— ответил я.— По-моему, в наши дни одно только это и верно.

Пиоланти еще больше загрустил. Он не сводил глаз со своих больших натруженных рук.

— Я вовсе не призывал к кровопролитию,— сказал он.— Никогда бы мне и в голову не пришло что-либо подобное. Я написал лишь, что если бы настал день итогов, то у нас не было бы права на это столь возвышенное утешение, поскольку не всякая пролитая нами кровь есть кровь мученическая. Отмечу кстати, что я написал об этом всего несколько фраз в моей книге. В основном из-за этих фраз да еще из-за десятка других и поднялся шум. А не из-за того, что исповеди у нас неправдивые. С этим даже здесь, в Риме, соглашаются, считая, что так оно и есть и нужно это исправить.

— Где вы издали книжку? — спросил я.

— В Орсино.

— Имея *imprimatur*<sup>1</sup> своего епископа?

— Да. Мой епископ одобрил ее содержание и подписал к печати. Его епархия одна из беднейших у нас. Я полагаю, что о многих наших делах он думает то же, что и я. В моей книжке, впрочем, нет никакой ереси. Даже в Риме ее ни в чем таком не обвиняют. Ее осуждают за другое.

<sup>1</sup> «Можно печатать» (лат.), разрешение духовной цензуры.

— За что?

— За несвоевременные мысли.

Вчера я спросил еще, надеется ли Пиоланти вернуться в Сан Систо. — Пожалуй, да, — ответил он. — Куда же они меня денут? Нелегко им найти приход более убогий, чем мой! И к тому же мое возвращение в Сан Систо отнюдь не будет победой. Меня предупредили, что я в любом случае буду обязан, вернувшись в приход, обойти людей, которых оскорбил моей книгой, и заявить, что полностью от нее отрекаюсь. Через несколько лет люди обо всем забудут, однако вначале мне будет весьма несладко.

Речь зашла о нашей первой встрече у отца де Воса, а затем о встрече в Ватиканской библиотеке. Я вспомнил, с каким упорством он вчитывался в книги, всякий раз в другие, и заговорил об этом, предположив, что чтением столь разнообразных трудов он, вероятно, старался обосновать свои аргументы.

— Только вначале! — возразил он. — Теперь же я ищу в книгах обоснование тех аргументов, которыми желал бы руководствоваться.

Я спросил Пиоланти, когда он увидит отца де Воса. Он ответил, что перед отъездом зайдет к нему проститься, тогда он посетит всех тех, у кого бывал по своей воле, и тех, к кому его официально вызывали. В последнее время, впрочем, он не виделся ни с кем, ни с первыми, ни со вторыми, и только ждал.

— Долго ли еще? — спросил я.

— Это еще протянется, — ответил он.

Сегодня — отступление от нашего обычного круга тем. Да и вообще мы беседуем после обеда недолго. Спускаемся со склона горы до семи, потому что ужин подадут раньше обычного. В сумерки состоится ежегодное торжественное шествие. Древний обычай, связанный по традиции с теми временами, когда лепрозорий заселяли прокаженные. Их нет здесь уже несколько веков, но обряд сохранился. Торжественная церемония происходит уже в полной темноте. Тогда на вершине Монте Агуццо появляется головная колонна первой процессии, рядом — передние ряды второй и третьей. Всего их десять. По числу соседних приходов и храмов. Одним идти до нас недолго, другим подольше. Они выходят из дому в разное время, с тем чтобы одновременно окружить нас. Эхо их песен разносится по всей околице. Первые, далекие-далекие, голоса мы с Пиоланти услышали, когда еще сидели на горе. Пока мы ужинали, звуки поплыли уже со всех сторон. Наступают сумерки, и тогда все мы, обитатели монастырского приюта, собираемся на внутреннем дворе, со стороны огородов. Каждый из нас держит в левой руке дощечку, а в правой палочку. Поднимаясь в гору, мы время от времени ударяем палочкой по дощечке. Столетия назад наши предшественники, населявшие лепрозорий и принимавшие участие в церемонии, держали в руках предписанные правилами колотушки, чтобы предупреждать здоровых о своем приближении. Наши дощечки и палочки — это символические подобию тех колотушек.

Когда священник Пиоланти во время нашей послеобеденной беседы стал уговаривать меня пойти на церемонию, я вначале отказался, опасаясь, что встречу пани Рогульскую и пани Козицкую, как в тот раз, когда я впервые попал в Ладзаретто. О встрече с ними я вспомнил, впрочем, спустя несколько часов после того, как второй раз приехал в Ладзаретто, и все дни, пока здесь жил, старательно обходил больницу, в которой бывала Рогульская. Мне не хотелось, чтобы Пиоланти подумал, будто меня смущает характер церемонии, и я признался, почему у меня нет охоты сопровождать его. Однако он меня успокоил.

— Не придут! — уверенно сказал он.

— Но ведь в прошлый раз на выступлении хора и труппы, которая

давала спектакль, они были. Как же можно знать, что они сегодня не придут?

— Да на эту церемонию никто не приходит. Даже сестры из больницы. Шествие давно уже утеряло всякий религиозный смысл. Осталось суеверие. Рим мало-помалу отменяет все эти уже несколько выродившиеся ритуалы. Церемония в Ладзаретто пока еще сохранилась из-за упорства простых людей, которые живут в окрестных приходах. Ручаюсь, что, кроме них и нас, никого не будет.

Он оказался прав. Из монастыря тропинками на гору нас поднималось самое большее человек пятнадцать. Священники, вместе с которыми я столовался, кухонная прислуга, церковный сторож, причетники из нашей церкви, я — вот и все. Что касается процессий, то они тоже были немногочисленными, по крайней мере если судить по доносившимся сюда голосам. Когда все уже собрались, хор зазвучал более мощно, теперь пели на одну ноту — ноту скорбного псалма, который исполняют, опуская останки в могилу.

— «Chorus angelorum vos suscipiat et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeatis requiem».

— «Дабы вас,— шепотом начал переводить Пиоланти,— хоры ангельские приняли, и дабы вас, яко Лазаря, убогого сына сей земли, ожидал вечный покой...»

— Я понимаю,— перебил я его.— Я знаю латынь.

В свете факелов, фонарей и маленьких лампадок мелькали перед нами образа или фигуры святых. Участники процессии принесли их из окрестных приходских церквей и часовен. Они изображали покровителей или покровительниц этих церквей и часовен, построенных в их честь. Люди, несшие святые образа, наклоняли их в нашу сторону — мы находились значительно ниже — так, чтобы мы могли их получше разглядеть и, вероятно, для того, чтобы святым, изображенным на образах, легче было подарить нам свой милосердный взор. А мы — теперь согласно ритуалу и, конечно уж, не для того, чтобы отпугнуть от себя, а, напротив, чтобы привлечь к себе внимание святых,— непрерывно, как огромные, черные сверчки, громыхали в темноте деревяшками.

## XXV

На следующий день еще утром я вернулся в Рим. Встал я, как обычно, уложил свои вещи в сумку и вместе с Пиоланти отправился на вокзал. Я был благодарен ему за гостеприимство, и мне было тяжело с ним расставаться. В поезде я еще раз попытался уговорить его пойти со мной в Ватиканский музей. Тщетно. Пиоланти тоже было жаль расставаться со мной. Я чувствовал это. В вагоне он то и дело поглядывал на меня из того угла, где сидел, и печально улыбался. Всякий раз при этом он молча кивал своей большой рыжеватой головой, но ни пообедать со мною, ни пойти в музей не захотел. На первом я не настаивал, помня, по каким соображениям он всегда отказывается посещать рестораны. Однако музей — иное дело. Да и причины, по которым он отказывался сопровождать меня, оказались совсем другого порядка. Так как я от него не отставал, то в конце концов не без труда ему удалось их изложить. Сперва он признался, что привык ежедневно бывать в библиотеке и без обычной порции чтения чувствовал бы себя плохо. А затем эту психологическую мотивировку подкрепил другой, более существенной. Оказалось, что через несколько дней библиотека вместе со всеми другими ватиканскими учреждениями, как и каждый год в это время, закрывает свои двустворчатые двери на целых шесть недель.

— Вы хотите насытиться разными мудрыми текстами на шесть недель вперед? — спросил я.

— Даже не в том дело, — ответил он. — Но перед большими каникулами в курии принимают множество решений. Я хочу быть готов на тот случай, если курия предложит мне вернуться в мой приход. А я еще многое не успел проштудировать.

Я выглянул в окно и увидел разбегающиеся рельсовые пути. Станционе Термини. Стремительно пронесся экспресс, шедший в противоположном направлении. Длинные синие вагоны — значит, поезд дальний, или, точнее, международный. Он промелькнул, грохоча, и исчез, напав на меня, что и я через несколько дней в Венеции или в Удино сяду в такой же поезд и помчусь назад в Польшу. Я пожалел, что момент этот уже так близок. Но, быть может, меня встревожил не только вид мчащегося поезда и мысль о скором отъезде. Я все еще был в обиде на Ватиканскую библиотеку, не позволившую мне закончить мою работу. Упомянув о библиотеке, Пиоланти задел мое больное место, до такой степени чувствительное, что, несмотря на всю нашу дружбу, я никак не смог искренне огорчиться из-за того, что библиотека вскоре закроется и для него.

Заскрежетали тормоза. Раз, другой, третий, десятый. Наконец — в окнах — тень. Это мы из залитого солнцем пространства въехали под широкий навес над перроном. Я взял сумку. Пиоланти протянул мне руку.

— Спасибо за компанию, — сказал он.

— Да за что меня благодарить! — ответил я. — Это я должен выразить вам самую искреннюю и глубокую благодарность. Мне хотелось бы поддерживать с вами связь. Вернувшись домой, я напишу вам.

Мы стояли посредине купе, загораживая дорогу нашим попутчикам. Поэтому мы вышли в коридор, а затем на перрон. Здесь мы снова обменялись рукопожатием, таким же крепким и продолжительным, как и все предыдущие. Раньше, в коридоре и в купе, мы сократили церемонию прощания потому, что на нас напирала люди, теперь ее оборвал сам Пиоланти.

— Что касается писем, — сказал он, — лучше пока не пишите. Если я вернусь в мой приход, люди там темные, письма из-за железного занавеса могут вызвать нежелательные толки. Но вы как-нибудь за меня помолитесь, как и я за вас, хотя вы, кажется, не очень в бога веруете, а я после всего, что случилось, не очень ему мил. Все-таки вздох, обращенный к нему, всегда останется вздохом. Теперь, однако, поспешите и используйте каждое мгновение своего последнего дня в Риме. А я пойду помаленьку, у меня есть время.

Но он проводил меня до такси. Я больше не предлагал подвезти его, зная наперед, что ничего не добьюсь. Прежде чем машина сразу за вокзалом свернула влево, мы еще помахали друг другу рукой. За углом — улица Джолитти, арка Порты Маджоре, фронтон собора святого креста Иерусалимского, дорога, по которой я столько раз ездил на всех видах транспорта, и наконец — виа Авеццано, пансионат «Ванда».

Звоню. Мне открывает камерьера с возгласом:

— Ах, синьор профессор! Где вы пропадали столько времени?

До сих пор, обращаясь ко мне, она довольствовалась титулом доктор. Я не возражал, зная местный обычай, по которому все титулуют друг друга, не разбирая, есть к тому основания или нет. Впрочем, что касается камерьеры, то она вообще разговаривала со мной крайне редко. Мое произношение и мой синтаксис пугали ее, вызывая на ее лице беспомощную гримасу. Я помню об этом и стараюсь строить простые фразы и задавать несложные вопросы.

— Так, немножко путешествовал,— отвечаю я.— Дома ли синьора Рогульская?

— Нет, она в больнице.

— А синьор Шумовский?

— Ездит по Риму с туристами.

— Ну, может быть, есть синьора Козицкая?

— Тоже в больнице. Все вернутся к обеду. Не подождете ли, синьор профессор?

— Увы. Я очень спешу. Передайте от меня всем сердечный привет. Я только возьму чемодан и тут же умчусь.

Она не двигается с места.

— Господа будут очень, очень огорчены!

Она стоит как столб и, кажется, твердо намерена удержать меня. Тогда я сую ей в руку деньги, которые заготовил, чтобы вручить перед самым уходом. Я прошу ее также на минутку отворить любую из комнат для постояльцев, если есть незанятая, либо указать мне место, где я мог бы уложить чемодан, потому что я хочу впихнуть в него вещи, которые привез с собой. Но камерьера словно приросла к полу.

— А вы знаете, синьор профессор, что к вам тут звонили без конца? — спрашивает она.

— Кто? — говорю я.— Откуда?

— *Dapertutto*,— отвечает она.— *Dapertutto*!

Отовсюду! Значение этого слова широкое и для данного случая превеличенное, но самое известие, конечно, потрясающее. Я еще раз пытаюсь добиться от нее чего-то более конкретного.

— Вы не помните ни одной фамилии? — допытываюсь я.— Никаких подробностей?

— *C'è anche una lettera per lei*<sup>1</sup>,— отвечает она на это.

— Письмо! Ну так дайте его!

Камерьера исчезает. Немало времени спустя она возвращается, неся обеими руками чемодан. На чемодане письмо, засунутое под перевязывающий его ремень. Я тянусь за письмом, а камерьера с гордостью сообщает:

— Вспомнила! Вам звонили от одного адвоката, а еще из одного учреждения в курии.

Разрываю конверт. В передней темно. Зажигаю свет.

— Ваша прежняя комната не занята,— говорит камерьера.— Я туда отнесу чемодан.

— Чудесно! Сейчас иду!

Теперь я в свою очередь не двигаюсь с места. Руки у меня дрожат, буквы пляшут перед глазами. Все то, что я старательно усыплял в себе в течение недели, проведенной в Ладзаретто, просыпается, оживает. Факты, обиды, душевные муки. Только что я был за сто миль от всего этого и вот попадаю в самый центр прежней мути. А буквы все пляшут и пляшут. Бумага из канцелярии синьора Кампилли, его почерк, знакомая подпись, слов немного, все понятны, а я стою и стою, читаю и читаю и ничего не могу понять. Смотрю на письмо, как на клочок земли за окном самолета, садящегося на крыло. Абсолютно ничего не могу ухватить. Целое состоит из сотни раз виденных частиц, но они странно повернуты вокруг неуловимой оси. Кампилли пишет, чтобы я сразу по приезде позвонил ему. Беспокоится, успеем ли до столь близких уже каникул в курии осуществить намеченные нами действия, необходимые для завершения дела. В этом месте он не поскупился на нежные упреки: почему я так легкомысленно затянул свою туристскую поездку за пределы Рима. Затем он сообщает все номера телефонов: виллы в Остии,

<sup>1</sup> Есть еще для вас письмо (*итал.*).

своего клуба в Риме, домашний. Стандартная формула вежливости в конце письма — самая сердечная. Прячу письмо в карман. Но почти сразу же снова его достаю. В течение четверти часа не могу прийти в себя. А когда ясность сознания наконец ко мне возвращается, я снова извлекаю письмо. Звоню по очереди по всем указанным телефонам. В Остии мне говорят, что он уехал в Рим, дома сообщают, что ушел в город, в клубе — что обычно приходит около часу. Смотрю на часы — девять.

Беру сумку и перехожу в мою прежнюю комнату. Открываю чемодан, но, едва прикоснувшись к нему, застываю в неподвижности. Вдруг мне приходит в голову, что Малинский может кое-что мне объяснить. Прохожу мимо столовой и останавливаюсь у его двери. Стучу раз, другой. Бульдог заливается за дверью, но никто на мой стук не откликается. Иду на кухню, чтобы узнать, когда вернется Малинский. В кухне — камерьера. Спрашиваю:

— А когда будет дома синьор Малинский?

— Он в больнице.

— Что же такое? — говорю я. — Почему сегодня все ваши понесли в больницу?

— Он болен, — отвечает девушка. — Как только вы уехали, его забрали в больницу.

— Ах, так! Что-нибудь серьезное?

— Сердечный приступ.

— Вот как!

Возвращаюсь к своему чемодану, но попутно у меня возникает еще одна идея. Отыскиваю в записной книжке номер телефона священника де Воса, который когда-то мне дал Кампилли. Звоню. Его тоже нет дома. Спрашиваю, когда можно его застать. В ответ слышу:

— Его нет в Риме. Будет после каникул.

Я отхожу от телефона и в темной передней сталкиваюсь с камерьерой. Она пришла посмотреть, уложил ли я уже вещи, а то ей надо сбегать в город.

— Минутку, — говорю я, — минутку. В какой больнице находится пан Малинский?

— При монастыре святого Варфоломея на острове.

Я догадываюсь, о каком острове идет речь. В Риме есть только один — на Тибре. Там помещается старинная больница, которую содержит монашеский орден бонифратров.

— Сегодня не уеду! — решаю я. — Можно у вас переночевать?

— Хозяева, конечно, согласятся! Не знаю только, может, они кому-нибудь сдали вашу прежнюю комнату. Кажется, нет.

— Значит, согласятся! Во всяком случае найдется ведь свободная комната?

— Есть комнаты. Есть!

— Тогда, если понадобится, вы перенесете мои вещи, а я сейчас очень спешу.

Сбегаю по лестнице, беру такси и еду на этот остров. Заставляю себя усесться поудобнее, однако поминутно спохватываюсь, что сижу, подавшись всем корпусом вперед, и напряженно слежу за мостовой, где перед нами то и дело возникают какие-нибудь препятствия. Я вспоминаю во всех подробностях последний этап моего пребывания в Риме, начиная от первой беседы с Малинским, прояснившей положение в самых общих чертах, и вплоть до последней беседы — с кардиналом, когда я уже капитулировал. Логика их была железной, и вывод из них вытекал один. Я чувствовал его могущество и смысл даже тогда, когда не мог с ним примириться и метался в отчаянии по всему Риму. В Ладза-

ретто, постепенно набираясь сил и успокаиваясь, я еще отчетливее видел, что, на мое несчастье, обстоятельства, так или иначе связанные с делом моего отца, в Риме могли привести к одному-единственному исходу — именно к тому, к которому привели. Чувствуя это, я хоть и по-прежнему с болью думал об отце и возмущался обрушившейся на нас несправедливостью, но как-то привык к своему поражению, и главным образом потому, что за ним стояла логика, чуждая мне, но до сих пор скреплявшая все звенья в моем деле по-своему очень последовательно и точно.

Но, видимо, я был не прав. Это доказывало письмо Кампилли, не оставлявшее никаких сомнений. Да, это доказывало содержание письма и прежде всего его тон, звучавший так, словно хлопоты, ожидавшие нас в курии и необходимые для завершения дела, были непосредственно связаны с ранее принятыми мерами, вытекали из предыдущего положения вещей, а их целесообразность не стояла ни в какой связи с неким обозначившимся переломом. Само собой понятно, что адвокат сумел бы найти нужный стиль, если бы возникло нечто действительно новое. Например, факт, равный по значению смерти епископа Гожелинского. Я отлично помнил все обстоятельства того дня: Кампилли вызвал меня к себе домой из библиотеки и с энтузиазмом говорил о важном для нас событии. Письмо его было выдержано совсем в другом тоне. Я ничего не понимал, и мне стало страшно. Если новых фактов нет и сохраняется сила прежняя ситуация, то не означает ли это, что Кампилли затеял всю игру попросту потому, что ему захотелось приложить целительный бальзам к моей ране?

Такой поступок был бы в его духе. Правда, кроме Кампилли, в пансионат звонили из курии, вероятно из секретариата Роты, но, возможно, и здесь дело не обошлось без его участия. Могло случиться и так: после моего отъезда Кампилли одумался, поговорил с монсьером Риго и с кем-нибудь еще и решил, что его не осудят, если он позволит себе красивый жест. Отсюда письмо и, разумеется, заранее подготовленное предложение. К примеру, посоветует мне подать прошение, заявление или выполнить другую формальность, которая по существу ничего не изменит, но зато я уеду из Рима в уверенности, что все здесь стремились мне помочь — и та инстанция, куда я обратился, и мои покровители. Добренькими всюду; любят быть! Убедив себя, что рассчитывать мне не на что, я пришел в ужас. Едва ли полчаса назад я получил письмо. Все это время меня томила неуверенность, я напрягал все свои умственные способности, силясь понять, что же скрывается за словами Кампилли. Ну и, несмотря на это, как видно, ожили мои старые надежды, потому что у меня даже в глазах потемнело при мысли, что письмо несколько не меняет положения.

Такси сворачивает на мост, въезжает во двор больницы, останавливается. Я вхожу в ворота и звоню в дежурную. Никто не открывает. Я заглядываю в дверь на противоположной стороне. Меня посылают из флигеля во флигель и с этажа на этаж, пока наконец я не попадаю в большую палату, душную, темную. Я медленно прохаживаюсь вдоль кроватей. У правой стены один ряд, у левой — другой, а потом еще поперек палаты — третий и четвертый. Сущий лабиринт. Я плутаю довольно долго. Наконец натякаюсь на кровать Малинского. Глаза у него закрыты. Бескровные руки лежат на сером потертом одеяле. На маленькой табуретке, втиснутой между кроватями Малинского и его соседа, сидит Козицкая. Я дотрагиваюсь до ее плеча. Она оборачивается. В этот момент Малинский открывает глаза.

— О, — улыбается он, — вот и наша пропавшая душа! — И обращаясь к Козицкой: — Видишь, я все время говорил, что он явится!

— Я приехал сегодня утром и только в пансионате узнал, что вы больны.

Пауза. Малинский с трудом произносит:

— Ну вот, удалось вам добиться своего. Я никак не предполагал!

— Ничего еще не знаю. Я вернулся час назад.

Он на это:

— Добился и смотал удочки! Все уверяли, будто вы к нам даже не заглянете, чтобы попрощаться. Не станете тратить время.

Мы явно не понимаем друг друга, и мало того, что не понимаем,— он-то в курсе событий, которые произошли за время моего отсутствия, а я нет. Значит, что-то все-таки случилось. Я упорно смотрю ему в глаза. Выражение их изменилось из-за болезни, да к тому же он снял роговые очки, в которых я привык его видеть. Малинский мерно дышит. Рот у него открыт. Иногда из горла вырывается короткий, спазматический вздох. Неудобно говорить о моем деле. Да и сердце у меня сжимается, когда я гляжу на Малинского. Справа и слева — кровати, на одной из них больной стонет, на другой хрипит. И какая духота!

— Может, вы сядете,— говорит Козицкая.— На минуточку, потому что его утомляют визиты.

Малинский смотрит на нее, а потом, когда я отвечаю, переводит взгляд на меня.

— Я сейчас уйду,— успокаиваю я Козицкую.— Мне хочется только узнать, как себя чувствует пан Малинский.

Она:

— Теперь уж лучше.

Он:

— Лишь бы мне позволили домой вернуться, тогда все будет хорошо.

Я мимоходом упоминаю, что был в пансионате и попросил оставить за мной комнату, а кстати выражаю надежду, что с этим все будет в порядке.

Козицкая:

— Все-таки лучше предупреждать заранее. Неужели так трудно при-  
слать открытку?

Малинский:

— Ах, не приставай к нему!

Я — Козицкой:

— Уже вернувшись в Рим, я изменил свои планы. А пока ехал, мне и в голову не приходило, что я здесь еще задержусь! — И тут же к Малинскому: — Вы помните, какое у меня было плохое настроение, когда мы в последний раз виделись. Впрочем, я описал вам мои переживания в письме.

— Да, но настроение изменилось после визита к кардиналу! Скрытый вы человек и настойчивый. Во всяком случае поздравляю! Поздравляю!

Я онемел. Меня охватило то же самое чувство, что и при чтении письма Кампилли. Опять все закружилось. Видение, которое сперва лишь промелькнуло передо мной, теперь снова возникло и на этот раз приняло более отчетливые формы. Нахлынувшая на меня радость напоминала то блаженное состояние, которое я испытал после первого визита к монсеньеру Риго. Я по-прежнему не понимал, что же произошло, но все сигналы, полученные мной с утра, говорили об одном и том же. Надежда превращалась в уверенность. Я не мог дольше ей противиться и вдруг почувствовал, как что-то нежно щекочет мои глаза; я сразу взял себя в руки и встал.

— Я загляну к вам,— сказал я,— если не завтра, так послезавтра. А пока пожелаю скорейшего выздоровления.

## XXVI

В час дня мне удалось наконец созвониться с Кампилли. Он был в своем клубе и просил меня тотчас туда прийти. Я уже разобрался во всех интонациях голоса адвоката, во всей их гамме, начиная от сердечной, отеческой и кончая равнодушно-отчужденной, прячущей неловкость, как было во время нашего последнего разговора, когда он отказал мне от дома и уговаривал предоставить дело, ради которого я приехал в Рим, своему течению. Теперь он снова очень тепло и с дружеским нетерпением приветствовал меня.

— Мне передали ваше письмо,— сообщил я.— Поэтому я звоню.

Он секунду помолчал, но тут же заговорил с радостным оживлением:

— Как же я доволен! А я уже тревожился! У тебя стальные нервы, если ты способен в самый разгар наших хлопот уехать из Рима и вернуться к последнему звонку.

Мне стало стыдно за него. Как легко, без тени смущения, он искажает правду. Если бы у меня хватило времени на размышления, я не стал бы с ним спорить, не старался бы уточнять факты. Ведь значение имело только то, что дело ожило и Кампилли снова хочет и может мне помочь. Но прежде чем я успел сообразить, как мало для меня толку в том, чтобы прижать его к стенке, я уже сказал:

— Я не предполагал, что мы еще увидимся. Разве вы не получили мое письмо?

Снова секунда тишины, а затем:

— Ах, да, получил. Разреши тебе сказать: ты немножко погорячился. Забудем об этом. А теперь бросай все дела и беги сюда как можно скорее. Я жажду тебя увидеть и так же сильно хочу есть. А без тебя не буду завтракать.

Таким образом, прямо из бара, откуда я звонил, я поехал на такси по адресу, указанному Кампилли. Палаццо Шара-Колонна, на Корсо, вход со двора направо, второй этаж. Название клуба «Чирколо Романо». Вот и он! Высокая, украшенная резьбой дверь. Медный звонок в большой, вогнутой и вмурованной в стену оправе. Звоню. Швейцар в ливрее. Гардеробщик в ливрее. Метрдотель во фраке, как и кельнеры — они стоят без дела, потому что в зале почти пусто. Справляюсь о Кампилли. Он сидит в углу. Верен себе — легко вскакивает, едва завидев меня. Следуют приветствия, как в лучшие времена: сияющие улыбки, долгие рукопожатия.

— Ты чудесно выглядишь! — говорит Кампилли.— Загорелый, веселый. Точная копия твоего отца. Он, как и ты, великолепно восстанавливал силы, пробыв всего несколько дней вне Рима. Тебя словно подменили! Небось зарылся где-нибудь у моря, не думая ни о каких великих достижениях туризма. Иначе ты бы так не отдохнул. Признавайся.

— В известной мере,— отвечаю я.

— Очень умно! Очень умно! В эту пору года любая поездка — пытка. Рим — тоже пытка. Водить машину по Риму — пытка. Рестораны, набитые туристами,— пытка. Хвала всевышнему, у нас хоть есть клуб; у нас — значит у ватиканских адвокатов и высших светских чиновников. Здесь просторно и прохладно. Ну и, как видишь, пусто, потому что каждый, кто только мог, уже сбежал. А через несколько дней мы вообще закрываем...

— Клуб?

— Прежде всего — курию! Остаются только дежурные, а прочие, от кардиналов до референтов, разъезжаются на большие каникулы. Трибуналы тоже закрывают свои врата.

Я уже слышал о наступающих каникулах. Совсем недавно о них упомянул священник Пиоланти. Возможно даже, сказал, когда они начи-

наются, но тогда все, связанное с курией, меня уже не интересовало, и я пропустил его слова мимо ушей. Теперь я живо спросил:

— Через сколько дней? Сколько дней у меня еще осталось?

— Пять, а точнее, четыре, потому что монсеньер Риго покинет свою канцелярию днем раньше.

— В пансионате говорят, будто мне звонили из курии. Как вы думаете, это он меня вызывал? — тихо спросил я.

— Конечно! Только не он лично, а его секретарь. Впрочем, так мы и договаривались, он, ты и я.

— Значит, теперь можно безо всяких препятствий отправить из Рима в Торунь какое-нибудь дело с пометкой, что вести его поручено отцу?

— Разумеется! Но, поскольку ни в моей канцелярии, ни у близких мне коллег не нашлось ни одного дела, которое можно было бы со сколько-нибудь веским основанием переслать для частичного исследования в Торунь, мы с монсеньером Риго пришли к выводу, что здесь лучше применить другой метод, ведущий к той же цели. Я тебе уже говорил о нем. Я имею в виду так называемое подтверждение места проживания. Ты представляешь себе, в чем тут суть?

— Да, — ответил я.

Конечно, я все представлял себе и, зная, в чем тут суть, знал и нечто другое: в той мере, как менялись интонации голоса адвоката Кампилли, менялись и методы, которые он избирал. Одни в большей степени требовали участия его собственной канцелярии или канцелярии дружески расположенных к нему коллег, другие — в меньшей. Я понимал, кроме того, что все дела, которые можно было передать в Торунь, разом исчезли, хотя уже после смерти епископа Гожелинского, в день нашей полной оптимизма беседы в канцелярии одного только Кампилли их было полным-полно. Что касается метода, о котором теперь упомянул Кампилли, то он заключался в следующем: по просьбе отца Рота должна подтвердить тот факт, что он поселился в пределах определенной епархии и приступил к выполнению своих обязанностей в местной курии. Адвокаты, связанные с Ротой, каждые несколько лет должны получать новые справки. Следовательно, с бюрократической точки зрения метод был хорош для того, чтобы узаконить положение отца. Но из всех методов, которые мы обсуждали, этот, единственный, лично никак не затрагивал Кампилли. Меня это поразило.

— У тебя найдется еще пустой бланк с подписью отца?

— Да.

— Зайдешь ко мне, я тебе продиктую стандартную латинскую форму. Ты ее перепишешь и обязательно сегодня же отнесешь письмо, теперь уже каждый час на счету.

Он наклонился над тарелкой, старательно накручивая на вилку макароны. В огромном зале, где мы сидели, царил полумрак. Плотные драпировки на окнах не пропускали солнца. Время от времени к нам подходил кельнер и справлялся, не нуждается ли мы в его услугах. В зале по-прежнему было пусто. Кроме нашего столика, были заняты еще три, а может, четыре. За каждым — солидные господа в возрасте Кампилли или даже постарше. Кампилли всех знал; с каждым входящим он обменивался поклонами. Кельнеры сразу обступали нового посетителя. Но едва он выбирал себе столик, большинство кельнеров, утратив к нему интерес, исчезало. В центре зала снова становилось пусто. Тогда, глядя прямо вперед, я видел только две колоссальные кариатиды, подпирающие мраморную плиту над камином, тоже гигантским — в него можно было бы войти, не сгибаясь. Кампилли ел макароны, я тоже. Молчание затягивалось. Я подумал, что, быть может, неправильно его осуждаю. Допустим, он не хочет себя припутывать к делу. Но ведь он по-прежнему

готов мне помочь, и это следует ценить. Только теперь всякая приподнятость тона вызывала у меня внутренний отпор. Не мог же я после всего, что перенес, оставаться по-прежнему наивным и доверчивым.

— Благодарю вас,— сказал я.— Я приду в четыре, не раньше, чтобы не испортить вам послеобеденный отдых.

— Но и не позднее. Письмо надо передать в секретариат монсеньера Риго до шести. Так, чтобы он успел его прочесть еще сегодня вечером.

— А ответ?

— Дадут тебе в руки. Но ты должен нажимать на секретаря.

— Благодарю,— повторил я.— Разрешите все-таки задать вам несколько вопросов?

Кампилли покончил с макаронами и как раз в это мгновение отодвигал от себя тарелку. Руки его замерли, не снимая их со стола, он повернулся ко мне, и на лице его засияла улыбка, которая мне показала несколько искусственной.

— Безусловно,— сказал он.— Спрашивай! Спрашивай! А потом и я допрошу тебя по всей строгости: почему ты написал мне такое нелюбезное письмо и почему тебе так нетерпелось удрать из Рима?

Тогда я выложил все, что так тяготило меня. Отец настаивал, чтобы я обо всем советовался с Кампилли и ничего от него не скрывал, ну вот я и поступил так! Я напомнил ему, при каких обстоятельствах мы виделись в последний раз и какие советы он тогда давал. Напомнил и о том, что он, зная, какие неприятности ждут меня в библиотеке, ни о чем меня не предупредил, не спас от унижительного разговора с Корси, ничего не объяснил. Мне пришлось от посторонних лиц узнать правду.

В этом месте Кампилли, не спускавший с меня своих голубых внимательных глаз, вставил:

— Ты не должен называть священника де Воса посторонним лицом.

— Я говорю не о нем. О других! Я ходил ведь и к другим!

— Жаль!

— Значит, не следовало ходить и к кардиналу Травиа? А ведь теперь даже посторонние люди говорят мне, что ситуация изменилась именно потому, что я пошел к кардиналу, в то время как вы стараетесь мне внушить, будто дело подвигалось своим естественным ходом и только я ни с того, ни с сего потерял терпение.

Кампилли достал платочек, светлый кончик которого торчал из кармана пиджака, и вытер лицо. От платочка запахло лавандой.

— Мой дорогой мальчик,— сказал он,— в нашей курии всегда все идет естественным ходом! Ты проведешь с нами еще несколько дней, и я прошу тебя помнить об этом прежде всего в интересах твоего отца. Я считал, что после того, как с тобой столько раз беседовали, ты научился разбираться в вещах достаточно глубоко, чтобы сразу отбросить всякую мысль о том, будто твой визит к кардиналу направил дело по должному руслу.

— Да я этого и не думал,— ответил я.— Твердо знаю, что ничего не добился от кардинала и разговор с ним не имел ни смысла, ни значения. Но вместе с тем мне известно, что, когда я уезжал из Рима, дело мое было проиграно; возвращаюсь — и вы мне говорите, будто все идет наилучшим образом. Бога ради, объясните, что же случилось?

— Тише, тише,— попросил Кампилли, а затем продолжал: — Ты ошибаешься, полагая, будто твой разговор с кардиналом не имел значения. Кардиналы не ведут пустых разговоров! Хорошо ли ты помнишь, что тебе сказал священник де Вос, когда ты у него был в последний раз? Помнишь ли ты, что он тебе говорил о некоторых планах относительно блаженной памяти епископа Гожелинского? Так вот, в курии об этих планах больше не говорят. С тебя достаточно?

Я с удивлением прошептал:

— Как же так, а весь тот шум вокруг имени покойного? Значит, в курии покончили с его культом?

— Да.

— И больше не собираются причислять его к лику святых?

— Нет. Говорят даже, что он был человеком мелочным и мстительным.

— Это преувеличение! — сорвалось у меня. — Сперва перегнули в одну сторону, а теперь в другую!

— Тише, — снова осадил меня Кампилли. — И, пожалуйста, без рефлексий! Не высказывай никаких суждений по этому поводу. В те немногие дни, которые ты еще с нами проведешь, владей собой и сдерживайся. Обещаешь мне?

— Самым торжественным образом! Признаюсь, все-таки мне легче было бы справиться с собой, если бы я смог уразуметь, что же случилось.

Кампилли потянулся к бутылке с вином. Налил мне и себе и после недолгого размышления сказал:

— Хорошо ли ты запомнил содержание твоей беседы с кардиналом? И помнишь ли ты прежде всего, что он сказал тебе по поводу примера святости и мученичества, который должен поднять дух у вас, живущих на востоке? Вспоминаешь ли ты, что он особенно настаивал на возрасте, утверждая, что примером для новых поколений должен служить кто-то молодой и в силу этого способный повести за собой вас, молодежь?

— Отлично помню, — ответил я. — Он высказывался довольно туманно, но мысли о возрасте мученика, который должен осветить нам путь своим примером, выразил четко. Кардинал вполне вразумительно сказал, что такую фигуру обязательно надо искать среди молодых.

— И, значит, он имел в виду отнюдь не епископа Гожелинского?

— Похоже, что не его! — Слова эти я произнес медленно, меня в равной мере поразило и то, что Кампилли так хорошо известно содержание моей беседы с кардиналом Травиа, и то, какие он извлек из нее выводы.

— Вот что произошло, — сказал он. — Твоя беседа с кардиналом по сей день комментируется в курии.

— Стало быть, все перевернулось вверх дном после беседы со мной! — удивился я, и факт этот, особенно потому, что я до сих пор не придавал ему значения, показался мне до смешного нелепым.

— Ах, нет! Помилуй бог, какие глупости ты болтаешь! — возмутился Кампилли. — Кардинал случайно в твоём присутствии высказал мысли, которые раньше или позже высказал бы и без тебя. Всей себе это в голову, мальчик. Вдобавок ко всему ты, кажется, готов усвоить наипривратнейшее мнение, будто, споря с кардиналом, ты отстоял так или иначе проигранное дело твоего отца. Подобное представление было бы пагубным для дела и оскорбительным, ибо курия является гармонически слаженным организмом, и ни один ее член, пусть самый почитаемый, не пойдет против принятого другими мнения.

— Пусть так и будет, — сказал я.

— Так есть, — многозначительно сказал Кампилли.

Кофе нам подали в другом зале. Не то в читальне, не то в курительной. Здесь было светлее. Посредине стоял огромный стол, заваленный газетами и журналами. Мы уселись в широких кожаных креслах. Я достал сигареты. Кельнер тотчас поспешил ко мне со спичкой. Когда он отошел, я, перегнувшись в сторону Кампилли, заговорил тихо и чуть запинаясь:

— Простите меня за мой подчас резкий тон. В последнее время мне было здесь нелегко. Ну и у меня слегка разыгралась желчь. Простите также некоторые мои, быть может, несправедливые слова. Вы были ко

мне так внимательны, что я должен был бы вас избавить от неуместных выпадов. Это больше не повторится!

Кампилли подарил меня улыбкой, кивнул головой, показывая, что понимает меня. Мы заговорили о его семье, еще не полностью переехавшей в Абруццы. Сам он кружил между виллой в горах, домом в Остии и Римом. Затем Кампилли спросил про моего отца и обрадовался, услышав, что я ничего окончательного ему не написал. Потом Кампилли потребовал, чтобы я взял у него еще денег. Но я решительно отказался. Неделя жизни в Ладзаретто почти не отразилась на моем кармане, стояла гроши.

— Во всяком случае, если тебе понадобится, скажешь откровенно, — настаивал Кампилли.

— Я всегда с вами говорю откровенно, — возразил я.

— И не откладывай! Сегодня еще подсчитай, сколько денег тебе может понадобиться. Я ведь тоже через несколько дней уезжаю.

— Нет! Нет! — убеждал я его. — Я уверен, что мне хватит. Зато у меня к вам другая просьба.

— Говори!

— Библиотека.

Он нахмурился. Я подумал, что ему неприятен этот разговор потому, что меня выгнали из библиотеки, а он, зная о том, не предупредил меня, — оказывается, нет. Он снова извлек из кармана пропитанный лавандой платочек. Наконец сказал:

— Оставь. Смирись. Правда, теперь, в сущности, с твоим делом все обстоит по-старому, так, как было перед этим назовем его застоем, но не все в курии сразу забудут, что был такой застой. Ты понимаешь меня?

— Ничего не поделаешь, — грустно сказал я. — Надеюсь только, что монсеньер Риго уже забыл о застое и сдержит данное им обещание по-ложительно решить мое дело.

— Ты слишком много хочешь зараз, — возразил Кампилли. — Мы вернулись к исходному положению вещей, это означает всего лишь, что твоим делом снова занимаются в служебном порядке. Ты знаешь, что такое служебный долг в нашем понимании? Это анализ элементов, из которых состоит дело, анализ, продолжающийся вплоть до последней минуты. Так в теории. На практике же, на мой взгляд, не может случиться ничего такого, что снова спутало бы твои расчеты.

Мы вышли во двор. Там стояла машина Кампилли. Мы сели, но я не захотел, чтобы он подвез меня до «Ванды». По забитому машинами Корсо, то и дело останавливаясь, мы доехали до пьядца Венеция. Здесь я вышел, не желая злоупотреблять любезностью Кампилли. Он свернул влево, за Тибр, к своему дому, а я пешком дошел до самого Колизея. Зной мучил меня. Однако я испытывал потребность в движении, чувствовал себя счастливым, все услышанное сегодня давало надежду на успешный исход моей миссии, к тому же было приятно, что я все-таки немножко отвел душу, хотя Кампилли, вероятно, меньше всех был повинен в этом — позволю себе повторить его определение — за стое.

## XXVII

Ровно в четыре, как мы и договорились, я подошел к воротам виллы Кампилли и позвонил. Открыл мне лакей. Тот самый, которого я у них постоянно видел, и всякий раз на нем была куртка в другую полоску. Он с улыбкой поздоровался со мной, а на моем лице отразилось удивление. Когда Кампилли отказывал мне от дому, он сказал, что усылавляет лакея в горы. Очевидно, это было не так. Просто ему нужен был предлог, чтобы со мной расстаться, и он придумал, будто запирает дом на лето.

Убедившись теперь в его лжи, я был изумлен, но не испытал досады. Я понимал, почему Кампилли тогда так встревожился и был вынужден изворачиваться. Теперь в этом уже не было необходимости. Значит, ветер изменил направление, быть может, даже подул в мою сторону, вот и нашелся лакей! Провожая меня до кабинета, он сказал:

— От вас приходил к нам священник. Я тогда как раз ушел в город, и он оставил письмо и пакет у соседей. Но адвокат все получил в полном порядке.

— Знаю, — ответил я, — он мне говорил.

— Жарко, не правда ли? У нас всегда так в августе.

— Да, действительно.

Кампилли дружески приветствует меня, причем так, словно мы видимся впервые после моего возвращения. Клуб есть клуб, публичное место — это публичное место. Я не говорю уже о том, что во время нашей утренней встречи Кампилли чувствовал себя неловко. Теперь всякая скованность исчезла. Он понял, что те упреки, которые можно было ему предъявить, я уже предъявил, а те, что по первому разу не сорвались у меня с языка, никогда уже не сорвутся, и я забуду о них. Увидев меня, он встал из-за стола и раскрыл объятия; потом велел лакею подать кофе, потянулся к шкафчику за вином, а мне вручил листок бумаги, над которым как раз и сидел, когда я вошел.

— Возьми. Я для тебя приготовил. Вот эта стандартная форма.

Я прочитал. Она действительно была краткой. В бумажке говорилось, что такой-то адвокат папских трибуналов считает для себя честью уведомить «достопочтеннейшую канцелярию священной Римской Роты», что избрал местожительство на территории торуньской епархии, о чем уведомляет также епископа той же торуньской епархии. После заполнения стандартной формы слова «епархия Toruniensis»<sup>1</sup> повторялись еще раз, ниже подписи, как бы подчеркивая, что заявление подано от лица адвоката папских трибуналов, проживающего на территории именно данной епархии.

— Уф! — сказал я. — Кратко, а в общем все одно и то же.

Кампилли с улыбкой возразил:

— Такова уж по традиции эта форма. И радуйся, что краткая, не переутомишься в жару.

Тем не менее из-за жары я просидел над ней с полчаса. Кампилли поставил на письменный стол пишущую машинку и потребовал, чтобы я сперва написал начерно — тогда бумажка получится красивой. Затем просмотрел письмо, переписанное набело, похвалил. Я тоже был доволен — главным образом потому, что канцелярский бланк с подписью отца, после того как я заполнил его текстом, казался менее измятым, чем раньше.

— Ну, во имя божье, ступай, — сказал Кампилли. — И поточнее узнай в секретариате монсьеера, когда тебе надо прийти за ответом. Да поторопи их!

Перед виллой стояла роскошная «альфа-ромео» Весневича. За рулем — он. В машине — никого.

— Ах, вы вернулись! — говорит он. — А мы все тут вас разыскивали.

— Вы тоже? — недоверчиво спрашиваю я.

— По поручению тещи, да и тещи. Я пытался до вас дозвониться. Куда вы теперь направляетесь?

— С письмом в Роту.

— Я вас подвезу. А когда отдадите письмо, какие у вас планы?

— Никаких.

<sup>1</sup> Торуньская (лат.).

— В таком случае предлагаю прокатиться к морю. Страшно жарко! Все порядочные люди давно уехали из Рима. По городу слоняются только слуги церкви, полиция да туристы.

— Ну и люди вроде нас с вами,— засмеялся я.

— Правильно! То есть вроде вас, вы ведь клиент церкви, а я отлично подхожу под одну из трех названных категорий. Причисляю себя к слугам церкви!

— Это что-то новое. Я не знал.

— Никакая работа не унижает человека.

Он остановил машину. Огромный дворец Канцеллерия отбрасывал тень на площадь. Я вбежал в ворота, после чего, свернув влево, поднялся по большим ступеням, лестничным площадкам, коридорам и постепенно сужающейся лестнице на знакомый мне четвертый этаж. В приемной тот же самый служитель. В секретариате тот же самый невысокий молодой священник у заваленного папками стола. Я подал священнику конверт и прерывающимся от волнения голосом спросил, когда могу рассчитывать на ответ. Он словно не расслышал и лишь после того, как вынул письмо из конверта и поднес его к своим близоруким глазам за толстыми стеклами, встал и сообщил, что за ответом я могу явиться послезавтра.

— На всякий случай все-таки сперва позвоните мне,— сказал он.— Чтобы не утруждать себя зря в такую жару. Вот мой номер.

Он дал мне номер своего телефона и проводил до дверей. На прощание протянул руку. Памятуя, что Кампилли рекомендовал мне нажимать, я сказал:

— Через несколько дней вы закрываете свою канцелярию, а я, как вам, быть может, известно, приехал в Рим специально по этому делу из очень далеких краев.

Он перебил меня:

— Я знаю. Понимаю. Не для того монсеньер Риго поручил мне разыскивать вас по всему Риму — и в вашем пансионе и через синьора Кампилли,— чтобы отпустить с пустыми руками. Будьте спокойны.

— Спасибо,— сказал я.— Не откажите также передать монсеньеру Риго мою нижайшую благодарность.

— Обязательно,— пообещал молодой священник.— Передам.

Внизу стояла машина, но Весневича не было. Я огляделся вокруг. Нет и нет! На противоположной стороне я увидел вывеску бара, которая мгновенно вызвала у меня одно-единственное желание: кофе! кофе! Я отвык от римской духоты; после чистого, освежающего воздуха Ладзаретто у меня уже начинала кружиться голова. К тому же день выдался исключительно знойный. В глубине бара сидел возле телефона Весневич. Как только я появился, он сразу закончил разговор.

— Вот и он! Можешь спуститься. Мы сейчас за тобой заедем.

После чего, обращаясь ко мне:

— Захватим с собой одну девочку. Будет веселее.

Затем:

— Вы долго меня искали?

— Нет. Совсем недолго. Мне только хотелось бы выпить кофе.

Он — кассирше:

— Один кофе для этого синьора.

Я:

— Нет, не надо. Дама, которой вы звонили, ждет.

— Ну и пусть ждет.

Я залпом выпил кофе, и мы вернулись к машине. Я шел, обгоняя Весневича, он не торопился. Зато, сев за руль, сразу развил скорость, от которой душа холодела, и так яростно срезал повороты, что шины издавали протяжный визг. Мы неслись вдоль Тибра, проскочили мимо

больницы на острове, где лежал Малинский, а потом свернули налево через Палатинский мост и помчались в обратную сторону. Одна улочка. Другая. Наконец на третьей, самой узкой, мы внезапно остановились. Сандра! Нет, не Сандра, а ее кузина, так на нее похожая. Мы усадили ее между нами, и — в путь.

— Это Антонелла,— сказал Весневич, когда мы уже двинулись.

Она:

— Мы знакомы.

Весневич:

— Откуда же?

— Мы вместе были в Остии. Ты привез синьора. Разве ты не помнишь?

— Ах, правда.

На этот раз, однако, мы не поехали в Остию. Весневич не пожелал. Скучно! Толкотня! Впрочем, он не стал подробно объяснять, почему принял такое решение, и вез нас, куда хотел. Мы только заехали на виа Авеццано за моим купальным костюмом. Полчаса спустя — Фиумичино, я узнал его! Мы переоделись в кабинах и наняли лодку. Так снова вздумалось Весневичу. Он не склонен был утомлять себя греблей и не заставлял нас грести. Просто предложил отплыть подальше от берега.

— Будет тише, спокойнее, чище,— сказал он.

Чище было в самом деле. А что касается тишины и спокойствия, то не вполне, потому что Весневич купался весело. Баламутил вокруг себя воду или бил по ней руками, обдавая нас фонтаном брызг. Вскоре он бросил эту забаву и занялся другой: давал уроки плавания Антонелле. В конце концов Весневич помог ей влезть в лодку, а мне предложил пуститься дальше вплавь. Я охотно согласился. Вода была чудесная, и я забыл здесь о раскаленном, душном городе. Спустя двадцать минут, оставив берег позади на добрый километр, мы задеваем ногами песок: вода доходит до икр. Садимся.

— Здесь человек возрождается,— говорит Весневич.— Чертов Рим надоел мне до коллик. Летом тут жить невозможно! К счастью, через несколько дней конец. Вы, кажется, тоже заканчиваете свое дело и трогаетесь из Рима?

— Да.

— А что слышно в «Ванде»? Малинскому лучше?

— О, вы знаете, что он болен?

— Мы все знаем. Скверная история. Очень тяжелая.

— Болезнь?

— Причина болезни.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я говорю о том, про что трубит весь наш эмигрантский мирок: Малинскому не повезло в делах, и от волнения его свалил сердечный приступ.

Тогда я вспомнил, что Малинский рассказывал мне о своих торговых операциях. Церковным учреждениям, главным образом монашеским орденам, присылали из разных стран многочисленные дары: предметы одежды и продовольствие, не подлежащие обложению пошлиной при условии, что их используют только данные учреждения. Но им больше нужны были деньги — вот источник нелегальных торговых сделок, которыми занимался Малинский на положении посредника.

— Засыпался, бедняга,— сказал Весневич,— на какой-то большой партии зерна. Теперь ведется следствие.

— Церковное?

— Нет. Обычное. Прокурорское.

— Пора возвращаться,— сказал я.— Нас зовет кузина вашей жены. Я поднялся, но Весневич не шевелился. Он встал только после того,

как увидел, что к лодке приблизились какие-то мужчины и пытаются ухватиться за борт. Мы пробежали часть дороги по отмели. А когда она кончилась, стали соревноваться, кто доплывет первым. Незнакомцы, осаждавшие Антонеллу, исчезли. Я запыхался, и Весневич подсадил меня в лодку. Зато к веслам он не рвался, и мне с итальянкой пришлось грести. Через несколько минут мы доплыли до берега и оделись, а в машине посовещались, куда же теперь ехать. Весневич и слышать не хотел о том, чтобы провести вечер в Фиумичино, потому что там шумно и никакого блеска.

— Другое дело купанье, — сказал он. — Мне тем нравится этот пляж, что здесь не встретишь знакомых, если у тебя нет к тому охоты, но ужинать мы можем где угодно.

— Для ужина еще слишком рано, — заметила Антонелла.

— Ну так двинем на Монте Каво. Там роскошный ресторан! Вы там бывали?

Я прекрасно помнил эту тысячеметровую гору, находившуюся километрах в пятидесяти от Фиумичино. Отец однажды возил меня туда. Даже в летнюю пору на ее вершине было холодно и зябко; там стояла церковь, перестроенная из бывшего храма Юпитера, монастырь и развалины замка, среди которых примостился ресторан с большой террасой. Вероятно, о нем и говорил Весневич.

— Да, — ответил я. — С террасы ресторана открывается фантастический вид.

— А мы не замерзнем? — встревоженно спросила Антонелла. — Заедем по дороге ко мне, я возьму из дому теплые вещи!

Мы заехали. Квартира была огромная. Мы с Весневичем расселись в гостиной на большом удобном диване. Антонелла ушла в другую комнату, чтобы переодеться, оставив нас с бутылкой крепкого, настоящего на травах ликера, который, по ее мнению, должен был укрепить наши силы после купанья. Вернулась она немного погодя красиво причесанная и в вечернем платье, причем страх перед холодом в Монте Каво явно не повлиял на выбор ее туалета. Однако она не забыла о низкой температуре. Как выяснилось, Антонелла приготовила в передней меховую накидку для себя, а для нас по свитеру и шарфу из гардероба мужа, который, кажется, находился в служебной поездке. Захватив все это, мы спустились.

В ресторан мы пошли не сразу, а сперва немножко погуляли по лесистой вершине горы. Наконец-то и та самая терраса, куда меня некогда водил отец. Я, однако, подумал не о нем. Любуясь видом с горы, я вспомнил о священнике Пиоланти и о Ладзаретто, откуда я вернулся всего двенадцать часов назад. Мысль о том, какие перемены произошли в моей судьбе за такой короткий срок, почти лишала меня дара речи.

Весневич, указывая рукой на пейзаж, раскинувшийся перед нашими глазами, сказал:

— Фантастика!

— Фантастика, — согласился я.

Пейзаж пейзажем, однако теперь нам здорово захотелось есть. О меню позаботился Весневич. Нам принесли закуски, а к ним крепкую итальянскую водку, от которой Антонелла сперва было отказывалась. Но в самом деле стало холодно, особенно с того момента, как солнце скрылось за поросшей деревьями вершиной горы. Подул холодный ветерок. В долине, почти совсем потемневшей, появились огоньки. По мере того как менялся окружающий пейзаж, Весневич все настойчивее угощал нас спиртными напитками. Действовал он упорно, однако с большим юмором. После закусок — извечные макароны. Потом мясо, салат, фрукты, все замечательно вкусное. Я отведал каждое блюдо, тем более что в Ладзаретто я немножко изголодался. Еду запивали вином, которое Весневич подливал нам, да и себе. К фруктам он заказал итальянское шампанское. В этот

момент мы услышали звуки музыки. Оказалось, что в другом зале, из которого не было выхода на террасу, играет оркестр, и там танцуют. Мы перешли туда и откупорили еще одну бутылку шампанского. Я пригласил Антонеллу танцевать. Теперь она почувствовала себя в родной стихии, танцевала чудесно, быть может, только чересчур важничала. И так вот, не улыбаясь, соблюдая полную серьезность, она снова стала похожа на Сандру. Когда мы возвращались к столику, я сказал ей об этом.

— Пожалуй. Мне часто об этом говорят,— ответила она.

— О чем? — спросил Весневич.

— Что мы с Сандрой похожи друг на друга.

По этому поводу Весневич довольно весело заметил по-польски:

— Все они друг на друга похожи.

— Что он сказал? — заинтересовалась кухня.

— Что Италия страна красивых девочек,— улыбнулся Весневич.

Небольшой квадрат паркета постепенно заполнялся. Все больше народу приезжало из далекого Рима. В городе духота, здесь холод. Мы продолжали танцевать, но больше уже не пили. Вдруг Весневич поднял пустой бокал и, обращая ко мне, воскликнул:

— Ну и разия же я! Не поздравил вас с победой!

— Смотрите не сглазьте,— засмеялся я.

Антонелла спросила:

— А какую победу он одержал?

— Над монсеньерами, моя прелестная Антонелла,— пояснил Весневич.

Он встал, подозвал кельнера, который заменил наши рюмки другими — с широким дном и узким горлышком — и налил в них до половины коньяку.

— Ой, от этого я отказываюсь! — запротестовала Антонелла. — Неужели будем еще пить?

— Мы-то во всяком случае выпьем,— сказал Весневич, чокаясь со мной.

А потом, обращая ко мне:

— Семейство Кампилли должно вас озолотить.

— За что? — удивился я.

— За столь чтимого ими брата синьоры Кампилли, убиенного Анджея, к которому они много лет стараются привлечь внимание тех священных конгрегаций и трибуналов, в чьем ведении находятся будущие святые. Вы содействовали тому, что в курии снова всерьез заговорили о Згерском.

— С чего вы взяли? — удивился я. — При чем здесь я?

— Во всяком случае там зашевелились после вашего очень смело задуманного визита. Я уверен, что теперь у покойного Анджея опять появились твердые шансы.

Он чокнулся со мной и прошептал:

— За нового святого!

Антонелла надулась:

— Постыдись! Какое богохульство. Сандру это возмутило бы!

Тогда Весневич перегнулся через столик и слегка прикоснулся губами к уголку ее рта.

— Не только это,— тихо сказал он. А потом громко: — В таком случае выпьем за молодость! У молодых, живые они или мертвые, теперь, оказывается, всюду широкие возможности.

Мы выпили коньяк и решили возвращаться. На дворе нас прохватило холодом, и хотя мы к тому были готовы, в первый момент растерялись. Щелкая зубами, мы на ходу одевались — Антонелла накинула меховую шубку, а мы с Весневичем натянули свитеры и укутали шеи шарфами, которыми она нас снабдила. Наконец мы добрались до машины.

— Пресвятая дева, настоящий мороз! — не переставала жаловаться Антонелла, а Весневич при спуске с Монте Каво так стремительно срезал многочисленные повороты, что ей никак не могло стать теплее.

— Вот видишь, не надо было брезгать коньяком, — приговаривал всякий раз Весневич.

Мысль эта так крепко запала ему в голову, что едва мы очутились в Риме, он остановил машину перед первым попавшимся баром, но не нашел там желанного коньяка. Мы двинулись дальше и неподалеку от святого Иоанна Латеранского попали в затор. Море фонариков, подвешенных на проволоке вширь улиц, бесконечные ряды столов, расставленных прямо на тротуарах, масса людей, валом валивших по мостовой, орущих, едящих, пьющих. Весневич обрадовался.

— Вот так история! Ведь сегодня здесь местный праздник! Попроедем и мы!

— Поздно уже! — сказала Антонелла.

— Какое там поздно! — огрызнулся Весневич. — Последние сутки твоей свободы. Выспишься, когда вернется муж.

Мы смешались с толпой, одетой легко, по-праздничному. А мы-то — в свитерах и шарфах. Люди удивленно на нас поглядывали, что еще больше веселило Весневича. Он нашел коньяк, который так настойчиво искал, но не захотел вернуться в машину и тянул нас за собой то в одну сторону, то в другую. Когда становилось тесно, он шел впереди, а мы за ним гуськом. В тех местах, где было чуть просторнее, он брал нас под руку и пускался в пространнейшие рассуждения. Обращался главным образом ко мне. Пьян он не был, но алкоголь, конечно, на него подействовал.

— Если я, — говорил он, — и позволяю себе шутить, это вовсе не означает, будто я не уважаю церковь. Мне с нею очень хорошо. Как я вам уже докладывал, я даже являюсь слугой церкви. По долгу службы совершаю замечательные путешествия, выполняя поручение одного очень древнего рыцарского ордена, призванного к жизни церковью во времена крестовых походов. С разных концов мира приходят к нам заявления о приеме в орден с приложением самых лестных рекомендаций тамошних епископов. Ну я, значит, еду и проверяю на месте семейные связи и, если так можно выразиться, светские качества кандидатов, что нам высочайше предписано, поскольку принадлежность к ордену в равной мере означает принадлежность и к папскому двору, а там, помимо всего, что о нем говорят, не терпят никакой вульгарности.

Теперь он уже перешел на польский. Антонелла устала и не требовала перевода. Она оживилась, когда мы свернули в ту сторону, откуда доносилась музыка, и увидели площадь, освещенную фонариками еще ярче, чем улицы, а в центре площади — большую, разноцветную, вертящуюся карусель с лодками, то уносившимися в небо, то почти касавшимися земли. Мы подошли ближе и принялись подзадоривать друг друга. В конце концов мы с Весневичем сели в одну лодку, предварительно сняв шарфы и свитеры, потому что нам стало жарко. Антонелла смеялась и что-то кричала, но музыка и скрип карусели заглушали ее голос. Мы проделали всего несколько кругов, и нам пришлось вернуться к Антонелле, потому что ее уже начали задевать мужчины. Потом мы еще немножко побродили и, внезапно наткнувшись на машину Весневича, не говоря ни слова, сели в нее, считая вечер законченным. Меня довезли до «Ванды». Здесь мы попрощались.

— Спасибо за компанию, — сказал Весневич. — И желаю успеха.

— И вам успеха! И вам! — ответил я. — Это мне надо вас благодарить.

В комнате — нераспакованный чемодан. Но у меня уже не хватило сил, чтобы за него взяться. Я вытащил только пиджаму и, даже не умытаясь, нырнул в постель, сразу заснул и проснулся около десяти, свежий

и отдохнувший, без следа той подавленности, какую обычно чувствуешь наутро после излишне выпитого накануне. Алкоголь пошел мне на пользу, потому что я двигался, когда пил, а может быть, и оттого, что у меня было легко на сердце. Весь вечер мне было весело. Сны у меня тоже были веселые. Особенно один сон, похожий на тот, что так угнетающе подействовал на меня в Ладзаретто, когда я как-то днем заснул на вершине Монте Агуццо. Теперь мне тоже приснился огромный вращающийся пюпитр, разумеется, все из той же книги Эрле. Однако на этот раз пюпитр напоминал и карусель. Она вращалась, я то съезжал, то взлетал, а за моими эквилибристическими упражнениями, как и в том сне, следили люди из курии. Лица у них были не страшные, а скорее испуганные. Они что-то кричали, но их слова не доходили до меня. Пролетая мимо них, я смеялся, размахивал руками и отпускал всякие шутки, пока в конце концов и они не развеселились.

### XXVIII

Следующие несколько дней в ожидании документа, подтверждающего, что мой отец избрал местом своего жительства торуньскую епархию, я осматривал Рим. Уходил после завтрака, возвращался к обеду, снова уходил. После ужина допоздна слонялся по площадям, улицам и переулкам центра либо шел в кино. В первый день я до полудня писал письмо отцу. Это заняло у меня все утро — первоначальный вариант получился неудачный. Перечитав письмо, я понял, что о некоторых подробностях лучше умолчать. И не только о подробностях, но вдобавок и о всех разговорах, которые я вел перед тем, как уехал из Рима в Ладзаретто. Я упомянул только о визите к кардиналу Травиа, опасаясь, что известие об этом могло уже дойти до Торунни. Если верно, что визит мой имел значение для нашего дела и что его обсуждали в местных канцеляриях, то, пожалуй, о нем прослышали и в той далекой курии, куда, следуя закону сообщающихся сосудов, доходят все слухи. Однако в подробности аудиенции у кардинала я тоже не вдавался. Написал только, что она оказалась полезной и что кардинал хорошо меня принял.

Вообще второй вариант письма изобилует формулировками такого рода, в равной степени оптимистическими и загадочными. Что касается моих хлопот, то я сообщал, что следует рассчитывать на добрый результат, ибо, несмотря на некоторые трудности, нашелся такой выход из запутанной ситуации, который люди, благоволящие отцу, признали самым лучшим. Отправив письмо примерно такого содержания, я успокоился. Оно не исчерпывало вопроса, полно было недомолвок. Я чувствовал это и знал, что, читая письмо, отец тоже это почувствует и в первый момент разволнуется. Но, поостыв, он, конечно, поймет, что у меня, очевидно, были причины, чтобы написать именно так, и будет терпеливо ожидать моего возвращения в уверенности, что тогда он узнает все, что ему не удалось вычитать в письме.

Во второй половине дня, отправив письмо, я бродил по городу без всякой цели. От парка Боргезе до Палатина, от Замка святого ангела до Квиринала. Душно, болят ноги, в глазах рябит, а остановиться не могу! У меня легко на сердце, приятно, что я свободен. Я сознаю, что дело мое не решено и мне нужно ждать. И что ради того я и сижу еще в этом городе, чтобы ждать. Но мне это не мешает. К новому ожиданию я отношусь словно к неопасному, поверхностному рецидиву, только по названию напоминающему прежнюю болезнь. Тем не менее всякий раз, как я приближаюсь к местам, связанным с жизнью отца в Риме, я чувствую легкое покалывание в сердце. Возле отеля Борромини я не останавливаюсь. А когда пан Шумовский трижды в день за едой просит его извинить, так как он все еще не может сопровождать меня в бывший «Аполлинаре», я искренне его утешаю и говорю, что это не имеет значения.

В пансионате, разумеется, никаких делений на две очереди, мы все едим в одно и то же время и беседуем, как и в дни, предшествовавшие «застоя». Однако некоторых тем не касаемся. Никто не спрашивает, где я пропал целую неделю. Ни слова о причинах, побудивших меня изменить первоначальный план, по которому я предполагал сразу по возвращении в Рим двинуться дальше. Ни звука и о том, из-за чего я снова задерживаюсь, хотя уже попрощался со всеми обитателями пансионата. Такая сдержанность понятна: они все знают! Когда я им называю дату отъезда, не упоминая, что она связана с последним днем работы в курии, Шумовский вздыхает:

— Увы, все туристские бюро, даже церковные, продолжают действовать.

На эту шутку я отвечаю вполне искренним смехом; забавно, что Шумовский невольно выдал себя. Мне хочется хоть немножко разрядить атмосферу, потому что сидеть за столом в «Ванде» невесело. Козицкая не отрывает от тарелки своих потемневших глаз. Пани Рогульская всякий вопрос задает дважды. К счастью, Шумовский для таких случаев и вообще на любой случай держит про запас множество занятных подробностей о современном Риме и его истории и всегда умудряется выбрать из них такую, которая уместна в данной ситуации или же позволяет о ней забыть. Таким образом, я охотнее всего обращаюсь к нему, рассказываю, где я был либо куда собираюсь пойти. Тогда он поддерживает меня своей эрудицией и полезными указаниями. Расспрашивает. Вполне естественно, что он — историк искусств — так хорошо знает город, по которому уже лет пятнадцать водит экскурсии. Меня удивляет другая особенность его памяти. Я перечислил все места, где побывал, и он это твердо запомнил. Обсуждая со мной план новых прогулок, он вспоминает все, что я видел в предыдущие дни. Мне осталось провести в Риме совсем мало времени, и он не советует мне посещать те или иные достопримечательности, поскольку я уже видел похожие. Я выражаю удивление: каким образом он это запомнил?

— Что ж, дорогой мой, уродство, связанное с профессией, — отвечает он. — Я вечно вожусь с туристами, которые требуют, чтобы я все за них помнил: то, что они видели и чего не видели, как это называлось и что им напоминало. В противном случае — жалобы и недоразумения. Ах, наказание божье!

— А как у вас с голосом? — спрашиваю я. — Кажется, прошла хрипота, на которую вы как-то жаловались.

— Да, неплохо.

Вмешивается Козицкая:

— Было бы еще лучше, если бы дядя и дома берег голос и не ораторствовал без конца.

Ее присутствие тяжело действует на окружающих. К счастью, Козицкая не всякий раз появляется за столом. Она много времени проводит в больнице. Встает рано, первые утренние часы вертится на кухне, помогает кухарке, потом спешит к Малинскому. После обеда тоже сидит возле него до тех пор, пока это разрешается больничными правилами. Я знаю расписание Козицкой и стараюсь опередить ее. Навещаю Малинского до того, как она туда приходит. Я хожу к нему каждое утро; таким образом, начало дня у меня невеселое. Но мне жаль Малинского, и я не могу забыть, что в самые тяжелые минуты он изо всех сил старался мне помочь. Я не вдаюсь в некоторые аспекты предложенной мне помощи. Достаточно того, что Малинский проявил добрую волю.

В его палате с самого утра стоит тошнотворный, противный запах. На второй день после моего возвращения в Рим я зашел к Малинскому под вечер. Духота невыносимая; спасаясь от жары, в больнице целый день

держат окна закрытыми, даже не чувствуется, что утром проветривали палаты. От застойных запахов лекарств, дезинфекции, пропитанной потом постели кружится голова. У Малинского чистая постель, Козицкая за этим следит и моет его, однако я догадываюсь, что с гигиеной большинства больных дело обстоит неважно. В тот раз я попрощался с Малинским уже спустя четверть часа. Но моя одежда еще долго сохраняла больничный запах — от Козицкой постоянно им несет. Так что и по этой причине я благодарю бога за то, что она не всегда сидит с нами за столом. А в больнице мне ее не хочется видеть совсем по другой причине. Я не пытаюсь что-то вытянуть из Малинского. Расспрашивать его неловко. Он болен и поэтому ведет себя, как капризный ребенок. Добиваться от него откровенных признаний неприятно. Другое дело, когда он начинает первый и ему самому хочется что-то сказать. Случается это, когда мы остаемся с ним вдвоем. Тогда я слушаю.

Я скольжу глазами по его осунувшемуся лицу или перевозу взгляд на коврик, который Козицкая прибила у него над головой. К коврику она приколотла английскими булавками военные награды Малинского и несколько фотографий: дом, где он родился, дом, в котором у него была квартира в Варшаве, а на третьем снимке Пилсудский награждает орденami польских офицеров. В их числе Малинский.

— Мой музей! — говорит он. — Мои святыни!

В комнатке Козицкой я подглядел другие святыни. У Шумовского и у Рогульской тоже. У каждого из них и у всех им подобных есть свой маленький алтарь, пантеон, разрозненное собрание реликвий. Шумовский хранит их для себя и не носит с ними. Козицкая скрывает от чужих глаз. В этой больнице, предназначенной для бедноты, святилище Малинского выставлено для публичного обозрения. Может быть, только для престижа, а может быть, с практической целью, эти реликвии напоминают, что некогда он был фигурой более значительной и заслуживает лучшего отношения и со стороны больных и со стороны персонала больницы.

— Как вы чувствуете себя сегодня? — я неизменно каждый раз начинаю с этого вопроса.

— Неплохо. Неплохо.

— Ну и не повезло вам! — сочувственно говорю я. — В разгар лета!

— Именно это хуже всего. Потому все так тянется. Если бы не жарыща, я, наверное, намного раньше поднялся бы.

Он в свою очередь спрашивается, что я поделываю. Мои туристские походы его не интересуют. Я оберегаю его от подробностей и перечисляю только самые важные из достопримечательностей, которые я посетил.

— Вчера, уйдя от вас, я пошел в Ватиканский музей, — говорю я, например.

— Ага, знаю. Был там, — коротко обрывает он меня.

Тогда мы переходим к более интересным темам. Я рассказываю, что все покидают Рим. Синьора Кампилли с дочерью и внуками уже переехала в Абруццы. С Кампилли я еще увижусь до отъезда, но ни вчера, ни позавчера не видел его, потому что перед отпуском он все время занят. Упоминаю о Весневиче, с которым провел приятный вечер.

— Очень симпатичный тип, — говорю я.

— Э, шут! — морщится Малинский. — И к тому же сноб.

— Вероятно, эти черты объясняются характером его занятий, — защищаю я Весневича.

— Инженер по образованию и занимается такими глупостями!

— Он, кажется, считает эти глупости интересными.

— Потому что здорово на них зарабатывает. Не говоря уж о том, что много путешествует. Занятие у него очень двусмысленное. Он ездит и собирает сведения о миллионерах, которые добиваются ватиканских поче-

стей, и привозит из своих путешествий чеки для разных учреждений. Ну, и процент для себя!

— Собирает пожертвования,— говорю я.

— Торгует,— Малинский понижает голос,— рыцарскими званиями того ордена, для которого он работает. В зависимости от обстоятельств с одних берет больше, с других меньше. И на этом он когда-нибудь влипнет, если его клиенты спохватятся.

Мы спорим. Если он даже прав, осуждая занятие Весневича, то ошибается, предполагая, что ему придется в будущем за все расплачиваться. Я знаю из истории, что испокон веков людям давали различные звания в обмен на материальные ценности и что на это нет твердой таксы. Но Малинский сердито, хотя и не повышая голоса, отводит мои аргументы.

— Я не говорю, будто он ворует! Я не говорю, будто он мошенничает! Будто потихоньку, незаметно откладывает какие-то суммы в свою пользу. Допустим! Что с того? Рано или поздно от него отступятся, отстранят его от работы, как только эта коммерция в весьма растяжимом понимании слова станет привлекать к себе слишком много внимания. Торговлю не прекратят! Слишком доходный промысел, чтобы от него отказываться. Только для отвода глаз на низшей ступени лестницы сменят одного человека. Пешку! Слепого исполнителя!

Говоря о Весневиче, он думает и о себе. Я спрашиваю:

— И что его тогда ждет?

— Карантин. Пока не утихнет шум, вызванный его делом. А потом тесть снова что-нибудь для него подышет.

— А если бы у него не было такого тестя?

— Много всяких неприятностей и унижений. Все, кроме тюрьмы. Разумеется, если такая слепая пешка честно трудилась на своего работодателя. Тюрьма — это единственное, от чего его избавят. Чтобы не раздувать скандала, его кое-как вызволят, спасут от худшей из возможностей.

Возле Малинского нет ни книг, ни газет. В его углу, хоть и неподалеку от окна, в течение всего дня темно. Окно занавешено от солнца. Чтобы доказать Малинскому свое расположение, я купил цветы. Он попросил этого не делать: цветы привлекают мух. Я спросил, играет ли он в шахматы или в шашки, я принес бы ему их. Не захотел. Ни с кем в палате он не познакомился, хотя вокруг полно людей, ко всему он равнодушен. Никем из соседей не интересуется. Когда я прихожу, глаза у него обычно закрыты; я наклоняюсь над ним, и тогда он их открывает. Малинский часто жалуется на больницу. Действительно, если судить по той палате, которую я посещаю, хорошего там мало. Малинский жестоко страдает из-за недостатка воздуха. Однажды, когда он, неведомо в который раз, начал ругать больницу, я не выдержал и спросил, нельзя ли его перевести в другое место. Разговор был при Козицкой.

— Меня тут держат бесплатно,— ответил Малинский.

Козицкая одновременно:

— Конечно, можно.

Он упрямо повторил:

— Меня тут держат бесплатно.

Она:

— Ну и что с того! Лучше платить, чем задыхаться без воздуха.

Спор продолжался еще некоторое время. Нетрудно было заметить, что они спорят по этому поводу уже не в первый раз. Но по каким причинам он так настаивает на своем, я понял только на следующий день. Я пришел к Малинскому ранним утром, в то время, когда Козицкую еще задерживали дела в пансионате. Малинский сам вернулся к этой теме.

— Ися,— он так ее называл; теперь и в моем присутствии он обра-

щался к ней по имени, чего раньше никогда не делал,— не разбирается в обстоятельствах. Правда, у меня есть сбережения, но как только об этом пронюхают, у меня их из рук вырвут.

— Кто?

— Суд. Адвокаты.

— Но все-таки...

Он перебил меня:

— Не знаю к тому же, сколько времени они рассчитывают держать меня в карантине. Возможно, я никогда больше не вернусь на ринг!

— На ринг?

— Не войду в милость! И мне придется жить на эти жалкие накопленные гроши. А кроме того, по некоторым соображениям мне удобнее дольше болеть, чем раньше времени выздороветь. Ися и этого не понимает.

— Ваша болезнь очень ее волнует,— говорю я,— и ей хочется поскорее поставить вас на ноги.

Он на это:

— Для того чтобы смотать удочки! Чтобы с чистой совестью бросить наконец Рим, не оставляя тут без присмотра тяжело больного человека!

Я притворился, будто не понимаю, не слышу. Напрасно. Он хотел довести до конца начатый разговор, углубить тему, которую лишь слегка затронул. Я вспомнил, что мне говорили о Козицкой знакомые из Кракова,— она потеряла мужа в Варшаве за месяц до восстания, а сама сразу после войны прямо из лагеря попала в Рим.

— Я поддержал ее,— дополнил теперь мои сведения Малинский.— Выходил ее. Но с годами наше положение перестало ее удовлетворять. Из Рима уехало большинство ее знакомых. Остались только такие, как мы, это верно, и, быть может, она действительно права — пользуемся мы немногим, а больше используют нас...

Тут он запнулся, стал задыхаться, лоб у него покрылся капельками пота. На столике стоял флакончик с одеколоном, Малинский не мог до него дотянуться. Я помог ему и постарался его успокоить.

— Пожалуйста, не утомляйте себя,— сказал я.— Я более или менее разбираюсь в ситуации. Понимаю.

— Ее или меня?

— Обоих,— ответил я.

Он мне поверил. А может быть, устал. Во всяком случае больше не возвращался к разговору о Козицкой, к теме взаимоотношений расчетов, о которых мне неловко было слышать. По крайней мере не говорил об этом прямо, а только с помощью метафор. Например:

— Такова наша судьба, судьба хромых и слепых, связанных друг с другом. Раньше я ее нес, теперь она меня ведет. Вы понимаете, в каком смысле я это говорю? — Или: — Ей всегда кажется, что везде, помимо Рима, нас только и ждут. Что везде, помимо Рима, мы добудем независимость. А между тем я знаю, что нам уже поздно вато ждать ее. Мне, ей — одним словом, всем, кто попал в здешние условия.

— Ну, ну, да неужели?

Я отвечал на афоризмы Малинского в таком духе, иногда вступал в спор, но чаще старался его пресечь. Потому что спор-то был пустой и никчемный. К тому же я не имел намерения задерживаться у Малинского. С каждой минутой дышать здесь было все трудней. Особенно, когда солнце, миновав башню святого Варфоломея, шпарило прямо в окна большого флигеля. Тогда я уходил от Малинского. На дворе в эти часы уже было жарко и знойно. Но после душной больницы даже раскаленный воздух улицы казался мне благоуханным.

## XXIX

У меня осталось еще два дня. Предпоследний и последний день работы курии. В первый из них, за час до завтрака, меня будит стук в дверь: к телефону! Накидываю халат, причесываюсь. Это длится мгновение, но камерьере за дверью не терпится, она снова стучит. Выхожу в коридор, и тогда она мне сообщает, что звонит междугородная. Подношу к уху трубку. Звонят из Польши. Отец!

— Это я! — кричу. — Здравствуйте, отец! Как я рад!

Я говорю чистую правду, хотя к моей радости примешиваются укоры совести, и я боюсь упреков, потому что так долго не писал.

— Вы получили мое последнее письмо? — глупо спрашиваю я.

— Нет. Уже две недели от тебя нет писем!

Объясняю, почему оборвалась наша переписка. Осторожно подбираю слова, так как знаю, что отец будет волноваться, хотя главные трудности преодолены.

— Мы топтались на месте. Поэтому я и не отзывался, со дня на день ожидал, когда смогу сообщить нечто конкретное. Едва только это оказалось возможным, я тотчас написал.

— Мне знакомы такие вещи, — слышу я голос отца. — Знаком этот порядок.

Затем я перехожу к информации, содержащейся в письме, которое он не получил. Он одобряет метод, предложенный Кампилли и утвержденный монсеньером Риго. С первого слова отец понимает, в чем тут суть.

— Чудесно, — говорит он. — Это положит конец моему делу.

— Жаль только, что хлопоты заняли столько времени, — говорю я. — Догадываюсь, как дорого для ваших нервов обошлось ожидание.

— Неважно. Я вооружился терпением.

— Во всяком случае хорошо, что вы позвонили, отец. Теперь вы можете быть более спокойны.

Тогда он:

— Я не за тем звоню. Скажи, ты в Риме не слышал, кого прочат в приемники Гожелинского?

— Нет.

— А у нас считают твердо решенным, что назначение получит каноник Ролле.

— Вот здорово! — говорю я, памятуя о дружбе отца с каноником. — Если это верно, я зря ездил в Рим!

— О нет, Рим — это Рим! К тому же неизвестно, насколько достоверно то, о чем я тебе говорю. Попросту так говорят здесь люди, обычно хорошо осведомленные.

— А как само заинтересованное лицо? Что он говорит?

— Со дня смерти Гожелинского каноник Ролле находится в Познани, которой, если ты помнишь, подчинена наша епархия. Самый этот факт дает поводы для размышлений. Во всяком случае сразу же сообщи Кампилли относительно Ролле. Такая информация может иметь кое-какое значение.

— Конечно, сообщу, если вы того хотите, отец. Только это мало что даст: Кампилли сегодня во второй половине дня уезжает в Аbruццы.

Отец на это:

— Знаю. Я разговаривал с его слугой. Сперва я позвонил на виллу Кампилли — ты ведь писал, что там живешь. А слуга дал мне номер телефона твоего пансионата.

Нужно было разъяснить положение, и я произнес еще несколько слов, разумеется далеких от правды и соответствующих версии, выгоражи-

вавшей Кампилли: дом закрыли на лето и даже сам Кампилли ночует не в римской вилле, а в Остии. Наконец последний вопрос отца:

— А когда ты получишь для меня документ?

— Сегодня после полудня, а самое позднее завтра с утра. Я поддерживаю постоянный контакт с секретариатом монсеньера Риго, и меня торжественно заверили, что я получу документ прямо в руки.

— Ну, так спасибо за все, и как только он будет у тебя в руках, дай телеграмму, сынок. Приветствуй от моего имени Кампилли и до свидания!

— До свидания! До свидания!

Я вернулся в комнату, оделся, позавтракал и — в город. Ролле я знал, он человек рассудительный и в большом долгу перед отцом — ведь без его помощи каноник не справился бы в тот период, когда ему пришлось управлять курией. Если бы действительно назначили Ролле, он с легким сердцем принял бы римский документ, восстанавливающий права человека, обиженного покойным Гожелинским именно за то, что он старался помочь нынешнему епископу. В такого рода делах позиция нового епископа имела неоценимое значение для отца: ведь случается, что и в куриях саботируют волю Рима. А так документ и воля нового епископа были в полной гармонии. Взвесив все это, я обрадовался. Только я предпочел бы уже иметь документ в кармане.

На площади ди Вилла Фьорелли я сажусь в автобус. Он идет отсюда прямо за Тибр, с остановкой на мосту Гарибальди, в двух шагах от острова, где находится больница святого Варфоломея. Возле моста в киоске с фруктами я купил Малинскому на прощанье корзинку с персиками, а в парфюмерном магазине, по пути, флакон лавандовой воды. С этими покупками я забежал в больницу только на минутку. Попрошались мы очень сердечно.

Времени впереди было много, но по мере того, как приближался момент отъезда, мне все сильнее хотелось узнать тот Рим, который я вскоре собирался покинуть.

В меру моих сил я выполнил задачу, ради которой сюда приехал. Места, которые следовало посетить в первую очередь, посетил. Теперь все это уже было позади, нервное напряжение улеглось, и я собирался провести последние часы как вздумается, ничем и никем не тревожимый. Я двинулся прямо вперед, выбрав себе маршрут вдоль реки, шел, любясь платанами и дворцами на противоположном берегу и садами, воротами и каменными стенами по правой стороне. Так я добрал до моста Кавура. В этот момент взгляд мой упал на скамейку, я тут же с превеликим удовольствием на нее опустился и просидел почти до одиннадцати. Потом встал, чтобы поспеть на свидание с Кампилли.

Мы условились встретиться в книжной лавке, торгующей художественными изданиями на piazzа ди Спанья. Кампилли пришел раньше меня и уже рассматривал великолепный альбом, посвященный архитектуре и музейным коллекциям Ватикана. Он выбрал альбом мне в подарок. Уславливаясь о часе встречи, он сказал, что хочет купить сувениры для отца. Оказалось, что щедрость Кампилли распространяется и на меня, причем ее размах меня смущал, принимая во внимание цену подарка. Тем более что Кампилли ведь мне помог деньгами. Он прервал поток моей благодарности в тот момент, когда я намекнул на последнее обстоятельство.

— Оставь! Мне приятно, что у тебя будет такой альбом. В особенности потому, что, так или иначе, ты не без горечи покинешь нас. Я много думал о нашем последнем разговоре и о твоих упреках и укорах. Ты приехал к нам из другого мира, и тебя поразили некоторые особенности нашей жизни. Поразила наша осторожность, нерешительность, оглядка

друг на друга и всякие наши цепные реакции и рефлексы. Надо нам их простить, ведь мы находимся в центре стольких скрещивающихся влияний и действуем под бременем великой ответственности.

— Я все это понимаю,— ответил я,— и со временем всякая горечь — или, точнее, неприязнь к явлениям такого рода,— поверьте, у меня исчезнет. Но, искренне говоря, я легче справился бы со своими сомнениями, если бы не чувствовал, что последнее из соображений, которые здесь принимают в расчет, это соображение справедливости.

— А понимаешь ли ты,— сказал Кампилли,— о сколь многих вещах нельзя забывать, когда принимаешь любое серьезное решение на такой высокой, венчающей целые миры ступени, как наша курия? Помимо справедливости, о которой ты говоришь, существуют десятки других соображений, и ни одно из них нельзя упустить. В этом и заключается сущность нашей работы и наше призвание.

Мы вышли на улицу. Кампилли взял меня под руку, я понес альбом. Мы свернули вправо, на улицу Кондотти, где расположены самые красивые и дорогие магазины, которые столько раз расхваливал мой отец. Диалог наш продолжался.

Я:

— Но ведь и жизнь, и история, и опыт каждого из нас в отдельности доказывают, что люди прежде всего добиваются справедливости. Разве это ничему не учит?

Он полушутя, полусерьезно:

— Нас — нет! Мы ничему не учимся, а если уж учимся, то перестаем верить в смысл своего существования, и тогда наше место занимают другие.

Сразу за углом пьядца ди Спанья Кампилли вошел в магазин мужской галантереи. Поздоровался с хозяином, видимо своим постоянным поставщиком, и, обо всем со мной советуясь, выбрал несколько галстуков, два шарфа, один шелковый, другой шерстяной, пояс для брюк из крокодиловой кожи, коробочку с носовыми платками. Это были подарки для отца. Нагрузив меня ими, он взглянул на часы и сказал, что у него еще есть время, можно выпить кофе. Мы пошли вниз по улице Кондотти и свернули влево во дворец Шара-Колонна — там помешался клуб Кампилли, тот самый «Чирколо Романо», где мы встретились несколько дней назад. По большим плоским ступеням мы поднялись на второй этаж, а здесь вступили в прохладу и тишину знакомого уже мне большого зала — не то читальни, не то курительной,— где в тот раз мы пили кофе после обеда. Мы уселись в тех же самых великолепных удобных креслах, что и тогда. Нам сразу подали кофе. Я закурил.

— Я много думал о нашем последнем разговоре,— повторил Кампилли.— Не спорю, кое в чем ты прав. Взглянув со стороны, ты замечаешь те аспекты, которых мы в силу привычки уже не замечаем. Но в то же время я опасаясь, что ты не ухватил самого существа дела, главного смысла действий того великого механизма, с которым ты соприкоснулся. Он сам по себе является внушительной действительностью, превосходя все другие механизмы того же рода своей глубиной, чистотой и размахом мысли, многомерностью. Ибо знай, что, помимо всех иных земных и людских измерений, он учитывает еще одно: мистическое!

Тогда-то и зашел разговор об Анджее Згерском, брате синьоры Кампилли, убитом в 1917 году, и о том, что мне сказал Весневич: будто после моего визита к кардиналу Травиа шансы Згерского на ореол святости резко поднялись, а кандидатура епископа Гожелинского отпала. Пожалуй, я сам направил разговор по этому пути. В тот вечер я не придумал особого значения информации Весневича. Только теперь, после слов Кампилли о разных измерениях, меня поразило одно обстоятельство. Если

все так и происходило на самом деле, то почему один кандидат сменил другого, какое измерение принималось тут в расчет? Услышав мой вопрос, Кампилли беспокойно заерзал в кресле, но, несмотря на это, после паузы ответил:

— Не знаю, какое измерение. Нет, этого я не знаю. Однако тебя не должно удивлять, что у нас все принимается в расчет, что план на текущий день пересекается с планом, обращенным к бессмертию. Твердо известно одно: каждый из этих планов действует в своей области, хотя всюду и всегда учитывается весь комплекс, все измерения и все планы, ибо ведомство, о котором мы говорим, можно уподобить искусственному мозгу, решающему одновременно сотни уравнений.

— Но так или иначе, независимо от всех этих сложностей,— сказал я,— ваша жена должна была пережить безмерно волнующие минуты, когда узнала, что в курии переменялась точка зрения.

— Она уже привыкла,— ответил он.— Такие перемены происходят не в первый и, я полагаю, не в последний раз.

— Ах, вот как! — удивился я.

— Колебания! Колебания! — сказал Кампилли.— Если надо слишком многое учитывать, то легко растеряться и трудно принять решение. Конечно, когда до нас дошла весть о происшедшей перемене, мы обрадовались, прежде всего жена, в особенности потому, что в той области, с которой связаны ее надежды, давно царил застой.

Я как эхо повторил вслед за ним:

— Застой!

— Да, застой, застой,— сказал он, раздраженный тем, что я его прерываю, и забыв, что совсем недавно употребил это слово применительно к моему делу.— Следовательно, мы обрадовались, но тотчас поразмыслили и пришли к выводу: скромность и спокойствие, спокойствие и скромность.

После паузы он продолжал:

— Поскольку ты дружески к нам расположен, прими как должное наш вывод. Мне важно, чтобы ты зря не называл фамилию нашего мученика, не говорил о его возрастающих возможностях и уж ни в коем случае о том, будто Травиа симпатична именно такая кандидатура. В нашем деле надо ко всему подходить с тактом, соблюдая осторожность.

Кампилли решил переменить тему.

— А у тебя что? — спросил он.— Когда ты получишь документ в Роте?

— Сегодня либо завтра, но самое главное: звонил отец!

Я изложил в общих чертах содержание нашего телефонного разговора и передал сообщение о канонике Ролле. Я сказал, что отец сперва звонил на виале Ватикано и только потом, услышав, что я там не живу, в пансионат «Ванда».

— О, боже мой! — вскричал Кампилли.— Как охотно я поговорил бы с ним. Какая жалость! Я ничего не знал! По приезде из Остии я даже не заглянул домой. И вот такая новость!

— А что вы думаете относительно известия, которое сообщил отец? — спросил я.— Пожалуй, оно хорошее? Вы помните, это тот самый каноник...

Он перебил меня:

— Конечно. Ты однажды набросал его портрет и рассказал, какую роль он сыграл в жизни отца. Подожди. Я соберусь с мыслями.— Он протянулся к чашке с кофе.— Да,— заявил он наконец.— Сообщение, вероятно, достоверное. Скажу даже больше: правдоподобное.

— Что это значит?

— Достоверное,— пояснил Кампилли,— ибо я вспоминаю, что в последнее время о Ролле стали говорить как о преемнике покойного Гоже-

линского. А правдоподобное, поскольку имя покойного больше не пользуется здесь таким авторитетом, как вначале. Отсюда стремление к перемене.

— Курса? — спросил я.

— Или хотя бы стилиа. Не знаю. У меня слишком мало данных, чтобы высказывать точное суждение.

Я:

— Во всяком случае у этого человека есть обязательства по отношению к моему отцу.

Он:

— Прежде всего по отношению к церкви.

Я:

— Ну и старый долг благодарности.

Он:

— Не всегда можно об этом помнить, если поднимаешься на столько ступеней выше.

Высказав эту истину, Кампилли улыбнулся.

— Ну, не будем каркать,— продолжал он.— Ты говоришь, что он человек добрый и рассудительный. Следовательно, одним шансом больше в пользу твоего отца. Разумеется, уже в Торунни. После того как в Риме примут решение.

— Лишь бы его в конце концов приняли! По временам меня одолевает страх, мне кажется, будто все, что теперь происходит, это только игра на промедление.

— Боишься, что уедешь ни с чем?

— Вот именно!

— Ах, нет, невозможно. Это было бы слишком просто. Недостойно курии.

— Почему же все так затягивается?

— По многим причинам! Потому, что возникают новые точки зрения! Потому, что природа их разнообразна. А в связи со всем этим очень трудно прийти к окончательному выводу.

Он поглядел на часы. Удивился. Было больше двенадцати.

— К сожалению, мне уже пора,— сказал он.— Обними от всего сердца твоего отца. Можешь вполне откровенно ему рассказать о наших хлопотах, о наших победах и провалах, ничего от него не утаивай. Он все поймет. Ничего дурно не истолкует. Передай ему от меня подарки, которые мы вместе с тобой купили. Это безделушки. Но он как раз писал мне недавно, что у вас особенно не хватает красивых мелочей.

— В некотором смысле.

— А тебе ничего не нужно, милый мальчик?

— Абсолютно ничего. Спасибо.

— А деньги?

— Тоже не нужны. Вполне достаточно тех, что вы мне дали. Спасибо. И за чудесный альбом тоже большое спасибо. И за все! За все!

Но настоящее волнение охватило меня лишь после того, как мы спустились по лестнице во двор, где Кампилли в прошлую нашу встречу оставил машину, и я наконец перестал твердить, как попугай, о своей благодарности. Машины на этот раз не было. Она с утра ждала его в мастерской, куда он ее поставил для осмотра перед сегодняшней поездкой в Аbruццы. Я проводил его до такси. Он уже закончил все дела. Оставалось только взять машину и заехать домой за слугой и чемоданами. Кампилли рассказал мне об этом, пока мы дошли до ближайшей стоянки такси за углом. А на меня все время волна за волной накатывало задушевное, теплое чувство. Я вытирал со лба пот, он тоже. Я подумал о том, что из-за меня он задержался и теперь поедет в самую

жестокую жару. Но я не смог найти слов, чтобы объяснить, как я ценю его доброту. Жестами я тоже ничего не мог выразить, так как руки у меня были заняты, и я старался по крайней мере улыбкой и взглядом передать то, что чувствую.

— Не вспоминайте обо мне дурно,— прошептал я.

— А ты о моей помощи,— попросил он.

— Да что вы, никогда! — вскричал я.

— Ну, вот и хорошо,— ответил он.

Он снял очки. Сунул их в карман пиджака, где у него торчал платочек. Какое-то время мы с глубокой сердечностью глядели друг другу в глаза. И улыбались. Длилось все это недолго. Он торопился. У меня замлели руки. Кроме того, нужно было следить, чтобы публика на стоянке не перехватила такси, как обычно бывает в это время дня, да еще в центре.

### XXX

Сегодня уезжаю. Вчера прощался с Кампилли и звонил в Роту. Документ не готов. Брожу по городу до семи, возвращаюсь в пансионат к ужину и снова ухожу. Это мой последний вечер в Риме. Мне дорог каждый час. Улицы и площади центра искрятся огнями. Жара не спадает. Почувствовав усталость, я захожу в кафе и заказываю апельсиновый или лимонный сок. Отдыхаю, но недолго, потому что жаль терять время. Да мне и не сидится. Нервы взвинчены. По разным причинам, но прежде всего в связи с отъездом.

Секретарь монсеньера Риго посоветовал мне звонить с самого утра. Звоню. Никто не отвечает. Звоню четверть часа спустя. К телефону подходит служитель. Говорит, что секретарь поехал на вокзал проводить монсеньера Риго и вернется через полчаса. Ну, если так, я иду в столовую завтракать. Там полно. Рогульская уже ушла в амбулаторию, Коцицкая — к Малинскому, Шумовский поторапливает группу англичанок, которые приехали позавчера и намереваются осматривать замки под Римом. Обмениваюсь с Шумовским несколькими фразами, как всегда на одну и ту же тему — об «Аполлинаре». После моего возвращения из Ладзаретто вновь ожил его давний план — показать мне бывшую школу отца и стоящую с ней по соседству церковь. План так и не удалось осуществить: бедняга Шумовский занят с утра до вечера.

— Так, может быть, завтра или еще лучше послезавтра,— утешает он себя.

— Я сегодня уезжаю,— напоминаю ему.

— Ах, правда! Вот она, моя жизнь в Риме! Ни одной свободной минутки для себя или для друзей.

— Во всяком случае сердечно благодарю вас за доброе намерение.

Он не отвечает. Его внимание отвлекла от меня группа англичанок. Они разбредаются по пансионату в тот самый момент, когда надо садиться в автобус. Наконец во главе с Шумовским они исчезают. Я доедаю завтрак и еще раз пытаюсь соединиться с секретарем в Роте. Он уже вернулся. Приглашает меня к двенадцати.

— Значит, все в порядке? — спрашиваю я.— Документ будет?

Он на это:

— Жду вас между двенадцатью и половиной первого. Не позднее, потому что я заканчиваю работу.

Это не ответ на мой вопрос. То ли он его не расслышал, то ли в последний день у него нет времени для разговоров. Я кладу трубку, захожу в свою комнату, ставлю чемодан на стол и начинаю укладываться. Бумаги и книги вниз, альбом ватиканской архитектуры положу сверху:

буду рассматривать его в дороге. В течение десяти минут очень старательно пакую вещи. И вдруг бросаю. Я не чувствую тревоги, у меня нет никаких сомнений относительно того, что дело улажено, но я не могу сидеть дома.

Девять часов. Сбегаю по лестнице и в маленьком баре на углу виа Авеццано и площади Вилла Фьорелли стоя выпиваю чашку кофе. За углом остановка. Я вижу, как приближается троллейбус. Расплачиваюсь, бегу и вскакиваю в вагон. Уложить вещи всегда успею. Вчера вечером, слоняясь по городу, я неожиданно заметил, что нахожусь в двух шагах от вокзала. Отправился туда, отыскал столик, за которым мы в последний раз сидели с Пиоланти, выпил еще одну порцию лимонада, а потом подошел к доске с железнодорожным расписанием и выбрал наиболее удобные для меня поезда. Теперь, в троллейбусе, я заглянул в календарик, куда все записываю. Один поезд уходит в час, на этот мне не поспеть. Следующие в четверть третьего, в три, в половине четвертого. Все они идут по маршруту, для которого мой билет действителен. Я составил список расположенных на этой трассе городов, которые мне хотелось посетить. Рассматриваю теперь мой список и радуюсь. Названий много, и поездов много. Есть, из чего выбрать! От всего вместе взятого у меня возникает ощущение, будто я преодолел сопротивление пространства и наконец наслаждаюсь полной свободой. Наглядевшись на свои записи, я прячу календарик и смотрю в окно. Троллейбус как раз сворачивает на корсо дель Ринашименто, на площадь перед зданием бывшей школы моего отца и церковь святого Аполлинаре. Мы проезжаем мимо. На ближайшей остановке я схожу.

Сперва заглядываю в церковь, оттуда веет холодом. Я сажусь на скамейку. Мерцает лампадка перед алтарем, под которым, по мнению Шумовского, покоятся останки святых армян. У этого алтаря молился мой отец, трепеща от страха перед приближающейся *examinum sessio*<sup>1</sup>. Академический год начинался торжественной мессой в этой церкви. Отец не раз мне ее описывал. Теперь в церкви пусто и темно, стены обезображены украшениями в стиле барокко. Я выхожу на площадь перед церковью, чтобы посмотреть оттуда на ее фасад, которым так восторгался отец. Линии тяжелые и строгие, но очень красивые. Большое сходство с фасадом самого «Аполлинаре». Я долго рассматриваю здание, потом иду к воротам, ведущим во двор, и, так же как в первый вечер моего приезда в Рим, опираюсь руками на решетку и люблюсь фонтаном — теперь, как и во времена отца, кажется, будто вот-вот иссякнут последние запасы его воды. Кроме фонтана, кроме его анемично стекающей струи, двор мертв, ничто там не шелохнется. Я делаю один шаг и читаю надпись на прибитой сбоку табличке, заменившей прежнюю, с названием юридической школы «Аполлинаре», ныне присоединенной к латеранскому атенеуму. Новая табличка безупречно позолочена и ярко сверкает. Отец, наверно, нашел бы, что она не подходит к потускневшему от времени фасаду. В особенности потому, что это табличка рядового лица.

Я еще раз обхожу площадь. За углом маленькая книжная лавка «Libreria S. Apollinare». И о ней я тоже слышал от отца. Здесь студенты «Аполлинаре» приобретали учебники и печатные лекции. К концу года они продавали одни книги, покупали другие, а в течение года, случалось, и закладывали их. Маленькая, заставленная книгами витрина манит меня. Я пробегаю глазами названия. Хотя бывшая юридическая школа переехала далеко отсюда, книжная лавка не изменила своего характера. На выставке по-прежнему полно книг, посвященных исследованию

<sup>1</sup> Экзаменационная сессия (лат.).

utriusque juris<sup>1</sup>, гагиографии<sup>2</sup>, истории церкви и вспомогательным дисциплинам. Некоторые труды я знаю, не потому, что изучал их,— просто они попадались мне в библиотеке отца. Во время войны она сильно поделалась. В ней образовались серьезные пробелы, отец часто на это жаловался. Перед отъездом я не составил списка недостающих книг, так как не рассчитывал, что у меня окажутся свободные деньги в Риме. А между тем как раз теперь я мог бы кое-что купить для отца. Вспоминаю, что у него даже нет полного комплекта «*Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae*»<sup>3</sup>. Я не запомнил, каких именно выпусков недостает, однако последних, изданных после войны, у него, наверное, нет. Я вхожу в лавку, чтобы спросить о них. Книготорговец, очень старый, медлительный и глуховатый, дает мне четыре тома, самые последние. Они стоят дорого, я довольно долго в задумчивости разглядываю их. Вдруг старый книготорговец говорит:

— *Lei, signor dottore, non mi sembra straniero!*

В переводе это значит, что я не кажусь ему иностранцем<sup>4</sup>. Отвечаю, что я все-таки иностранец. Тогда он говорит, что я его не понял. Дело в том, что мое лицо кажется ему знакомым.

— Давно у вас эта книжная лавка? — спрашиваю я.

— Она мне досталась в наследство от отца, погибшего во время первой мировой войны.

— А мой отец учился в «Аполлинаре»,— говорю.— Наверное, он покупал у вас книги.

— *Un Polacco?*

— *Bravo!* Что за память! — восхищаюсь я.

Мой восторг трогает его. Разговор оживает. Старый книготорговец вспоминает минувшие годы и сокрушается, что многое изменилось с тех пор, как он лишился столь ценного для него соседства «Аполлинаре». Все это время я перебираю лежащие на прилавке тома «*Decisiones seu Sententiae*». Переглядываю их, откладываю, никак не могу решить, сколько на них потратить.

— Вы берете их для отца?— спрашивает книготорговец.

— Для отца.

— А как ему живется?

— Да так, не слишком,— говорю я.

Книготорговец отворачивается и слабыми, старческими руками тянется к полке. Кладет передо мной четыре тома, как раз те, которые мне нужны, только в переплете. Я возражаю. Но оказывается, что переплетенные стоят дешевле — они подержанные. Разница в цене значительная. От радости я покупаю все четыре тома. Старичок принимается их паковать. Процедура для него тяжелая и длится долго, а я тем временем разглядываю книги на полках. Название одной из них вызывает у меня интерес: «*Santa Catherina d'Alessandria nelle legenda e nel' arte*»<sup>5</sup>. Беру книгу, перелистываю: полно иллюстраций. У меня бешено колотится сердце: ведь это и есть та самая святая, сопокровительница Роты, чей портрет я безуспешно искал на старинных печатях в Ватиканской библиотеке. Среди иллюстраций попадаются репродукции картин Ван Эйка, Мемлинга, Корреджо и снимки церквей, построенных в честь этой мученицы. Она жила в четвертом веке, но ее чудесную историю прославили лишь крестоносцы.

<sup>1</sup> Обоих прав (гражданского и церковного) (лат.).

<sup>2</sup> Описание священных предметов.

<sup>3</sup> «Решения и приговоры Священной Римской Роты» (лат.).

<sup>4</sup> *Straniero* — имеет несколько значений: чужеземец, иностранец, чужой, чуждый, незнакомый (итал.).

<sup>5</sup> «Святая Катерина Александрийская в легенде и в искусстве» (итал.).

Листаю первые страницы книги, самые ранние иконографические материалы,— и замираю. Есть! Есть печать! Фотография замечательная. Эмблема в центре печати сохранилась великолепно. Читаю пояснения под иллюстрацией. Печать заимствована из ватиканских коллекций. Документ, который она сопровождает, относится к авиньонской эпохе. Это приговор Роты. На эмблеме показаны оба патрона Роты: Катерина и Августин. Святой Августин одной рукой поддерживает миниатюрную скамью, очевидно судейскую, а другой рукой на нее указывает. Скамья в форме круга. Сцена, изображенная на эмблеме, может иметь только один смысл. Круглая скамья — символ трибунала, который в ту эпоху стали называть трибуналом Роты, то есть как бы трибуналом круга или диска, ибо таково значение слова *rota* и в классической и в средневековой латыни. Значит, подтверждается моя догадка, родившаяся во Вроцлаве, где я напал на адресованное тамошней курии послание испанской Роты — довольно позднее, с поврежденной печатью. Я обрадовался, но радость моя тут же остыла. Я не мог считать свою гипотезу документально обоснованной, для этого недостаточно было прекрасной второй печати, которую я теперь разглядывал. С методологической, научной стороны система доказательств была слишком шаткой. Я разозлился. Тот факт, что новая печать подкрепляла мою версию, только раздражал меня. Ибо много ли толку было мне как научному работнику от собственной уверенности, если я ничем не мог обосновать ее. Все мои прежние притязания были теперь бессмысленны. Я так разволновался, что весь вспотел. Я взял книгу и присоединил ее к уже запакованным томам. Я понимал, что любой человек, интересующийся историей Роты, вернее происхождением ее загадочного названия, взглянув на снимок, который я только что рассматривал, задумается над ним и сможет пойти дальше по тому пути, откуда меня толкнули. Таким образом, я купил себе книгу вовсе не для того, чтобы завершить свой труд, а сам не знаю зачем. Разве что как доказательство нелепости того, что произошло со мной, и моей обиды. Я снова вытер свое вспотевшее лицо.

— Какая жара,— сказал я.

— Что поделаешь, подходит самый разгар лета,— заметил книготорговец.— Теперь пора покинуть Рим.

— Правильно,— сказал я.

— И я тоже закрываю магазин. Мои покупатели разъезжаются.

Мы попрощались. Я вышел на улицу. Меня обдало жаром. Зной плывет с неба. Лучи солнца режут глаза. Я посмотрел на часы. Еще целый час! Я провел его в баре напротив дворца Канцеллерия. В том самом баре, где несколько дней назад я пил кофе, а Весневич вызывал по телефону кузину Сандры. Я забился в самый дальний угол. Здесь было душно. Тогда я перебрался на свежий воздух, сел за столик на тротуаре, под сенью оранжевого тента. Но солнце проникает и сквозь него. Чтобы убить время, я распаковываю купленную мною монографию. Читать неудобно, а тем более рассматривать иллюстрации. От блестящей меловой бумаги, на которой они напечатаны, лучи отражаются, как от зеркала.

Наконец бьют большие часы на церковной башне возле дворца. Они приносят мне освобождение. Двенадцать. Я могу уже идти в Роту. Расплачиваюсь. Пересекаю площадь. Медленно поднимаюсь по лестнице вовсе не от жары и не потому, что мне трудно дышать, а просто от волнения. Вот и эбеновые полированные двери. Медная начищенная ручка. Служитель. Столик перед ним пуст. Исчезла кипа печатных изданий, и служителю не надо вкладывать их в большие конверты. Он уже закончил свои обязанности! Я справляюсь о секретаре. Служитель молча отводит руку назад, показывая, куда идти. Впрочем, мне не нужно объяснять. Я знаю, в какой коридор следует пройти, а что касается комнаты, так я

тоже хорошо помню: первая налево. Секретарь, молодой невысокий священник, на мгновение впиается в меня близорукими глазами за сильными стеклами. Узнает меня. Стол перед ним чисто прибран. Никаких папок. Только какое-то письмо, священник как раз его дописывает. Сбоку, на блестящей доске стола — конверт. Рядом свеча, палочка сургуча, спички. Священник отрывается от письма. Берет конверт. Вручает мне. Я держу его, и рука у меня слегка дрожит.

— Можно прочесть?— спрашиваю.

— Я жду этого, чтобы запечатать письмо,— отвечает священник.

Конверт большой, твердый, адрес напечатан на машинке. В левом углу большими буквами проштамповано полное название Роты. Священник указывает мне рукою на стул. Но я стоя извлекаю из конверта документ. Прочитываю его раз, другой. Я задыхаюсь, крепко зажмуриваю глаза и только тогда сажусь. В документе все правильно: имя отца, фамилия, даты. Только не совпадает название епархии, которую Рота подтверждает как местожительство отца.

— Произошла ошибка,— говорю я.

Священник смотрит на меня. Я на него. Глаза у священника из-за толщины стекол огромные, деформированные. Взгляд рассеянный. Я настойчиво твержу свое. Он глядит на меня. Не отвечает. Я упрямо еще раз повторяю те же два слова. Но я уже догадываюсь, что говорить об искажении в тексте наивно. И, несмотря на это, почти кричу:

— Не «dioecesis Tarnoviensis», а «dioecesis Toruniensis»! Ведь мой отец живет не в Тарнове, а в Торуни. В документе ошибка.

Подношу бумагу к самым глазам секретаря. Но он не обращает на это внимания либо не хочет лицемерить. Я так взволнован, что меня всего трясет. Дрожат колени, а я положил на них конверт. Он падает на пол. Священник встает, нагибается, поднимает конверт, кладет на стол.

— Вы знакомы с моим делом?— спрашиваю я.

— Полагаю, что да.

— Тогда вам должно быть понятно, что означает изменение в тексте. Оно означает, что отцу дают возможность работать по специальности, но предлагают убраться из своего города. Почему с ним так поступают? За что?

Священник по-прежнему молча ждал. В силу привычки или из чело-веклоубия. Я чувствовал, что терпение его неистощимо, и вместе с тем я понимал, что торчать здесь и что-то ему объяснять бессмысленно. Теперь ничего уже нельзя изменить. Итог подведен. Я протянул руку за письмом, которое формально признавало права моего отца, но только формально и не полностью, ибо открывало не ту дверь, которую раньше несправедливо перед ним захлопнули, а совершенно другую. Увидев документ в моих руках, священник решил, что я наконец справился с собой и примирился с фактом, но все-таки он спросил:

— Итак, я могу рассчитывать, что вы отдадите письмо своему отцу?

— А что же еще мне с ним делать?.

— В таком случае верните мне его на минутку. Я должен его запечатать.

Я протягиваю ему документ. Священник открывает ящик стола и достает оттуда печать. Зажигает свечу. Разогревает сургуч. Я молчу. Чувствую себя сверно. А в голове настойчиво вертится один и тот же вопрос: за что, почему? Один вопрос, а может быть, два, поскольку казус отца— это одно, а причины, побудившие курию принять свое решение,— нечто иное. Наконец печать готова. Современная, из одних литер, без фигур.

Кладу письмо в карман. Мы со священником кланяемся друг другу. Я ухожу. Спускаюсь по лестнице шаг за шагом, медленно, медленно. Вдруг голова у меня так кружится, что я останавливаюсь и прислоняюсь к стене. Минутку отдыхаю. Спускаюсь ниже. Снова кружится голова. К счастью, я нахожусь на втором этаже с широкой балюстрадой и колоннами, к ним можно удобно прислониться, а кроме того, они загораживают меня и со стороны лестницы и со стороны двора. Впрочем, опасаться, будто меня увидят, нелепо. Во дворе совершенно пусто. Так же, как и на лестнице. Так же, как и во всем дворце Канцеллерия. Так же, как и на вилле четы Кампилли. Так же, как в здании Грегорианы. Нигде никого, ни живой души: ни спросить, ни попросить, ни поговорить нельзя. Во всех канцеляриях такая же чистота и порядок, как и на том столе, наверху, с которого теперь смахнули последние бумажки, поскольку со мной покончено.

Голова моя не перестает кружиться. Но в преследующем меня хаосе я внезапно вижу причины, по которым принято данное, а не иное решение. Причины все множатся, сталкиваются друг с другом. Одни — как будто непознаваемого порядка, другие — крепко заземленные. Одни затрагивают большие проблемы, другие — мелочные. Среди них немало и таких, которые связаны лично со мною, потому что я водил дружбу с отстраненным от дел Малинским или с неблагонадежным Пиоланти. От жары смятение в моих мыслях усиливается. Стараюсь прийти в себя, положить предел догадкам и подозрительности, отбросить все неправдоподобное и пустое. В конце концов доводы и мотивы, которые курия могла принять во внимание, вихрем проносятся передо мной, движутся по кругу, обретая зримые формы, вращаются, распяты на крылах гигантского пюпитра, и в определенный момент меняют очертания; теперь они кружатся в пестрых, разноцветных лодках карусели. Взгляды и точки зрения олицетворяют люди, живые и умершие, уже действующие или вступающие в действие. Среди них нет только одного человека. Ни на одном крыле, ни в одной лодке я не вижу моего отца. Вероятно, потому, что в высоком ведомстве соображения, связанные с личностью моего отца, не сыграли никакой роли в его собственном деле.

Мало-помалу я все-таки прихожу в себя. В последний раз пересекаю площадь перед дворцом Канцеллерия. Снова бар. Снова кофе. Обязательное такси. Опускаю стекло. Струя воздуха, хоть и теплое, освежает меня, действуя, как вентилятор. Подъезжаю к пансионату уже с просветлевшей головой. Скоро час. Я еще поспею на поезд в два пятнадцать. От обеда отказываюсь. Я не в состоянии ничего проглотить. Разворачиваю пакет с книгами. Все кладу теперь на дно чемодана. Монография о святой Катерине выскользывает у меня из рук. Я поднимаю ее с пола и тоже запихиваю вниз. Вещи укладываю спокойно. Уже с более ясной головой подвожу итог событиям за месяц пребывания в Риме. Я приехал сюда прежде всего ради отца, а попутно и ради себя. Я не добился ничего. Не решил научной проблемы, которую, как мне кажется, вскоре решат и без моего участия. Отец мой не будет исполнять в Тарнове те самые обязанности, которые ему не дозволено исполнять в Торуни. Не думаю, чтобы при сложившихся обстоятельствах, и особенно в его возрасте, он решил бы покинуть свой город. Вот итог достижений в этом порочном круге!

Наконец чемодан уложен. В пансионате нет никого, кроме Рогульской. Мы прощаемся в ее комнате. Пожилая дама с благородным профилем и большими мрачными глазами — когда-то она, вероятно, была красива — протягивает мне бескровные тонкие пальцы. Силует ее вырисовывается на фоне стены, сплошь увешанной фотографиями города, покинутого ею двадцать лет назад. Снимки эти — ее музей. Она взволнована тем, что я уезжаю в Польшу, и держится несколько патетически.

Просит, чтобы я «передал привет нашим общим знакомым и поклонился незнакомой родине». Целую ей руки и еще раз благодарю. Все вместе отнимает у меня немного больше времени, чем я предполагал. Но все-таки мне удается поспеть к поезду. Чемодан кидаю в сетку, встаю у открытого окна — и в конце концов пускаюсь в обратный путь. Невзирая ни на что, я, как и решил, разобью этот путь на этапы. И, значит, еще сегодня побываю в Орвьето, переночую в Орсино, завтра с утра осмотрю город, pošлю открытку Пиоланти, письмо отцу, а в двенадцать двинусь дальше.

*Перевела с польского Ю. Мирская.*



# Л У Б А И Щ И С Т И Ж А

А. БОРИН

★

## ПОТОМКИ КАТАЛЬЩИКА ГАВРИЛЫ

1

**В** Нижнем Тагиле я узнал, как делает в наши дни карьеру обыкновенная рабочая профессия. Это не оговорка — карьеру делает не отдельный человек, а сама его профессия.

Чтобы познакомиться с вальцовщиком Алексеем Макаровичем Сапуновым, пришлось ехать на завод имени Куйбышева, завод «пенсионного возраста», по свидетельству старинной чугунной доски, построенный на «пустом месте при реке Тагиле у Магнитной горы», пожалованном в 1702 году Петром I «тулянину комиссару Никите Демидову». Завод стоит лицом к городскому пруду, он как бы опирается о древнюю плотину, в основании которой несколько лет назад строители нашли многослойный железный конверт, содержащий документы о первых инженерных хитростях предприятия. Эти документы оставили своим потомкам ранние уральские металлурги.

На пригорке — роскошное белоколонное здание последней демидовской конторы, там сейчас расселился Тагильский горсовет. В доме заводоуправления на территории предприятия — чугунные литые ступени, какими шеголяли в былое время иные петербургские здания. А в листопрокатке, где орудует вальцовщик Алексей Макарович Сапунов, — дым, копоть, баня: демидовское наследство в первоизданном виде.

Конечно, сам завод имени Куйбышева, хоть и готовится он из-за старости и отсталости полностью прекратить свое промышленное существование, давно уже не похож на прежнее демидовское производство. А вот листопрокатка оказалась живучей. Человек тянет клешами из печи горячий железный лист, мерцающий и искрящийся, тащит его волоком, по полу, хвост искр брызжет на тяжеленные — в аршин подошва — башмаки рабочего. Вальцовщик кладет лист между валками. Они выбивают новую вьюгу искр. Вальцовщик толкает лист к застаночнику, застаночник — к вальцовщику. Эта тяжкая игра — перебросить туда-сюда железные листы — требует и выносливости, и сноровки, и мастерства. Надо не передержать листы под валками, иначе они слипнутся, несмотря на черную чадающую пудру графита, точно и справедливо прозванную здесь «подмусориванием». Надо ровненько сложить раскаленные, неподатливые листы, потому что, чуть их перекосил, пойдет брак. Надо вогнать себя в бешеный ритм. Бросая под валок лист и тут же ловя его, знай, что за твоей спиной уже стоит следующий вальцовщик и лист у него в клешах грозит остыть, а тогда наново тяни его в печь, теряя время и выработку.

Жестокое мастерство вальцовщика Сапунова доживает последние дни. Не в прикрасительном, литературном смысле, а в самом буквальном. После того дня, когда я стоял в листопрокатке, ей оставалось просуществовать ровно шесть недель. Древний заводик, числящийся сейчас в составе Нижне-Тагильского металлургического комбината, ликвидируется. Директор комбината Сергей Владимирович Макаев, делегат XXII съезда партии, рассказывая на собрании коммунистам о своих делегатских впечатлениях и о новых, послесъездовских задачах предприятия, говорил:

— Закроем Куйбышевский завод. Он исчерпал себя, иссяк.

Ликвидировать рабочее место вальцовщика Сапрунова — это тоже одна из после-съездовских задач комбината. Тяжелое мастерство Алексея Макаровича тоже исчерпало себя. Иссякло. Оно несохранимо сегодня по самой своей внутренней природе.

Алексею Макаровичу скоро пятьдесят. Он очень уважаемый здесь человек — на лацкане его выходного пиджака два ордена. Он неплохо обеспечен — имеет свой домик, семья живет в достатке. Обе его дочери оканчивают среднюю школу. Но у самого за плечами всего три класса сельской алтайской школы, оставившие по себе трогательную память о соли и горохе в углу, на которые ставили голыми коленями за большие и малые провинности. Скажут: Сапрунов мог учиться позже, когда вырос, повзрослел. Конечно, мог. И дело, разумеется, не в том только, что у взрослого Сапрунова всегда находилось слишком мало досуга для ученья. Суть в другом: мастерство вальцовщика, обслуживающего полудемидовскую листопрокатку, требовало от человека многих разнообразных добродетелей — и лихости, и верткости, и выносливости; не требовало одного — книжной премудрости, знания, работы мысли.

Мастерству Алексея Макаровича, уважаемому, но вчерашнему, впору отвести специальный стенд в Тагильском краеведческом музее — подле чугунной доски с царственным указом Петра и черепановским голенатым паровозиком.

У Сапрунова есть коллега — Анатолий Тимофеевич Бокарев. Его рабочее место уже не на дряхлом заводике, а в цехе нового комбината. Бокарев не знает, что такое шипцы, искры не жгут его пятки. Он сидит в мягком удобном кресле, впереди — стена стекла, сзади — стена стекла, зеркало, чтобы видеть, как за спиной подвозят тележки к рольгангу толстые, налитые белым калением ало-прозрачные слитки. Манипуляторы, послушные руке оператора, бросают слиток под валки, он горит мелким синим пламенем. в нем плещется угольная крошка.

Под рукой у Бокарева телефон, над головой динамик. Рельсoproкатный цех — с километр, конца не видно, но телефон и радио приближают людей друг к другу, можно окликнуть соседа: «Стан «800», управились? Шлю полосу...»

Вокруг раскаленный металл, но здесь не жарко. Кабина теплоизолирована. Перед глазами у Бокарева, на вершине стана, большой часовой циферблат. Только стрелки отсчитывают не минуты — расстояния между валками.

Анатолий Тимофеевич разубеждает меня в гладкости своего жизненного пути. В юности бросил школу. Заработок и без школы был достаточным. Но к парте вернулся. Жизнь заставила. Жизнь такова, что с семилеткой чувствовал себя безграмотным. Имел нарядную бумагу о неполном среднем образовании, а ощущал себя неучем. ставящим вместо подписи три креста. Были случаи, когда понимал: нем! Немой, бессловесный человек, и все тут.

— Однажды хотел растолковать начальнику машинного зала, что не устраивает нас, операторов, в двигателях стана, а он перо сует в руки: изобрази, мол. Заинтересовался, просит: «Ну покажи на оси координат, в чем дело». А я ему на пальцах. Пожалел он меня, посочувствовал, понял: толка от безграмотного парня не дожидаться...

Сапрунов обходился всю жизнь тремя классами, а его коллега Бокарев окончил после семилетки техникум. Без того дальше не мог. Но напрасно думать, что должность Бокарева — самая что ни на есть сегодняшняя должность, современное состояние профессии вальцовщика.

Конечно, Бокарев сидит в кожаном кресле, не жарится у огня и не орудует шипцами. Но руки его, управляющие манипулятором стана, делают не одну сотню движений в час. Мастерство Бокарева — ось координат плюс расторопность. Знания плюс движение. Наука плюс быстрота. Мастерство Бокарева даже не послезавтра — завтра займет свое место в том же краеведческом музее рядом с ремеслом Сапрунова.

Комфортабельные стеклянные кабины операторов с телефонами и мягкими креслами готовятся нынче снять. Слитки будет вести через стан автоматика. Над станом «650» в стеклянной кабине уже пустует слева одно кресло. В него усаживают гостя и говорят:

— Смотрите.

И гость глядит, как слиток «сам» идет под валки, «сам» возвращается назад, «сам» находит нужный калибр.

Уйдет из цеха оператор, и прокатным станом займется следующий коллега Сапрунова и Бокарева — вальцовщик-наладчик. Скажем, Николай Васильевич Ворожцов.

Ворожцов несколько иначе, чем Анатолий Тимофеевич, объясняет свой путь в учебу. Дело не только в том, что без формулы трудно сейчас в цехе. Николай Васильевич помнит, как еще в 1949 году, после ФЗУ, совсем мальчишкой проходил практику на рельсобалочном стане в Кузнецке. Все переживал очарование скользящей вдоль цеха горячей полосы, восторгался совершенно неправдоподобным сочетанием ловкости, слаженности, веса и огня. Ворожцов робко млеет от этой красоты, а для знающих людей в цехе она была понятна и проста, как для него, Ворожцова, понятно и просто дважды два четыре.

Он поступил в техникум. Там был преподаватель специального курса прокатки, который иногда говорил:

— Пока примите мое утверждение на веру. Кто пойдет в институт, узнает о том же подробнее и доказательнее.

Ворожцов хотел доказательности, и он пошел в институт.

Я пользуюсь откровенным разговором Николая Васильевича и спрашиваю, а нет ли у него ощущения, что он, инженер, прошедший и техникум и вуз, способен на большее дело, нежели скромная рабочая должность вальцовщика-наладчика.

— С точки зрения карьеры?

— Ну, допустим...

— Так ведь для карьеры незачем бросать рабочую должность. Это раньше признавалось: был рабочий, сделался инженером — вышел, стало быть, в люди. А сейчас я делаю карьеру вместе с самой моей профессией. Сами посудите. Сперва моя профессия мучилась у демидовских станков. Потом перешла в операторы, заняла свое место в стеклянной будке над цехом. Теперь выучилась автоматике. Стала почетной, денежной, перспективной. Крепче за нее держись — вот и карьера, лучше не надо.

Я рассказал о трех коллегах, трех вальцовщиках, трех профессиональных потомках уральских рабочих Вавилы и Гаврилы, о которых так очарованно писал Мамин-Сибиряк в «Горном гнезде». Помните? «Высокие, жилистые, с могучими затылками и невероятной величины ручищами», смахивающие «на ученых медведей». «Нельзя было не залюбоваться артистической работой знаменитых мастеров, которые точно играли в мячик около катальной машины». Вавила и Гаврила казались людьми железными, кожа и мускулы у них «были допущены только из снисхождения к человеческой слабости», да и вообще длинные руки заводских рабочих походили, по свидетельству писателя, на железные клещи, так что трудно было разобрать, где кончался человек и начиналось железо.

А вот у сегодняшнего колена этой профессиональной династии вальцовщиков огромное множество «человеческих слабостей», которые не только не помеха современному заводскому производству, но, наоборот, необходимое его условие и основание. Современному заводскому производству сделался необходимым человек с настроением: с ущемленной гордостью, если о технике он вынужден объясняться, будто немой, «на пальцах»; с восторгом, требующим логического, вузовского обоснования; с эмоцией, с серьезной душевной организацией.

Что демидовские катальщики! Еще лет пятнадцать назад мы снимали фильмы и писали книги о сноровке ударника-многостаночника, воспевали его быстрые руки. Нынче же быстрые руки рабочего-наладчика отнюдь не почитаются его первой добродетелью. Один наладчик автоматического цеха сказал мне как-то:

— Когда я сижу — и работа идет и зарплата идет. А вот когда я верчусь — и работа стоит и зарплата нет.

Без быстрых рук рабочего все чаще можно обойтись. А вот без книжки за отворотом полушубка (в Тагиле столько я видел таких «книгонош», что хоть выставляй эмблемой на городском гербе), без своей личной причины, которая привела человека на студенческую скамью, без своего собственного любования производством (вот Бокарев больше любит блюминг ночью: «Отчетливее работается»), без человеческой личности, без человеческой индивидуальности — без всего этого наше производство обойтись уже не может.

## 2

Примерно об этом же произошел у меня интересный разговор с Геннадием Ивановичем Бабайловым — заместителем партийного секретаря сортопрокатного цеха. Застал я его, когда Геннадий Иванович переносил свои пометки с газетного текста Программы партии в только что изданную брошюру. С этим документом жить и работать годы, а газетная полоса — вещь непортативная, неудобная. Красным карандашом он отчеркнул абзац о том, что при коммунизме интеллигенция перестанет быть особым социальным слоем, что работники физического труда по своему культурно-техническому уровню поднимутся до уровня людей умственного труда, и сказал:

— А знаете, что здесь всего примечательнее? В массе своей люди сегодня учатся не в погоне за куском пожирнее и не ради доходной должности. Если бы учился сейчас только честолюбивый и меркантильный, всех бы в интеллигенты не перетянуть. Говорят: учатся оттого, что требует техника. Правильно, конечно, каждый день идешь по горячим следам новой техники. Но это еще не все объяснение. Возьмите рядового сталепрокатчика. Чтобы работать добросовестно и исправно, ему вполне хватит десятилетки, тем более техникума. По крайкей мере на ближайшие годы. А он идет в вуз. Зачем? Зарплата у него самый высокий в цехе, выше, чем у большинства инженеров. К делу пристрастился, предложи повышение — откажется. А он, сердечный, корпит по вечерам над чертежами, норовит отослать жену к соседям на телевизор. Ради чего же не наслаждается человек спокойной, обеспеченной жизнью? Вель получит диплом — хоть клади его в шкаф. Диплом для него, повторяю, не проездной билет до следующей станции, не пропуск к земным благам. Докапываюсь, в чем тут разгадка. В том, я полагаю, что работать только добросовестно и исправно сегодняшнему производственнику уже скучно. Этого ему уже мало. Ему одухотворения хочется. Работы сочной, с подтекстом. А одухотворение в технике прямо пропорционально образованию — это закон. Замечали, как начинает относиться к цеху знающий рабочий? У нас от одного товарища жена ушла. Вижу, парень стал задерживаться после смены возле стана. Не работает, только стоит в сторонке и глядит на прокат. Спрашиваю: «Что домой не идешь?» А он говорит: «Знаешь, успокаивает...» Ладность и красота производства его успокаивает. Иной человек еще не научился слушать музыку, не вчитался по-настоящему в стихи, а вот к технике уже относится не только потребительски. Она пробуждает в нем эстетику. Чувства. Может быть, через технику как раз он и созревает душевно для искусства. А без этого, повторяю, заводской народ в интеллигенты не перетянуть.

Рассуждения Геннадия Ивановича представляются мне и глубокими и пронзительными.

Будучи в Свердловске, я прочел в молодежной газете статью под заголовком «Когда говорят цифры...».

Оказывается, сотрудники университетской кафедры философии и редакция газеты предложили молодым рабочим четырех свердловских предприятий несколько вопросов. Собрано 272 анкеты — 272 ответа, 272 точки зрения.

«Каким видом искусства вы особенно увлекаетесь?» — поинтересовались работники философской науки.

Ребята им ответили. Выяснилось, что одни любят кино и литературу, другие — театр и музыку. 154 человека назвали кино, 127 — театр, 118 рабочих вспомнили литературу, 92 сказали: музыка. А 18 признались: живопись.

Мы узнаем из статьи, что 11 человек ходят в кино раз-два в месяц, 42 — не менее трех раз, 116 — четыре-пять, а 75 — ст шести до десяти раз в месяц. Выясняем, что 20 человек любят фильм «Летят журавли», а 18 — «Тихий Дон», 32 человека предпочитают среди зарубежных писателей Эмиля Золя, а 16 — Вильяма Шекспира.

Но где-же все-таки здесь пища для ума советского философа? Где веление времени? Какая в том новость, что столько-то грамотных советских ребят, жителей одного из крупнейших промышленных центров страны, знают «Жерминаль» и симпатизируют Отелло?

Не полезнее ли ученым попристальнее взглядеться в подмеченную Геннадием Ивановичем Бабайловым черточку сегодняшних дней: технически совершенное заводское производство не только дает стране металл и машины, но еще и воспитывает в заводском человеке эмоциональный труд, эстетические настроения, помогает в конечном итоге массовому вызреванию интеллигентов.

## 3

Мысли Геннадия Ивановича вспомнились мне, когда я поближе познакомился с мастером доменного цеха Александром Петровичем Ковалем.

Мне рассказал о Ковале Владимир Евлампиевич Ашевский — руководитель и один из организаторов на комбинате массовой заочной учебы. Ашевский помнит, как пришел Коваль на завод с тремя классами сельской школы за плечами. В его диктантах красных чернил было погуще, чем синих, на пять букв — десять ошибок. А вот будущей весной заканчивает институт. Готовит диплом по доменному производству.

Мы встретились в цехе у домны. Временами Коваль идет к печи поглядеть сквозь синее стеклышко на пляску темных пятен в фурме. Впрочем, больше сидит в аппаратной. Следит за плавкой по показаниям трех дюжин приборов. Их стрелки-самописцы, начиненные фиолетовой тушью, не только услужливо твердят, каковы сию минуту расход пара, температура дутья, давление воздуха и десятки других, крайне важных для доменщика параметров, но и сохраняют на бумаге эти сведения впрок.

Под приборами — «пуговики» автоматической регулировки горячего дутья. Световое табло прищелкивает, перемигивает, повторяет движения скипа, завозящего на вершину домны точно отмеренные порции руды.

Часто Коваль афористичен, его фраза кругла и приукрашена:

— Мужчина колет дрова — играет, женщина — мучается. Образованный металлург возле современной домны радуется, необразованный потеет.

Александр Петрович не отказывает себе в удовольствии подчеркнуть, что он явно не мучается. Ему работается ненамного, легко, без пота. Не спеша дожеввал колбасу, вытер ладонь о ладонь, повел меня глядеть выпуск чугуна.

Металл течет налево в ковш. Направо тихо хлопочет красная речушка шлака. Коваль интересуется:

— В Москве, наверное, уже не спорят, кто лучше: Есенин или Маяковский?

— Уже не спорят.

— Кто Есенина не любит — тот сам себя не любит. Но Маяковский цивилизованнее. — И Коваль читает наизусть: — «Мой стих трудом громаду лег прорвет...»

Он читает стихи старательно, весело и чуть-чуть напоказ, как человек, совсем недавно обретший нечто достойное, чему он еще не устал удивляться. Но, странное дело, в его декламации вовсе не ощущаешь наивного торжества новичка.

Назавтра я побывал в гостях у Ковалей в аккуратной, до блеска вымытой двухкомнатной квартирке. На стенах висят рушники, а рядом с ними рембрандтовская Даная. Обнаженная женщина приподнялась на локте, глядит на отблески золотого дождя.

Коваль спрашивает:

— Вас не смущает? Некоторых моих дружков смущает. Заводят жену: как, мол, терпишь? — И тут же он рассказывает легенду про Даная...

У Ковалей необычная биография, путаная судьба. Мальчишкой семнадцати лет он попал в немецкий плен, испил не по возрасту горькую чашу испытаний, а потом, уже вернувшись на родину, узнал тяжесть всяческого подозрения и недоверия.

Ласково округляя свои карие глаза, улыбаясь и переживая, он говорит:

— Нас в плену на штуки считали. А человек разве приспособлен, чтобы его считали на штуки?

Его память сохранила слишком многое, он не чувствителен, не прост душой; вещам, которые его однажды тронули, давнему или нынешнему добру людей он несколько не умилается, просто говорит о них конкретнее и подробнее, чем обо всем другом.

Обстоятельнее всего он рассказывает о чужих людях, которые проявили заинтересованность в его, Ковалей, судьбе. Оказывается, таких людей ему встретилось огромное

множество. Он с протокольной точностью воспроизводит подлинность их слов и поступков. Был учитель в школе, который удивлялся, что Коваль балуется спиртным: «За свои же деньги на два часа лишать себя ясной головы!» За свои же деньги... Ковалю, знающему и любящему счет рублям, это предостережение показалось откровением, не похожим на обычные уговоры оставить дурное зелье. Был тот же Владимир Евлампиевич Ашевский, который не пугался безграмотности Ковалья, говорил: «Чудак, для таких, как ты, и открыли на комбинате школу мастеров». Был директор десятилетки, очень спокойно отнесшийся к Ковалю, когда тот пришел просить, чтобы его оставили в десятом классе на второй год: трудно, мол, неважно. Был начальник смены Николай Иванович Третьяков, внушавший Ковалю: «Только не жди от инженерного диплома конца всем хлопотам. Это магь не чаёт выдать дочку замуж, чтобы кончились ее заботы. Диплом тебе их только прибавит». Ковалю нравились такие «утешения», легкими обещаниями он всегда брезговал. Был, да и по сей день есть дружок Алексей Кириллович Никишев, сейчас большой на комбинате человек, заместитель секретаря парткома по пропаганде, горячий, шумный, одинаково с Ковалем сторонящийся постных, гладких людей.

Коваль мешает в чае густую смородину и опять пускается в философию:

— Домна — это заработок. Стихи — приобретение. Если относиться к домне, как к стихам, то зарабатывать будешь, приобретая.

Я уже знаю его манеру философствовать — с удовольствием и не всерьез. Знаю, что и сам Коваль не больно претендует высказать новую премудрость, ему просто нравится свободно плести нить собственных суждений. Замечаю Александру Петровичу, что мысль, им высказанную, любовно сформулировал в своем завещании французский скульптор Роден, видевший миссию художника в том, что он первый подает на земле пример радостного труда.

Коваль кивает. С улыбочкой говорит о своем удовлетворении по поводу единодушия с французским скульптором. Обещает:

— После института пойду на философский факультет вечернего университета. «Отрицание отрицания». Красиво, а? Обойдется со мной какой-нибудь начальник по бюрократству, а я ему в ответ по науке...

#### 4

Однажды на весьма авторитетном совещании в Свердловске зашел такой разговор:

— Готовя рабочих на заводских производственных курсах, мы слишком мало времени ассигнуем на теоретические занятия. Подумайте: будущий слесарь лишь одиннадцать процентов учебного времени тратит на теоретическое обучение и уж совсем крохи — восемь десятых процента — на ознакомление с современным уровнем науки. А будущий токарь — соответственно семь процентов и шесть десятых процента. Да разве это терпимо?

Право, невозможно себе представить волнение буржуазных промышленников из-за того, что тамошние рабочие не овладевают кропотливо и досконально теорией производства.

Куда там!

Столпы капиталистической организации труда всегда усердно подчеркивали обратное, утверждали, что долго готовить рабочего абсолютно незачем. Никому не нужно. Просто вредно.

Форд провозглашал: «Я научу рабочего его ремеслу за один день».

Тейлор откровенничал: «Рабочий должен быть тупым и флегматичным и походить на вола».

Эту тенденцию кратковременного производственного обучения при капитализме видел уже Владимир Ильич. Он писал, что при высоком развитии мануфактуры, с образованием крупной машинной индустрии ученичество исчезает.

Может быть, так было лишь на заре века?

Нет, современная американская статистика подтверждает эту же закономерность. Обследование в США 2216 профессий показало, что время ученичества, необходимое

для освоения профессии, колеблется от одной недели (59 процентов) до шести месяцев (9,6 процента).

Кажется, Писарев говорил, что современная машина основана на сложнейших законах физики и математики, хотя фабричный рабочий столько же знает об этих законах, сколько клапан самой машины. Что ж, так и было в России при Писареве...

Есть целый ряд отличительных черт социального бытия при социализме, и одна из них, очень показательная,— это как раз серьезные научные знания огромной массы «фабричных рабочих».

О том, что жизнь упорно выдвигает подобные проблемы, я знал еще до поездок на Урал.

Побывал я в Рижском университете технического творчества — в ту пору он только возник. Двухгодичный университет новаторов создала общественность. Сколько тогда звучало споров и дискуссий о том, как строить здесь учебную работу! На каждом заседании общественного ректората твердилось, что рабочий, даже квалифицированный рабочий, идет в университет, дабы поглубже вникнуть в собственную профессию, овладеть ею научно и новаторски.

Время показало исключительную жизнеспособность университета.

Недавно я снова был в Риге и решил поглядеть, как здравствует университет. Он сильно повзрослел. Судить о том можно не только по отзывам слушателей. Они как раз самые разные и не всегда восторженные. Зрелость университета, очевидно, в постоянном экспериментировании, в поиске новых форм преподавания, в настойчивом желании удовлетворить требования самых заядлых скептиков. И еще — в отношении авторитетных республиканских учреждений к университету. Раньше он был детищем одних общественных организаций. Был заявкой на интересное начинание. К нему присматривались благожелательно, но осторожно.

Нынче под объявлением о приеме на первый курс стоят четыре подписи. Не только республиканские советы общества изобретателей и научно-технического общества, но и республиканский Дом научно-технической пропаганды, а главное, Совет народного хозяйства Латвийской ССР назвали университет своим. И что примечательно: с прежним темпераментом в разговорах рижан звучит раздумье о том, как лучше университету прокладывать пути в глубины рабочих профессий.

Сегодняшний инженер на рабочем месте — явление, конечно, характерное и перспективное. Но подавляющее большинство производственников еще идет в цех без вузовского диплома в кармане. За плечами у них не студенческая скамья, а всего лишь кратковременные заводские курсы. Вчера еще такие курсы премного устраивали руководители предприятий и самих рабочих. А сегодня уже не устраивают. Все чаще и чаще раздается протест против «натаскивания людей до профессии». Против тех самых «0,8 процента времени», отведенного на теорию.

Дмитрий Харитонович Либерман, начальник сектора профессионального обучения Свердловского совнархоза, рассказывает:

— Учить человека его профессии не на краткосрочных курсах, а в общеобразовательной школе — вот что мы задумали. Молодой рабочий проходит теперь в классе, кроме истории с географией, электротехнику, черчение, основы производства, металлургию, конкретную экономику, автоматическое регулирование... Школы рабочей молодежи обычно группируются вокруг заводов. Спутниками, так сказать, на орбите своего предприятия. Это и прежде имело практическое значение. Ну, знал директор подшефной школы, к кому ему податься за кирпичом, если ремонт, или за грузовиком, если мебель перевозить. А нынче шефство над школой рабочей молодежи понимается уже по-другому. У шефов и у подшефных обязательства нынче взаимные: в школе учат профессиям, в которых особенно нуждается завод-шеф. Готовят не только традиционных токарей и слесарей, но и специалистов, нигде еще широко не выращиваемых. Скажем, на Красногорскую ТЭЦ привезли новые машины, и действующая под боком ТЭЦ школа номер два стала готовить машинистов специального оборудования. А разве по старинке идут в вечерних школах уроки той же физики? Молодой мартеновец выходит к доске и говорит: «Мне было поручено придумать задачу. Вот она: подача кислорода в мартеновскую печь увеличилась на столько-то. Выплавка стали в связи с этим...» Учащиеся

вечерней школы многие часы своих занятий проводят возле новейшей техники здесь же, на заводской площадке, а не у стареньких станочков, за полной их ненадобностью жертвуемых подчас школе дорогими шефами.

То, о чем рассказывал Либерман, дело хорошее и нужное. Но, чтобы эффективные способы обучения людей рабочим профессиям сложились и вошли в жизнь, нужно, очевидно, всерьез и решительно поговорить с преподавателями, еще возникающих перед новым почином на практике.

Вышел я от Дмитрия Харитоновича, сел в трамвай пятого маршрута и поехал в сторону Уралмаша. Сказали мне:

— Есть там вечерняя школа номер одиннадцать, хорошая школа, стоит побывать.

Думал: вот погляжу, как куются по-новому рабочие кадры.

Вечер. Тишина. Из классов доносятся приглушенные голоса. Сажусь в кабинете директора школы Константина Александровича Филатова. Он директорствует здесь уже целых пятнадцать лет. Дело знает, любит. Сейчас грустит:

— Рабочие профессии? Да, недурно бы. Только не доверяет нам завод их готовить.

Казалось бы, какой завидный шеф у школы № 11. Сам Уралмаш! Уж где-где, а здесь-то поймут, оценят добрый почин.

А Константин Александрович печалится:

— Исполком с совнархозом разрешили учащимся, усердно сочетающим общеобразовательную и профессиональную подготовку, повышать разряды, выдвигать их на ответственные участки. Какое там! Завод протестует, не оставляет для наших выпускников квалифицированной работы. А ведь как было бы удачно: получает человек аттестат зрелости и одновременно документ о высоком рабочем разряде. Но завод, вероятно, побанывается расстаться с той курсовой системой, где сейчас рабочие кадры готовятся.

Собрать бы директоров заводов, главных инженеров, ответственных деятелей производства, затеять бы крупный разговор о предмете, ничуть не менее значительном, чем производственный план, о качестве массовой профессиональной подготовки советского рабочего.

На Нижне-Тагильском комбинате никого это не тревожит: а вдруг не найдется для выпускника вечерней школы подходящей работы на производстве?

Неприменно найдется. Школа для комбината — не сосед и не пасынок. Она плоть от его плоти, органически связана с ним общими проблемами и едиными планами. Даже расположилась школа на самой территории комбината, рядом с северной проходной. Это не случайно. Солидные, в годах, люди, подчас отцы семейства, за заводской оградой чувствуют себя учениками как-то свободнее, увереннее. Классная комната, где все свои и большей частью ровесники, не так их смущает и отпугивает.

Вечер. Тишина. Чинно, по-школьному развешенные в гардеробе «взрослые» полубубки. На лестничной площадке большая доска: «Говорите правильно! Инженеры, цемент, индустрия...» Доска время от времени обновляется преподавателем русского языка. В аудитории восьмого класса «А» занимаются сталеплавильщики. Девятый «Б» — прокатчики...

У этой школы хорошее имя: «школа мастеров». Хорошее и точное. Ее выпускники — действительно мастера своего дела. Тридцать квалифицированных заводских специалистов в течение четырех лет раскрывают перед учащимися тонкости своей металлургической профессии. А опытные преподаватели общих дисциплин обучают их литературе, иностранному языку, географии. Еще недавно школа выдавала своим питомцам свидетельство за семилетку. Теперь они получают аттестаты зрелости. Все правильно: какой же он сегодня металлург без среднего образования?

Четырехлетняя школа мастеров, пошедшая в наступление на кратковременные производственные курсы, — это не просто очередной учебный эксперимент. Это лишний тому свидетельство, что эмоциональный, одухотворенный труд, труд «с подтекстом», становится делом не отдельных заводских личностей, а явлением обычным и массовым.

## 5

Разговор я услышал в отделе организации труда вроде бы пустяковый, случайный, а как вдумался, то понял, что он имеет самое непосредственное отношение к стремлению сегодняшнего производственника работать одухотворенно и сложно.

Девушка, сотрудница отдела, уламывала по телефону какого-то снабженца:

— Что значит «один человек хапанет две спецовки»? Горновой овладел професией газовщика. Понимаете? Человек действительно один, но профессии у него теперь две. Понимаете? А газовщику, как вам известно, полагается особая безопасная спецовка.

Трубка в ответ пробубнила что-то монотонно и длинно.

— Опять «не полагается»! Ну при чем тут один человек? Речь идет о двух профессиях...

Кажется, она так и не переубедила снабженца. Хлопнула трубкой о рычаг:

— Вот слепой дундук...

Совершенно справедливо. Именно «слепой дундук»: не увидел за «сверхнормативной» спецовкой любопытного и очень характерного для сегодняшнего производства явления.

В специальных статьях пишут об этом книжно и сухо: «Проблема соотношения специализации и универсализма в профессиональном разделении труда». На Первоуральском новотрубном заводе год назад мне сказали о том же куда звонче и живее:

— А мы вальцовщика ослесариваем. Не слышали?

Дело было так.

Поначалу в шестом волоочильном цехе работали, как и повсюду: чуть выходил из строя стан — вальцовщик шагал к рубильнику, и гул цеха прорезал пронзительный вопль «аварийки», сигнал дежурному слесарю. Вальцовщик стоял, ждал слесаря. «Загорал». Иной раз приходилось ждать подолгу. Как назло, сразу барахлило в цехе несколько станов.

Наконец появлялся слесарь. Смотрел клеть. Уходил за инструментом. Возвращался с сумкой. Копошился в стане. Включал его. Опять сновала туда-сюда клеть, катала трубу.

Слесарь объяснял равнодушно: «Шпона на переднем патроне сработалась». Или: «Болт в муфте сцепления разрезало».

Только-то? И из-за этого выключал вальцовщик стан, трубил на весь цех «аварийкой», подолгу ждал слесаря? Неужто вальцовщик не в состоянии сам заменить болт или поставить новую шпону?

И вот началось в шестом цехе это самое «ослесаривание вальцовщика». Вальцовщики пошли учиться на слесаря. Приобрели еще одну специальность.

В общем-то дело это не очень новое. И десять и двадцать лет назад были в цехах мастера, владеющие двумя-тремя профессиями. Существенно другое: сегодня «ослесаривание вальцовщика», обогащение рабочего несколькими специальностями стало явлением обычным, общим. И еще одно любопытное обстоятельство: лишь озададел вальцовщик слесарной профессией, как зачастил он на третий этаж, в резиденцию уполномоченного заводского бриза. Понес ему свои новаторские предложения. Вдруг начал изобретать.

Из шестого цеха новое начинание распространилось по другим цехам. В первом цехе действуют станы горячей прокатки, огромные сложные машины. В ремонтниках тут ходят электрослесари. Вальцовщики станов овладели и их ремеслом. В пятом цехе стоит уже совсем совершенная техника — автоматизированные станы горячей прокатки. Операторы, обслуживающие их, тоже подались учиться искусству наладчиков.

И повсюду — в первом цехе, в пятом цехе — лишь только обогащалась основная рабочая профессия умением ремонтировать и отлаживать машину, к бризовским уполномоченным начиналось настоящее паломничество рабочих.

Евгений Александрович Белов, начальник стана горячей прокатки «140 № 2», несколько этому не удивлен.

— Верно, — говорит, — взялись ребята за сочинительство. А что тут особенного? Появилась раскованность, свободное обращение с техникой. Ведь вальцовщик спе-

циально не задается целью изменить, улучшить машину. Теперь сам процесс его работы связан с продумыванием нового, лучшего.

Прав, абсолютно прав известный в стране ученый и изобретатель Герой Социалистического Труда академик А. Л. Минц, утверждающий, что настоящее изобретательство — это способ наилучшим образом исполнять свою непосредственную профессиональную работу.

Новотрубный завод стоит в двух шагах от границы между Европой и Азией. Чуть пройти лесочком — и над шоссе высится каменный обелиск, фиксирующий знаменательный в географии факт. Будто специально расположила здесь судьба это предприятие, чтобы склонить проезжего литератора к разговору о роли границ — не только географических, конечно, — границ между разными науками и разными профессиями.

Ученые называют границу соприкосновения разных наук «точками роста», где возникают самые удивительные и неожиданные научные эффекты. Не таково ли назначение и границ между разными профессиями и специальностями? Не усеяны ли они «точками роста» технического творчества, не здесь ли бьют родники великой радости мастерства?

Надо сказать, что проблема «специализации и универсализма», изъясняясь книжным языком, во многом еще не изучена. Тут целая уйма нерешенных, спорных вопросов.

Однажды слышал я выступление крупного в этой области специалиста, профессора, доктора наук А. А. Зворыкина. Он говорил:

— Как, в какой степени, в каком направлении нужно совмещать профессии в цехах и заводах-автоматах? Вопрос совершенно не исследованный. Быть может, надо создавать профессии, обслуживающие разнородные машины, включенные в одну автоматическую линию? При этом сохраняя специализацию рабочих по механической, электрической и приборной части. А может быть, наоборот, лучше создавать профессии для обслуживания однотипных машин, но так, чтобы рабочий знал не только механическую, но электрическую и приборные части?

Иными словами, набираться специальностей «вширь» или «вглубь»?

Жизнь уже заставила взглянуть «вглубь» профессии. «Ослесаривание вальцовщика» в Первоуральске и «сверхнормативная» спецовка газовщика на тагильском доменщике — хорошие тому примеры.

А «вширь»? Где, когда, в каких случаях необходимо объединение в одном человеке токаря и шлифовщика? Ваше слово, товарищи организаторы производства!

А достаточно ли думают наши юристы, занимающиеся трудовым правом, о том, что овладение смежными профессиями надо бы поощрять и материально? Не пришла разве пора пересмотреть в этом смысле тарифно-квалификационные справочники? Скажем, повысить разряд тем, кто шагнул за тесные рамки одной специальности.

Еще вчера вовсе не нужно было решать эти задачи, чтобы с успехом крутилась заводская машина. А сегодня нужно. Очень нужно. Просто необходимо! И чтобы машины крутились веселее, плодотворнее и чтобы веселее, плодотворнее делался эмоциональный труд человека.

Ведь без профессионального обогащения тоже очень трудно, уважаемый Геннадий Иванович, перетянуть производственника в интеллигенты...

## 6

Александра Петровна Дудина, возглавляющая бриз Нижне-Тагильского комбината, настроена не слишком оптимистически:

— Честно говоря, руководители предприятия нами занимаются лишь по долгу службы. Постольку-поскольку. Бриз для них — принудительный ассортимент. Довесок к основным обязанностям. Нужна я сама себе, и только.

Пойдет Дудина в цех — галантный человек ей улыбнется, с женщиной полагается поделкатнее. Негалантный объяснит без эквивалентов: «Не до вас мне, план тяну...» А в результате? В результате люди несут в бриз все больше «гаечные» идейки. То есть копеечные и несущественные. И это в то время, когда комбинат готовится стать образцовым металлургическим предприятием по уровню автоматизации и механизации...

Слушаю Александру Петровну и вспоминаю традиционную еще вчера фигурку работника заводского бюро изобретательства и рационализации, этого самого бризовца.

Часами, бывало, сидел он в приемной руководителя предприятия, терпеливо дожидаясь милостивой аудиенции. А его сторонились, чурались, руки до него не доходили. Почему? Да потому, что он, представитель незапланированного потока изобретательской инициативы, находился чаще всего не у генеральных дел завода, а на обочине производства. Собирал «гаечные» идейки.

Александра Петровна горячится:

— В Программе партии, вы понимаете, в самой Программе партии сказано, что первостепенное значение имеет материальное и моральное стимулирование массового изобретательства. Так неужели же заводской новатор должен набраться терпения и ждать, пока обратит на него серьезное внимание руководитель предприятия? А когда он обратит свое драгоценное внимание? Завтра, послезавтра?

Отчего же завтра, Александра Петровна?

Побывал я не так давно на Рижском электроламповом заводе.

Приехал неудачно. В стекольном цехе пробовали новую технологию, она «капризничала», шел брак. Главный инженер Ян Янович Закис на время переселился из своего кабинета прямо в цех. Работники завода соболезнавали мне:

— Некстати приехали. Сами понимаете, главному инженеру нынче не до посетителей.

И вдруг кто-то задержал взгляд на календарном листе, посмотрел на часы и сказал:

— Пятница сегодня? Так ведь ровно в десять будет товарищ Закис на совете бриза. Чрезвычайное положение? Все равно будет. Это, знаете ли, у нас закон непреложный.

И верно. Пробыло десять, и Ян Янович пришел в технический кабинет. Уселся на председательское место, помял пятерней подбородок, приказал инженеру бриза:

— Ну, докладывайте...

А за длинным столом — почти весь командный состав предприятия: начальники цехов, руководители служб, мастера — словом все те, кто, по мнению бриза, нужен на сегодняшнем техническом консилиуме.

Повестка дня на совете — ликвидация брака в стекольном цехе.

Бриз на Рижском электроламповом организует творческие бригады. Каждую из технических задач решают три-четыре такие бригады. На стол ложится несколько проектов, идей, находок. Отбирают лучшую. В заводского человека здесь верят. Верят в его умение самостоятельно решать сложные проблемы. Заметьте — самостоятельно. (Любопытная диалектика сегодняшнего производства: с одной стороны, техническая самостоятельность, высокая квалификация современного новатора позволяют ему обойтись без того иждивенческого подхода к делу, когда всякая малость ставила человека в тупик, заставляла испрашивать чужой помощи. Но с другой стороны, этот же высокий уровень творчества привлекает к новаторским предложениям внимание ведущих заводских инженеров, требует от них повседневной поддержки новатора и содействия ему.)

И ничуть не удивительно, что берет главный инженер своих ближайших помощников и спешит начать еженедельный разговор о рационализаторских предложениях. Он идет на совет не из милости, не ради одолжения к настырному начальнику бриза. Разумный хозяин производства, зоркий к приметам времени, он не может не прийти сюда. Сама жизнь протоптала ему дорожку к порогу бриза.

Зигрид Карлович Аумейстер, начальник отдела изобретательства Латвийского совнархоза, поехавший со мной на завод, на обратном пути мечтал вслух. Он уже видит, как падает стена между бризом и заводским бюро по новой технике. «Незапланированный» новатор нынче упрям и учен. Он заглядывает через плечо специалиста, слагающего новую технику, меняющего ее в порядке служебного задания. Мол, дай, друг, место. И что поделаешь, «штатным новаторам» приходится потесниться. Таковы законы эпохи. Раздумье над техникой входит в привычку масс. Становится обыкновением времени...

По-моему, рижские товарищи великолепно воплощают в реальность программный принцип о моральном стимулировании массового изобретательства. Ведь морально стимулировать — это не только вешать портреты новаторов на заводскую доску почета и накануне больших праздников вручать им профсоюзные грамоты. Пожалуй, главное стимулирование — это все-таки доверие изобретателю, ожидание от него больших, первостепенных решений.

Сегодняшний посетитель заводского бриза, тот, кто всегда оскорблен несовершенством самой совершенной заводской техники, решает не «гаечные» задачи, а проблемы коренные и важные. Что ж, еще одна метинка человеческой и профессиональной зрелости в потомке котельщика Гаврилы.

## 7

Я понимаю: рабочий с техническим образованием отнюдь не облегчает жизнь сегодняшнему организатору заводского производства. Однажды беседовал я с директором Уралмаша Виктором Васильевичем Кротовым. Он рассказывал, как частенько становится кадровик в тупик, не зная, под какую рубрику отнести иного заводского работника. Кто же он по сути дела — рабочий, оператор, ИТР?

Инженер, пришедший на рабочее место, спутал многие вчерашние представления. В Свердловске я был на Всесоюзной научной конференции, которую созвали Академия наук СССР, Министерство высшего образования СССР и Уральский государственный университет. Конференция была посвящена культурно-техническому подъему трудящихся в эпоху развернутого строительства коммунизма. Чтобы исследовать эту проблему, пристальнее взглянуть в приметы нашего времени, собрались за общим столом и представители самых разнообразных общественных наук, и практики — заводские люди, и партийные организаторы, и служащие совнархозов, и профсоюзные активисты.

Очерчивая круг первостепенных теоретических вопросов, заслуживающих внимания ученых, конференция записала в своих решениях: «Особый интерес представляет изучение нового типа работника: рабочего-техника и рабочего-инженера, управляющего на рабочем месте новой техникой во всеоружии знания».

А нынче в Тагиле выясняется, что инженер на инженерном месте — фигура вроде бы вполне привычная и «отстоявшаяся» — тоже возбуждает горячие дискуссии. Тоже представляет «особый интерес».

Разговор начался в кабинете заместителя директора комбината по кадрам Никиты Михайловича Петрякова. Речь зашла о том, что Программа партии предусматривает увеличение удельного веса инженерно-технических работников в составе коллектива предприятия.

И тут же завязался спор. Кстати заметить, послесъездовский разговор о делах производства, о задачах дня повсюду идет деловито, масштабно и особенно остро.

Комбинат большой: цеха, отделы, технические службы... Куда сильнее всего тянет нынче инженера?

У Никиты Михайловича полно народу. К нему, большому на предприятии начальнику, люди заходят без доклада и рассаживаются в кабинете без приглашения: кто примостился на диванном валике, кто стул верхом оседлал. Тревожиться о церемониях здесь не принято. Петряков — сухонький, вежливый, общительный, в коричневой вельветке. Слог его поначалу удивляет. Здороваясь, говорит скороговоркой: «Подите-ка с добром жаловать...» Часто обрывает себя: «Давайте договоримся на берегу...» Привычка волгаря, память о стойком дедовском правиле все обговорить и обусловить, отправляясь в долгий речной рейс. Никита Михайлович любит подзадорить человека на прямую, откровенную речь. Слушает долго и с охотой. О Петрякове на комбинате отзываются: «Этот старик — наша совесть». У него завидная биография — не раз видел живого Ильича, воевал рядом с Чапаевым, был делегатом Второго съезда Советов и в качестве делегата стоял у гроба Ленина. Такое не забывается, такое складывается в человеке характер.

Ближе к вечеру у Петрякова по-прежнему многолюдно. В соседних кабинетах народ волнуется о плане, о выплавке, о завтрашнем графике. А у Никиты Михайловича

нет-нет, да и завяжется общий, сугубо отвлеченный разговор. О том хотя бы, какая нынче работа особенно манит заводского инженера. Разговор затянется. Гурьбой спустятся в буфет закусьте беляшами. Уборщицы уже скребут в коридорах полы, а в кабинете Петракова по-прежнему гул голосов. Очевидно, это просто необходимо: подыаться иной раз над «текучкой» и сообщая на людях, «пообозреть перспективу».

— ..Есть еще у нас молодые инженеры, которые норовят обойти цех стороной, метят напрямик в конструкторы или технологи, в общем за письменный стол,— говорит мужчина в синем шевитовом костюме с могучими ватными плечами.— Оправдываются: новая техника. А что новая техника? Она еще большей культуры требует. Раньше, скажем, был в цехе один мастер-электрик по ремонту, и ничего, хватало. А сейчас такой нужен в каждой смене. У нас о чем мечтает вузовский выпускник? О славе ведущего конструктора. А почему он не мечтает о славе хорошего мастера, начальника смены, организатора и командира производства?

Что здесь возразишь? Однако возражают:

— Слава мастера? Правильно, конечно, говорите. Только сегодня есть мастер, а завтра и нет его. Ликвидирован. Скажем, доменный мастер. Еще сегодня коренная фигура производства. А завтра... В аппаратной дюжины три приборов. Способен человеческий мозг охватить все их показания, мгновенно посчитать, сопоставить, принять решение? Ну, сегодня, положим, еще кое-как способен. А завтра уже откажется. Ей-богу, откажется, попросит отставки. Вместо человека поставят автомат.

— Говорите, молодежь идет мимо цеха? Конечно, мальчику с дипломом производство необходимо. Без него он не инженер еще — так, полуфабрикат. Только много ли сегодня мальчиков среди инженерного пополнения комбината? Вот вам цифры за позапрошлый год: тридцать восемь инженеров пришли на комбинат извне, с путевкой вуза, и тридцать девять наших металлургов получили диплом без отрыва от производства. В шестидесятом году тридцать семь «извне» и сорок девять «наших». Этой осенью «наших» ожидается еще больше. А теперь скажите-ка: многие ли из «наших» инженеров согласятся променять цех на письменный стол? Попробуйте уговорите!

Это правда. О перспективе засесть за письменный стол, за чертежную доску люди отзываются порой полупрезрительно, свысока: «Предлагают идти в калибровочное бюро, но я откажусь,— говорил мне тот же Воржцов.— Ожирею, пожалуй, там». «Вне блюминга мне делать нечего»,— сказал Бокарев. Другой вальцовщик-оператор, Михаил Яковлевич Калашников, заканчивающий нынешней весной институт, признался: «В самую распрекрасную контору я отсюда не уйду. Зачем? Себя уважаю».

Ну, хорошо, я понимаю, что люди влюблены в свое дело, нашли в цехе прекрасное применение техническим знаниям,— все понятно. Но откуда этот не слишком уважительный тон, снисходительность к «кабинетной» работе?

— Еще не всюду упорядочены заработки,— вздыхает кто-то.— Цеховой инженер в металлургии получает раза в два больше, чем конструктор или технолог. Разве это справедливо?

— Зарботки зарботками,— замечает другой гость Никиты Михайловича.— Но давайте-ка, друзья, начистоту. Иной заводской руководитель до сих пор старается сохранить возле производства побольше инженеров. Факт! Бойтся, что уйдет из цеха лишний командир производства и некому будет выбивать план, зачинять дыры, расширять всяческую мелочевку. Такому заводскому руководителю спится спокойнее, когда его полномочный представитель, этакий туда-сюда снующий мужичок с дипломом, подлывает в цехе прорехи. Как бы заранее планируем неполадки, несогласованности и в расчете на них специально содержим людей. Вот потихоньку и организуется этот ореол первостепенного цехового инженера по сравнению с «второстепенным» конструктором. Но вы скажите: разве правильно, по-инженерному, живут сегодня многие наши командиры производства? Ну, допустим, начальник первого мартеновского цеха Кондратьев правильно живет?

Поговорили, пошумели и сошлись на одном: нет, неправильно живет начальник первого мартеновского.

Я знаю, о ком идет речь,— накануне чуть не весь день провел у Сергея Николаевича Кондратьева.

С утра шла диспетчерская, посвященная капитальному ремонту печи. Один попрекал другого:

— Твое организирующее начало по кирпичу. Где кирпич?..

Выяснилось, что балки заказаны по старым чертежам... Заливочный кран стоял до девяти часов... С грейфером ночью была беда, кладка из-за этого задержалась..

Начальник цеха сидит в кресле недвижимо. Глядит прямо перед собой. Глаза — напряженные, в красных прожилках. Рот трагический. Забытая в пальцах папироса давно потухла.

Наконец заговорил. Голос у человека — будто он серьезно болен ангиной, еле ворочает языком:

— Почему меня не разбудили ночью? Я спрашиваю: почему не разбудили меня? После диспетчерской — долгий спор с представителем «Котлонадзора»:

— Мало дали монтажников.

Потом утомительное, на нервах, объяснение с кем-то по телефону:

— Говорю вам, необходимо увеличить разливочный пролет. Какой сейчас пролет? Сосиска... Составы к печам не подгонишь...

Поговорить нам остаются считанные минуты.

— Да, напряжение огромное. Спокойно ночь поспать — небывалая роскошь... — И совсем неожиданно на суровом лице Кондратьева — ясная улыбка. — А я привык здесь, в цехе. Попал бы в техотдел — сошел бы с ума...

Очевидно, чересчур упрощенное это мнение, будто стоит помянуть инженера из цеха, и он сразу же с охотой усядется за письменный стол. Некоторые с «текучкой» сживаются. Даже появляется в человеке своеобразная мученическая гордость: «Не каждый, мол, выдюжит мою ношу, а я вот выдерживаю...»

Никита Михайлович Петряков лезет в карман пальто и достает свежую «Правду». Здесь опубликована речь Н. С. Хрущева на совещании работников сельского хозяйства целины. Отыскав нужный абзац, Петряков читает вслух слова Хрущева о раздающихся еще у нас порой общих призывах: «Нажмем, еще раз нажмем, и, как это поется в песне: Эй, ухнем! Но теперь этот бурлацкий метод отошел в прошлое... Нельзя результаты работы определять количеством выжатого пота. Нет, не пот, разум нужен!»

Петряков долго глядит на своего сотрудника, недовольного инженером, тяготеющим к канцелярскому столу, и лицо старика хитро, заговорщически расплывается.

— Договоримся на берегу: потом своим не хвастать. Ведь «по-бурлацки», с потом жить, дорогой, проще. По-умному труднее. — Петряков говорит быстро, торопясь, кисти рук нервно выползают из коротких рукавов вельветки, жест спешит, опережает слова. — Ясное дело, и в цехе нужно теперь жить с разумом, по-инженерному. Сообразно автоматике. Автоматика позволяет считать далеко вперед. Потеть, дорогой, легко, считать впрок гораздо труднее. Кто будет считать? Технические службы. Конструкторы, технологи, исследователи.

Я вспоминаю, какое впечатление на заводской народ произвели слова Никиты Сергеевича Хрущева, сказанные им еще в 1959 году на июньском Пленуме ЦК КПСС. Он говорил тогда:

«...Работающие в кабинетах вовсе не бюрократы, это творческие люди, которые создают новое, обладают современными знаниями, умело применяют их на производстве и двигают технику вперед». Никита Сергеевич сказал тогда и об арифметике распределения специалистов — в цехе и в кабинете: «При коммунизме будет значительно больше научных учреждений, конструкторов и других специалистов... Соотношение между рабочими, которые обслуживают автоматическую линию, и специалистами, создавшими эту линию, будет очень характерным: оно может оказаться, как отношение 1 к 10; один работающий в цехе, а десять в канцелярии, в кабинетах».

Такая арифметика широко реализуется на практике. Побывав в совнархозе Свердловского экономического района, я занес в блокнот заинтересовавшие меня цифры: за год на 15,5 процента возрос состав инженерно-технических служб предприятий. В том числе почти на треть (32,4 процента) выросла армия инженеров и техников в отделах механизации и автоматизации.

Или взять отдельные уральские заводы. На турбомоторном заводе за одиннадцать

лет количество цеховых командиров производства почти не изменилось. А вот отряд конструкторов, технологов и исследователей увеличился в 3,3 раза! На Уралмаше открыт заводской научный институт. Здесь экспериментируют, создают новые образцы и конструкции, ведут отважный технический поиск сотни квалифицированных специалистов.

— Давайте договоримся на берегу,— говорит Петряков.— Техника освобождает человека не только от тяжелого физического труда. Она избавляет его и от позорного «бурлацкого» существования. Каждый инженер — чуть-чуть Леонардо да Винчи. Мыслитель! По самой своей профессии мыслитель.

## 8

Мечта, призвание, личные интересы, вкус к раздумью — словом, вся ваша человеческая судьба вписалась нынче в общую строку с производственной программой комбината. Чем сегодня обоснована многозначная цифра металла, запланированного комбинату семилеткой? Производственные мощности плюс тысячи умно и умело организованных людских судеб. Сотни тридцатилетних мужчин, усевшихся за школьную парту. Сотни ребят, пристрастившихся вместо вечеринки к техникуму. Сотни молодых супругов, занятых до зари курсовым проектом. Не единицы увлеченных, одаренных, сверх меры напористых людей, а все, сколько их ни есть на заводе! Тысячи завтрашних первоклассных мастеров своего дела. Это и есть нижнетагильская «семи-летка образования».

На партийном собрании, где С. В. Макаев, директор комбината и делегат XXII съезда, рассказывал о послесъездовских задачах комбината, моим соседом был Владимир Евлампиевич Ашевский, один из организаторов «семилетки образования».

Он шепнул:

— Вот увидите, подготовку рабочих станем скоро записывать предприятию в промфинплан.

Далекие прогнозы? Отчего же. Теперь, после съезда, с особенной настойчивостью говорят заводские люди о том, как необходимо четкое, обязательное и перспективное планирование подготовки производственных кадров. В количествах, прямо соответствующих громадности наших промышленных планов.

Ведь что подчас получается?

Мы планируем новую технику. Хорошо планируем, на годы, на десятилетия вперед. Знаем, когда придет на завод долгожданная машина, имеем полное о ней представление, нам известен завод, изготавливающий ее. А вот кто тот человек, что встанет за пульт управления, где он сейчас трудится, какое учебное заведение подготовит его к новой деятельности, когда подготовит — мы порой и не догадываемся.

Новую технику планируем само по себе, и знающего человека, без которого мертва и бесполезна эта техника, тоже само по себе.

Да и как планируем! Учитываем число школ, кладем на счета вместимость школьных аудиторий, не забываем количество преподавателей. Все это «сопрягается» — вот план и готов. Не слишком далекий. Ну, скажем, на годик, от силы на два. А на то, что в цех металлургического комбината стучится автоматическая мартеновская печь, которая сразу же потребует квалифицированного наладчика, а в машиностроении уже обособывается счетная станция, бесполезная, если нет за ней должного присмотра со стороны знающего механика,— на это мы подчас преспокойно закрываем глаза. Не тревожим себя мыслями о том, что наше время — это не годы первых пятилеток, когда людей нередко обучали уже после того, как снабженцы завезли в цех новую машину.

Человека начинать готовить прежде, чем будет выстроена предназначенная для него техника,— об этом все серьезнее заботятся сегодня хозяйственные руководители.

Вот как поступает, в частности, свердловский плановик.

Здесь оба эти плана — новой техники и подготовки рабочих кадров — уже не строятся порознь, независимо один от другого. Свердловский плановик рассуждает примерно так:

— Мне известно, что через пять лет в рельсобалочных цехах не будет больше

сварщиков и посадчиков металла, а появятся машинисты постов. Прикинем сперва, сколько понадобится машинистов для нашего экономического района. А теперь посмотрим, какие учебные заведения, в какой срок и в каких количествах дадут нам этих специалистов.

Свердловский плановик — человек сведущий. Он знает, какая в конце семилетки будет нужда в монтажниках у Уралмаша, сколько мартеновцев понадобится Нижне-Тагильскому комбинату и какова потребность в электрослесарях окажется у «Электроаппарата».

Мало того, этот плановик не забывает, что автоматизация горнорудного дела высвобождает к концу семилетки добрых пятнадцать процентов всех рабочих. Куда эти люди пойдут? Где то производство, которое остро в них заинтересовано? Да и каковы личные планы вчерашних горняков, их желания, к чему у них тяга?

Оказывается, грандиозная масштабность социалистического плана совсем не означает, что хозяйственник оперирует некоей безликой и бесстрашной среднеарифметической единицей. Напротив! Астрономическая цифра наших планов сохраняет живое тепло непосредственных человеческих интересов.

Об этом как раз и свидетельствует программа жизни и учебы тагильских металлургов — «семилетка образования».

Владимир Евлампиевич Ашевский рассказывал:

— Поступили к нам новые машины. Совершенные автоматы. А тут возьми и начнись между людьми раздоры. Завели их как раз наладчики автоматов. Рабочие, которых инструкторы заводов-изготовителей обучили обхождению с новой техникой. Оператор, обслуживающий эту технику, знает одно: глазок зажжется — рукоятку крути вниз. Знает, что стрелку нельзя пускать дальше определенной цифры. Если же какая неполадка, оператор должен звать мудреца-наладчика. Хорошо, коли это человек душевный, сознательный. Он и растолкует и объяснит. А если у наладчика вредный характер? Такой непременно выскажет оператору свое неуважение. Мол, гляди, тютхтя, как орудут умные люди. А оператор не хочет ходить в «тютхтях», гадать, как ему распорядиться с машиной. Были случаи — оператор отключал свою автоматику и преспокойно переходил на старое, ручное управление.

Нам стало ясно: допускать своевластия наладчиков нельзя. Нужно серьезно обучить автоматике каждого рабочего. Обучить... И вы думаете, учеба — это всегда радость? Всегда одно удовольствие? Есть, конечно, люди, которые сами, без уговоров, идут из школы в техникум, из техникума в вуз. Но ведь надо поднять всех! Сколько, знаете ли, разыгралось трагедий, обид, душевных бурь, когда мы бросили клич: «Всем переучиваться на новую технику!»

Вот приходит ко мне рабочий. До недавней поры он считался в мартеновском первейшим мастером. Бога, как говорится, за бороду держал. Владел своим ремеслом еще от отца, от деда. Ни тот, ни другой за парту отродясь не садились, но слыли на всю округу отличными специалистами. А ему, потомуку, предписывают: «Переучивайся, берись за учебник, не то утратишь свое рабочее место». Обидно? Конечно, обидно. А тут еще соседский сынок, сопляк, только вчера из десятилетки, быстрее уразумевает, что к чему в новой машине, чем он, патриарх сталеварения. Глядишь, за год, за два мальчишка становится приличным мастером, а он, чтобы овладеть тем же мастерством, положил чуть не всю жизнь. Совсем уж обидно! Но чувства чувствами, а дело делом. Мы, признаюсь, пошли на неконституционную, прямо сказать, меру. Учредили образовательный ценз для двухсот двенадцати профессий. Необходимый минимум образования. Например: чтобы быть сталеваром, нужна десятилетка, то же, чтобы работать горновым. То есть тем, кто стоит сегодня у печей и станов и у кого образование пять—семь — восемь классов, надо идти в школу. Без отрыва...

Оформили новый порядок директорским приказом, вывесили его на видных местах, в каждом цехе, принялись обсуждать на рабочих собраниях. Обсуждение шло бурно, горячо, с переживаниями, со спорами. Этот приказ, знаете ли, рабочий в семью понес, к жене: «Хочешь, дорогая хозяйка, приличной зарплаты и пенсии в старости, наберись терпения, иду учиться». Тут-то и стали у каждого зарождаться свои личные учебные планы.

Мы к этим индивидуальным планам отнеслись с придиричивым вниманием. В цехах создали комиссии, чтобы можно было переговорить с каждым человеком. Подробнейшим образом опросили тысячи человек. И не просто опросили. Каждому посоветовали, что ему предпринять. Не навязывали, конечно, только советовали. Кому еще нет тридцати пяти, рекомендовали вечернюю школу и техникум. Старшему поколению — школу мастеров. Иногда беседа заканчивалась своеобразным договором между рабочим и администрацией. Допустим, рабочий говорит: «Хочу быть сталеваром». Ему объясняют: «Изволь. Но нужна десятилетка». Соглашается: «Хорошо! — И тут же ставит условие: — А комнату дадите?» Комиссия по ходу дела решала. Многим в связи с учебой улучшили жилье.

И вот когда всех опросили, узнали планы каждого, сопоставили их с перспективой комбината, тогда и сложили общезаводской перспективный план подготовки рабочих кадров на семилетку. Раньше мы наши планы производственной подготовки составляли «сверху». Они и лопались, бывало, по швам. А теперь в наших цифрах заложен личный интерес каждого рабочего. Цифры, стало быть, жизненные, твердые.

Понятно, за выполнением плана надо следить. К нему не может быть меньшей строгости, чем к производственной программе. В каждом цехе есть староста по учебе. Контролирует посещение занятий. Утречком мастеру — сводка. Когда подбиваем показатели по социалистическому соревнованию, смотрим: а как с учебой? Выясняем, к примеру, что в цехе пять человек оставили школу, говорим цеховикам: «Первых мест вам как ушей своих не видать».

И, знаете, любопытно: прежде о человеке так шла речь: «Хороший производственный. Кстати, в школе учится». Теперь слова «кстати» не произносим. В школе учится — это такая же оценка человека, как и разговор о его производственных успехах.

У Ашевского худощавое, аскетическое лицо. Под рыжеватыми бровями — ждущие глаза: чем его сегодня удивит новый собеседник? Говорят, он обидчив. Говорят, сильно ершится, если заводской руководитель, ссылаясь на занятость, отклоняет назначенную с ним встречу. Ашевский заметно скучнеет, разочаровывается, когда с трибуны заводского собрания вместо чистосердечного разговора заводят псалтырь. Непоседлив. Вдруг отправился на целину организовывать РТС. Вернулся домой больной и довольный: вывел на чистую воду кого-то из очковтирателей. Он южанин. В войну ехал на Урал буд-то на поселение, а теперь по-детски беспамятно влюблен в Тагил.

И вот этот нетерпеливый, тревожный человек удивительно подошел к делу, требующему великой душевной выдержки. Почему?

В двадцать шестом году, закончив среднюю школу, Ашевский сутками простаивал у Криворожской биржи труда. С мытарствами устроился на завод копировальщиком. Иной раз слышит сегодня недобрый старческий упрек в адрес молодежи: «Разве знают они, нынешние, почем фунт лиха? Капризничают». Ашевский грустно посмеивается. Он прекрасно понимает: слишком слабое для человека утешение — сравнивать свою судьбу с чужой, пусть самой несправедливой и неустроенной. Ашевский всерьез уважает заботы и тревоги нынешних молодых.

— Учиться — это ведь тоже не всегда изюм.

Мы идем вдвоем по территории комбината. Огромная держава металла. Составы. Грузовики. Составы. Многоколейный, многотрубный, многобашенный Урал.

— Встретились, — говорит Ашевский, — человек и техника. Красотища! А ведь тоже не изюм — свести их и подружить.

Да, это не прогулка и не развлечение. Тысячи потомков катальщика Гаврилы, идущих в интеллигенты, — это один из сегодняшних маршругов нашей революции. Это коммунистическая программа в действии.



---

---

# В МИРЕ НАУКИ

ТУР ХЕЙЕРДАЛ

★

## СТАТУИ ОСТРОВА ПАСХИ

(Проблемы и итоги)

*Летом нынешнего года в Советском Союзе побывал известный норвежский путешественник Тур Хейердал. Советские читатели хорошо знают его книги — о плавании на плоту «Кон-Тики» от берегов Южной Америки к островам Полинезии и об исследованиях загадочных древних статуй на острове Пасхи. Кроме этих двух экспедиций, Тур Хейердал организовал также археологические раскопки на землях Галапагосского архипелага, стремясь найти новые доказательства своей теории. Эта теория заключается в том, что предки полинезийцев вышли из Юго-Восточной Азии и, плывя с течением Куросио, сперва попали на острова у побережья Северо-Западной Америки, а уже оттуда заселили Полинезию, однако некоторые острова восточной части Тихого океана были еще до прихода полинезийцев заселены выходцами из Южной Америки.*

*В различных городах Советского Союза Тур Хейердал прочитал об этом цикл лекций.*

*Перед отъездом на родину Тур Хейердал посетил редакцию «Нового мира». Он оставил нам тексты прочитанных им лекций. Одну из них мы предлагаем вниманию наших читателей.*

**Т**рудно найти другое место на свете, где было бы столь парадоксальное соотношение между географией и антропологией, как на острове Пасхи. Разумеется, и это естественно, что Тихий океан в силу своей географии — тысячи населенных островов, разбросанных на площади, занимающей более одной трети всего земного шара, — ставит перед антропологами больше проблем, чем любой другой из мировых океанов. Но чрезвычайно замечателен и неожидан тот факт, что именно остров Пасхи — самый уединенный обитаемый остров в мире — оказался среди десятков тысяч тихоокеанских островов тем, который привлек всеобщее внимание своими многочисленными и неповторимыми археологическими памятниками. И пожалуй, не менее поразительно то, что остров Пасхи, занимающий в географическом и антропологическом отношении такое ключевое положение в Тихом океане, не был объектом тщательных археологических исследований вплоть до появления экспедиции, о результатах которой здесь пойдет речь.

Когда Эжен Эйро первым из европейцев в 1864 году поселился на острове Пасхи, ему и его коллегам-миссионерам за несколько лет удалось перевернуть последнюю страницу изначальной истории острова. Закончился последний, трагический акт одной из самых удивительных драм, которые когда-либо разыгрывались на одиноком островке в океане, за тысячи километров от других людей.

Никому из посторонних не довелось видеть первые акты. Зрители прибыли на остров Пасхи, когда последнее действие уже было в разгаре. И лишь археология и другие ветви науки о прошлом могут рассказать нам в основных чертах о периоде расцвета и величия острова.

Раньше мы этого не знали, но теперь можем утверждать, что лишь последние сцены печального эпилога предстали глазам первого европейца, который появился на горизонте островитян, на несколько часов сошел на берег и был в нашей части света провозглашен открывателем острова.

Это был голландец Роггевен, который пасхальным днем в 1722 году уже под вечер подошел на трех своих кораблях к безлесному острову. Утром следующего дня, когда над морем выглянуло солнце, корабли подошли ближе, и моряки увидели людей разного цвета кожи, которые зажгли костры перед вереницей огромных изваяний, стоявших на берегу. Островитяне, склонив голову, сидели перед изваяниями на корточках, то поднимая, то опуская сложенные ладонями руки. Как только солнце взошло, они упали ниц головой на восток. А костры все горели перед каменными великанами, увенчанными на высоте десяти метров огромными цилиндрами, на которых в свою очередь лежали выкрашенные в белый цвет камни. Уже в то время статуи были настолько старыми и источенными ветрами, что Роггевену удалось пальцами отломить кусочек поверхностного слоя. Он заключил, что статуи вылеплены из глины и земли, перемешанной с мелкими камешками. Голландцы покинули остров, проведя на нем всего один день.

Прошло почти пятьдесят лет, прежде чем следующий пришелец извне увидел остров Пасхи. Это был испанец Гонсалес, который вместе со своими спутниками, плывя в Перу, вновь открыл остров в 1770 году. Испанцы не ограничились внешним осмотром изваяний: Агуэра вооружился киркой и с такой силой ударил по одному из них, что посыпались искры. Он решил, что изваяния высечены из очень твердого и тяжелого камня. Белые предметы, лежавшие на цилиндрах, он определил как человеческие кости и заключил, что статуи были одновременно идолами и местом сожжения мертвых.

Как голландцы, так и испанцы записали, что на острове Пасхи не было в достаточном количестве ни леса, ни канатов, чтобы воздвигнуть столь огромные статуи. Роггевен видел разгадку в том, что статуи слеплены из глины, но испанцы опровергли это предположение, и удивленный мир впервые услышал про многочисленных каменных великанов, высящихся на голом, безлесном острове с примитивным населением за тысячи километров от ближайшей суши. Вековая загадка острова Пасхи прочно завладела умами людей разных стран.

Четыре года спустя после испанцев на остров приплыл капитан Кук, а за ним — французы во главе с Лаперузом и Деланглем. Все они — Кук, Форстер, Лаперуз и Делангль — исследовали статуи, и все подчеркивали, что эти очень старинные изваяния — явно следы былого величия и примитивное население острова не могло быть участником их создания. Кук первым обратил внимание на то, что многие статуи повалены и лежат у подножья разрушенных постаментов, напоминающих алтари. Он же заметил, что пасхальцы ничуть не заботятся о восстановлении разрушенного. Они хоронили своих покойников весьма скромно под кучами камней, подле постаментов древних великанов.

Отряд людей Кука проследовал вдоль южного побережья к вулкану Рано Ра-раку; здесь, возле каменоломни, они открыли и зарисовали ушедшие в землю статуи. Это единственные на острове Пасхи изваяния, которые отчасти врыты в землю, а не поставлены на высокие каменные постаменты.

У Кука был переводчик-полинезиец. Он с большим трудом разбирает местный язык, но сумел понять, что все эти многочисленные статуи изображают умерших королей и вождей. В то время изваяния как будто уже не играли роли идолов, и в описаниях англичан и французов их называют просто древними могильниками.

Независимо от того, что представляли собой эти исполинские фигуры для тогдашнего населения, пасхальцы продолжали свергать их с постаментов. Следующим на острове Пасхи побывал в 1804 году русский мореплаватель Лисянский. Он записал, что в бухте Кука по-прежнему стоят на своих алтареподобных террасах четыре статуи, в Винапу — семь. Двенадцать лет спустя, в 1816 году, сюда прибыла русская экспедиция во главе с Коцебу, который установил, что в

бухте Кука все статуи повалены и разбиты, а из семи статуй Винапу остались только две.

Последнее сообщение о стоящих статуях мы находим в записях Дю Пти-Туара, который в 1838 году видел севернее залива Кука девять фигур, стоящих на каменных платформах. В последующие годы и эти исполины были повергнуты, и когда в 1864 году Эжен Эйро первым из европейцев обосновался на острове Пасхи, на многочисленных постаментах не было ни одной статуи — всех их повалили, причем многие при падении раскололись надвое, а огромные каменные цилиндры, венчавшие головы, далеко откатились по склонам, словно паровые катки. Не удалось повалить только частично врытые в землю изваяния, обнаруженные отрядом Кука возле древней мастерской у подножья Рано Параку.

Эйро и его коллеги-миссионеры были первыми чужеземцами, которые освоили язык пасхальцев. Они пыгались расспросами найти ответ на загадку острова Пасхи. Островитяне могли лишь ответить, что некогда все статуи стояли в одном месте, но затем по велению бога-творца Макемаке они сами разошлись по многочисленным аху — платформам (постаментам) — в разные концы острова. И в своих письмах миссионеры сообщили, что тайну разгадать не удалось.

После семи лет пребывания миссионеры были изгнаны. Вскоре на остров Пасхи явился тайтянский овцевод Салмон, а затем чилийский метеоролог Мартинаес. Они жили в тесном общении с пасхальцами, и от них мы знаем о чрезвычайно интересных преданиях, рассказанных старейшими ронго-ронго, то есть местными учеными. Вальтер Кнохе, который побывал на острове в 1911 году в составе чилийской научной экспедиции, и Вивес Солар, первый учитель на острове Пасхи, собрали подтверждения важнейших деталей старинных легенд, которые позднее либо были забыты, либо воспроизводились со все большими искажениями.

Согласно древним преданиям пасхальцев их предки, «короткоухие», прибыли на остров Пасхи со своим вождем Туу-Коиху с острова, расположенного далеко на западе, в Полинезии. Прибыв сюда, они обнаружили, что остров уже заселен другим народом, «длинноухими», которые во главе с первооткрывателем острова Хоту Матуа приплыли из-за океана с противоположной стороны, из более засушливой страны в шестидесяти днях пути на восток, где восходит солнце. «Длинноухие», прибывшие первыми, с самого своего появления на острове воздвигали моаи — статуи. «Короткоухие» стали помогать «длинноухим» строить постаменты-аху и высекать изваяния, однако по прошествии двухсот лет идиллическое сосуществование сменилось кровавой гражданской войной, разыгравшейся у длинного оборонительного рва на полуострове Поике. Кончилось тем, что «короткоухие» сожгли во рву всех «длинноухих», кроме одного, которому было разрешено продолжать род. В дальнейшем продолжались междоусобицы среди «короткоухих», и, как сообщают те же предания, все статуи были повалены с помощью канатов и клиньев.

В 1914 году на остров вступила археология в лице англичанки Скоресбай Рутледж, которая приплыла на частной яхте. Правда, миссис Рутледж не захватила с собой профессиональных археологов, а ее научные записки, к сожалению, утрачены. Но ее популярный отчет о путешествии — «Загадка острова Пасхи» — изобилует ценными наблюдениями и навсегда останется ключевым трудом по археологии острова. Экспедиция Рутледж провела на острове Пасхи год, сосредоточив свое внимание на статуях и на платформах-аху. Изучив сто пятьдесят не вполне оконченных фигур, оставшихся в каменоломне у вулкана Рано Параку, Рутледж смогла восстановить картину работ в этой древней мастерской, которая, судя по всему, была внезапно покинута каменотесами, оставившими тысячи каменных рубил. Она нанесла на карту шестьдесят статуй, беспорядочно врытых в землю у подножья вулкана: кроме того, миссис Рутледж нашла двести тридцать одну статую, которые некогда стояли примерно на ста аху во всех концах острова. Эти статуи были повалены с помощью каменных клиньев, вбитых под основание.

Пальмер, Гейзелер и другие случайные посетители острова Пасхи конца прошлого и начала этого столетия считали, что есть только один тип статуй, что незаконченные изваяния в каменоломне и беспорядочно расставленные фигуры у подножья вулкана — лишь разные стадии изготовления изваяний, предназначенных к установке на аху. Но Рутледж обнаружила на острове Пасхи следы древней сети дорог, возле которых кое-где также валялись изваяния — они лежали на животе, головой прочь от вулкана. Миссионеры полагали, что эти изваяния были брошены во время их перевозки из каменоломни к аху, но Рутледж считала, что они, возможно, стояли прежде вдоль дорог, ведущих к вулкану, служа своего рода украшением — в отличие от статуй на аху вдоль побережья, которые играли роль надгробных памятников.

Гейзелер и другие считали, что статуи, врытые в землю у подножья вулкана, стояли здесь временно, для окончательной отделки спины перед тем, как их доставить на аху, но Рутледж и в этом расходилась с ними. По ее распоряжению было расчищено основание нескольких статуй, и когда убрали песок и щебень, оказалось, что основание одной из них как будто заострено книзу. Рутледж решила поэтому, что данная статуя с самого начала была предназначена стоять врытой в землю, а не водруженной на аху. А так как другие экспедиции вообще не занимались раскопками, то это наблюдение повлекло за собой серьезные недоразумения в специальной литературе.

Через двадцать лет после экспедиции Рутледж, в 1934 году, на остров Пасхи прибыла вторая (и последняя до нас) археологическая экспедиция. В ее составе были французы и бельгийцы. К несчастью, француз-археолог скончался в пути, и его бельгийский коллега Анри Лавашери остался один. Считая, что изваяния достаточно изучены Рутледж, он отказался от раскопок и целиком сосредоточился на чрезвычайно интересном исследовании тысяч наскальных изображений. Его спутник француз Альфред Метро посвятил себя важной проблеме этнологии острова Пасхи; не ведя раскопок, чисто умозрительно, он, кроме того, занимался и проблемой статуй.

Введенный в заблуждение сообщением в популярной книге Рутледж об одной статуе с как будто заостренным основанием, Метро решил, что все шестьдесят изваяний у подножья вулкана заострены книзу. Самолично не проверив этого, он в своем труде по этнологии острова Пасхи сообщает, что на острове есть изваяния двух видов: заостренные книзу, которые стоят у подножья Рано Параку, и статуи с плоским основанием, некогда установленные на многочисленных аху.

Он пишет: «Коренное различие между изваяниями на склонах Рано Параку и лежащими на террасах-аху заключается в форме их основания. Статуи Рано Параку были с самого начала изготовлены для помещения в землю, ибо они оканчиваются своего рода клином, тогда как статуи, связанные с аху, внизу плоские».

Рутледж подчеркивала, что ее исследования показали в общем однородность форм статуй, Метро же дошел до утверждения, что остроконечные и плоские внизу (согласно его классификации) статуи различаются также лицами, шеями, телосложением.

Сэр Питер Бак, тогдашний крупнейший авторитет в вопросах Полинезии, сам никогда не бывал на острове Пасхи, но основанное на недоразумении утверждение Метро сформулировал еще более категорично.

Он пишет об острове Пасхи: «Изваяния с заостренным основанием не были предназначены для установки на каменных платформах храмов, их закапывали в землю в качестве нетленных украшений и ориентиров вдоль дорог и границ отдельных участков. Так как оставшиеся в каменоломне статуи все заострены книзу, можно заключить, что «заказы» для платформ были полностью выполнены, и народ приступил к украшению дорог...»

Итак, Метро умозрительно, из одной якобы заостренной книзу статуи, обнаруженной Рутледж, сделал шестьдесят — число тех, нижнюю часть которых не было видно, так как они стояли врытыми в землю. Бак усугубил путаницу, считая, что основания ста семидесяти статуй, лежавших незаконченными в камено-

ломне, гоже заострены книзу. Одна необычного вида статуя превратилась в двести тридцать, а эта цифра в свою очередь должна была служить доказательством того, что погребность в изваяниях для культовых целей прекратилась и ваятели затеяли своего рода скульптурный ансамбль для украшения дорог на острове!

Поскольку записи Рутледж не сохранились, а последующие исследователи, не производя раскопок, основывались частично на явном недоразумении, естественно, что одной из задач нашей экспедиции, прибывшей на остров в 1955 году, было более тщательное исследование типологии и эволюции изваяний. Норвежскому археологу Арне Шельсволду были поручены раскопки и исследование древних каменоломен Рано Рараку.

Даже без раскопок было легко убедиться, что Бак неверно понял Метро. Ни одна из статуй, оставленных в каменоломнях Рано Рараку, не была заострена книзу; между тем Шельсволд внутри кратера и на внешних склонах вулкана нашел еще около пятидесяти статуй, которые не были ни описаны, ни нумерованы. Раскопка ряда статуй, погруженных в землю до груди, подбородка или носа, показала, что и у этих изваяний такое же плоское широкое основание, как у прочих скульптур на острове, и пальцы длинных рук точно так же встречаются в нижней части живота. Осмотр гигантских изваяний, лежавших ничком вдоль древних дорог, дал тот же результат: ни у одного из них не было заостренного основания. При раскопках обнаружена лишь одна небольшая статуя, которая действительно как будто заострена книзу наподобие найденной Рутледж, но оказалось, что это результат дефекта в камне, из-за чего произошел откол.

Исследование довольно быстро выяснило, что все до сих пор известные примерно шестьсот статуй острова Пасхи однородны; некоторые различия их объяснялись лишь разной степенью обработки. Удалось определить четыре стадии изготовления статуй. На первой стадии фигура соединялась спиной с коренной породой до тех пор, пока шла обработка передней части, боков, головы — вплоть до самых мелких деталей. Даже полировка производилась, не хватало только глазниц. Затем фигуру отделяли от породы и ставили у подножья вулкана — здесь накопилось много щебня, — чтобы обработать спину и нанести символические рельефные изображения. На крутом склоне нетрудно было поставить изваяние плоским основанием на специальную площадку, мощенную неотесанными глыбами лавы. По окончании обработки (по-прежнему без глазниц) изваяние клали снова на землю, а затем везли по дорогам, расходящимся от вулкана. Лишь когда статую ставили на аху, у нее высекали глазницы, а голову увенчивали большим красным цилиндром, который островитяне называли п у к а о — узел, пучок волос.

Итак, проблема упростилась. Ни о каком украшении дорог речи не было. Ваятели занимались одной задачей — делали однородные монументы и венчающие их красные цилиндры, чтобы устанавливать в ряд на аху вдоль побережья и кое-где внутри острова. Однако этим загадки острова Пасхи далеко еще не были разрешены.

Пока Шельсволд вел раскопки у Рано Рараку, американские археологи профессора Мэллой и Смит приступили к первым основательным исследованиям и раскопкам развалин аху, на которых прежде стояли изваяния. И они обнаружили, что под аху скрываются более древние сооружения, которые частью были перестроены, частью удлинены и укреплены, чтобы служить достаточно прочными фундаментами для тяжелых статуй, весящих вместе с цилиндром до девяти тонн. Первоначальная конструкция не была рассчитана на такую нагрузку, она представляла другой архитектурный стиль, другую каменотесную технику. Во всех изученных экспедицией аху были установлены особенности, свидетельствующие о двух различных строительных периодах.

В ходе раскопок все яснее становилось, что предыстория острова Пасхи распадается на три отчетливо различимых периода; археологи назвали их — «ранний», «средний» и «позднейший». В исследовании острова это было совершенной неожиданностью. Оказалось, что загадочные гигантские статуи принадлежат к среднему периоду. В раннем периоде таких изваяний не делали, на месте буду-

щих аху стояли алтареподобные возвышения из очень больших, неравных по размеру, тщательно пригнанных камней, причем фасад был обращен к морю, а с противоположной стороны находилась опущенная в землю культовая площадка. Эти сооружения были астрономически очень точно ориентированы и созданы чрезвычайно умелыми каменотесами, которые хорошо знали движение солнца и руководствовались им в своей культовой архитектуре.

Лишь в следующем, «среднем» культурном периоде появились известные нам изваяния. Одновременно первоначальные сооружения были частично разрушены, перестроены или надстроены. Их сменили аху, лишенные астрономической ориентации, играющие роль склепов и увенчанные гигантскими монументами, которые стояли спиной к морю, лицом к прежней культовой площадке.

Начало третьего, последнего периода связано с внезапным прекращением работ в каменоломне Рано Раваку, а также и перевозок статуй по дорогам. Затем изваяния одно за другим свалили с аху, и воцарилась примитивная культура; резчики по дереву, не владеющие искусством обработки камня, хоронили своих покойников под кое-как наваленными грудями камней на развалинах аху или в больших коллективных склепах, сооружаемых под брюхом поверженных исполинов. Третий период характеризуется всеобщим упадком, войнами, беспорядками, разрушениями. Об этом свидетельствуют находки тысяч наконечников копий из обсидиана, относящихся к этому времени, меж тем как в два предшествующих периода оружия либо совершенно не было, либо оно встречалось крайне редко.

Архитекторы и ваятели среднего периода сосредоточили всю свою энергию и внимание на сооружении гигантских статуй; в отличие от них раннее население острова, относящееся к первому периоду, гораздо более искусно обтесывало и подгоняло огромные базальтовые глыбы для своих алтареподобных сооружений.

Таким образом, экспедиция не только обнаружила ранее неизвестное чередование различных культур на острове Пасхи, но и совершенно опрокинула прежнее представление ученых о процессе его развития. У Рутледж можно найти предположение, что пасхальские аху были перестроены, что прежде они выглядели иначе, но Метро и Лавашери отвергли эту догадку, заявив, что культура острова Пасхи гомогенна, в ней нет различных слоев. Все отмечали поразительное сходство самых больших и лучше сохранившихся фасадов аху на острове Пасхи с подобными им сооружениями в Андской области, но полагали, что лучшая кладка на острове Пасхи появилась позже, венчая независимое местное развитие каменотесного искусства полинезийцев, которые прибыли-де на остров, не владея этой техникой, но со временем, живя в безлесном краю, сумели сравняться с лучшими в Южной Америке мастерами каменной кладки. И вот, повторяю, все опрокинулось. Оказалось, что первые поселенцы на острове Пасхи сразу по прибытии приступили к сооружению стен такого же типа, какой известен в Перу и в прилегающих частях Андской области, тогда как население во втором периоде не владело этим искусством и ограничивалось ваянием огромных статуй. В третьем периоде истории острова Пасхи вообще на место эволюции пришла деградация, массовое уничтожение и упадок всего того, что создали две предыдущие культуры.

Итак, раскопки обнаружили совершенно новую картину, которая уже не исключает возможности влияния характерной каменотесной культуры Южной Америки. Ведь во всей тихоокеанской области первым пришельцам просто больше нигде было освоить эту совершенно особую технику обработки камня.

Разнородность пасхальской культуры распространялась не только на культовые сооружения и могильники, но и на жилища исконного населения. Сразу по прибытии экспедиции на остров четвертый наш археолог — американец Фердон — подметил, что остались следы совершенно различных по типу жилищ.

До сих пор этнографы и археологи сходились в том, что, помимо подземных убежищ, на всем острове Пасхи был только один вид жилья — продолговатые камышовые хижины, напоминающие видом опрокинутую вверх дном лодку. Толстые ветви, служившие каркасом для камышового покрытия, втыкались в от-

верстия каменного фундамента, также напоминающего очертаниями лодку. Сперва мы раскопали целый ряд таких жилищ, и оказалось, что все они были построены либо перед самым прибытием европейцев, либо вскоре после того, то есть в позднейшем периоде.

Тогда Фердон и Шельсволд занялись изучением высоких кольцевых каменных оград, которые в большом количестве разбросаны по всему острову. Прежде этнографы и археологи принимали на веру слова местных жителей о том, что кольцевые стены ограждали от ветра на безлесном острове посаженные предками плантации махуте. Шведский ботаник Скоттсберг, побывавший на острове Пасхи в 1917 году, подтвердил, что внутри стен были плантации, и поместил соответствующие иллюстрации в своем сообщении о флоре острова Пасхи; эти иллюстрации Метро затем воспроизвел в своем труде. Наши раскопки показали, что такое употребление кольцевых стен возникло не сразу, а лишь в третьем периоде. Первоначально это были массивные стены круглых жилищ, крытых камышом.

В земляных полах мы нашли множество изделий и обросов — следы длительного проживания людей. Очаг помещался либо посреди жилища, либо снаружи. Один из исследованных нами очагов был полон обугленных остатков печеного сахарного тростника и бататов, видимо внезапно брошенных хозяевами. Радиоглеродный метод датировки показал, что этот совершенно полинезийский тип жилья был распространен на острове в средний культурный период, когда изготовлялись исполнинские стагуи; некоторые дома стояли еще и в третьем периоде наряду с совсем отличными от них лодкообразными камышовыми хижинами. Фердон, хорошо знающий археологию Южной Америки, тотчас указал, что круглые дома, неизвестные в остальной части Полинезии, были характерны для ближайшей части Андской области, обращенной в сторону острова Пасхи. А наши раскопки в Винапу открыли третий, опять-таки совершенно отличный вид жилья — с массивной каменной крышей, засыпанной землей. В одном таком сооружении был обнаружен погребенный там обезглавленный человек.

Целое поселение из подобных домов находится на вершине самого высокого вулкана острова Пасхи. Еще миссионерам удалось установить, что здесь находился важнейший культовый центр пасхальцев — Оронго. Ежегодно во время весеннего равноденствия здесь собиралось все население острова, отсюда зрители и судьи наблюдали за традиционными соревнованиями, участники которых на маленьких камышовых лодках плыли на птичий островок поблизости, чтобы добыть первое в году птичье яйцо. Победитель получал титул священного птице-человека.

Рутледж и Метро немалое внимание уделили этому своеобразному ритуалу, который существовал вплоть до исторических времен. Однако каменные строения Оронго все считали лишь культовыми сооружениями, присущими во всей тихоокеанской области только острову Пасхи. Проводя раскопки Оронго, Фердон и здесь нашел признаки чередования культур. Он установил, что необычные сооружения на вершине вулкана, ставшей культовым центром, в действительности были лишь продолжением того вида строений, которые ранее служили на острове Пасхи жильем. Он указал, что и этот тип жилья, неизвестный в других частях Полинезии, находит свою параллель в Перу, в прилегающих частях Андской области.

Все скалы и выступы в поселении Оронго покрыты высеченными изображениями птице-человеков — столь типичных для острова Пасхи человеческих фигур с птичьей головой и изогнутым клювом. Один птице-человек держит в своих объятиях солнце. Раскапывая низенькие, подчас обвалившиеся культовые сооружения Оронго, Фердон открыл много неизвестных ранее стенных и потолочных росписей, выполненных на плоском камне. Среди изображений преобладали камышовые лодки, двухлопастные весла и характерный для американских древних культур мотив «плачущий глаз». Ничего подобного не найдено в других частях Полинезии. Стратиграфические исследования Фердона показали, что поселок на вершине самого высокого пасхальского вулкана был культовым центром острова

на протяжении всех трех культурных периодов, с небольшими перерывами. В нижнем слое ученый обнаружил примитивную обсерваторию, определяющую положение солнца на восходе в пору весеннего и осеннего равноденствия, а также в середине лета. Эта солнечная обсерватория, а также обнаруженное в ней символическое изображение солнца — небольшая скульптура совсем необычного типа — и наскальные рельефы — первые, найденные в Полинезии. И снова в поисках параллелей пришлось обращаться к Андской области.

Во втором периоде стена солнечной обсерватории, сложенная из искусно обтесанных камней, была перекрыта культовым сооружением, напоминающим аху. Рядом появились каменные домики поселка. И внезапно в совершенно развитой форме был введен культ птице-человека. Сперва он смешался с более старинным солнцепоклонничеством, а затем и вовсе его вытеснил.

В начале второго периода в самом просторном и, видимо, главном каменном здании в центре поселка Оронго появилась небольшая и очень красивая статуя из черного базальта, которая первоначально, по-видимому, олицетворяла бога солнца и радуги. Затем поверх старинных символов на ней были высечены птице-человеки и весла — это было замечено еще Рутледж.

Эта, видимо, очень почитаемая статуя в Оронго отличалась от известных уже нам изваяний острова Пасхи тем, что была вытесана не из серо-желтого туфа, а из твердого черного базальта — таким образом, она происходила не из каменоломен Рано Параку, где были изваяны все изученные пасхальские статуи. Кроме того, у нее было яйцевидное основание, следовательно, она могла стоять лишь в соответствующем углублении и не предназначалась для установки на аху. В 1863 году военный корабль «Топаз» увез это изваяние с острова Пасхи; впоследствии тысячи посетителей Бриганского музея могли им любоваться. Его выбрали за особую красоту и маленькие размеры — всего два с половиной метра высотой, что позволяло его транспортировать. Тем не менее миссионеры сообщают, что тремстам матросам понадобилась помощь двухсот пасхальцев, чтобы спустить статую вниз по травянистому склону к берегу.

Итак, в культовом поселении Оронго были обнаружены две скульптуры, отличающиеся от обычных. Первая — неизвестная дотоле голова с очень своеобразными чертами, вторая — срезанная у бедер фигура с яйцевидным основанием, которая в отличие от изученных монументов была сделана из твердого черного базальта. Ни одна из этих скульптур не предназначалась для аху, и обе они относятся к наиболее раннему периоду в истории острова.

По мере рекогносцировки и раскопок на равнине мы и здесь мало-помалу стали находить статуи отличного, до сих пор неизвестного типа, также относившиеся к раннему периоду. Они, очевидно, были врыты в землю на культовых площадках, так как у многих из них округлое, выпуклое основание, непригодное для установки на аху. Подчас обломки древнейших статуй были использованы как строительный материал для круглых жилищ второго периода; другие скульптуры применяли при строительстве аху, причем в знак особого презрения их клали в стену спиной наружу. Некоторые, подобно статуе из Оронго, были из черного базальта, но отличались от нее — а следовательно, и от уже известных изваяний с острова Пасхи — пропорциями и складом лица. Мы нашли статуи, изготовленные из красного туфа, характерного для Рано Параку, но и они были меньше обычных и со своими особенностями.

Эти статуи раннего периода, которые до сих пор либо не были известны, либо не описывались, можно разделить на четыре совершенно различных вида. Первый вид — плоские или прямоугольные каменные головы без тела наподобие головы, найденной в солнечном храме Оронго; второй вид — колонноподобная, условная фигура в полный рост, с прямоугольным сечением, причем углы срезаны; третий вид — чрезвычайно реалистически выполненная коленопреклоненная фигура с острой бородкой, она сидит на пятках, положив руки на колени, и смотрит в небо; и наконец четвертый вид — прямая фигура, срезанная у бедер, с руками,

соединенными на нижней части живота. Четвертый тип и послужил прототипом омогенных статуй следующего периода в истории острова Пасхи.

Первые три типа — прямоугольная голова, прямоугольная колонноподобная фигура и коленопреклоненная с бородкой — были ранее неизвестны на острове Пасхи. Ничего подобного не найдено ни на Маркизских островах, ни на Питкерне и Раиваэвэ — единственных, кроме Пасхи, островах Полинезии, где обнаружены большие человекоподобные каменные скульптуры. Тем более примечательно то обстоятельство, что все три вида типичны для одного из культурных центров Андской области. В. Беннет описывает именно эти три типа как характерные локальные формы в Тиауанако. И там они отличны от четвертого вида — обычных местных изваяний, которые типичны для классического периода Тиауанако.

Всестороннее сходство коленопреклоненной статуи раннего периода острова Пасхи, найденной Шельсволдом среди щебня у подножия Рано Рараку, и коленопреклоненных статуй Тиауанако, которые Беннет относит к раннему предклассическому периоду этого важного культурного центра, настолько очевидно, что Шельсволд делает вывод: вряд ли можно это объяснить случайностью. скорее всего речь идет о близком родстве тех, кто изваял фигуры Тиауанако, и авторов статуй острова Пасхи. Четвертый тип статуй раннего периода острова Пасхи — прямые, усеченные внизу фигуры — не имеет параллелей вне острова ни в Полинезии, ни в Южной Америке. Это явно локально развившаяся разновидность скульптуры конца раннего периода; его примитивные предшественники выполнялись из красного туфа и черного базальта, а окончательно сложившийся классический локальный вид представлен статуей, которая из каменного дома в Оронго перекочевала в Британский музей. Все изваяния «серийного производства» следующего, среднего периода истории острова — точное повторение статуи из Оронго. Их отличают лишь значительно бóльшие размеры, материал (туф Рано Рараку вместо базальта) и плоское основание, позволяющее устанавливать на аху.

Итак, мы можем довольно отчетливо представить себе эволюцию монументов острова Пасхи. До сих пор знали только однородных исполнителей второго периода, которые, ничем не похожи на статуи островов на западе и континента на востоке. В этом одна из причин того, что наличие их исключительно на острове Пасхи казалось почти неразрешимой загадкой.

У нас нет никаких оснований сомневаться в достоверности сведений, полученных Куком, Лаперузом и другими путешественниками от островитян, когда многие статуи еще стояли на своих аху. Изваяния были не идолами в собственном смысле слова, а памятниками королям, вождям и другим могущественным особам, воздвигнутыми над их могилами. Каждая статуя была воздвигнута в честь определенного умершего человека, и даже после племенных распрей в третьем периоде, когда изваяния повалили, многие пасхальцы-старикки еще помнили имена отдельных а р и к и — вождей, в честь которых поставили статуи. Наши раскопки подтвердили, что во втором периоде в аху, служивших постаментами, делались склепы. В астрономически ориентированных алтареподобных конструкциях раннего периода мертвых не хоронили; зато перед фасадом красивых древних постаментов мы нашли крематории со следами коллективного сожжения. Это тоже было неожиданным открытием: никто не знал, что на острове Пасхи некогда существовала кремация.

Итак, возникает естественный вопрос: почему могущественные вожди второго периода истории острова Пасхи проявили столь скудное воображение, единодушно выбрав образцом для своих намогильников маленькую статую в Оронго? Уж не играла ли эта статуя особую роль? На последний вопрос мы можем ответить твердо: да. Маленькое изваяние с яйцевидным основанием не только единственное находилось внутри помещения, но и единственное изо всех изваяний на острове не подвергалось надругательству на протяжении всех трех культурных периодов. Никто не пытался его ни повалить, ни повредить. Наконец это была единственная статуя, которой поклонялось все население, независимо от родовой или клановой принадлежности. Остальные статуи — каждая из которых принадлежала отдель-

ному роду вместе с аху — во время кровавых распрей третьего периода были свалены и искалечены в качестве акта мести. А некоторые незаконченные статуи, врытые в землю у подножья вулкана, островитяне пытались обезглавить, так как повалить их им не удалось. Но базальтовое изваяние в Оронго стояло в неприкосновенности весь третий период, продолжая оставаться предметом культа плодородия. Здесь же происходили все важнейшие ритуалы враждующих племен острова вплоть до прибытия миссионеров во второй половине прошлого столетия.

Все говорит о том, что изваяние в доме на вершине главного вулкана первоначально было связано с солнцепоклонничеством первого периода. На спине статуи было высечено рельефное изображение солнечного символа и радуги. Во втором периоде статую внесли в новое здание, и на спине ее появились присущие этому периоду символические изображения птице-человеков. Воплощая боготворца или бога плодородия, изваяние сохраняло центральную позицию в религии острова, ему поклонялись во время ежегодных празднеств весеннего равноденствия. Если другие статуи, которые теперь стали появляться на семейных могилах, представляли отдельных покойников, то скульптура в Оронго продолжала оставаться общим божеством, почитаемым всеми пасхальцами. А так как вожди на острове Пасхи, подобно вождям и королям во всей Полинезии и в Перу, считали, что происходят по прямой линии от высшего божества, то вполне понятно, что каждый хотел видеть свое изображение возможно более похожим на божественный образец, известный всему населению по коллективному культовому центру Оронго. Единственное допустимое отклонение выражалось в растущем стремлении сделать статую возможно крупнее, чтобы подчеркнуть свое могущество и богатство.

Так стало ясным происхождение давно известных пасхальских великанов, их место в сложной истории острова Пасхи. Все они относятся к среднему периоду; их прообраз существовал тут же, на острове, в виде более древних и меньших размерами монументов первого периода; их изготовление прекратилось одновременно с внезапным окончанием второго периода; и наконец их без всякого почтения свергли с погребальных аху в последний период истории острова, продолжавшийся вплоть до исторических времен.

Тотчас возникает вопрос: можно ли хотя бы приблизительно датировать три разнородные культурные эпохи острова Пасхи? Чтобы выяснить это, археологи, не жалея сил, разыскивали органические остатки, допускающие датировку радиоуглеродным методом.

Все прежние попытки датировать первичное заселение острова основывались на сохранившихся в преданиях местных генеалогиях и чередовании королей. При этом наиболее древний «ряд королей», включающий целых пятьдесят семь поколений, субъективно отвергли в пользу более короткого ряда, насчитывающего двадцать — тридцать имен, так как все считали, что остров Пасхи первоначально открыт из Азии и в силу своего географического положения, как самый близкий к Южной Америке, был заселен последним из всех тихоокеанских островов.

Рутледж предполагала два неродственных потока иммиграции на остров Пасхи, причем полинезийцы прибыли около 1400 года нашей эры. Кнохе тоже считал, что на остров прибыли два различных народа, первый — между XI и XIII веками, второй — между XIII и XV веками. Лавашери и Метро считали культуру острова Пасхи молодой и однородной, открытие острова относили к периоду XII—XIII веков. Патер Энглерт предполагал слияние здесь двух культур, но появление их на острове датировал не ранее 1575 года нашей эры.

Наши раскопки показали, что уже в 380 году (с отклонением в обе стороны на сто лет) остров насчитывал немалое население, которое создало крупные оборонительные сооружения. Иными словами, на тысячу лет раньше того, что кто-либо предполагал до тех пор. Это была вообще наиболее древняя датировка для всех островов Полинезии. Собрав в важнейших местах древесный уголь и фрагменты костей, мы смогли получить семнадцать радиоуглеродных датировок с острова Пасхи, две наиболее интересные — из прославленного в легендах рва,

отделяющего полуостров Поике. Островитяне с самого начала и поныне утверждают, что здесь был решающий бой между их предками и «длинноухими», причем последних сожгли на их собственном оборонительном костре во рву длиной свыше двух километров.

Ранее геологи и археологи называли ров естественной геологической формацией. Как Метро, так и Лавашери заключили, что пасхальцы сочинили историю, чтобы объяснить природное явление; в итоге современные этнологи и археологи отвергли легенду о «длинноухих» и «короткоухих» как чистой выдумку. Однако стоило нам взять первые пробы, как оказалось, что ров полон древесного угля — след огромного жаркого костра, — а радиоуглеродная датировка показала, что костер горел примерно в 1676 году (с отклонением в обе стороны на сто лет). Это удивительно совпадало с датой 1680 год, которую патер Энглерт предварительно определил, исходя из утверждения островитян, что война была в разгаре двенадцать поколений тому назад. Раскопки показали, что оборонительный ров не был сооружен наскоро около 1680 года во время сражений между «длинноухими» и «короткоухими» — уже к тому времени он представлял собой древнее образование, наполовину занесенное песком и пылью. На самом дне этого искусственного сооружения длиной около двух километров, шириной двенадцать метров и глубиной четыре-пять метров Смит нашел осколки обсидиана. Под выброшенным со дна щебнем были обнаружены остатки гигантского костра, который горел на склоне во время работ. Они позволили установить, что создание оборонительного сооружения на окаймленном скалами полуострове началось уже примерно в 380 году нашей эры — го ли еще тогда на острове были усобицы, то ли прибывшие на остров поселенцы опасались преследований из далекой родины, о чем особо упоминает легенда.

У подножья Рано Рараку расположено немало покрытых травой гребешков и холмиков. Прежде их считали природными образованиями. На вершине одного холма находился фундамент священного жилища ежегодно избираемого птице-человека; как Рутледж, так и Лавашери связывали этот фундамент с древнейшими ритуалами. Наши раскопки показали, что и эти гребешки и холмы не природное образование. Они представляли собой огромные мусорные кучи, состоящие из осколков камня, золы, обломков каменных топоров, перенесенных из каменоломен в горе. Исследовав остатки костров, обнаруженных среди мусора, мы смогли датировать средний культурный период, когда шли работы в кратере; одновременно оказалось, что жилище птице-человека — позднее сооружение, оно появилось в последнем, третьем периоде, после прекращения работ в каменоломне.

Костер, который островитяне забросали камнями, когда сооружали второй из двух храмов первого периода в Винапу, позволил нам установить дату: 857 год нашей эры (с отклонением в обе стороны на двести лет); следовательно, уже тогда рядом с более старинным «классическим» сооружением появился храм номер два.

В целом радиоуглеродные датировки позволили археологам наметить следующие хронологические границы трех культурных эпох острова Пасхи: первый, древнейший период начался во всяком случае до 380 года нашей эры и закончился примерно в 1100 году; второй, средний период — примерно от 1100 года до 1680 года; и третий, позднейший период, начавшись приблизительно в 1680 году, длился до 1868 года, когда на остров прибыли христианские миссионеры.

Чтобы получить основу для хронологических и гипологических сопоставлений, мы после острова Пасхи посетили острова Питкерн, Раивазвэ, а также два острова Маркизского архипелага — Хиваоа и Нукухива. Иначе говоря, единственные, кроме Пасхи, острова в Полинезии, где найдены монументальные статуи. На Питкерне и Раивазвэ известно несколько небольших скульптур сравнительно позднего происхождения, и никто никогда не пытался утверждать, что они вдохновили древних ваятелей острова Пасхи. Зато Бак и другие выразили предположение, что двухметровые гротескные фигуры с дьявольской внешностью, установленные на двух культовых платформах в Маркизском архипелаге, который лежит от острова

Пасхи так же далеко на северо-запад, как Перу на восток, — что эти фигуры могли быть примитивными предшественниками пасхальских исполинов. Шёлсволду посчастливилось найти древесный уголь в двух слоях под каменной плитформой, на которой стоят статуи острова Хиваоа, а Мэллой и Фердон взяли образцы древесного угля под фундаментом изваяний острова Нукухива. Это позволило определить, что каменные статуи Маркизского архипелага были установлены в XIII, XIV и XV веках, то есть в разгар второго культурного периода острова Пасхи. Следовательно, совершенно отпадает возможность того, что маркизские скульптуры вдохновили каменотесов раннего пасхальского периода, начавшегося за тысячу лет до того, и даже ваятелей второго периода, начало которого мы относим к 1100 году. Зато хронология не исключает влияния в обратном направлении — острова Пасхи на Маркизский архипелаг.

Как известно, один из потомков Оророины — единственного оставшегося в живых после пожара во рву Поинке «длинноухого» — практически показал нашей экспедиции, как двенадцать поколений тому назад грубо заостренными ручными рубилами из твердого андезита высекали прямо в горе огромные статуи, как несколько сот человек могли перемещать изваяния по равнине, как двенадцать островитян с помощью канатов, бревен и камней за восемнадцать дней могли поднять на аху исполина весом около двадцати тонн. Впоследствии Мэллой снова отправился на остров Пасхи, чтобы продолжать раскопки, и по поручению чилийских властей он поднял ряд древних монументов.

Это ничуть не уменьшает нашего восхищения величием инженерных подвигов, совершенных во втором культурном периоде острова Пасхи, между 1100 и 1680 годами нашей эры. Одна из статуй, поваленная в третьем периоде с аху Те-пито-те-кура, была измерена Смитом, ее высота — девять и восемь десятых метра, вес — тридцать две тонны, а ведь ее голову еще венчал красный цилиндр — пукао диаметром в два и четыре десятых метра и весом в одиннадцать с половиной тонн. Немалое достижение поднять одиннадцать с половиной тонн (вес двух слонов) на макушку статуи высотой почти в десять метров, которая в свою очередь водружена на аху. Высота другой статуи, от которой к нашему прибытию лишь торчала из песка голова у подножья Рано Рараку (ее раскопал Шёлсволд), — одиннадцать и четыре десятых метра — высота четырехэтажного дома. И, однако же, все эти исполины кажутся карликами рядом с самой большой незаконченной статуей в каменоломне: двадцать и девять десятых метра — высота семизэтажного дома!

Итак, что же нам ныне известно о древней загадке острова Пасхи?

Некогда, еще до 380 года, свыше полутора тысяч лет назад, на остров Пасхи приплыло одно или несколько суденышек с мужчинами и женщинами. Они нашли уединенный остров, который выглядел совершенно иначе, чем тот, что впоследствии был открыт Роггевеном и известен на протяжении двухсот пятидесяти лет своими безлесными, поросшими травой и папоротником вулканическими склонами. Сегодня я с радостью могу обнаружить предварительные результаты пыльцевого анализа, пробы для которого мы взяли у кратерных озер потухших вулканов Рано Рараку и Рано Кэо. Пробы содержат богатый палеоботанический материал, он обрабатывается профессором Улуфом Селлингом в Государственном музее Стокгольма.

Природа острова Пасхи, когда там поселились первые люди, сильно отличалась от той, которую мы знаем сегодня. Столь бедный ныне растительностью остров тогда был покрыт лесом, где было представлено не менее сорока видов растений, главным образом деревьев. Среди ветвей вились лианы с пышными цветами, между деревьями густо росли различные кустарники. Этот лес во многом напоминал первичную низинную растительность, скажем, на подветренной части Гавайских островов и Маркизского архипелага. Правда, были здесь и совсем другие виды, в частности деревья семейств миртовых и аралиевых, панданус додоней, стифелия, сцевола, фрейцинетия, алисия, древовидная лизимахия и многие другие, которые впоследствии исчезли; причем лизимахия ранее была

в Тихом океане известна только на Гавайских островах и острове Рапаити. Еще до того, как каменотесы приступили к работе в кратере Рано Раваку, склоны вулкана были покрыты тысячами пальм — их пыльной насыпью каждый кубический миллиметр проб, взятых из толщи дна кратерного озера.

Что произошло со всей этой великолепной растительностью, можно проследить, изучая почвенные колонки высотой в восемь метров. Несколько выше того торфяного слоя, где мы отмечаем появление американского полигонума амфибнума (видимо, прибывшего вместе с первыми людьми с южноамериканского побережья) в период, когда полигонум успел уже стать обычным на острове, анализ обнаруживает возрастающее количество зольных частиц. Это отчетливые следы лесных пожаров, когда в кратер проникали густые клубы дыма и на землю ложилась гарь; пробы показывают заметное обеднение растительности в эту пору. Виновниками пожаров были сами пасхальцы. Население росло, и требовалось все больше расчищенной земли для возделывания, а позднее, возможно, сыграли свою роль и войны. Опустошение было настолько активным, что в верхних слоях мы практически уже не видим никаких следов прежней растительности — травы и папоротники безраздельно воцарились на безлесном острове.

Такая перемена ландшафта на острове Пасхи представляет собой не только ботанический интерес. Выходит, что мы совершенно неправильно представляли себе жизнь на острове в период первого местного культурного расцвета. Каменотесы, первыми ступившие на берег и соорудившие стены из огромных базальтовых глыб, прибыли не на голый травянистый остров, где можно было без помех перетаскивать монументы. Сперва им пришлось валить лес, расчищать землю для себя и своих каменных жилищ. Так сразу же отпадает старый, хорошо известный аргумент, будто первые пасхальские поселенцы начали сооружать каменные стены и высекать статуи потому, что попали на остров, где не могли заниматься привычным для них делом — резьбой по дереву. Все было иначе: поселенцы увидели на острове ту же природу, которая характерна для прочих полинезийских островов. — и тем более примечательна своеобразная культура, которую принесла с собой первая волна. Их деятельность на острове прямо начинается с развитой, очень специализированной мегалитической каменотесной техники. Они импортировали какой-то вид солнцепоклонничества — ведь ими сооружена солнечная обсерватория на вершине высочайшего вулкана и построены алтареобразные культовые площадки, точно сориентированные в соответствии с движением солнца; подобие присущей им техники каменной кладки находят только в древнем Перу, от района Куско до Тиауанако. Внутри «храмов» они помещали каменные человеческие изображения, характерные для Тиауанако, причем в это время нигде в Полинезии не существовало никаких каменных фигур.

В отличие от полинезийцев представители древнейшей культуры острова Пасхи строили жилища не из бревен и пальмовых листьев — они сооружали круглые каменные дома, какие были в безлесных районах вокруг Тиауанако, или же хижины в виде опрокинутых лодок, причем в одном случае кровлей служили каменные плиты, выложенные ложным сводом, в другом — американский камыш тотора (скирпус рипариус), который был основным кровельным материалом и в области Тиауанако и во многих других местах Перу. Этот американский пресноводный камыш, используемый жителями Тиауанако и пасхальцами также для изготовления своеобразных лодок, пережил все лесные пожары и сохранился в кратерных озерах вместе со своим американским спутником полигонумом. Наряду с американским бататом камыш был важнейшей культурой на острове Пасхи, когда туда впервые прибыли европейцы.

Мы не знаем, что произошло во время перехода от первого ко второму периоду. Как в Винапу, так и в Оронго археологи обнаружили признаки того, что в течение долгого срока между ранним и средним периодами местные культовые сооружения были заброшены и, возможно, весь остров совершенно покинут. Люди, которые затем утвердились на острове, были настроены враждебно — они разрушали храмы или перестраивали их без учета подгонки искусно обтесанных

камней, без учета движения солнца. Старые скульптуры подверглись уничтожению и надругательствам, их обломки использовали как строительный материал в новом архитектурном явлении — аху.

Несмотря на враждебность и явное различие религиозных представлений, новая культура была настолько близка предыдущей, что есть все основания считать ее происходящей в общем из той же области. Теоретически возможно, что второй волне поселенцев было известно местонахождение острова Пасхи. Новоприбывшие сразу ввели культ птице-человека и повсюду вытесали свои символы, в том числе поверх изображения солнца на спине единственной статуи первого периода, которую они обратили на службу собственному культу, продолжая ритуалы на вершине вулкана. В остальном же они поклонялись прежде всего своим покойным предкам, каменные изображения которых заняли центральное место в их архитектуре и повседневных занятиях, а могилы стали родовыми культовыми центрами. В период с 1100 по 1680 годы, примерно шестьсот лет, на безлесных ныне склонах Рано Раваку было высечено свыше шестисот изваяний. В ту пору не было ни войн, ни распрей, и каждое последующее поколение стремилось превзойти предыдущее размерами своих изделий. Вдоль берегов оголенного острова появились перестроенные аху с огромными статуями, обращенными лицом внутрь острова, спиной к морю; у ног исполинов помещались скелеты. В какой-то момент родилась новая идея — появились пукао, «пучки волос» из красного туфа, которыми стали венчать новые изваяния. Пукао изготовляли и для старых статуй.

В разгар этого процесса, около 1680 года, произошла катастрофа. Работы в каменоломне, на дорогах и на аху прекратились внезапно и больше никогда не возобновлялись. Впервые производятся тысячи копейных наконечников из вулканического стекла, которыми изобилуют все последующие культурные слои. Статуи валили, камышовые хижины сжигали, стены разрушали. Победителем оказался полинезиец, который не привык строить из камня и делать статуи, а собирал на берегу плавник, чтобы вырезать деревянные фигуры, известные по другим частям Полинезии. На острове Пасхи важнейшее традиционное деревянное изображение, которое изготавливается в сотнях экземпляров, — причудливая тощая человеческая фигура с острой бородкой, горбатым носом и длинными, свисающими до плеч ушами. Так, по словам пасхальцев, выглядели люди, которых застали на острове их предки и сожгли во рву Поике.

Полинезийцы, приплывшие на остров, не принесли с собой ни молотков по и, ни колотушек для та пы, ни каких-либо других изделий, отличающих полинезийскую культуру. Они явились, так сказать, незаметно и приспособились к местным обычаям. Из-за этого пока что трудно сказать: откуда и когда они прибыли. Сами они в прошлом веке утверждали, что приплыли к а р а у — то есть за двести лет до восстания, которое вылилось в войну на Поике. Это согласуется с тем, что предположили на основе изучения генеалогий Рутледж и другие. Многие признаки говорят о том, что полинезийцы не по своей воле приплыли на остров Пасхи помогать «длинноухим». Возможно, их прогнали, и тогда скорее всего с Маркизских островов примерно в XIV веке нашей эры.

Безусловно лишь то, что эти воинственные люди оказались одни среди руин на голой сцене острова Пасхи. Они сохранили в своей среде очень небольшой инородный элемент. Такими их и застал Роггевен, когда приподнял занавес для европейского зрителя — через много лет после того, как великая драма кончилась и исполнители главных ролей покинули сцену.

*Перевел с норвежского Л. Зиданов.*



---

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

★

## РАЗГАДКА ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ТАЙНЫ

СТРАНА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

**К**огда в 1885 году Николай Дадвани — внук знаменитого грузинского поэта Александра Чавчавадзе — вместе со своей уникальной библиотекой передал в дар национальному музею в Тбилиси хранившуюся в его семье древнюю грузинскую рукопись, никто не мог предвидеть в ту пору, какую ценность представит для истории культуры этот замечательный манускрипт, хотя ученые тогда же назвали его «сокровищем десятого века».

Ныне эта книга хранится в Институте рукописей Академии наук Грузии. Писана она на пергаменте in quarto старинным грузинским шрифтом, над строками и под строками киноварью выведены музыкальные знаки. Это свод древних гимнов, составленный крупнейшим грузинским композитором и поэтом X века Микаэлем Модрекили.

До нас дошла только часть рукописи — 544 страницы. В начале и середине утрачены 720. Отсутствует и конец; сколько в нем заключалось страниц, мы не знаем. Тем не менее даже и уцелевшая часть манускрипта свидетельствует о высокой культуре средневековой Грузии, с древнейших времен связанной со странами классического Востока — с Ассирио-Вавилонией, с государствами урартов и хеттов. Об этих ее связях рассказывают и памятники материальной культуры и клинописные тексты II и I тысячелетий до нашей эры. Сведения о прочных связях Грузии с Западом — с эллинским миром — содержат не только сочинения античных авторов, но и всемирно известные греческие легенды. Одна из них сохранила память о походе аргонавтов в Колхиду в поисках золотого руна, другая — олицетворяет человеческий гений в образе Прометея, прикованного к кавказской скале. Уже одно то, что скала в этой легенде — кавказская, служит прямым доказательством, что легенда, послужившая основой для гениальной трагедии Эсхила, пришла в Грецию из древней Колхиды.

В I и II веках нашей эры Грузия играла важную роль в отношениях Рима с Востоком. О том, как велик был в ту пору политический авторитет грузинского государства, свидетельствуют античные авторы, описавшие торжественный прием, который устроил в Риме император Адриан грузинскому царю Фарасману II в 138 году нашей эры. Фарасман принес в Капитолии жертву и удостоился высшей почести: конная статуя грузинского царя была установлена в храме Беллоны.

Недавние археологические раскопки в Грузии обнаружили недалеко от нынешней столицы Тбилиси остатки древнейшей столицы Армази. Крепостные стены, башни, вещи, найденные в гробницах, — оружие, золотые украшения, посуда, геммы, на одной из которых изображен приближенный царя Фарасмана II Дзеха со своей супругой, — еще более расширили представления об очень высоком уровне древней культуры Грузии. При этом важно напомнить, что христианство было объявлено государственной религией в Грузии уже в начале IV века.

Наивысшего расцвета грузинская культура достигла в XII и XIII столетиях, которые принято считать «золотым веком» Грузии. В эту эпоху в Грузии стали

развиваться гуманистические идеи, что позволяет сблизить ее с последующим явлением европейского Ренессанса. В частности, к этой эпохе относится стремительное развитие светской литературы, достигшее наивысшего выражения в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», в которой автор — это известно — выступает как великий певец гуманизма. Если при этом напомнить, что Грузия издревле была единственной среди окружавших ее народов страной трехголосного пения, то станет более очевидной та атмосфера, в которой поэт и композитор X века Микаэль Модрекили трудился над составлением той самой рукописи, которая в конце прошлого века поступила в национальный музей.

Что же представляет собой этот сборник?

«Я, Микаэль Модрекили, — пишет составитель в послесловии к одному из разделов, — потрудился и в результате тщательных поисков собрал отовсюду все песнопения, какие нашел на грузинском языке, и записал их в эту святую книгу истинно... сохраняя чистоту напевов, без ошибок в музыкальных знаках».

Итак, в сборнике Модрекили собраны песнопения, снабженные нотными знаками. Но как их прочесть? Как подойти к расшифровке этих своеобразных обозначений?

Замечательному открытию древнегрузинской музыки предшествовало другое, не менее удивительное — в области древнегрузинской поэзии. Оба открытия относятся к недавнему времени и принадлежат выдающемуся ученому Грузии Павле Ингороква — историку и филологу, специалисту в области древней грузинской поэзии.

Вот краткая история этих открытий.

### «МОНУМЕНТ ГРУЗИНСКОЙ УЧЕНОСТИ»

В древнегрузинских рукописях сохранилось немало гимнов: ученые знали их, но читали их как прозаические произведения.

Вчитываясь в старые рукописи, Ингороква обратил внимание на то, что далеко не все точки в текстах можно рассматривать как обычный знак препинания. Заподозрив, что они выполняют другую функцию, ученый стал подсчитывать количество слогов между точками и обнаружил в них несомненную закономерность: 7, 7, 7, 11, 7, 7, 5. Следующий абзац — та же последовательность. И так — до конца песнопения. Ингороква взял другой текст. И снова: 5, 10, 5, 11, 5, 8, 10. И то же чередование слогов до конца текста. Исследователь понял: это стихи без рифм, но с точным строфическим построением. Он стал продолжать подсчет. И когда работа над всеми сводами гимнов была закончена, он мог подвести итоги. Он обнаружил 1217 разновидностей древней грузинской строфики...

Так была раскрыта стиховая структура гимнов. Разгадав их метрическую основу, Павле Ингороква открыл свод стихотворных размеров, смог изучить систему древнегрузинского стихосложения, выяснить, что построение стиха в виде строфы с параллельными антистрофами имеет связь с хорической лирикой античной эпохи и с формой стиха, который произносится хором в античной трагедии. Более того: Ингороква открыл несколько сот неизвестных грузинских гимнов, открыл новых поэтов и среди них таких крупных, как гимнографы Григорий Хандтели и Георгий Мерчуле, установил, что древнейшие гимны восходят к V веку.

Это открытие один из английских историков назвал «монументом современной грузинской учености».

Результаты своей работы П. Ингороква опубликовал в книге «Георгий Мерчуле. Очерки по истории литературы, культуры и государственной жизни древней Грузии». Этот объемистый труд (более тысячи страниц) вышел в свет в 1955 году и привлек внимание не только научных кругов в СССР и за рубежом; он стал широко популярным среди грузинских читателей. Международный филологический орган «*Oriens christianus*» (т. 41, 1957) поместил весьма положительный и обстоятельный разбор этой замечательной книги.

## ВОСЕМЬ

Разгадав метрическую и ритмическую основу гимнов, Ингороква совершил открытие, важное не только для изучения и понимания древнегрузинской поэзии, но подошел тем самым и к разгадке музыкальных обозначений. Стало ясно, что между стихотворным и музыкальным текстами существует неразрывная связь. Надо было обнаружить ее.

Первый шаг в этом направлении был сделан без особых усилий: черной точке в поэтическом тексте соответствовала красная точка среди музыкальных знаков.

Тогда Павле Ингороква приступил к изучению всех древнегрузинских рукописей, в которых имеются нотные знаки. Таких манускриптов дошло до нас девять. Пять из них находятся в Грузии, одна в Греции, в Афонском монастыре, основанном в X веке грузинами: он был центром грузинской литературной школы. Три рукописи хранятся на Синае, в обители св. Екатерины, где с VIII века находилась грузинская монашеская колония и процветала грузинская письменность. Всего в девяти рукописях насчитывается около 1300 ирмосов — песнопений.

Сличая рукописи, хранящиеся в грузинских музеях, с микрофильмами синайских нотированных манускриптов, Ингороква окончательно убедился в том, что нотные знаки в них представляют одну и ту же систему. Но они не имеют ничего общего с известными нам типами нотописи, в частности с невмами, которые были приняты в средневековье среди народов Европы и восточно-христианского мира.

Ингороква выписал грузинские музыкальные знаки. Их оказалось восемнадцать. Исследователь увидел, что это не иероглифическое письмо: иероглифов в древних письменах бывает гораздо больше, чем букв. Очевидно, здесь каждый знак обозначает не группу звуков, а всего один звук. Значит, восемнадцать знаков должны представлять собой нотный алфавит.

Как часто повторяются они — эти знаки?

Ингороква принялся за подсчеты. На это ушло несколько месяцев. Наконец можно было принять как бесспорное: основных знаков восемь. Теперь стало ясно, что они соответствуют восьми ступеням октавы.

Это был первый крупный успех, который убедил ученого, что он находится на верном пути. Но пока оставалась неизвестной последовательность, неясно было значение каждого знака. Если этого не удастся восстановить — все сделанное окажется бесполезным.

Началось сличение знаков.

Четыре из них пишутся под строкой, четыре над строкой. Но совершенно очевидно, что между ними есть соответствие. Среди них имеется один совсем маленький — черточка. Но и среди верхних один тоже меньше других. Он напоминает собой скобку. Один из нижних — самый большой — похож на чайку в полете. А среди верхних этот же знак, только он перевернут и дополнен чертой. При этом нетрудно заметить, что нижние знаки по мере приближения к строке становятся меньше. А верхние, удаляясь от строки, начинают расти. Еще одно наблюдение: нижние знаки по мере приближения к строке имеют тенденцию к упрощению рисунка ноты, а верхние знаки, наоборот, начинают усложняться по мере удаления от них. Так и кажется, что между ними имеется «зеркальное соответствие».

Исследователь расположил знаки так, что, сходясь, они уменьшаются. Получилась шкала. Стало ясным, что группы из четырех знаков — это нижний и верхний тетрахорды диатонической гаммы.

Но правильна ли последовательность, в которой он расположил самые знаки?

Опять на помощь приходит подсчет: самый малый знак, напоминающий скобку, встречается в четыре раза чаще, чем остальные. Понятно: это и есть «доминанта», пятая — господствующая — ступень октавы. Дальше: в последнем такте каждого гимна должна звучать тоника. Следовательно, тут должен стоять хотя бы один из двух знаков октавы... Так и есть! Значит, перевернутая птица и похожий на нее узорчатый знак — обозначение первой и восьмой ступеней.

Так удалось разгадать последовательность нотных обозначений. Это был второй крупный успех. Но какие звуки обозначает каждая нота, оставалось неясным.

Вще в самом начале работы Ингорквa обратил внимание, что над первой строкой каждого гимна приписано, на какой «глас» они поются: «глас первый», «глас четвертый», «первый побочный» (пятый), «третий побочный» (седьмой). Всех «гласов» восемь. Значит, это указание на так называемые «церковные» диатонические лады, на которых строилась музыка древнехристианского мира; это указание на то, какой подразумевается звукоряд.

Это был третий существенный шаг на пути к разгадке тайны древнегрузинской нотописи.

Теперь, решив основные вопросы, можно было заняться изучением и дополнительных знаков. Шесть из них оказались обозначением «юбилейный» — музыкального орнамента ликующего характера. Другими знаками переданы хроматизмы — полутона, которые в грузинском культовом пении допускались весьма редко.

Таким образом, появилась возможность перевести древние обозначения в современные нотные знаки. Так же, как и в культовом пении римско-католической церкви, где до XIII века выписывался только ведущий голос, так называемый «кантус фирмус», так и в грузинских рукописях нотровалась только ведущая мелодия — по-грузински «дзлис пири», «предводитель голосов». Другие голоса не обозначались. Певцы, обрамляя мелодию, руководствовались нормами церковной гармонии.

Итак, первую часть исследования можно было считать оконченной: система музыкальных знаков была раскрыта, разгадана грузинская нотопись в рукописи X века!

### ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Теперь можно было приступить к чтению самих музыкальных текстов. Записи X века Ингорквa стал переводить на современные нотные знаки. Первым он транскрибировал гимн в честь девы Марии «Гихароден!» («Радуйся!») и, положив листок на попирт роля, проиграл расшифрованный музыкальный текст.

— Трудно передать, — вспоминает исследователь, — неповторимое переживание этих минут, когда я впервые услышал звуки, доносившиеся до меня из глубины веков, звуки, отдаленные от меня десятью столетиями.

Если бы в расшифровке была допущена хоть незначительная ошибка, в результате получился бы случайный и бессмысленный набор звуков. А между тем зазвучала прекрасная торжественная мелодия.

Вслед за первым гимном Ингорквa расшифровал еще восемьдесят. И во всех случаях рождалась великолепная музыка, поражающая внутренней логикой и глубиной музыкальной мысли.

Наконец настал момент, когда Ингорквa решил познакомить с ходом открытия и с его результатами музыкантов и отправился в Союз композиторов Грузии, где передал секретарям Союза, известным грузинским композиторам Андрею Баланчивадзе и Алексею Мачавариани «ключ» к своей расшифровке. Рассказ ученого поразил композиторов. А. Мачавариани выразил желание детально познакомиться со всеми положениями Ингорквa и с расшифрованными музыкальными текстами.

Изучив материалы, Мачавариани выступил со статьями. Он писал, что «расшифрованные знаки составляют вполне организованные мелодии» и носят глубоко национальный характер, обнаруживая «тесную связь с народно-хоровой музыкой». «Во всех случаях, — заявлял композитор, аттестуя восемьдесят проигранных им гимнов, — звучала величественная древнегрузинская музыка».

Эти статьи появились в грузинской и русской печати.

### ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ГИМНЫ

Теперь Ингорквa интересовал новый вопрос. Не сохранились ли остатки древнегрузинских песнопений в церковных песнопениях XIX—XX веков?

Три дня спустя после визита в Союз композиторов он пришел в Институт рукописей и попросил выдать ему все имеющиеся в институте записи грузинской цер-

ковной музыки. Ему принесли собрание грузинских церковных песнопений, которые были записаны в восьмидесятых—девяностых годах прошлого века от глубоких знатоков древнегрузинской духовной музыки. Эти материалы до недавнего времени находились в руках одного из участников сбора церковных мелодий и только после его смерти поступили в Институт рукописей. Никто никогда не работал над этими записями, никто ими не интересовался.

Ингороква открыл оглавление и сразу же увидел среди множества иных сочинений первые строчки уже известных ему стихов, тех самых, что легли в основу нескольких древних гимнов. Это были стихи, которые он — Ингороква — опубликовал за год до этого в своей монографии о Георгии Мерчуле.

Это его обрадовало. Значит, стихотворные тексты X века исполнялись еще совсем недавно. А музыка?

Чтобы не разбрасываться, исследователь взял хорал «Сасцаулита» («Чудом»), которым открываются своды песнопений X века, нашел его в записи восьмидесятих годов, сличил и почувствовал волнение необычайное! Он увидел огромное сходство — большая часть знаков совпала. Запись XIX столетия, в некоторых элементах более усложненная, была похожа на древнюю запись, как дочь может быть похожа на мать! Ингороква чуть не лишился чувств от результата сличения. В институте до сих пор вспоминают, как слабеющим голосом он попросил воды.

Этот момент в процессе исследования Ингороква я бы сравнил с недавней находкой хетто-финнийской биллингов — двуязычной записи, которая подтвердила правильность работ Мерриджи, Грозного, Боссерта по расшифровке хеттского иероглифического письма.

Ингороква продолжал сличать музыкальные тексты... Второй гимн: стихи те же, но между музыкальными текстами нет ничего общего! Третий хорал — то же самое. Четвертый... Пятый... Восьмой... Ирмос «Обремененная» — сильное сходство.

Ингороква сравнил между собой почти триста гимнов. Из них тридцать один гимн имел много общего с записями XIX столетия. Но особое сходство обнаружилось в записях семи гимнов. Значит, на все остальные тексты позже — на протяжении прошедшего тысячелетия — была написана новая музыка.

Подобно археологу, Ингороква поднял тысячелетний исторический слой и обнаружил тридцать один гимн, переживший десять столетий. И более тысячи двухсот, которые навсегда, казалось, исчезли, поглощенные временем, но благодаря трудам Ингороква ожили и зазвучали вновь.

Ингороква воскресил творчество великих музыкантов древней Грузии — Иване Минчхи, Иоанна Мтбевари, Микаэля Модрекили и прежде всего Григория Хандзтели, который, как теперь становится ясным, сыграл в истории древнегрузинской музыки примерно такую же роль, как Иоанн Дамаскин в греческой, а в истории римско-католической — папа Григорий II.

Наконец — это было 26 ноября 1956 года — на расширенном заседании отделения общественных наук Академии наук Грузии Павле Ингороква сделал доклад об этом открытии. Когда ученый сошел с трибуны, в зал стали входить артисты Грузинской капеллы. За рояль сел композитор Мачавариани. Дирижер поднял руку... Нет, не берусь передать силу этого первого впечатления, когда величественно, торжественно, стройно зазвучала «Песнь покаяния» Григория Хандзтели на слова грузинского царя Давида Строителя:

Когда настанет время последнего вздоха,  
Величие царственности пройдет и слава померкнет,  
Радость станет излишней,  
Цветение увянет,  
Другой получит скипетр,  
За другим встанет воинство.—  
Тогда помилуй меня, мой всевышний судья!

## НОТОПИСЬ ГРУЗИНСКАЯ И НОТОПИСЬ ГРЕЧЕСКАЯ

Уже не одни ученые Грузии знают теперь, как звучали древние грузинские гимны. 22 августа 1962 года ЮНЕСКО организовала из Парижа радиопередачу, посвященную открытию Ингорквы: на весь мир прозвучала древняя грузинская музыка. Еще раньше — в майском номере «Курьера ЮНЕСКО» 1962 года — редакция напечатала статью П. Ингорквы, излагающую основную суть его замечательного открытия. Эта работа вызвала большой интерес и во Франции, и в Италии, и в Японии, и в социалистических странах. Казалось бы, все уже выяснено и обнаружено.

Нет! Последнюю точку в науке поставить нельзя. Поэтому пойдем дальше и расскажем больше того, что изложено в «Курьере ЮНЕСКО».

Как и когда возникла грузинская нотопись? В какой связи находится она с нотным письмом других древних культур?

Ингорква снова всматривается в «невмы», которыми в средние века пользовались народы Европы и христианского Востока. Нет, они не похожи ни по рисунку, ни по характеру, ибо невмы — это обозначение не звуков, а интервалов.

Ученый рассматривает нотные знаки античных греков... Это гораздо ближе: греческое письмо отмечает не интервалы, а звуки. Но в остальном между ними, кажется, нет ничего общего. Греческие нотные знаки буквообразны и пишутся в строчку, как в книге. Грузинские напоминают стенографические обозначения и движутся вверх и вниз: движение голоса и движение глаза здесь согласованы. Эта система приспособлена для свободного чтения музыки. У греков двадцать три нотных знака. Из них главных пятнадцать, и в основе их лежит звукоряд двух октав, образующих систему «телейон». У грузин восемь знаков. И, следовательно, они более совершенны, поскольку отражают структуру одной октавы. Но что это? Грузинский нотный знак, напоминающий собою флажок, принятый для обозначения шестой ступени октавы, в точности совпадает с греческим знаком! И, что самое удивительное, этот знак тоже стоит шестым в первой октаве в греческой нотописи! Значит, совпали не только начертания знаков, но и функции знаков! Если такое же сходство обнаружится в других знаках... нет, пятый греческий знак «гамма» — «Г» не похож на грузинский. Тем не менее связь несомненна: пятый грузинский знак — это тот же греческий «Г», как упрощенно писали его древние греки. Седьмой знак тоже греческого происхождения: это упрощенное написание греческой буквы «дигамма» (F). Восьмой знак грузинского письма повторяет восьмой знак из второй октавы греческой нотописи, но только в перевернутом виде. Зато в латинском письме этот знак — «прессус майор» — совпадает с грузинским начертанием полностью. Но ведь латинские нотные знаки тоже восходят к греческим!

Так выяснилось, что верхний ряд нотных знаков связан с нотным письмом древней Греции. Но в подстрочных знаках ничего общего с греческими Ингорква не обнаружил.

Раздумывая над происхождением этих подстрочных знаков и видя в их очертаниях сходство с верхними знаками, зеркальное их подобие, Ингорква подумал, что они, наверное, были сконструированы в Грузии по образцу верхнего ряда.

Это предположение было правильно только отчасти. Но прежде чем рассказать о происхождении знаков нижнего тетра хорда, нам придется сообщить еще об одной находке.

### УЧЕБНИК VII ВЕКА

В сущности, на первый взгляд, никакой новой находки не было: рукопись, которую потребовал Павел Ингорква, уже бывала в руках ученых, только никто из них не смог разобраться в ее содержании.

Это древний учебник пения, озаглавленный «Свод номосов полный и точный». Собранные в нем стихи сопровождаются не нотными знаками, а проставленным возле каждой стихотворной строки указанием на номос, по образцу которого она должна исполняться. Возле каждой строки указан свой номос. Таким образом,

напев складывался из готовых музыкальных «формул», из комбинаций уже существовавших мелодических оборотов. Образно говоря, пение по номосам можно сравнить со строительством зданий из готовых крупноблочных панелей. Самые же номосы заимствовались из обширного репертуара уже существовавших гимнов.

Расположены песнопения в этом учебнике в последовательности церковно-грузинского календаря V—VIII веков.

Изучая тексты учебника и сопоставляя их с данными грузинской истории, Ингороква выяснил, что он составлен в тридцатых годах VII века, во Мцхете — в центре грузинской патриархии. В это время номосы, выработанные в течение трех первых веков христианского богослужения в Грузии, были классифицированы и приведены в систему. Кроме того, в учебник вошли древние номосы, которые пелись еще в античный, дохристианский период.

В учебнике эти древнейшие номосы не только используются в качестве образцов, но и представлены в конце книги в виде особого приложения под названием «Роды номосов 24».

Перечитывая их названия, ученый обратил внимание на то, что они образуют три группы по восемь номосов и что между этими тремя «восьмерками» существует несомненная связь. Эта система напомнила Ингороква греческую систему «телейон», т. е. греческий звукоряд в две октавы. Но то, что в грузинском учебнике эти группы состоят каждая из восьми номосов, наводило на мысль, что они связаны с системой октавы. Ингороква решил, что номосы соответствуют звукорядам. Это подтвердил анализ названий номосов. Так, первые номосы в каждой из трех групп носят названия, которые означают — «главенствующий», «основной», «низкий». А это говорит, что они имеют прямую связь с первой ступенью октавы.

Восьмые номосы называются по-грузински «одиа», «ахайа» и «дасадебели». «Дасадебели» значит: «то, что накладывается». Это вызывало в памяти Ингороква греческий термин, замыкающий систему «телейон»: «прос-ламбаноменос», что полностью совпадает со значением грузинского термина и заключает в себе важный смысл — «соответствие звуков октавы».

В античной грамматике есть раздел, называемый «просодия»; буквально это значит припев. Этот термин вошел в грамматику из музыкального обихода.

Заподозрив, что по аналогии с «прос-ламбаноменос» номос «одиа» обозначает соответствие между собой восьмью ступеней, Ингороква предположил, что термин «одиа» произошел от «просодия»...

В ту минуту он еще не знал сам, насколько он прав!

### ТРОЙНАЯ РЕШЕТКА

Иоанэ Петрпци — грузинский философ XI века — в своем сочинении «Толкование платоновской философии» приводит греческие и соответственно грузинские названия знаков просодии. «Вракия» — пишет он, — по-грузински значит «сабрунави», «пси́ле» означает по-грузински «цвили».

Но ведь это же названия номосов! Тех самых, что составляют раздел «Роды номосов 24».

Ингороква раскрыл греческий справочник, чтобы проверить, как выглядят знаки просодии... И увидел: знак «брахия» полностью соответствует второму нотному знаку грузинской октавы. Этого мало! В списке номосов номос «сабрунави», или, как пишет Петрици, «вракия», тоже стоит на втором месте.

Это двойное совпадение могло ошеломить любого!

Но это еще не все!

Знак «пси́ле» соответствует третьему знаку октавы. И, соответственно, в списке номосов «цвили», или, как заявляет Петрици, «пси́ле», точно так же занимает третье место!

Таким образом, в тот миг, когда Ингороква убедился, что два нотных знака в грузинском письме представляют собою знаки просодии, объяснилось:

происхождение грузинских нотных знаков нижнего тетра хорда, обозначаемых под строкой;

название двух нотных знаков;

соответствие между положением нотных знаков среди ступеней октавы и положением двадцати четырех номосов в трехоктавной системе. А главное, была установлена глубокая связь между знаком просодии, нотой и номосом, которая обнаружила строгий порядок, систему, в которой они расположены, словно в клетках таблицы.

Теперь следовало углубиться в изучение родословной остальных нотных знаков.

### НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ЕВАНГЕЛИЕ

В общем все уже было ясно: четвертому знаку грузинской нотной системы должно соответствовать название четвертого номоса — «ойни», пятому — номоса «нойни». Но откуда происходят эти названия?

Знак просодии, означающий четвертую ноту, — маленькая черта. И тут Ингорква вспомнил евангельский текст: «Доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или керайа (черта) не пройдет из закона».

Иота — «I» — писалась так же, как единица. «Ойни» по-гречески — «один». Значит, «иота» и «ойни» — синонимы! Сходится!

Второй знак в евангельском тексте носит наименование «керайа». А в просодии передается знаком, напоминающим скобку. Этот знак в грузинском нотном письме совпадает с пятой ступенью. Среди просодических знаков «керайа» и «иота» — самые маленькие. И в грузинском нотном письме они самые маленькие среди знаков верхнего и нижнего тетра хордов.

Но что значит название «нойни»?

Это значит: «не ойни», то есть противостоящий «ойни». Но ведь в грузинской нотной графике они находятся именно в таком отношении друг к другу: «ойни» в нижнем ряду противостоит «керайа» в верхнем.

Ингорква решает проверить себя. Петрици в перечислении знаков просодии называет «керайа» чертой, а «ноту», или «ойни», нижней чертой. И вносит в рукопись начертания обоих знаков. А это как раз и есть четвертый и пятый знаки грузинской октавы!

В том, что в основу грузинских нотных знаков было положено греческое письмо, нет ничего удивительного. До нас дошло множество фактов, говорящих о широком распространении в Грузии античной эпохи наряду с грузинским письмом письма греческого.

Оставалось выяснить происхождение самого нижнего знака в нижнем ряду. Но поскольку все нижние нотные знаки, как стало ясно Павле Ингоркве, восходят к знакам просодии, надо было и этот знак искать среди просодических начертаний. Так и оказалось на деле.

По-гречески этот знак носит название «ипо-диастоле». Когда в VI или VII веке переводилось сочинение греческого писателя Елифания Кипрского, грузинский переводчик, дойдя до этого знака, передал его словами «квеше-скнели», что значит: «крайний снизу». А именно такое положение и занимает этот знак в грузинском нотописании! Отсюда нетрудно понять, что в VII веке между знаками просодии и нижними нотными знаками грузины не видели разницы. И опять совпадение с номосом: соответствующий этому знаку номос, как уже сказано, носит название «главенствующий», «основной», а это определяется его ведущим положением в октаве.

Эта необычная аргументация, многократно и всесторонне подтверждающая стройность единой системы нотописи, гласов и номосов, вызывает в памяти знаменитую «решетку» Вентриса — замечательного ученого нашей эпохи, раскрывшего тайну крито-микенской письменности. Как известно, стройность аргументации, графически воплощенная именно в виде таблицы — «решетки», произвела наибольшее впечатление на всех, следивших за открытием Вентриса.

### В ОДНОМ РЯДУ

Все, о чем мы рассказывали, дает достаточно ясное представление о высоком уровне музыкально-теоретических воззрений и музыкального мышления в древней Грузии. В частности, возникновение грузинского музыкального письма Ингоркwa относит к двум первым векам нашей эры. Не так уж много дошло до нас музыкальных памятников древности столь глубокой, как новооткрытые древнегрузинские гимны. Древнегреческих памятников сохранилось очень мало, это известно. Наиболее ранние записи музыки европейской, в основном, относятся к средним векам. Из них самые ранние — репертуар римско-католической церкви: это века VII—XI. Древнейшие греко-византийские рукописи относятся к X веку. Уже из одного этого ясно, что древнегрузинская музыка VIII—X веков должна занять место в одном ряду с древнейшими музыкальными культурами мира. Это со всей очевидностью вытекает из открытия Павле Ингоркwa.

Единственное, что оставалось невыясненным в его работе, — это реальное звучание номосов. Казалось, ни один из них до нас не дошел, казалось, что они «растворены» в песнопениях и уже не могут быть выделены из них в «чистом виде».

Но так только казалось. До тех пор, покуда не было расшифровано древнее нотное письмо, система номосов сама по себе не привлекала исследователей. Между тем в начале XX века пять номосов — «Чабанеба», «Улхине», «Чрелсадаги», «Ойни» и «Нойни» — были записаны знатоком древнегрузинского пения Василием Карбелашвили.

В учебнике номосов Ингоркwa нашел указание на то, что гимн «Натели мохвед» («Ты явился, свет») поется, как номос «Чрелсадаги», а первый стих песнопения «Христос воскрес», как номос «Улхине».

Эти тексты отыскались среди записей X века в сборнике Модрекили. Ингоркwa стал сличать расшифрованные гимны с номосами... И опять получилось совпадение разительное!..

Это новый и весьма убедительный аргумент в пользу ученого, но...

Но и без этого ясно выдающееся значение того, что открыто замечательным советским ученым в древнегрузинских рукописях.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ТУРОВСКАЯ

★

## ПРОЗАИЧЕСКОЕ И ПОЭТИЧЕСКОЕ КИНО СЕГОДНЯ

**А** почему, собственно, кино? — спросит читатель, не очень привыкший к этому на страницах «толстого» журнала. Я не стану напоминать, что кино — самое массовое из искусств: это знает каждый. Не буду ссылаться на то, что минувший сезон кино был достаточно разнообразен и интересен: «А если это любовь?» Ю. Райзмана и «Девять дней одного года» М. Ромма, «Человек идет за солнцем» М. Калика и «Девчата» Ю. Чулюкина, «Когда деревья были большими» Л. Кулиджанова и «Иваново детство» А. Тарковского...

Я даже не задаюсь целью привлечь внимание читателя к одному из тех вопросов, которые для экрана фатальны и никогда не сходят с повестки дня: сколь схож герой кино со своим жизненным прототипом? Почему так много посредственных фильмов? Каков должен быть «современный» язык кино? Наконец сакральный вопрос: почему из всей обширной кинопродукции года симпатии немалой части публики сопутствуют пошлому фильму «Человек-амфибия»?

Ответить на эти и многие другие вопросы кинематографических будней в самом деле нужно и в какой-то степени, вероятно, возможно. Но то, о чем я собираюсь говорить, лежит «по ту сторону» этих общих вопросов и имеет в виду процесс, на первый взгляд, узкоспецифический для кино. Речь пойдет о том, что среди многого нового, что появилось за последнее время в кинематографе, стало заметно тяготение экрана к новой системе выразительности, которую по аналогии со старым спором, происходившим на рубеже тридцатых годов, я назвала бы «поэтической» в противоположность господствующему типу повествовательного, или «прозаического», кино. Если не сделать это допущение и не ввести в практику хотя бы старый термин (пока не придумали нового), то многое сразу станет непонятно. Иначе что прикажете делать с «Ивановым детством» А. Тарковского? С картиной М. Калика «Человек идет за солнцем»?

В самом деле, герой погибает — и... мир опрокидывается вверх ногами. Он достает из кармана стеклышки — и мир становится разноцветным: синим, красным, зеленым. Потом — совсем по старой английской балладе — он отправляется за солнцем в надежде обойти землю «в двадцать четыре часа». Глупо, хотя шестилетнему ребенку и простительно.

Ясно, что за всем этим должен существовать какой-то более общий смысл и простодушные приключения мальчика, отправившегося вслед за светилом, служат для авторов иносказательным, поэтическим способом выразить их собственные, взрослые мьсли.

Это даже слишком ясно, и сквозь сверкающий, прихотливый, текучий мир, запечатленный талантливой камерой оператора В. Дербенева, все же просвечивает, как ребра на рентгеновском снимке, наивно аллегорический каркас.

Но согласимся пока, что здесь существенна сама тенденция. Еще недавно в фильме М. Калатозова «Неотправленное письмо» камера в руках такого замечательного мастера, как С. Урусевский, продемонстрировала свои поэтические воз-

возможности. Тот, кто видел фильм, наверное, сохранил в памяти (даже не в памяти — в ощущении) образ «злого солнца», встающего над тайгой, лунное безмолвие холодных, оцепенелых пространств, и в этих недвижных, почти космических пространствах — нечто динамическое, движущееся, живое: человек и природа, жизнь и смерть. Возможность новых масштабов конфликта проглядывала сквозь перипетии сюжета, заимствованного из рассказа В. Осипова, с его этической коллизией.

Это, может быть, даже не было задумано авторами, а возникло — на сей раз почти стихийно — из способности камеры в руках иного оператора или режиссера сообщать кадру некую многозначность, не исчерпываемую его прямым повествовательным содержанием; некий ореол ассоциативных откликов, которые во взаимосвязи с целым и рождают поэтический образ (взаимосвязи, целостности как раз и не хватило «Неотправленному письму»).

Режиссеры немого кино очень хорошо знали эту особенность камеры и охотно пользовались языком сопоставлений, метафор, ассоциативных связей — поэтическим языком иносказаний взамен прямого языка слов.

И вот, не порывая с возможностями повествовательности, предоставленными ему звуком и словом, кинематограф вновь испытывает возможности поэтического киноязыка. Зачем?

Немного истории. Спор между «поэтическим» кинематографом и «прозаическим» разгорелся у нас на рубеже тридцатых годов и окончился поражением первого и решительной победой второго<sup>1</sup>. В основании смены направлений лежала техника: экран стал говорящим. То, что «великий немой» мог выразить лишь в формах описательных, получило возможности прямого литературного выражения.

Но спор имел и другой, более существенный, исторический смысл. На рубеже тридцатых годов экрану предъявлено было требование более глубокой разработки характеров, доступности, человечности. Спор шел в мировом масштабе. Советское кино от эпопеи революции (связанного с именами Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина) поворачивалось к отдельному человеку и его судьбе в революции. Но была еще одна историческая закономерность в этом споре. От стихийного эмоционального напора, с каким экран двадцатых годов отразил недавнее и еще не до конца понятное революционное прошлое<sup>2</sup>, искусство шло к ясной осознанности, четкой определенности конфликтов.

Потрясения духовного мира обычно отражаются в поэзии скорее и непосредственнее, чем в прозе.

Было нечто даже в рациональных конструкциях поэтического кино, не поддающееся рациональному учету, не выразимое в титрах, не укладываемое в сюжетную связность, — нечто, разгадываемое только поэтически: символом, метафорой, сопоставлением. «Сыграть мятежный дух народа», по слову Вахтангова, можно было именно и только в «поэтическом» кинематографе, который требовал от своего зрителя непременно интеллектуального усилия — сопоставления, додумывания, доосмысливания, — но в те же время всей системой своей образности хотел воздействовать на его эмоциональную природу.

Война и революция взрастили еще очень юное «седьмое искусство». Немое кино с его более примитивной, но и многозначной образностью оказалось перед необходимостью запечатлеть вздыбленное, взорванное время. На этом скрещении задач и возможностей и возник поэтический язык кино двадцатых годов, язык необычайной насыщенности и пафоса.

С течением времени между рационализмом и стихийностью «поэтического» кино обнаружилась трещина. Когда стихийность в ходе истории стала естественно иссякать, рационализм сыграл злую шутку с «поэтическим» кино (к тому времени

<sup>1</sup> Того, кто хотел бы подробнее ознакомиться с существом и обстоятельствами этого спора, я отсылаю к недавно вышедшей интересной книге Е. Добина «Поэтика киноискусства».

<sup>2</sup> Эйзенштейн объясняет это «попутничеством режиссеров» «поэтического» кино, Пудовкин — недостаточностью культуры (знания жизни, как сказали бы мы теперь). См. сб. «За большое киноискусство», Кинофотоиздат, 1935.

заговорили об «интеллектуальном» кино), превращая его создания в возвышенные ребусы.

Переход к «прозаическому» кинематографу, заменившему, по словам Эйзенштейна, «образ содержания» на «изображение содержания», означал переход к конфликтам, усложнившимся и в то же время более ясным, до конца познаваемым.

Таким образом, повествовательный кинематограф — в самом общем своем виде — избавился от крайностей как стихийности, так и рационализма. Он давал пищу сердцу и уму, но не требовал уже такого напряжения интеллекта и эмоции. Он весь укладывался в пределы разума и свидетельствовал о внутренней стабилизации духовной жизни.

О синтезе «поэтического» и «прозаического» кино заговорили тогда же. Однако несомненная поэтичность «Чапаева» или трилогии о Максиме не меняет преимущественно повествовательного характера этих картин.

«Поэтический» кинематограф сегодняшнего дня, о котором я говорю, принявший звук, слово как данность, а повествовательное развитие сюжета как традицию, тоже не волен вернуться к приемам и условностям «великого немого».

Если сейчас некоторые структурные принципы старого «поэтического» кино оживают снова, хотя и пересаженные на почву повествовательности, то это безусловно имеет известные технические предпосылки. Широкий и широкоформатный экран, полиэкран и круговая панорама наталкивают на какие-то еще не очень понятные, но расширяющие сферу привычной образности возможности. С другой стороны, звук, который некогда внес такую дезорганизацию в искусство «великого немого», теперь освоен, укрощен, послушен любым замыслам кинематографистов до полного и самоотверженного подчинения им (вспомним звуковой, но не говорящий японский фильм «Голый остров»). Теперь, решив проблему звука, экран может снова вернуться к своим изобразительным задачам. Но только ли в технике дело?

Я не стану утверждать, что «поэтический» способ выражения просто-напросто более «современен», чем всякий иной. Приемы устаревают и обновляются в наши дни раньше, чем успевает сложиться некая нормативная эстетика. Модное быстро выходит из моды, и наоборот. Эпитет «современный» — любимое словцо эстетических дискуссий — подчас получает произвольное толкование: «современны» — Хемингуэй, лаконизм, автоматы с газированной водой, узкие брюки; или Лев Толстой, лоно природы (модно жить на даче), цветы на окнах, красное дерево.

И, однако ж, откуда-то возникает именно сейчас потребность в новом способе выразительности<sup>1</sup>. Не из одной только моды и даже не из одного саморазвития приема, хотя вслед за техникой это играет свою роль в формировании киноязыка.

Попробуем понять, как строится повествование и конфликт в «прозаическом» и «поэтическом» кинематографе сегодня.

Мне кажется, одним из лучших образцов «прозаического» кино за этот год может служить картина Ю. Райзмана «А если это любовь?»<sup>2</sup>. Лучшим в смысле полноты осуществления замысла, последовательности его прозаической природы и просто в смысле уровня режиссерского мастерства. Всегда психологически тонкое и жизненно достоверное мастерство Юлия Райзмана поднялось здесь на новую ступень. В нашем киноискусстве последних лет я не знаю другой такой логически ясной и законченной в своем роде картины. Можно спорить с режиссером о замысле, — осуществление его неопровержимо.

<sup>1</sup> Традицию поэтического кино двадцатых годов можно найти в фильмах по сценариям А. Довженко: «Поэма о море» и «Повесть пламенных лет». То, что я условно называю новым «поэтическим» кино, связано с именами молодых режиссеров — Алова, Наумова, Тарковского, Калика и других.

<sup>2</sup> Я разбираю фильм Ю. Райзмана так же, как фильм А. Тарковского «Иваново детство», хотя мне пришлось уже писать о них рецензии и, значит, в статье неизбежны самоповторы, так как эти картины, мне кажется, наиболее полно выражают обе тенденции в сегодняшнем кино.

В основу сценария И. Ольшанского, Н. Рудневой и Ю. Райзмана лег подлинный и драматический житейский случай: история любви двух молодых людей, которых окриками и грязными подозрениями довели до самоубийства. История эта, однако, не была просто перенесена на экран, а претворилась в руках художников.

История Бориса и Ксении начинается с пустяка, случайности, с нечаянно оброненного в классе листка из письма.

...Правда, когда учительница немецкого языка, к которой на беду попал этот листок, вызывает девочку в белом передничке, подобравшую его, и предлагает потихоньку выяснить, кто написал письмо, и доложить ей — это уже не случайность.

Но драна из-за того же письма на заводе (где у ребят практика), и разбитые бутылки с кефиром, и возмущение буфетчицы — снова случайность, злосчастное стечение обстоятельств.

...Правда, то, что Ксения на следующий день боится и не хочет идти на уроки, — тоже не случайность.

Но то, что проходящая мимо первоклассница замечает, как Ксения с Борисом поворачивают от дверей школы в лес, — опять случайность, стечение обстоятельств.

...Правда, то, что мать встречает прогулявшую школу Ксению оскорбительной пощечинкой во дворе, при всех — снова не случайность. Но... так можно было бы рассказать весь фильм шаг за шагом, все его большие и маленькие перипетии, вплоть до эпилога. И тогда мы увидели бы, что сюжет в картине складывается, как это часто бывает и в действительности, из непредвиденных случайностей, которые приводят в действие какие-то закономерности, происходит как бы цепная реакция, одно житейское обстоятельство цепляется за другое, пока классную доску не перечеркивает испуганная надпись: «Ксения отравилась»...

Итак, логика сюжета в фильме совпадает с логикой самой жизни в ее обычном течении, хотя это течение не воспроизводится полностью со всеми его ответвлениями (как о том мечтает, допустим, Дзаваттини). Из него тщательно выбраны лишь значащие моменты: то, что имеет прямое отношение к истории любви Бориса и Ксении. Среди многих и многих житейских обстоятельств и связей прослежена одна логическая цепь причинности, но прослежена с возможной подробностью и полнотой. Ничего не упущено, каждая мелочь получила свой смысл. Это позволяет режиссеру сквозь частный житейский случай показать его общественный смысл.

В самом деле, Райзману важнее понять механику того, что происходит с Борисом и Ксенией, чем пожалеть «бедных влюбленных». Общее преобладает в фильме над частным, причины над следствиями, течение жизни над судьбами; размышление над участием. Режиссер подчеркивает это общее, выделяя логический ход событий.

Историю любви Ксении и Бориса, едва начавшейся, застигнутой врасплох и сразу взятой на подозрение, нетрудно было бы представить на фоне старых московских дворов с закоулками и черными ходами, где ютятся тощие кошки, на фоне доживающих свой век окраин с лавочками, на которых по-деревенски судачат кумушки. Казалось бы, именно такой фон мог оттенить старое и отживающее в человеческих отношениях. Казалось, это дало бы «образность» фильму.

Но авторы картины не соблазнились этой заманчивой и кинематографичной метафорой.

Фильм начинается с характерного пейзажа: серая лента шоссе, протянувшаяся вдоль рамки, бесконечно следующие друг за другом машины, груженные строительными блоками, и ровный строй новых домов по ту сторону шоссе с глубокими просветами неба между ними. Школьники, кончив уроки, шмыгают между машинами. Действие происходит в новом районе, где новое все: шоссе, квартиры, школы, магазины, синтетические материалы в витринах и даже мусор на пустырях, потому что это — мусор новостроек.

Здесь нет темных и таинственных закоулков — дома стоят широко, между ними много неба, света и воздуха. Зелени еще нет, поэтому городской пейзаж кажется скучноватым, но просторным. Как обычно в новых районах — всюду большие расстояния: до школы, до магазина, от дома до дома. Фигурки людей кажутся маленькими в пустынных еще дворах.

В фильме Райзмана мало что поддается поэтической «дешифровке» и мало что нуждается в ней. Режиссер почти не прибегает к кинематографическим «тропам», которые так любил «поэтический» экран. Он показывает то, что он показывает, — не больше и не меньше. И тем не менее фильму присуща кинематографическая образность (чего не хватает столь многим даже умным и правильным повествовательным картинам). Только она не поэтическая, а прозаическая.

Простота, ясность, строгость операторской работы А. Харитоновой, уравновешенная симметрия мизансцен, к которой тяготеет фильм, трезвый дневной свет почти во всей картине (за одним исключением — и это тоже имеет свой смысл) — все это выражает ясную логику событий, давая как будто бы камерному сюжету иной, не камерный масштаб.

Образность фильма почти нигде не становится иносказательной. Она всегда имеет прямой, но очень часто расширительный смысл.

Новый дом в новом районе — своего рода разрез житейской повседневности: здесь ничто еще не устоялось и не притерлось друг к другу. На унифицированном и стройном фоне современных новостроек особенно очевидны напластования быта. А быт — хотя картина совсем не бытовая — существен для Райзмана.

Две семьи, два пласта жизни, два уклада — Ксения и Борис. Режиссер мимоходом вводит нас в одинаково современные и такие разные квартиры.

Базарная глиняная кошка на тумбочке, базарный коврик на стене, резной самодельковый буфет, какого не сыщешь в городе, старая ручная швейная машинка — деревенский, кузьмихинский быт, втащенный в новую светлую квартиру с современными окнами: комната, где живет Ксения.

Новые корпуса встали на пустыре, где недавно были хибарки деревни Кузьмихино. Но в новые дома въехали не только старые деревенские тазы и кошки — въехали старые предрассудки и представления. Ведь внешний облик жизни меняется куда быстрее, чем внутренняя ее суть. И новый дом сам по себе еще не гарантия, а лишь предпосылка нового человека.

А рядом другая квартира и другой уклад, так знакомый по пьесам В. Розова, — новая полированная мебель, интеллигентное и недавнее благополучие семьи, богорая, видно, долго была в переездах (отец — крупный инженер, мать — домохозяйка). Но и они мало чем могут помочь сыну: матери давно уже не угнаться за ним, а отцу и недосуг и невдомек: он сразу готов предположить худшее и только потом спохватывается — ведь парень-то порядочный...

Так обусловлены характеры Бориса и Ксении в этом стремительно меняющемся быте, где на разных этажах — разные эпохи, и жилищное строительство обгоняет строительство человеческих душ.

Но дело в том, что характеры Бориса и Ксении тоже важны режиссеру не сами по себе: картину так же мало можно назвать психологической по преимуществу, как по преимуществу бытовой. Они важны скорее как точка приложения сил, как выражение определенных жизненных закономерностей.

Вот почему Райзман выделяет их из окружения лишь постепенно и только силой обстоятельств.

Режиссер не торопится ввести нас в завязывающуюся драму и познакомить с ее героями. Шоссе, поток машин, группа школьников, возвращающихся через шоссе после уроков. Кто-то за кем-то погнался, кто-то кому-то дал портфель по голове, какой-то парень притащил девушке почитать популярную книжку и другая озорная девчонка вырвала книжку у нее из рук, а потом подсунула вместо романа учебник.

В этой толпе обычных старшеклассников, в меру веселых, хулиганистых или серьезных, режиссер, оператор и актеры ни одной, самой маленькой, черточкой

не выделяют Бориса и Ксению. Ромео и Джульетта так же бегают, дерутся, дразнятся и говорят ерунду, как и все остальные. Джульетта больше, Ромео меньше. Но это как раз потому, что они вовсе не Ромео и Джульетта и даже еще не влюбленные. Они еще только осознают в себе возможность любви — Борис больше, Ксения меньше. Только потом, на заводе, когда кто-то из ребят, вырвав злополучное письмо у школьницы, облеченной странным поручением учительницы, начнет читать его вслух, мы заметим, что одна из девочек — кажется, та, что вчера вырвала у подруги книжку, — лихорадочно роется в портфеле, а коренастый, спокойный на вид мальчик бросается в драку, чтобы отнять письмо.

Выбор актеров покажется спорным тому, кто станет искать в фильме то, чего в нем нет: историю одной любви. Но у режиссера свой замысел, и Жанна Прохоренко, которая еще недавно была так трогательно и светло наивна в «Балладе о солдате», играет здесь очень обыкновенную девочку, не бог весть какую умную, в чем-то даже ограниченную и провинциальную — не только современную десятиклассницу, но и дочь своей матери. И Борис (И. Пушкарев) — не более чем обычный парнишка, который интересуется всем, чем положено интересоваться парню в его возрасте, менее зависим от пересудов кумушек и от школьных строгостей, очень честен в своем чувстве и прям в его защите, но при всем том ничуть не герой.

Отсутствие ореола романтики вокруг образов влюбленных — что ставят Райзмана в вину — очень естественно в этом фильме, где исключительности самой любовной коллизии предпочтена житейская закономерность обстоятельств, с которыми она сталкивается. Есть свой смысл в том, что среди многих актерских удач фильма самыми значительными оказались не Ксения и Борис, а учительница немецкого языка, нашедшая письмо (А. Георгиевская), и в особенности мать Ксении (Н. Федосова).

Именно оттого, что фильм «прозаичен» в хорошем смысле слова, напрасно было бы искать в его персонажах олицетворенные понятия. Это характеры во всей их бытовой достоверности и психологической емкости. Но там, где бытовое и психологическое сливаются воедино, — там возникает главное и определяющее для Райзмана качество образа: социальное. Ни Георгиевская, ни Федосова ничего не олицетворяют, но они выражают определенные явления действительности.

Это не так уж часто случается в наших фильмах, и едва ли стоит упрекать Райзмана в сгущении красок — он сделал то, что составляет, пожалуй, самую большую задачу «прозаического» кино: не остановившись на «частном случае», показал за характерами явления, за «происшествием» — социальный конфликт.

Две силы вмешиваются в зарождающееся чувство Бориса и Ксении — школа и двор. Ханжество и оборотная его сторона — житейская обывательская «мудрость».

Школа в фильме тоже новая. Большие окна, просторные, светлые классы, широкие коридоры. Школа обычная — не лучше и не хуже других. Ребята в общем дружные, готовые прийти друг другу на помощь. Старая, умудренная годами и опытом директриса, которую М. Дурасова играет достаточно интеллигентной. Молодая учительница (Н. Белобородова), понимающая, что нельзя лезть с грязными подозрениями в человеческую душу. Руководитель заводской практики (Е. Быкудоров) — разумный человек, недовольный ролью следователя, которую ему пытаются навязать.

Неужели всего этого, вместе взятого, мало, чтобы одолеть одну учительницу немецкого языка, устроившую из обрывка письма дело о нарушении нравственности с привлечением родителей и широкой школьной общественности?

Оказывается, мало.

А. Георгиевская, которая когда-то на сцене МХАТа так живописно изобразила мещанку Наташу в «Трех сестрах» Чехова, играет здесь «человека в футляре» современной формации. И можно поверить, что одной такой учительницы оказывается достаточно, чтобы старая и умная директриса, попробовав возразить своей любимой фразой: «Зачем же сразу предполагать

худшее?» — беспомощно осеклась, испуганная каким-то таинственным инцидентом в «березовской школе». Чтобы руководитель заводской практики махнул рукой, услышав, что он «не педагог». Чтобы горячность молодой учительницы разбилась о неуклонную и подозрительную бдительность добровольного следователя.

Лишь в одном режиссер и актриса обеднили себя: Георгиевская играет результат, она больше пугает, чем пугается сама, заставляя скорее предполагать, чем видеть процесс возникновения подобного, существующего не только среди педагогов характера.

В этом смысле Н. Федосова имеет перед ней преимущество. Конфликт зарождающегося чувства с обывательским здравым смыслом прослежен режиссером с присущей ему подробной и ясной логикой.

Вспомним хотя бы один эпизод фильма в его последовательно повествовательном развитии.

Когда наутро после памятной драки на заводе Борис и Ксения встретились за углом дома перед началом уроков, и Ксения испугалась и не захотела идти в школу, а Борис, не раздумывая, предложил отправиться в соседний лес, и какая-то первоклассница слышала это и, когда прозвенел звонок, они повернули в одну сторону, а одинокая детская фигурка, размахивая портфельчиком, промчалась через огромный школьный двор и юркнула в дверь, — ничего страшного еще не произошло. Ничего страшного не произошло, и Ксения и Борис остались в лесу теми же ребятами, которые еще позавчера бежали через шоссе в толпе одноклассников: и тут они кидались портфелями, радовались опятам у пенька и осеннему лесу, дрались еще по-детски и впервые в жизни неумело и серьезно поцеловались.

Сцена эта важна в художественной ткани фильма еще и потому, что один раз вместо пространства, расчерченного шоссе и новостройками, фоном становится лес, шелест листьев, шум ливня — то извечное и природное, то стихийное и безответное, что впервые с такой естественностью пробуждается сейчас в душе Ксении и Бориса.

Режиссер с редким даже для «прозаического» кинематографа самоограничением отказывается от самостоятельных пейзажных мотивов. Пейзаж существует в фильме лишь в прямом соотношении с героями. Он, как уже говорилось, имеет образный смысл. Образный, но не иносказательный. Заброшенная деревенская церковь, где венчалась Ксенина бабушка и где между Ксенией и Борисом происходит первое объяснение в любви и первый неловкий поцелуй, звучит единственной фальшивой нотой в фильме именно потому, что образ несет в себе иносказание и многозначность, не свойственные логически ясному и строгому строю картины. Он кажется случайно попавшим сюда из другой картины.

Но дождь кончился, портфели застегнуты, пальто кое-как отряхнуто, и ребята отправляются домой.

В следующей сцене — во дворе — цепь житейских случайностей и жизненных закономерностей разворачивается шаг за шагом с той непреложностью бытовых и психологических мотивировок, которая составляет самую сильную сторону райзмановского фильма.

Двор, в противоположность школе, представляет как бы сферу частной жизни. И двор, как и все в этом фильме, тоже не какой-нибудь особенный — злой или, напротив, сусально-добрый, — обычный двор, живущий своей повседневной жизнью, принаряжающийся к празднику и выходящий на демонстрацию в новых костюмах, с детьми и воздушными шариками.

Но надо же было, чтобы бойкая первоклассница-сестра прибежала домой с криком, что Ксении не было в школе и учительница вызывает мать (здесь впервые возникает интерьер квартиры, как бы подготавливая появление матери). Чтобы дикая деревенская бабка, недавно переехавшая в этот новый дом, бросилась вниз с причитаниями, что Ксенечка пропала, а соседи — домохозяйки и пенсионеры — из участия и чуть-чуть любопытства вмешались в эту семейную сцену.

Чтобы бойкая сестрица провозгласила на весь двор, что Ксения не пропала, а отправилась в лес, и не одна, а с мальчиком. Чтобы прибежавшая с работы мать, которая — ни-ни! — не позволила бы дочери такой вольности, громко возмутилась этим предположением, а глупая баба с тазом отпустила по этому поводу похабное замечание. Чтобы интеллигентная и сердобольная соседка принялась, крича на второй этаж, выяснять обстоятельства со своей дочерью — Ксениной одноклассницей. И чтобы все это столпилось под окнами, взволнованно обсуждая происшествие, когда в широком проеме домов, на фоне высокого осеннего неба показались, держась за руки, две маленькие фигурки с портфелями.

И снова кинематографическое решение: две маленькие фигурки на просторном фоне неба в контрасте с шумным и тесным многолюдьем двора — образно, без всякого, однако, иносказания.

Кто-то хихикнул, увидев замаранный Ксенин подол, кто-то подумал худшее. И вот тогда-то с ходу, ничего не спросив, мать закатила дочери пощечину, другую, кто-то ее оттащил, но уже повисло в воздухе подсказанное обывательским здравым смыслом скверное слово...

Однако Райзман не останавливается в своем анализе жизни на этом общем и внешнем понятии «мещанства», как останавливается на нем большинство «морально-этических» фильмов и пьес: характер матери просмотрен до самой глубины. Только на минуту, когда она во дворе встречает дочь градом пощечин, вы можете подумать об этой немолодой и усталой, с простым рабочим лицом женщине, что она грубая хамка (так, вероятно, скажет о ней дочери и мужу интеллигентная сплетница из соседнего подъезда). Но уже в следующую минуту, когда подружки оттащат ее, и Ксения со стыдом бросится в свой подъезд, и вы снова вслед за матерью и дочерью войдете в новую современную квартиру, вы невольно задумаетесь совсем по-другому об этой женщине.

Можно по-разному представить себе биографию Ксениной матери, которая по-деревенски почтительно говорит «мамаша, вы» и бьет дочь по лицу, подслушивает под дверью, когда к Ксенин приходит молодая учительница, и со слезами целует дочери ноги.

Но та житейская мудрость, которой она поучает дочь, — мудрость несчастливого и темного человека. Ведь это она, мать, своими материнскими наставлениями, подозрениями и поучениями отнимает у дочери веру в любовь и учит ее, что существует только физическое желание.

Вот она сидит в светлом директорском кабинете в новой школе, где учится ее Ксения, рабочие руки на коленях. Она успела набегаться и намотаться за день в столовой — надо же содержать старуху мать и двух дочерей, — но она не поленилась принарядиться в школу: дорогое шерстяное платье с затейливой отделкой — бедный, убогий вкус. Она смотрит на учителей подозрительно и недоброжелательно — это они со своими «методами» не уберегли ее Ксенечку, а им за это деньги платят.

Она груба и несправедлива, но это жизнь, трудно сложившаяся, сделала ее такой. Была война, были дети, надо было работать, растить их, и за заботами она просто не успела стать ни добрее, ни культурнее, ни доверчивее к людям — эта женщина с рано постаревшим и не злым, в сущности, лицом.

Таковы — взятые во всей их бытовой обыденности и социальной определенности — характеры, таковы ясные и обозримые конфликты фильма.

Только один раз режиссер сознательно нарушает «прозаизм» повествования и прибегает к поэтическому приему, к иносказанию, к метафоре. Это случается, когда Ксения, измученная собственными страхами, испуганная рассуждениями матери, изверившаяся и в любви и в Борисе и все-таки чувствующая в нем единственную опору, отчаянно бросается к нему. И тогда происходит то самое, от чего их так назойливо предостерегали и к чему тем самым толкали.

Фильм ясен и строг по режиссерской и операторской манере. Размерен по ритмам. Каждый эпизод, как кодой, завершается симметрично-уравновешенным кадром.

А здесь — лихорадочный бег Ксении и стремительная смена света и тени: ярко освещенный, нарядный клуб и темный двор. И качающийся фонарь на пустыре у строящегося дома, куда спрячутся от посторонних глаз Борис и Ксения: круг света, пятно тени.

Качающийся фонарь на пустыре — метафора, передающая смятение и поспешность совершающейся ошибки... Но, честно говоря, если бы Райзман остался верен прозаической повествовательности, ненужная и еще не желанная близость Бориса и Ксении лучше романтической метафоры объяснила бы убийство любви и душевный надлом, за которым едва не последовала драматическая развязка. К сожалению, подобные «сюжеты» — вне зависимости от художественной необходимости — все еще считаются «неприличными» в нашем кино...

И сразу — светлый прямой коридор школы, четкий шаг учительницы немецкого языка, притихший класс и взволнованная надпись поперек доски: «Ксения отравилась».

Рассказав предысторию событий со всеми мотивировками, подробностями и нюансами, авторы фильма опускают затем драматическую кульминацию сюжета: неудачную попытку самоубийства и все, что ей сопутствует. На этот раз «фигура умолчания» оправдана замыслом. И это не противоречит повествовательному принципу. С одной стороны, истоки разыгравшейся жизненной драмы важнее для Райзмана, чем сама драма. С другой стороны, как отличный повествователь, он знает, что воображение зрителя, шаг за шагом подведенное к последней черте, само совершит прыжок и дорисует случившееся с нужной эмоциональной полнотой.

Перед самым эпилогом режиссер делает два резких временных и образных сдвига. Неверный свет фонаря на пустыре — светлая прямизна коридора. Взволнованная надпись «Ксения отравилась» — будничность зимнего дня.

В другом фильме финал, вероятно, был бы драматичен в самом прямом смысле слова: больница, испуганная плачущая мать, понявшая свою ошибку, пристыженная учительница, сосредоточенные врачи, бледная Ксения. Ничего этого здесь нет.

В эпилоге режиссер как бы еще замедляет ритмы, еще усугубляет прозаизм повествования. Эпилог отнесен к той минуте, когда опасность давно миновала. Все слезы выплаканы. Виновные... Впрочем, неизвестно, да и не так уж важно, наказаны ли они по административной линии или угрызениями совести. Ксения выздоровела, а Борис вернулся с Курской магнитной аномалии, куда отослал его отец.

Эпилог начинается без перехода, буднично и размеренно: зима, Ксения в материнской шали и ботинках с авоськой и бутылками идет по делам. Сберкасса, квартплата... Магазин... Новый стеклянный и светлый магазин в новом районе.

И так же тихо, не убыстряя шагов, Ксения выходит на улицу. На улице ее ждет Борис — первая встреча после всего, что было.

Жанна Прохоренко не играет Ксению в финале ни трагически, ни даже драматически. То же, как эхо, детское озорство, когда она рассказывает Борису, какие ребята оказались хорошие и как ее пионеры приходили с горном под больничное окно. Та же улыбка на исхудавшем, бледненьком лице. И только женский, какой-то материнский, даже снисходительный взгляд, когда Борис с увлечением начинает рассказывать о Курской аномалии. Она не замкнулась в себе, не изверилась в жизни, ничего такого не произошло.

И Борис по-прежнему предлагает Ксении свою любовь и свою мужскую защиту. Но она не хочет. Она уедет к тетке в Новосибирск, будет учиться, работать и постарается быть счастливой. Но без любви. Вот и все.

Фильм завершается, как и открывается, образом-обобщением. Жизнь идет по-прежнему, никто не умер. Погибла только любовь. Даже еще не любовь — беспомощный зародыш ее, который нечаянно обнаружили и скоростно ликвидировали. Она могла бы быть. И вот ее нет.

На пустом пространстве, еще не застроенном новыми домами, — две маленькие фигурки медленно и непоправимо расходятся в разные стороны...

Образ обобщенный, но вовсе не метафорический. Присущая Райзману повествовательность выдержана до конца — и также до конца, полностью выражена мысль, идея, тема, которая до буквальности прямо сформулирована в названии фильма. До конца — это значит до истоков, до причин, а не до поводов, на которых так часто останавливается наше искусство. Ради этого режиссер не испугался пойти на жертвы: он самоотверженно отказался от всего экстраординарного, из ряда вон выходящего в развитии сюжета и в развязке, которая в действительности была трагической. Скрупулезный анализ он предпочел немедленному эмоциональному эффекту.

Я знаю немало людей, которых картина не удовлетворила до конца: ей не хватает любви, говорят они. Возможно, но это был бы просто другой фильм. Ту моральную или этическую тему современного мещанства, которая вот уже несколько лет — и не случайно — занимает столь значительное место в нашем искусстве, Райзман решил, пожалуй, с наибольшей глубиной — как тему социальную. Повествовательная, «прозаическая» форма, избранная и выдержанная им, оказалась адекватна задаче.

Фильм молодого режиссера А. Тарковского «Иваново детство» поставлен по рассказу В. Богомолова «Иван». Первооснова сценария может быть названа в данном случае «прозаической» в прямом литературном смысле слова, так же как и в том специфически кинематографическом, о котором выше шла речь. Рассказ написан от лица молодого лейтенанта — героя, занявшего столь существенное место в литературе о войне, — и содержит несколько случайных встреч с Иваном — двенадцатилетним разведчиком, все близкие которого погибли. Рассказ написан по отношению к герою «извне», с той хорошей документальностью, которая стала отличительной чертой молодой военной прозы. Рассказчик не позволяет себе сколько-нибудь далеко идущих отступлений: он описывает поразивший его воображение человеческий характер и заканчивает рассказ уже в прямом смысле документальным свидетельством: записью о допросе и расстреле Ивана в фашистском тылу.

Нетрудно представить картину, поставленную по рассказу Богомолова как он есть. Это могла бы быть отличная «прозаическая» картина с отлично, психологически точно и глубоко сыгранными характерами. Это была бы другая картина — вот и все.

Фильм Тарковского по отношению к рассказу снят с обратной точки: не Иван на войне увиден глазами лейтенанта, а лейтенант и война — все увидено как бы глазами Ивана. Было бы точнее сказать — режиссера, но Иван для него примерно то же, что лирический герой для поэта.

Только в математике от перемены слагаемых сумма не меняется. В фильме — при том, что верность внешней, фабульной стороне сохранена максимально, — это многое меняет.

Можно ли представить себе фильм Райзмана снятым не объективно («с точки зрения лейтенанта»), а как бы от лица Ксении за минуту до самоубийства? В таком случае это, вероятно, был бы «поэтический» фильм, но в нем было бы утрачено главное: объективная непреложность и социальный смысл случившегося. Для того чтобы понять характер Ивана, понадобится, как мы увидим, еще кое-что.

Но дело, конечно, не в произволе точек зрения. Существо дела состоит, вероятно, в том, что после стольких фильмов о войне в 1962 году режиссер, принадлежащий к поколению Ивана, выходит с фильмом, который можно назвать экспериментальным, но нельзя не признать самобытным. Его «поэтический» язык обусловлен не желанием во что бы то ни стало быть оригинальным и, право же, не подражательностью: если в картине и есть нечто, условно именуемое заимствованиями — некий призрак формального ученичества, — то известный прием берется здесь так, как берется с полки уже изобретенный инструмент — не изо-

бретать же его, в самом деле, заново! То есть берется он не для забавы, а для дела, в сознании собственной, очень важной цели, и подчиняется ей до конца по своим собственным законам.

Фильм начинается иначе, чем рассказ, где на КП батальона приводят неизвестного мокрого, продрогшего оборвыша. Он начинается с безмятежности, с просвеченной летним солнцем идиллии: далекое кукование кукушки, бабочка, порхающая вокруг белоголового мальчишки, пушистая и чуткая мордочка козули, глядящая с экрана большими прозрачными глазами, ласковая улыбка на милом материнском лице... Образы детства и тишины — не обязательно день 21 июня на такой-то широте и долготе: просто немножко бессвязные и, однако, легко узнаваемые образы света, мира, счастья... И — война.

Война тоже входит в фильм не в бытовом своем обличье — не через рупор радиоприемника, не с воем самолетов и пулеметными очередями, не смертью и разрушением, которые, ворвавшись в мирный быт, отныне сами становятся бытом, грозным бытом войны, как это бывало во многих картинах до «Иванова детства». Война входит в фильм памятью сердца, внезапным и болезненным толчком воображения — вдруг опрокинувшееся материнское лицо...

Перевернутый кадр — метафора. Метафора — прием «поэтического» кино. То, что в фильме М. Калина «Человек идет за солнцем» должно было обозначить некое теоретическое богатство возможностей, право на поэтическую субъективность (мальчик наклоняется и видит мир вверх ногами), — здесь метафора перевернутой войной жизни. Прием, однако ж, многозначнее своего первого, рационального смысла. Перевернутый кадр — это еще эмоциональный удар, обрыв, катастрофа — монтаж фильма будет идти через такие катастрофы. Это еще и переход от сна к яви.

Явь — это враждебная темнота сарая, из которого надо выскользнуть незамеченным. А за порогом — опустошенная, вытоптанная земля. Ободранный остов ветряка, как скелет, вздымающийся к небу костлявые руки, и над заброшенной пашней зловещим знаком войны — мертвый комбайн, черный и страшный в пожаре заходящего солнца.

Пожар солнца — тоже метафора. Можно заметить преемственность от «злого солнца» Урусевского, можно вспомнить «черное солнце» Шолохова и солнце, что дружинам «путь и тьмою заступало» в «Слове о полку Игореве». Можно сказать, как у Блока: «Но этот шар над льдом жесток и красен, как гнев, как мечь, как кровь!» Метафора многозначна и окружена ореолом откликов.

Я говорила — в последовательно «прозаическом» фильме Райзмана самостоятельно пейзажных кусков нет вовсе, хотя просторный и пустоватый пейзаж нового района очень существен в образном строе фильма. Но дело даже не в этом — пейзажный фон у Райзмана достоверен и точен; он создает реальную, объективную среду, но при этом характеризует ее определенным образом. Пейзаж войны у Тарковского не столько документален, сколько субъективен: не обобщен, а метафоричен.

Потому у отличного оператора В. Юсова мы найдем очень мало знакомых по прежним военным картинам мотивов. В фильме свой беспощадный климат; пейзаж — это образ войны в навсегда потрясенном воображении.

Мертвый, безучастный лес по колено в воде. И сам Иван — уже не белоголовый мальчишка, беспечно бегущий за бабочкой, а разведчик, тайком пробирающийся по родной земле среди черных стволов и печальных болот; волчонок, подозрительный и замкнутый даже со своими.

Когда мокрый и дрожащий оборвыш (его играет Коля Бурляев) впервые появляется на КП батальона и тоном, не терпящим возражений, требует позвонить «51-му», куда комбату по субординации обращаться не положено, то старший лейтенант Гальцев (Е. Жариков), в котором мы привыкли искать черты ранней и суровой возмужалости, неожиданно кажется рядом с Иваном наивным мальчишкой. Ничего детского, ничего милого и обаятельного не осталось в черном, как будто обугленном Ивановом лице, в настороженном взгляде исподлобья, в непри-

ятно командных интонациях с нескрываемым сознанием собственного исключительного значения. Взрослое, опытное, ожесточенное...

КП батальона в фильме, в отличие от рассказа, — тоже не просто место действия, но и образ, инсказание.

Райзман, отдавая быту ровно столько внимания, сколько необходимо, обозначает его несколькими безошибочными приметам. Так точно и Богомолов в рассказе одной-двумя деталями, привычно военными терминами сразу делает зримым сложившийся и уже ставший буднями военный быт.

В фильме эти детали не упущены. коптилка, сооруженная из патронной гильзы, рюмка, служащая по военному времени чернильницей. Но все — от неверного света этой достоверной коптилки, выхватывающего из подвального мрака то как будто мертвую руку спящего, то слова, нацарапанные на стене, то часть свода, вплоть до того, что КП разместился в подвале заброшенной церкви, — опровергает эту бытовую привычность.

В строго повествовательном фильме Райзмана, где даже немногие метафоры режиссер не выпускает за пределы бытовой достоверности, объяснение Бориса и Ксении в церкви казалось ненужно многозначительным и необязательным. Для Тарковского подвал разрушенной церкви, где на полу валяется уцелевший колокол, а на стене нацарапаны прощальные слова: «Нас 8 человек, все не старше девятнадцати лет. Сейчас нас поведут убивать. Отомстите за нас» — не каприз и не следование моде. Я не стану расшифровывать эту не случайную в военных фильмах метафору — она понятна всякому. Отмечу только, что, кроме прочего, в ней есть еще и существенный для фильма мотив истории, исторической преемственности.

Образы, вызывающие к мести, преследуют Ивана.

Режиссер сам обозначает эстетические границы образности фильма. Знакомая гравюра во весь экран: злоеющие всадники Апокалипсиса и под копытами — смятые ужасом людские толпы. Дюрер. Метафора тотального насилия введена элементарным сюжетным ходом — Иван рассматривает «трофейный» альбом. Он рассматривает его с пристальным любопытством ненависти. Метафора дана еще и в субъективном, «психологическом» преломлении Ивана. Патетическая условность великого немца даже не останавливает его внимания. Он принимает как житейскую реальность мучительно искаженные образы насилия и страдания.

В конце фильма режиссер вмонтировал кадры немецкой хроники. Обугленный, скрюченный труп Геббельса, пять длинных бледных трупики убитых им детей. Документальные кадры приемом монтажа (самым испытанным приемом «поэтического» кино) тоже превращены в метафору. Она более сложна и ассоциативна, чем любая другая метафора фильма. Здесь и мотив возмездия, подчеркнутый, как рифмой, пустым эсэсовским мундиром на стене: чей-то пустой мундир на КП на минуту олицетворил для Ивана понятие «враг». Здесь и встречный мотив искалеченного и уничтоженного детства. И просто обозначение: конец фашизма, его самоубийство.

Хроника важна и в эстетике фильма. Между двумя вторжениями чужого, немецкого мира и чуждого стиля, между жестокой условностью Дюрера и жестокой безусловностью хроники — изображение войны.

Разбитые, расплескавшиеся дороги, по которым тянутся войска. Две одинокие фигуры, бредущие через пустое поле: пленный «фриц» и конвоир. Искалеченные деревья. Искореженный металл. Остов сбитого самолета со свастикой, торчащий на «этом» берегу как странное дерево, выращенное войной. Трупы повешенных советских разведчиков с надписью «Добро пожаловать» на «том» берегу.

В фильме о войне нет конкретных врагов — и бытовое и условное изображения были бы здесь равно фальшивы. Немецкая тема входит в фильм только контрапунктом: изображение и звук не совпадают. В кадре — Иван, составляющий донесение по памятным знакам: зернышкам, шишкам, колоскам, обозначающим взводы и батальоны. За кадром — топот шагов и немецкая речь: воспоминание о пережитом. Неразборчивые слова немецкой команды, обрывки непонятных разговоров

оживают в памяти Ивана наяву и во сне — чужая, незнакомая речь на родной земле. Захватчики, интервенты, насильники, как было не раз на Руси со времен татарского ига. Образ убитой матери сливается с образами расстрелянных заложников — оставшись один на КП, настоящий разведчик Иван играет в войну. Это игра до полной, окончательной и не возмещающей утрат победы. Он взгромождает на балку колокол и ударяет в набат. Маленький колокол снят в таком ракурсе, что кажется огромным. Набат должен прозвучать на весь мир.

До сих пор речь шла лишь о том, что отличает современный «поэтический» фильм от «прозаического» и возвращает его к приемам выразительности патетических немых лент двадцатых годов.

Да, «поэтический» кинематограф возвращает экрану образ-метафору, образ-носказание, образ-символ.

Но это лишь одна сторона дела. С другой стороны, очевидно, что «поэтический» кинематограф претерпел существенные изменения и в сегодняшнем своем виде во многом ближе сегодняшней же кинопрозе, чем немому кино двадцатых годов. Нынче он уж не отказывается от возможности проникновения в человеческую душу. Больше того, именно отсюда, из потребности расширить представление о духовном мире человека, он, казалось бы, и берет свое начало. В советском кино эту эволюцию «поэтического» начала можно охарактеризовать в самом общем виде как переход от эпоса к лирике.

Недаром такое признание получила в последнее время так называемая «субъективная камера».

Для сегодняшнего кино стали почти хрестоматийными многие находки замечательного оператора С. Урусевского: вспомним наплывающий хоровод берез в затуманенном сознании раненного в лесу Бориса («Летят журавли») или опрокинутый и странный мир в мертвых Таниных зрачках («Неотправленное письмо»).

Ошеломляющее блеском фантазии и россыпью поэтических приемов искусство молодого оператора В. Дербенева («Человек идет за солнцем»), та же как и В. Юсова, продолжает эти традиции.

Шестилетний человек шествует по городу, и мир предстает ему в первоначальной свежести. Прозрачно и маняще вспыхивающее на солнце колесо с лотерейными билетами как обещание счастья... Раздробленная и размноженная в зеркальных отражениях знакомая улица... Подсолнух в парке, жалобно и покорно умирающий от руки бюрократа, который к ужасу мальчика свертывает ему голову...

Нетрудно угадать за маленькими открытиями шестилетнего героя авторское лукавство: конечно, не всё, что героично выплядит (мотоциклист, совершающий круг смерти под куполом цирка), героично на деле (за кулисами кумир публики покорно принимает сварливую воркотню жены). Конечно, бюрократизм отвратителен, а чувство товарищества прекрасно. Моральные понятия, подвергнутые испытанию детской наивностью и чистотой, приобретают свой изначальный смысл.

Все же надо признаться, что эта инфантильная философия не очень уж глубока и радостное открытие чувственного, вещественного мира раскрепощенной камерой оказывается интереснее остроумных и изящных доказательств общеизвестных истин.

Сюжет наподобие знаменитого «Красного шара» французского режиссера Ламориса возможен, конечно; но для того, чтобы поэтический прием не брал верх над смыслом, в основе его должно лежать нечто более существенное, чем простое пояснение, «что такое хорошо и что такое плохо» (Маяковский написал об этом стихи для детей, Каллик сделал фильм для взрослых; но содержание стихотворения Маяковского даже богаче), а в итоге — должно рождаться нечто более значительное, чем умиление.

Обращение к очень юному герою и к поэтическим приемам в «Ивановом детстве» вызвано более глубокой потребностью. Лейтенант в рассказе останавливается в недоумении перед загадкой недетской, опустошительной ненависти двенадцатилетнего Ивана. Так фронтовик Федор-большой чувствовал себя наивно непрактичным перед печальной тыловой опытностью мальчугана Федора-мало-

го (конфликт, удивительно угаданный, но, к сожалению, не доведенный до конца в фильме М. Хуциева «Два Федора»).

Одних поступков уже недостаточно, чтобы охарактеризовать духовный мир человека в столь исключительных обстоятельствах. То, что в характерах героев Райзмана было отчетливо определено средой, бытом, стечением обстоятельств, не поддается такому определению в «Ивановом детстве». Война была слишком мощным потрясением для двенадцатилетнего парнишки, чтобы ее воздействие можно было «разгадать» в простом повествовании.

Вот почему есть грань, неуловимо отделяющая Ивана от взрослых на этой войне, — не только от молоденького лейтенанта Гальцева, но и от лихого разведчика капитана Холина (В. Зубков), от его рассудительного друга Катасоныча (В. Крылов) и по-отцовски привязанного к нему подполковника Грязнова (Н. Гринько). Для взрослых война не только долг, но и работа. Каждый из них выполняет ее честно, не жалея себя. Каждый, если нужно, рискнет своей жизнью.

Но для Ивана на войне нет отдыха и срока, нет быта и тыла, субординации, наград — нет ничего, кроме самой войны. Потребность быть на войне абсолютна, она выше любых чинов: он может схватить за грудки самого «51-го», когда тот приказывает справить его в суворовское. Она выше любых привязанностей — он любит и Холина, и Катасоныча, и Грязнова, но, не раздумывая, уходит от них по размытым дорогам войны, как только угроза отправки в тыл становится реальной. «У меня никого нет, — говорит он Грязнову, — я один». Он и война. Вот почему напрасно искать в фильме житейски достоверного изображения минувшей войны так же, как мира.

Образы войны и насилия — единственная абсолютная реальность для Ивана. Он освобождается от них только в снах.

Было бы ненужной и неблагоприятной работой расшифровывать до конца все иносказания фильма, как бы ни была свободна и многозначна такая расшифровка. Поэзия оттого и поэзия, что на дне ее всегда остается нечто, не поддающееся простой логике. Уязвимость фильма Калика, пожалуй, очевиднее всего в эпизоде сна юного героя, где видимое разнообразие и подчеркнутая причудливость мотивов легко поддаются простейшей дешифровке.

Старый, «поэтический» кинематограф был принужден к несколько жесткому рационализму отсутствием диалога и «коротким» монтажом. Ускользнуть от рационализма можно было лишь в область чистой субъективности. Современное «поэтическое» кино может разрешить себе ту свободу воображения, которая есть в снах Ивана. Авторы фильма вводят нас туда, куда, естественно, не мог ввести автор рассказа — по ту сторону Ивановой ненависти. Они как бы восстанавливают первую, утраченную половину блоковской формулы:

Да, знаю я, что втайне — мир прекрасен  
(Я знал Тебя, Любовь!),  
Но этот шар над льдом жесток и красен,  
Как гнев, как месть, как кровь!

Сны — даже не воспоминания в точном смысле слова. Это образы свободы и игры воображения, смутно-пантеистические образы естественной жизни, радости и покоя.

Яблоки под дождем. Черненькая девочка в кузове грузовика, которой белоголовый мальчик протягивает круглое яблоко. Странно белые, как будто негативные деревья, мчащиеся по сторонам дороги, и задумчивые лошади, неторопливо жующие яблоки, рассыпанные по нетронутому, влажному от дождя песку...

Мир расколот надвое, и перехода, средостения между половинками нет. Быт, будни, житейское могли бы быть таким средостением, приспособлением организма к неблагоприятному климату войны. Для Гальцева — в рассказе — они есть. Но в фильме — для Ивана — их нет.

Несовместимость двух половинок мира, в одной из которых он существует как свободный, цельный человек, причастный красоте природы и человеческих чувств, а в другой только как мститель, как орудие, отказывающееся от самого

себя ради своей миссии, действительно не только для Ивана. Она составляет главную мысль авторов и в том или ином виде ощущается всеми героями.

В картине есть и вторая линия. Она связана с историей Ивана, этой главной темой, но связана ассоциативно, а не сюжетно. Это тоже прием «поэтического» кино.

Собственно говоря, образные связи линий и эпизодов внутри фильма вовсе не противоречат повествовательности. Даже в самых примитивных, даже в ремесленных фильмах (и особенно в ремесленных) одна линия обычно поддерживает другую или, напротив, противостоит ей, а какой-нибудь многозначительный вставной эпизод доводит идею до хрестоматийной наглядности.

В фильме Райзмана тоже есть такие — однако ненавязчивые, как бы нечаянные — внутренние связи. Вспомним хотя бы описанный и возведенный в символ критиком Е. Бауман (что уже грубо нарушает тонкую структуру фильма) эпизод на демонстрации с толстой наглаженной девочкой, которая пристает ко всем со своими радушными поздравлениями, пока жестокие мальчишки не срезают у нее воздушный шарик. Метафора или просто случай? Ни то и ни другое или, скорее, и то и другое вместе. Во всяком случае перекормленное добродушие девочки до некоторой степени уравнивает равнодушие мальчишек.

Ассоциативные связи мотивов в фильме Тарковского сродни этой перекличке линий в кинопрозе и в то же время отличаются от нее. Они отдаленнее и требуют некоторого усилия воображения (вот почему вторая линия фильма многим кажется попросту лишней — в рассказе она едва намечена). И в то же время похожее — один мотив откликается другому, как эхо или как далекая рифма.

Лейтенант медицинской службы, подмосковная школьница Маша (В. Малявина), до странности напоминающая черненькую девочку из Ивановых снов, так же неуместна в жестокой действительности войны, как эти сны, как детство, как белостольная березовая роща, уже пошедшая частично на накат для блиндажа, но еще уцелевшая чудом — такой же островок красоты, как русская песня на шаляпинской пластинке «Не велят Маше за реченьку ходить», которая так и остается недопетой...

Авторы не из ложного целомудрия или ханжества заставляют Холина, ухаживающего за Машей в березовой роще, отослать от себя девушку: на войне, которая показана в этой картине, интрижка неуместна, а любовь невозможна. Из этой невозможности, из неосуществленности и неосуществимости желаний и возникает то любовное напряжение, которое было, допустим, в картине «Летят журавли» и которого вовсе нет в повествовательном, «прозаическом» фильме Райзмана, хотя он как будто и о любви. Томительная эротика отношений Холина и Маши, как и подавленная потребность Ивана в счастье, — знак жизни, вышедшей из колен.

Есть этот берег и есть тот. На «этом» берегу — остов сбитого немецкого самолета со свастикой, на «том» — два трупа с петлями на шее и надписью «Добро пожаловать». Туда Холин и Гальцев должны переправить Ивана, снова принявшего тягостный для него облик деревенского побирушки. Переправа длится долго-долго, как во сне — в дурном сне. Отсчитывая время, навешиваются и гаснут немецкие осветительные ракеты. Лодка скользит бесшумно в стоячей воде.

В кадр — в который раз — впадают две веревки — петли на шее повешенных: Ляхов и Мороз. Это угроза, но разведчики продолжают путь. Затопленный лес прочесывают немецкие патрули, снова чужая, непонятная речь. Маленькая фигурка теряется, гает в жуткой тишине молчаливых стволов...

Сюжет обрывается там, где «подвиг разведчика» только начинается. Ничего приключенческого в фильме нет: все содержание укладывается между двумя разведками Ивана во вражеский тыл.

В рассказе лейтенант обрывает историю Ивана на середине, потому что больше ничего не знает о нем: о закордонниках не спрашивают. Драматическая кульминация — так же, как в фильме Райзмана, — в пустом пространстве между серединой и финалом.

Картина Тарковского повторяет этот прием рассказа, и, однако, история Ивана обрывается на середине по другой внутренней логике: просто больше ничего о нем знать и не надо. Наше воображение не совершает здесь прыжка, как в повествовательной картине Райзмана, восстанавливая пропущенное. Можно представить, как вел себя Иван на допросах, но не в этом дело. «Иваново детство» — фильм больше мотивов, чем действия, как многие современные «поэтические» фильмы. Конфликт его лежит в какой-то иной, внеличной плоскости, где «захватчики» — понятие общее и собирательное, где борьба без конца и безликая тишина, поглощающая Ивана, выражает ее смысл полнее и точнее, чем конкретное столкновение с гестаповцами.

Именно этому служит финал фильма: он расширительнее и иносказательнее короткого и скупого эпилога рассказа.

Рейхстаг как опознавательный знак победы, немецкая хроника — о ней говорилось — и лейтенант Гальцев, единственный уцелевший из героев фильма, листает «дела» убитых в гестапо. Пепел сожженных бумаг, как черный снег войны, мучительно скрученная проволока, аккуратно расчерченные пролеты тюремных этажей, петли виселиц, и с одной из фотографий — черное и ненавидящее, с кровоподтеком под глазом лицо Ивана... Здесь в монтажном сопоставлении с хроникой, с этими добровольными самоубийствами и чудовищным уничтожением собственных детей, социальная, антифашистская тема фильма, столь ярко выраженная в нем, перерастает в тему общечеловеческую.

История героя завершается в гестапо, но фильм кончается иначе. Снова улыбающееся материнское лицо, летний белый песок, девочка и мальчик, вбегающие в светлую, подернутую рябью водную гладь, и черное дерево, входящее в кадр, как грозный, предупредительный знак...

Финал картины нетрудно истолковать как своеобразное «послесловие» самих авторов, коль скоро его нельзя уже истолковать как сон Ивана. Но внимательный зритель угадает здесь и нечто большее.

Дело в том, что в образном строе картины, прихотливо смешивающей сон с явью, историю Ивана с историей Маши, кадры художественной фотографии с хроникой и Дюрером, есть устойчивое сочетание элементов, которое, повторяясь из эпизода в эпизод, составляет своего рода «динамический стереотип», если заимствовать выражение из павловской психологии...

...Эпизод начинается с самой высокой и светлой ноты — звезда на дне колодца, которую летним полднем показывает мальчику мать в одном из снов... Вот он на дне сруба и ловит ее руками в темной воде... Или белые стройные стволы берез, в ритме вальса всплывающие в кадр, снятые «субъективной камерой» — с точки зрения Маши, закружившейся в танце, в безрассудном предчувствии любви... Но, начавшись с высокой и светлой ноты, эпизод внезапно, без перехода обрывается катастрофой. Стремительно и страшно летящее в колодец на Ивана ведро, убитая мать на земле... Так происходит в каждом сне — светлое начало и внезапный катастрофический конец. Так было наяву: ворвавшаяся в мирный день война. Психика Ивана навсегда сохранила жестокую внезапность этого надлома детства, неизгладимый след насилия. Но ведь и Машин вальс обрывается так же внезапно и страшно: ударом меди в оркестре, крупным планом двух повешенных на «том» берегу.

Движение картины все время идет через катастрофы. Тому, что в «прозаическом» фильме мы привыкли называть «переживаниями», почти нет места. Убийство матери — травма, его нельзя пережить слезами и горем. Война — травма, к ней нельзя житейски приспособиться. Насилие над душевным миром человека тотально. Но именно из этой тотальности, из практической невозможности простого, человеческого рождается почти нестерпимая, духовная потребность в идеальном. Из абсолютной дисгармонии — мечта об абсолютной гармонии.

Идеальное также неизбежно возрождается в каждом следующем эпизоде фильма, как убивается в предыдущем. Прекрасны беспечальные, светлые и странные образы детства в Ивановых снах. Неправдоподобно, сказочно хороша сплошная,

округлая, сверкающая белизна стволов березовой рощи. Великолепен и до боли раздолен разлив русской песни на шалыпинской пластинке...

Потому финал фильма, возвращающий нас к образам детства, — не только аллегория, которая всегда поверхностна, но и выражение глубинной потребности, вырастающей из недр фильма, из его потрясенной образности. Это не просто назидательное авторское «послесловие» к искалеченному и убитому Иванову детству, но и волевое усилие к гармонической и целостной идеальной человечности...

В «Ивановом детстве» движение от прозаической повествовательности рассказа к поэтическим киноприемам очень наглядно.

Поколение, к которому принадлежит режиссер, как и герой картины, встретило войну иначе, чем отцы и старшие братья. То, что для старших уложилось в формулы разума и стало источником сознательного выполнения долга, в душе Ивана отразилось прежде всего обостренным эмоциональным сдвигом — вот почему этот фильм о войне так нов на нашем экране. Но картины не делаются только о прошлом, они делаются сейчас и для будущего.

Конфликт этого фильма, где относительность добра и зла, тотальность насилия и сопротивления, где противоречия морали и аморальности, долга и счастья напряглись до такой мучительной неразрешимости, не мог быть выражен ни тем более разрешен средствами повествовательности. Он потребовал от авторов — требует и от зрителя — того интеллектуального усилия и эмоционального напряжения, которые являются непременным условием «поэтического» экрана.

Есть обозримые проблемы жизни и времени — они выражаются кинопрозой свободно и без натяжек. Когда авторы фильма «Человек идет за солнцем» прибегают к «поэзии» кино лишь затем, чтобы вернуть «добру» и «злу» их инфантильную первичность, то философия фильма кажется натянутой, и радость раскрепощенной изобразительности легко и с удовольствием отгесняет ее на второй план.

В этом есть свой смысл, и как эксперимент, как смелый поиск в области формы, как разведка поэтических возможностей экрана — после удручающего однообразия мелкотравчато-бытовых и ложнопозетических лент — опыт Калика и симпатичен и многообещающ.

Экран, как и поэзия, возвращает себе художественную свободу и вместе с ней творческую фантазию. Озорство в искусстве — признак таланта и признак силы. Но само по себе оно еще только предвестие, а не свершение. Поэтический язык фильма «Человек идет за солнцем» очарователен, но необязателен.

Когда же конфликт, мучающий художника, достигает той напряженности противоречий, при которой практическое или даже логическое разрешение просто невозможно, тогда возникает неотложная необходимость в разрешении поэзией. Возможно, что потребность художников говорить трудным языком «поэзии» экрана связана сегодня именно с этим.

Это не означает ни оттеснения, ни умаления «прозаического», повествовательного кино. Но в иных случаях его приемов оказывается недостаточно. Тогда начинаются поиски новых выразительных средств, которые я обозначила словами «поэтический», или «лирический», кинематограф. Иногда (тоже по аналогии с прошлым) его называют интеллектуальным кино. Но дело не в словах, дело в самих поисках.

Впрочем, вопрос этот не только и не узко кинематографический. Кино не составляет исключения в этом смысле. Поиски идут во всех родах и видах искусства, и это не выдумка художников.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Л. Лебедева.** Четыре рассказа.— **В. Сурвилло.** Кто виноват? — **Бор. Медвед.** Год за годом.— **И. Соколов-Микитов.** Жизнь в лесу.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Б. Баянов.** Заветная мечта человечества.— **Э. Генкина,** доктор исторических наук. Великая индустриальная революция.— **И. Иноземцев.** Море и книги.— **З. Паперный.** Как важно быть культурным.— **А. Турков.** Герои не нашего времени.

## Литература и искусство

### ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

**Миколас Слущкис.** Человек, который не видел. Рассказы. Перевел с литовского **Г. Канович.** «Знамя», № 6, 1962.

Напечатанные в июньской книжке «Знамени» четыре рассказа литовского писателя **М. Слущкиса** относятся к разряду той литературы, которую читать не «легко», не «приятно». Но их, несомненно, прочтут многие. В этих, к слову сказать, очень неравных по художественным достоинствам рассказах много боли за людей. Вот, пожалуй, первое, что хочется сказать о них, когда прочтешь. То, что написал **М. Слущкис** о своих героях — безмянном пассажира из рассказа «Увертюра и три действия», о старухе Моркувене, измученной тяжкими сомнениями, исстрадавшейся матери (рассказ «Когда возвращаются сыновья»), и о других, глубоко продумано, прочувствовано, — это, бесспорно.

Четыре переведенных на русский язык рассказа, о которых идет речь, взяты, по-видимому, из книги **М. Слущкиса** «Пусть мы лучше не встретимся», вышедшей на литовском языке в прошлом году. В интересной рецензии на эту книгу, опубликованной в «Дружбе народов», литовский критик **В. Кубилюс** говорил, что проза **М. Слущкиса** и

некоторых других современных литовских писателей дала основание для дискуссии о новаторстве литературной формы. У пишущего эти строки нет, естественно, оснований претендовать на участие в такой дискуссии — для этого надо знать язык и очень хорошо знать историю литовской литературы. Но поговорить о писательской манере **М. Слущкиса** все же хочется — с точки зрения читателя, познакомившегося с произведениями в переводе (он сделан **Г. Кановичем**, переводившим, напомним, «Лес богов» **Б. Сруоги**).

В каждом из этих рассказов **М. Слущкиса** непосредственный сюжет строится на одном жизненном факте, на событии, которое внешне как будто бы не выходит из рамок обыденности. Едут в поезде несколько очень разных и далеких друг другу людей, и один из них неожиданно заговорил с попутчиками о себе, о своей судьбе; ждет домой сына старуха крестьянка, прожившая трудную, но внешне ничем не примечательную жизнь; зашли в дом к одинокому крестьянину партизаны — им нужна еда, теп-

лая одежда; слушая радио, человек вспомнил случай, происшедший много лет назад, в первые послевоенные месяцы...

Но за этой нарочитой непритязательностью, подчеркнутой незамысловатостью фабулы стоит совершенно определенное стремление автора «проявить» внутреннюю значительность, драматизм обстоятельств, максимально достоверно донести до читателя во всей глубине и сложности переживания героев, решающих или обдумывающих весьма трудные человеческие проблемы. Как же это авторское стремление воплощается в слове, как его художественно претворяет М. Служикис?

Рассказы его написаны очень эмоционально и напряженно, стиль их лирически чрезвычайно насыщен. Это манера, многого требующая от писателя, — ведь она мгновенно «проявляет» и художественные противоречия, и художественные слабости, и любую «неувязку» в решении замысла. Избирая подобную манеру, автор, если можно так выразиться, как бы помещает свое произведение под увеличительное стекло — не прячет ни одной запятой! Но М. Служикис ничего и не хочет прятать, его активное отношение к форме совершенно очевидно.

И прежде всего очевидно вот что: М. Служикис непримиримо относится к литературному штампу и к тому, что в нашей критике последних лет приобрело название иллюстративности. Отталкивание от этих двух, мягко говоря, недостатков вполне понятно и само по себе может вызвать только уважение к писателю. Но у М. Служикиса в его борьбе со штампом художественная позиция оказалась не без слабостей — быть может, именно в силу некоторой литературной запальчивости. Так произошло в одном из его рассказов — «Шаги».

Услышанная по радио фраза о том, что генерал фон Кранц требует ракетного оружия для бундесвера, заставляет героя рассказа вспомнить о встрече с этим самым фон Кранцем, происшедшей пятнадцать лет назад, сразу после войны. Тогда фон Кранц был пленным немецким офицером, а человек, рассказывающий об их встрече, — семнадцатилетним мальчишкой-часовым, чувствующим себя не слишком уверенно с тяжелым автоматом в руках. На грязном осеннем поле, где пленные выбирают из земли картошку, происходит их встреча, их разговор, во время которого парнишка-часовой испытывает довольно сложную для него

гамму переживаний — от жалости и неуверенности до бурного негодования, яростного протеста и ненависти к одному из тех, кто сознательно, убежденно, бездумно топтал чужие жизни, как топчет теперь попадающие под ноги картофелины.

М. Служикис находит точные слова и детали, характеризующие внутреннее состояние героя. Он не хочет быть «объясняющим господином», он избегает «ремарок», и избранная им форма рассказа от первого лица, конечно, помогает ему в этом. Но лирическая напряженность повествования кажется чрезмерной, символика — чуть не половину текста занимает описание звука шагов пленного офицера, описание, возведенное в степень символа, — чересчур преувеличенной. И изначально ясное противопоставление действующих лиц, и необходимо несложное содержание образа немецкого офицера, и публицистическое обрамление рассказа (поданная в начале фраза, услышанная по радио, подкрепляется концовкой: «Это было пятнадцать лет назад, на картофельном поле, в сырой, промозглый осенний день... Я прекрасно помню нашу встречу. А вы, фон Кранц?»); способствуют тому, что штамп все же «звучит», а психологическая насыщенность воспринимается как некоторая вычурность, чего в общем старается избегать автор и что ему, к сожалению, не всегда удается.

Это можно в известной степени отнести и к рассказу «Человек, который не видел», написанному очень выразительно. Пришедшие в крестьянский дом партизаны берут у хозяина еду и теплую одежду. Хозяин безучастен и на все вопросы пришельцев, вначале гневно-возмущенные, а потом все более насмешливые и иронические, отвечает: «Не вижу».

«— Может, мешок у тебя найдется? — попросил бородатый.

— Если лежит на скамье, берите и мешок. Только я никакого мешка не вижу.

— Коли смотреть больно, не смотри, — улыбнулся повеселевший бородач. — А этот кожих на веревке тоже не видишь?

— Какой, не рыжий ли, дубленый?

— Тот самый.

— Нет, не вижу.

Бородатый впихнул в мешок и кожих».

Хозяин дома слепой. Он действительно не видит того, о чем идет речь. Но подтекст рассказа в том, что крестьянин не хочет видеть происходящего, не хочет, так сказать,

ведать творимое им. В случае чего — он формально не участник и не свидетель партизанского рейда.

Возможная ли это тема рассказа? Да, конечно. Но обыгрывание физической слепоты человека, который в данном случае не хочет видеть, если можно так выразиться, морально, по форме усложняя сюжет, по существу упрощает его. Слепого просто делается жалко, нравственное чувство читателя «запутывается», и оттого рассказ жизненно вмещает меньше, чем мог бы.

А художественная значительность рассказов М. Слущкиса заключается прежде всего и по преимуществу в том, что они могут вмещать очень многое сверх того, о чем в них прямо и непосредственно говорится. Такое ощущение с наибольшей определенностью возникает, когда читаешь «Увертюру и три действия» и «Когда возвращаются сыновья».

Как, из чего возникает это ощущение — определить очень трудно (всегда ведь легче сказать, где и почему оно не возникает). Драматизм и порою трагичность обстоятельств, в которых оказываются герои М. Слущкиса, производят впечатление не только сами по себе, хотя и это существенно для его прозы. Дело в том, что те люди, о которых он пишет и к которым относятся с глубоким человеческим интересом, не могут не попасть в такие обстоятельства. К этому привело их то, что находится вне данного, непосредственного сюжета, что было «до него» и тысячами живейших нитей с ним связано.

О старухе Моркувене мы знаем не только то, что она с нетерпением и вместе со страхом ждет сына, попавшего в тюрьму за грабеж, — сына, сбитого с пути людьми, социальную враждебность которых инстинктивно ощущает старая мать. Моркувене боится, что ее Казис не только грабитель, но и убийца, — и когда он возвращается, страх этот переходит в уверенность: да, руки у него в крови. Мать поняла это по одному взгляду, брошенному Казисом на спящую в эту ночь у старухи в доме девочку-сироту, дочь убитого Нормантаса.

Но за рассказом об одной тяжелой ночи в доме Моркувене стоит вся человеческая жизнь. Ее не можешь не представить себе, читая рассказ. Ей не можешь не сострадать. И не можешь уйти от чувства протеста про-

тив того, что обесмысливает жизнь, делает ее бесчеловечной. А это очень нужное чувство.

Безымянный пассажир из «Увертюры и трех действий» в беспощадном по отношению к себе, едком монологе распутывает нить за нитью клубок событий, сваливших его под откос, поставивших вне общества. Вне общества — потому, что воспитанный на ловко придуманных идеалах «вселитовского братства», человек слишком боялся расстаться со вбитыми в голову со школьной скамьи представлениями об окружающем его мире, слишком поздно понял и свое истинное социальное место и действительное отношение к себе со стороны «братьев» — хозяев жизни. «Вы, коммунисты, кулака не знаете» — так начинает и кончает свой рассказ этот человек с лицом интеллигента и руками, заглубившими «на северных курортах», куда его по существу и привело «идеальное воспитание», — нужды нет, что «северные курорты» были не самым страшным итогом его бытия. Он теперь хорошо знает кулака, хотя для него это уже запоздалое знание.

А для нас судьба этого человека все еще представляет интерес — и прежде всего, должно быть, потому, что судьба эта сплетена с острейшими вопросами той эпохи, в которую мы жили и живем и которую, наверное, больше всего хотим понять. Таким образом, психологизм М. Слущкиса оказывается социально очень насыщенным и содержательным.

Быть может, стоит пожалеть о том, что в поисках этой содержательности писатель не всегда идет по линии «наибольшего сопротивления»: охотное обращение к повествованию от первого лица, увлечение драматизмом обстоятельств, наверное, естественно, но порой воспринимается как первое, не самое трудное решение. Впрочем, подобное суждение о прозе М. Слущкиса в значительной мере предположительно: ведь оно основано на знании небольшой части того, что написано им в последние годы. Несомненно одно: выбранный им путь не прост и интересен, сказанное им в четырех небольших рассказах воспринимается как органичное раскрытие личности думающего художника.

Л. ЛЕБЕДЕВА.

## КТО ВИНОВАТ?

Александр Андреев. Рассудите нас, люди. Роман. «Октябрь», № 4, 5, 1962.

Призыв «Рассудите нас, люди», ставший названием нового романа А. Андреева, идет от имени героев. Людей, роман прочитавших, он озадачит. Разве не все рассуждено самими героями? Попеременно они рассказали историю своей недолгой любви и быстрого ее крушения, и оба, каждый по-разному, пришли к выводу, что виновата в крушении она, генеральская дочь, полюбившая каменщика, но не устоявшая перед невзгодами жизни в рабочем бараке. Так к чему же призыв? Значит, может быть, и не она виновата? Тогда он? А может, виноват кто-то третий и рассудить надо не их между собой, а третью сторону? Или никто не виноват, а таков закон жизни?

Людам, внявшим призыву, следует проверить все это заново. Пусть проверка начнется с выяснения виновности героини.

Кто она? Студентка строительного института; ее мама, доктор филологических наук, хочет, чтобы у дочери был диплом. Дочь учится пению, генеральская машина доставляет учителя пения к ней на дом: мама хочет, чтобы Женя стала певицей. Она невеста, жених ее, корректный отпрыск «династии» ученых, несомненно, будет ученым, пока — студент. Брак этот предопределен: жениху покровительствует мама. Да и сама невеста так привыкла к жениху, что чувствует его родным. Через жениха она связана со стилистами-студентами, бывает с ними в ресторанах, ей нравятся их веселость и остроумие. Это не значит, что она испорчена, нет, она сама с некоторым удивлением говорит себе, что ни разу ни с кем не поцеловалась. Живет она в холе, о трудностях и нехватках знает лишь понаслышке, будущее ее безоблачно, душа — как чистое, безмятежное озеро.

И вот душа разбужена: пришла настоящая любовь. И оказалось, что это балованное существо — хорошая, простая, умная, бесстрашная девушка. Тот, кого она любила, — из рабочей семьи. Случилось так, что при первом посещении его дома она стала свидетельницей тяжелой семейной сцены. Это не оттолкнуло ее, она обратила внимание не на житейскую грязь, а на то, какой хороший у ее Алехи отец, старый рабочий. Алексей сам становится рабочим после неудачи с поступлением в строительный институт.

Мать Жени не дала согласия на брак дочери с Алексеем, и Женя порвала с родителями, а любила она их очень. Естественно и просто она облизилась с друзьями Алексея. Они отнеслись к ней заботливо и дружелюбно, она пришлась им по душе, они — ей. Вскоре ей пришлось включиться в борьбу со своим прежним окружением, со стилистами, и она с честью выдержала нелегкое испытание. Стойко и даже весело переносит она на первых порах неудобства жизни в бараке, в комнате за фанерной перегородкой, ведет работу по дому, варит обеды, моет полы, стирает — всему этому она теперь научилась... А через несколько месяцев она покинула мужа.

Сказалась ли в этом только неприиспособленность к тяжелым условиям жизни, отсутствие навыков к труду или были тут какие-то более глубокие причины, идейно-психологические корни, пороки натуры? Что касается идейности, то Женя взволнованно и искренне рассказывает, как только теперь, после замужества, она постигла смысл великого понятия «строительство», наблюдая жизнь и работу мужа и его товарищей, поняла, что труд их — это и есть строительство коммунизма, что эти люди — настоящие.

Правда, известный ущерб повествованию наносится тем, что автор не сообщает нам, отразилось ли понимание героиней смысла великого понятия «строительство» на ее отношении к строительному институту, наполнилось ли ее учение в нем новым содержанием и вообще задумывались ли герои над перспективой приобщения Жени к большой жизни или было безмолвно условлено, что ей надлежит навсегда сосредоточиться на домашнем хозяйстве?

Очевидно все-таки, что нет. Недаром Женя однажды почувствовала, что горизонты ее жизни сузились, что раньше, в начале знакомства с мужем, будущее казалось ей озаренным солнцем лугом, а теперь луг потускнел. Почувствовала она это, встретившись с прежним своим женихом, когда тот произнес слова, от которых ее бросило в дрожь. Он сказал: «Возвращайся. Оттягивать самый горький час незачем. Он все равно наступит, хочешь ты этого или не хочешь. Не убеждай себя в обратном, это бессмысленно: жизнь сильнее наших жела-

ний». Именно от его уверенности ее бросило в дрожь.

Надо сказать, что мысль о враждебном их счастью законе жизни посетила и ее мужа в первую же брачную ночь. Лежа подле любимой, ставшей его женой, он размышлял: «И зависит ли наше счастье только от нас, от нашей любви? Не существуют ли законы, которые сильнее нас, и не продиктуют ли они нам свою волю?..»

И дрожь героини и тревога героя становятся особенно значительными, если вспомнить одну неожиданную и одинокую — единственный след студенческих занятий девушки — цитату из лекции, записанную ею еще до замужества, но только теперь приоткрывающую свой смысл: «Свойства строительных материалов зависят от их строения... А строение материалов зависит от условий происхождения или от условий изготовления...»

Сочетание всего этого — зловещего предсказания, тревожного размышления и научной формулы — рождает впечатление нависшего над героями фатума. Женя как бы обречена. Бессмысленно думать о возможности перевоспитания человека такого происхождения и таких «условий изготовления», условий нетрудового воспитания, как Женя. Пусть есть горячее желание, пусть есть рвение, сильная любовь, идейность и высокие стремления — все это бессильно... Есть от чего содрогнуться!

Тоскливое настроение, временами охватывающее героиню, естественно: уходят детские представления о жизни как о сплошном празднике, и она, избалованная прежде, переживает это болезненно, ничего фатального в этом нет.

Но вот невозможность повидаться с родителями, по которым Женя очень тоскует, оказывается действительно фатальной. И Женя и Алексей уже знают, что мать раскаивается в своем прежнем отношении к их браку, знают, что отец хорошо отзывался об Алексее, но все это не меняет дела. Во время первого и единственного свидания Алексея с родителями будущей его жены произошло нечто ужасное, и поправить этого уже нельзя.

Тут становится необходимым заняться ролью Алексея во всем, что случилось.

В повествовании ярко подчеркнуты, быть может даже с излишним нажимом, две черты характера героя. Первая — это огромное уважение к женщине. Специально для про-

явления этой черты в роман введены эпизоды, не имеющие прямой связи с развитием сюжета. Это эпизод с девушкой, которую пажон на прогулке в парке вел за шею, «как собачонку, чуть отстранив от себя», а та семенила сбоку и не догадывалась, должно быть, что она «в собачьей своей покорности смешна и жалка», затем эпизод драки с братом, который заставил беременную жену зубами развязывать шнурки его ботинок.

Да и целая сюжетная линия романа в значительной степени служит выявлению этой черты — ненависти к господству над женщиной, к ее унижению. Стиляги (их вожак угнетает девушку — подругу Жени) терроризируют ее и втягивают в махинации с заграничными товарами. Рабочие вырывают эту девушку из-под влияния стиляг. Роман ставит задачей заклеить низость и подлость тунеядцев и раскрыть красоту душевных качеств и принципов жизни трудовых людей. В число этих принципов входит и уважение к женщине. Особенно остро ненавидит хамство по отношению к женщине Алексей. Он сравнивает его со злокачественной опухолью, убивающей все человеческое. «Культура начинается с уважения к женщине», — говорит он.

Вторая важная черта героя — это любовь к матери. Она приобретает у него, по его собственным словам, прямо-таки всемирно-исторический характер: «Казалось, тоска и нежность всех сыновей прошедших тысячелетий заполнили мое сердце».

Совершенно необъяснимо, как при таких чувствах ему ни разу за всю совместную жизнь не пришло в голову, что ведь и Женя может любить своих родителей и тосковать в разлуке с родным домом.

А ведь именно «проблема родного дома» и стала причиной разлуки Жени и Алексея...

Однажды, уставшая от стирки, издерганная непрерывным шумом в бараке, Женя сказала: она согласна переносить любые трудности, если они действительно неизбежны, но ведь квартира ее родителей пуста, почему бы им не переехать туда? Алексей вскипел. Они поссорились.

Перед нами записка Жени. Алексей увидел в ней знак окончательного разрыва. Но разрыв ли это?

«Алеша, я уехала к себе домой. Я должна решить, как нам быть дальше. Женя».

Нетрудно представить себе ход мысли оскорбленного героя. Уехала к себе домой?

Но он запретил ей считать своим дом, в котором живут ее отец и мать, где она родилась и выросла. Алексей предъявил ей совершенно недвусмысленный ультиматум: если она туда поедет, назад может не возвращаться. Обязательное условие нарушено. Значит, разрыв. Она хочет решить, как быть дальше? Но это он полтора часа назад решил, как жить дальше (чтобы облегчить Женяну жизнь, купил стиральную машину). Теперь, оказывается, она тоже хочет что-то решить. Решить? Она?

А ведь Алеша не всегда был противником плана поселиться у Жениных родных. Но это было до встречи с ее матерью. То ужасное, что там произошло... А что там произошло?

После того, как Алеша и Женя сговорились пожениться, Алексей решил явиться к незнакомым ему родителям девушки — «просить руки». Вот он, смущенный, стоит перед матерью Жени. Она любезно просит его подождать — дочь занята на уроке пения. Тут он почувствовал, как спины его коснулись «колкие морозные иголки». Это от ее любезной фразы. Дело именно в том, что она была любезной, а любезность эта показала ему «почти театральную», на него повеяло чем-то чуждым. И она сказала: «Моя дочь», а следовало сказать: «Женя». И когда он почувствовал морозные иголки, он с вызовом и раздельно произнес первую свою фразу: «Мы, ваша дочь Женя и я, решили пожениться. Я пришел сообщить вам об этом».

Мать побледнела, она очень испугалась. Вошедший в комнату генерал принял сенсационное известие, сообщенное незнакомым молодым человеком, добродушно. Но его шутивно-снисходительный тон не понравился Алексею, как и любезный тон матери. Мать принялась увещевать молодого человека, говорить, что дочери и ему жениться рано, что он еще не устроен (его собственный отец говорил ему примерно то же, это не вызвало тогда негодования), что нужда глушит любовь. Генерала, который пытался вмешаться в разговор, она уснула, просила Алексея не обижаться на нее и произнесла при этом слово, для него священное. Она сказала: «Я мать». На сей раз это слово не произвело на него никакого впечатления и ничего ему не подсказало. Он оборвал разговор и шагнул к двери, пытаясь прорваться к дочери, чей голос

доносился сюда (напомним, там шел урок пения), но мать загородила ему дорогу, глаза ее расширились, она потребовала, чтобы он ушел, и сказала, что запретит дочери встречаться с ним. Тогда он сказал тихо и медленно: «Вы изверг. Я ненавижу вас» — и бросился прочь.

Так ушел юноша, пылающий лютой ненавистью к хамскому обращению с женщиной, хранящий в груди необъятную сыновнюю любовь.

Вот и все, что произошло. Надо только добавить, что мать Жени впоследствии опомнилась, он — никогда.

Но не все еще ясно, чтобы судить, он ли виновен.

Важен следующий эпизод.

Вернувшись в барак, Алексей сообщает своим товарищам по бригаде и общежитию, знавшим, куда и зачем он уходил, что его выставили. «А Женя?» — спрашивают его. — «Что она сказала, Алеша?» — «Женя пела про деву, которая разбила об утес урну с водой», — ответил он с горькой усмешкой. — «Меня даже не допустили к ней». И тогда друзья сообща приходят к заключению самому невероятному — что все, что произошло с ним, произошло с ведома и согласия Жени. Будь это правда, это была бы подлость — обмануть человека, склонить его просить руки, чтобы унизить его. Именно о подлости и заговорил самый проникательный, самый тонкий и душевный человек — бригадир. В романе он без обиняков назван идеалом человека. Он очень тепло относился к Жене, считал ее хорошей и умной, а теперь, по первым же словам Алексея, не колеблясь, решил, что она была в сговоре с матерью, и произнес речь о подлости. Откуда эта неадекватность, неустойчивость в отношениях к человеку, эта шаткость добросердечия, эта подозрительность?

Разгадку подскажет завершение эпизода.

За дверью слышатся шаги... дверь раскрывается... Женя! В комнату вносят ее чемодан.

«Она обвела нас усталым взглядом, улыбнулась тихо и печально, бледная, немного смущенная.

— Что смотрите? Не ждали?»

Очень эффектная сцена. В этой эффектности и заключается разгадка. Это ради нее наглухо закрывались все ходы для проникновения ослабляющей эффект догадки, что Женя могла не знать о приходе Алек-

сея. Это ради эффектности так исказились характеры ее друзей.

На протяжении всего повествования уязвленное и озлобленное самолюбие главного героя, его вздорность, недомыслие, разительное противоречие между благородными словами и нелепыми поступками так демонстративны, что не раз при чтении возникает предположение, не входит ли в замысел произведения показать, как глубоко въедаются в натуру передового юноши при всем его отвращении к унижению женщины те, выражаясь его словами, метастазы раковой опухоли — хамства, какие он беспощадно клеймит? Но допустить такое предположение нельзя, оно не согласуется с очевидным намерением автора показать душевную красоту и благородство передовой советской молодежи, положительных героев романа. Между тем поведение Алексея встречает полное одобрение друзей, его окружения, и никто из этих превосходных людей даже не пытается ни — до разрыва — помочь уладить нелепый конфликт молодой пары с родителями девушки, ни — после разрыва — хотя бы поговорить с Женей. «Невозможно простить» Женю, утверждает ее подруга. «Обратного хода быть не должно», — наставляет Алексея его отец, олицетворяющий в романе рабочую совесть.

Одна участница событий еще до того, как они произошли, говорила о кино: «Все одно и то же: герои для вида поссорятся из-за пустяков, для вида помучаются, а потом обязательно обретут согласие, мир и счастье». Для читательского восприятия эти слова были предупреждением: все, что произойдет в этом романе, не пустяки, не для вида, а имеет серьезную идейную основу. И восприятие ищет эту основу. Может быть, она в том, что самая пылкая любовь и светлые порывы гибнут под бременем житейских забот и будничных затруднений? В том, чтобы показать пагубность нетрудового воспитания?

Нет, в конце концов героиню надломил не это, не лишения и не тяжелый труд; она готова переносить любые трудности, если они необходимы. Тогда, может быть, идейную основу составляет разоблачение и осуждение деспотизма мужчины и равнодушные окружающие? Нет, роман зовет не к осуждению, а к восхищению героем и его друзьями, идущими на самые трудные участки жизни. Значит, восславление энту-

зиастов — идейная основа? Но как славить их, если они нарушают самую главную заповедь нашей морали — заповедь внимания и заботы о человеке, если они покинули своего товарища в беде, если они с легкостью верят в любое обвинение по его адресу?

Восприятие — обычно его называют художественным — мечется в поисках идейной основы для себя и, загнанное в тупик, изнемогает.

Нет, не по замыслу, а вопреки ему совершаются поступки в романе. Ни Алексей, ни Женя не виноваты. Это что-то постороннее, чуждое их характерам толкает их на несурзные поступки.

И Женю? И ее. Вот хотя бы в сцене изгнания ее любимого. Она видела его из окна, когда он покидал ее дом, и по его виду, позе сразу угадала, что произошло. Почему же она, страстно любящая, решительная, не бросилась тотчас же догонять его, а прежде стала сводить счеты и осыпать оскорблениями бедного учителя пения?

Потому что тогда эффектность ситуации, исходной для их драмы, была бы недостаточной. Теперь же она будет усилена при помощи старого и, кажется, довольно давно не применявшегося в литературном обиходе сюжетного хода — бегства дочери, которую отец согласно исконным канонам феодальной расправы над непокорной запер под замок; бегством при помощи старой няни; бегством через окно, потом по крыше, потом по старой ели под окном. И здесь ради эффектности также совершаются натяжки, совершаются поступки, не оправдываемые ни обстановкой, ни характерами действующих лиц.

Итак, ситуация перестает служить раскрытию характеров — характеры искажаются, мнутся, деформируются. Сюжет уже не вскрывает логику событий, а запутывает их. Словом, сюжет перестает быть сюжетом. Он заменяется игрой в сюжет. Вместо характеров завязывается игра в характеры. Вместо чувств и страстей — игра в чувства и страсти.

Теперь, кажется, люди, виявшие призыву рассудить героев, могут выполнить свою задачу. Но прежде следует сделать небольшое отвлечение в сторону.

Вспомним два-три эпизода из предшествующего романа А. Андреева «Грачи прилетели».

В колхозе негодяи травят честного ра-

ботника, преданного коммуниста Павла Назарова. Они добились постановления колхозной парторганизации об исключении его из партии. Он вызван для разбора дела на бюро райкома. Измученный клеветой и преследованиями, он ждет в приемной. С ним председатель колхоза Аребин и секретарь колхозной парторганизации Орешин. Входит первый секретарь райкома Ершова. Она поздоровалась с Аребиным и Орешинным, а на Павла мельком, отчужденно взглянула и бросила: «Натворили черт знает чего, теперь цепляйтесь, сваливаете один на другого». И вышла. Атмосфера безысходности вокруг Назарова сгущается.

На заседании против него выступают председатель райисполкома, один из секретарей райкома, секретарь колхозной парторганизации; в защиту — Аребин. Павел защищается взволнованно, нервно, резко. Ершова все время одергивает его, только его одного, она раздражена, она швыряет крышкой чернильницы, в глазах ее угроза, а когда Павел, заканчивая выступление, закричал: «Я спаян с партией душой до последнего вздоха!» — она сильно хлопнула по столу: «Не забывайте! Вы не на базаре». «Взгляд ее затвердевших глаз выражал гнев и решимость». Прения закончены. Выступает Ершова: «Предлагаю отменить как неправильное решение партийной организации колхоза «Гром революции» об исключении из партии Назарова Павла Григорьевича. Предлагаю также отметить поведение коммуниста Назарова в разбираемом деле как глубоко партийное и принципиальное».

В быту в таких случаях говорят: «Закачаешься». Буквально так оно и происходит: Павел, «качаясь, толкнул обними руками дверь».

Оказывается, Ершова сама расследовала все дело до заседания бюро. Она, например, четыре раза вызвала секретаря колхозной парторганизации, хотя, правда, ни разу не вызвала самого Павла. Она знала до заседания о честности Назарова. Почему же при встрече у нее не нашлось ни одного участливого, подбадривающего слова? Зачем понадобилась ей эта жестокая игра на бюро? Она не хотела давить на мнение членов бюро? Так и не давила бы. Но она давила, нет — душила хорошего человека, преданного коммуниста, перед тем как в последний момент сбросить с него петлю.

Зато как эффектно концовка, какой

неожиданный поворот в судьбе героя, какой блестящий сюжетный ход! Правда, все это добыто ценой того, что добрая женщина, хороший секретарь наделяется чертами злобного тиранства.

Еще эпизод. Председатель колхоза Аребин, направленный партией в село, добился перелома в делах колхоза. Созданы были, в частности, условия для разворота жилищного строительства. В колхозе острая нужда в жилье, многие дома разваливаются, в скверных условиях живут многодетные вдовы погибших на войне. Правление колхоза решило из уважения и любви к своему председателю построить в первую очередь дом ему. Аребин против этого. Он знал о намеченном решении и разговаривал об этом с секретарем райкома. О чем-то они советовались. На самом заседании правления Аребин, после некоторых возражений, дал согласие на постройку ему дома. В процессе стройки Аребин заинтересованно обсуждает с прорабом, в какую краску красить рамы, чем крыть крышу. Дом построен. Колхозники с изумлением озирают кирпичный особняк с мансардой, вздыхают, завидуют, восторгаются. На заседании правления подводят итоги, подсчитывают расходы. Спрашивают у председателя: когда он думает вселяться. Тут и происходит нечто ошеломляющее: председатель колхоза заявляет, что вселяться он не будет, пусть поселится в новом доме вдова Дарья Макарова с ребятишками. Конечно, это производит на всех потрясающее впечатление, чуть ли не валит с ног: «Свалил ты меня под корень! Спасибо! Ну, человек!.. Теперь я твой со всеми потрохами!»

А вот об этом секретарь райкома и председатель колхоза, вырабатывая хитрый план вождения колхозников за нос, и не подумали, не подумали о том, что в запланированной ими сенсации есть изрядная доза нескромности: председатель как бы заранее уготовливает себе роль благодетеля. Пренебрегли они также и тем, что разговоры и толки о постройке особняка для председателя будут дискредитировать его, вредить ему. Неясно, почему не пришла им в голову мысль разработать другой план — план постепенного строительства домов для колхозников, в том числе, возможно, и для председателя, план, устанавливающий очередность этого строительства, порядок оплаты его и т. д., и обсудить этот

план на общем собрании. Но все это было бы слишком деловито и буднично.

Разрабатывая свой трюк, они исходили из того, что если дом будет строиться для вдовы павшего воина, неутомимой работницы, то из строительства не будет толку, дом так и не будет построен. Того, что замысел их исходит из неуважительного отношения к массе, они как-то не почувствовали.

А ведь хорошие были люди — председатель колхоза и секретарь райкома.

Что с ними случилось?

Как говорится, рутинная заела, только не их, а автора. Рутинная изобразительных приемов.

В творчестве А. Андреева эти приемы — не случайный срыв. В последних его романах они, к сожалению, укоренились прочно. Известная доля вины за это ложится на

критику. Она была по отношению к писателю достаточно хвалебной, но недостаточно благожелательной. Благожелательность не позволила бы умалчивать о таких важных недостатках. Она обязывает говорить об ошибках прямо и откровенно.

Едва только сюжет обнаруживает притязание на самовластие, на самодовлеющую роль, как он тотчас же рушится, и его обломки заваливают и самый хороший замысел, и не менее хороших героев, и важную проблему. Так случилось с романом «Рассудите нас, люди».

Именно так и следует рассудить — не тяжбу между героями, нет: тяжбу между добрым замыслом и коварством рутинной изобразительности. Это на ней вина, это от нее беды.

**В. СУРВИЛЛО.**

★

## ГОД ЗА ГОДОМ

**А. Анастасьев. В современном театре. Редактор А. Гулиев. «Искусство». М. 1961. 382 стр.**

Читатели, интересующиеся театром, быть может, помнят дискуссию по драматургии в «Литературной газете» в 1960 году. В темпераментном, порой резковатом споре тогда приняли участие критики, драматурги, режиссеры, зрители. А начало ему положила статья А. Анастасьева «Драма и современность», вокруг которой главным образом и скрестились клинки.

Сейчас она включена автором в сборник «В современном театре» и мирно открывает один из его разделов. Но когда вновь перечитываешь ее, то понимаешь, почему такая спокойная, раздумчивая статья вызвала тогда столько колючих, задиристых споров.

Критик начинает с вопроса простого, насколько даже навязшего на зубах у каждого, кто близок к сцене: почему из года в год мы говорим об отставании драматургии? «Почему же она отстаёт? Почему современная жизнь нашего народа неполно и блекло отражается в драматической литературе?» — и выдвигает на обсуждение по крайней мере две причины: «Во-первых, конфликт, который является основой драмы, приобрел в нашей жизни новые качества; во-вторых... все еще бытует неправильное представление о существе драмы...»

Автор предупреждает, что эти причины, конечно, не исчерпывают всех проблем со-

временного драматического искусства. Но это, несомненно, наиболее запутанные, наиболее острые и, как любят у нас говорить, самые наболевшие проблемы.

Способность, и не только способность, а и смелость почувствовать, увидеть и заговорить «во весь голос» о самом насущном, остром, дискуссионном, порой тревожащем в жизни нашего искусства отличает лучшие из статей, посвященных советскому театру и сгруппированных в разделах: «После двадцатого съезда» (им открывается сборник), «Год за годом», «О драме», «В Художественном театре».

Возьмем, к примеру, раздел «Год за годом», где собраны «Театральные обзоры» по итогам или в преддверии сезона. Автор в подзаголовках представляет нам эти сезоны: 1952, 1953, 1954, 1955 годы.

Не правда ли, времена уже далекие? И не только зрители, а, наверно, даже и сами театры имени Евг. Вахтангова, Ермоловой, Ленинского комсомола успели забыть о давным-давно сошедших со сцены постановках пьес А. Софронова «В наши дни», А. Волкова «Ксения», Н. Рожкова «Сыновья Москвы», которые анализируются в статье «Три спектакля» (1952). А читаешь эти страницы с интересом, потому что перед нами не традиционная рецензия, а именно

статья, раздумье не только об этих трех пьесах и не только об этих трех спектаклях, а о судьбе драматургии и театра в целом, об их путях-перепутьях, о перспективе их развития.

«Дороже всего на сцене правда жизни. Эта старая истина подтверждается всякий раз, когда испытываешь в театре чувство подлинного волнения». Эта мысль в разных вариациях не раз возникает в книге. Как видно, она особо дорога автору. О чем бы он ни говорил, с чем бы ни спорил, тревога у него одна: что мешает торжеству правды на сцене, что мешает советскому театру «стать в полный рост с веком наравне».

Со всеми ли из положений, выдвигаемых в книге, можно согласиться? Нет. Да автор на это, очевидно, и не рассчитывает: категоричность, наставнический тон менее всего свойственны его статьям. Ему порой важнее поставить вопрос, привлечь наше внимание к той или иной еще не до конца решенной проблеме.

Все ли из статей равноценны? Тоже нет. Одни звучат по-настоящему современно, широко, другие, как, например, рецензия на постановку пьесы А. Арбузова «Годы странствий» в одном из столичных театров, так и остаются рецензиями, наглухо прикрепленными к данному отрезку времени, к данному — заслуженно канувшему в Лету — спектаклю.

А в целом встает живая, зримая, своеобразная картина жизни нашего театра год за годом в последние, такие нелегкие и такие знаменательные десять лет. И автор, радуясь победам драматургов и театров, подробно рассказывая о таких спектаклях, как постановка «Золотой кареты» Л. Леонова, «Кремлевских курантов» и «Третьей, патетической» Н. Погодина во МХАТе, «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского в Ленинградском театре имени А. С. Пушкина, подчас впадая даже в благодушие, как, например, при оценке ставших репертуарными «на безрыбьи» пьес «В сиреновом саду» Ц. Солодаря и «Любовь Ани Березко» В. Пистоленко, нигде и ни в чем не пытается сгладить, спрятать трудности этого десятилетия.

«Тревожно...» — так озаглавил критик раздел театрального обзора 1953 года, где речь шла о Художественном театре, где впервые было сказано со всей определенностью: «МХАТ огорчает зрителей. Только равнодушный к Художественному театру, не лю-

бящий его искусство человек может без тревоги смотреть на тяжелое положение, в котором оказался театр».

Путь МХАТа в последнее десятилетие автор прослеживает в специальном разделе, который так и называется «В Художественном театре» и проникнут верой, искренней привязанностью к любимому театру и таким же искренним беспокойством за его судьбу.

Самые различные проблемы жизни советского и зарубежного театра затрагивает автор книги, но главным в ней, «сквозным действием», если пользоваться театральной терминологией, остается советская драматургия, поиски наиболее плодотворных художественных путей воплощения современности в советской драме.

Почему же все-таки «драматургия отстает»?

Если бы сейчас кто-нибудь забил в набат по поводу угрозы «теории бесконфликтности», то попал бы в комическое положение. «Теория» эта развеяна в пух и прах. А практика? «Бесконфликтность», — утверждает А. Анастасьев, — ныне приобрела новое обличье, которое, как мне кажется, правильнее всего назвать иллюстративностью».

Иллюстративность, по мнению критика, — это чуждая природе художества назидательность, примитивная наглядность, когда писатель мало озабочен тем, чтобы поэтически обобщить волнующие его явления, а просто берет черту или черты действительности и переносит в пьесу. А режиссер, в чьей постановке сценическая техника подавила, спрятала от наших глаз живого человека, — разве не попадает он в плен той же коварной иллюстративности?

И разве не прав был автор, споря с апологетами постановки МХАТа «Залп «Авроры», говоря о внешней иллюстративности антиисторического по своему содержанию спектакля, которому театр в свое время отдал столько труда, а некоторые критики столько восторгов? И разве не прав он, усматривая бесконфликтность в драматургической практике некоторых наших писателей, упорно следующих канону: положительный герой с завидной легкостью, без какой-либо опасности и напряжения укладывает «на обе лопатки» отрицательного, позиция которого заведомо обречена на провал. Разве при этом не проигрывают оба? Ведь законы драмы таковы, что любимый герой автора может заинтересовать, увлечь

нас лишь тогда, когда победа не дается ему даром. Схватка же уверенного в победе героя с заведомо слабым, стреноженным противником выбивает из рук драматурга его главное оружие — драматизм. А если нет драматизма, то и зритель бесстрастен — его ум и сердце не задеты за живое.

А разве не приглушает, не ослабляет истинный драматизм боязнь иных писателей и театров завершить спектакль грустной нотой, желание дать «под занавес» непрременную улыбку?

В пьесе «Ксения» критик усматривает это в том, что молодой драматург заставляет своих героев с поистине космической скоростью согласовать и увязать за кулисами (!) все противоречия и заключает пьесу ремаркой: «Первые лучи солнца ласково обнимают землю...» Или подобный же финал «Сыновей Москвы» Н. Рожкова: «Теперь солнце господствует над Ленинскими горами, над Москвой». (До восхода солнца противники наперебой спешат позать друг другу руки.)

А «в пьесе С. Алешина «Одна», — замечает Анастасьев, — героиня, утратившая любимого человека, друга, под занавес излагает бодрые мысли о радости труда. Зачем? Наверное, для того, чтобы зритель, не дай бог, не ушел из театра в грустном настроении. Но здесь-то и сказывается недоверие к зрителю, к человеку, исторический оптимизм которого куда крепче, нежели думают об этом утешители и бодряки.

Мы привели аргументацию автора сборника по поводу лишь одного из вопросов, поставленных им в дискуссионном порядке в статье «Современность и драма». Если читатели заинтересуют ответы и на другие во-

просы, если они захотят узнать, какие новые качества приобрел в нашей жизни драматический конфликт, мы отошлем их непосредственно к книге, которая, надеемся, будет прочитана не без интереса.

Да, не все в книге равноценно, кое-что уже отжило, устарело и могло бы остаться в авторском архиве, а свойственный критику спокойный, раздумчивый тон порой оказывает ему дурную услугу, и хочется большей яркости, пусть даже угловатости стиля. Но несомненно одно — это живой, спорный, в хорошем смысле этого слова, разговор о самом насущном в сегодняшней жизни театра.

...На одной из встреч бригад коммунистического труда с писателями старший горновой доменной печи Петр Лыгун говорил: «Хотим по-коммунистически работать и по-коммунистически жить. А вот как? Тут не все еще ясно. Вот если бы сейчас книгу нам — как нужно жить, каким должен быть герой, то есть каждый член бригады коммунистического труда...»

Напомнив об этом призыве горнового, А. Анастасьев заметил: «Не будем судить Петра Лыгуна за то, что он ждет от писателей практического пособия для членов бригады коммунистического труда, — в его пусть несколько наивном сожалении заключена большая и требовательная мысль: советский писатель, советский художник обязан помочь людям постигнуть тайны и глубины коммунистического бытия».

К этому и призывает искренняя, проникнутая какой-то юношеской верой в силу и магию сцены книга «В современном театре».

Бор. МЕДВЕДЕВ.

★

## ЖИЗНЬ В ЛЕСУ

Генри Дэвид Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. Издание подготовили З. Е. Александрова, А. И. Старцев, А. А. Елистратова. Перевод З. Е. Александровой. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 240 стр.

Есть особенные книги, встречи с которыми для настоящего читателя радостны и благотворны, как живые встречи с мудрыми редкими людьми, память о которых не угасает.

Такова книга американского писателя и мыслителя, тончайшего наблюдателя природы и поэта Генри Дэвида Торо.

«Когда я писал эти страницы — вернее,

большую их часть, — я жил один в лесу, на расстоянии мили от ближайшего жилья, в доме, который сам построил на берегу Уолденского пруда в Конкорде, в штате Массачусетс, и добывал пропитание исключительно трудом своих рук. Так я прожил два года и два месяца...»

Этими простыми словами начинается книга, многие страницы которой звучат и в на-

ши дни вполне современно. Писатель Генри Дэвид Торо скончался в 1862 году, ровно сто лет назад, в сорокапятилетнем возрасте от чахотки. Его жизнь и деятельность необычайны. Торо жил в памятные для Америки времена, когда на юге США открыто процветало рабовладельчество. Писатель Торо был мужественным защитником беглых рабов, у него они обретали защиту и кров. Он был другом своих соседей-индейцев, сохранивших наивные детские черты и поэтические верования в силы природы, обреченных на голод и верное вымирание.

Торо не был отшельником, мрачным и недоступным анахоретом, не изображал из себя сказочного Робинзона. Он неизменно общался с людьми, посещавшими его уединенную хижину, хотя и отчетливо разделял их на глупцов и умных, на достойных и ничтожеств.

Идолопоклонники доллара не признавали Торо, высмеивали его образ жизни, его поведение, называли бездельником и тунеядцем. Книги Торо, естественно, не имели успеха. Их читали лишь самые близкие друзья, редкие единомышленники. Первая книга Торо, напечатанная в количестве тысячи экземпляров, не нашла покупателей. Издатель вернул автору почти весь тираж. Показывая друзьям свою библиотеку, Торо шутил, что эта библиотека почти целиком состоит из его нераспроданных книг.

Как это нередко бывает, слава и признание пришли к Торо лишь спустя полстолетие после его смерти. Только в начале двадцатого века его единодушно признали классиком американской реалистической литературы. Споры о литературном наследии Торо продолжаются по сей день.

Читая книгу, смотря на приложенный к книге портрет, я представляю и вижу самого Торо, его живое лицо, голубые глаза, его руки, умеющие держать топор, лопату и писательское перо. Я как бы сижу в его маленькой хижине на берегу прозрачного Уолденского озера (переводчик неправильно называет это озеро прудом), где пахнет деревом, лесными травами и дымом самодельного очага, слушаю его голос. Он беседует со мной, шутит (все хорошие люди умеют шутить: шутка и понимание шутки — верный признак человеческого добродушия и ума); мы не торопясь спускаемся к берегу озера, окруженного лесом, очень похожим на русский наш лес. В природе американского севера многое похоже на наше.

И вёсны, и лето, и зимние стужи, и дожди, и снега, и перелеты птиц, и почти такие же обитатели лесов и вод, те же растения и деревья. Быть может, поэтому русскому читателю, особенно охотнику и рыболову, близка и понятна описываемая в книге природа...

Вот мы спускаемся к берегу озера, садимся в лодку, заглядываем в прозрачную глубину воды, где у песчаного дна собираются стайки окуней и плотвы, а на середине «бездонного» озера плавают и ныряют, уплывая от нас, одинокая птица гагара... Мы приготавливаем удочки и ловим рыбу. Осенью мы наблюдаем, как на озере образуется молодой прозрачный лед. Лежа на нем, приставив к лицу ладони, смотрим, как прилипают ко льду, вмержают, меняя форму и образуя красивые узоры, поднимаются с озерного дна пузырьки. Ночью и днем слушаем лесные звуки, наблюдаем птиц и зверей, продолжаем беседы у зажженного очага...

Лучшие страницы книги — описания природы. В этих описаниях изумляет точная и тонкая наблюдательность Торо, умение видеть, слышать и подмечать. От его слуха и зрения не ускользают самые тончайшие звуки, мельчайшие движения и черты, мимо которых проходит тупой и равнодушный человек, превыше всего почитающий собственное благополучие. К подобным людям писатель и мыслитель Торо был беспощаден. Он видел единственное счастье в свободе, в свободном труде, в умении довольствоваться насущным и малым.

Чистейший лесной воздух и прозрачная озерная вода заменяли ему дорогие вина, которые пили в своих дворцах властители и богачи, пригоршня бобов и орехов — роскошное угощение. Будучи опытным охотником, он навсегда расстается с охотничьим ружьем, а птицы и звери становятся его друзьями, находя приют под кровлей его лесного жилища. В писаниях Торо нет и тени сентиментальности, слащавого ханжества или любования собою, прикрытого красивыми словесами, изяществом и изысканностью слога. Он беспощаден к ханжам-лицемерам, в угоду господину богу занимавшимся пением псалмов и показной благотворительностью, плодящей тунеядцев и ротозеев. Высшим достоинством человека он считает личные качества этого человека: его совесть, стойкость и ум. «Я не считаю праведность и доброту главным в человеке, — говорит Торо о прославляемых американ-

ских филантропах, снисходительно бросающих подачки бедным и безработным,— это лишь его стебель и листья. Сушеные травы, из которых мы делаем лечебные настои... чаще всего их применяют знахари. Мне нужен от человека его цвет и плоды...» Доброта человека на деле, по словам Торо, не должна быть частичным и преходящим актом, но непрерывным, переливающим через край избытком, которое ничего ему не стоит и которого он даже не замечает. «Нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно падала, земная и небесная».

Книга Торо не для «широкого» круга читателей. Легковесный читатель, ищущий удобного и приятного «чтива», в ней не найдет описания увлекательных приключений или изображения любовных сцен. Торо ~~не~~ **нельзя** читать «в один присест», проглатыва-

вать, «не жуя». Каждая страница требует размышления. Чем больше вчитываешься в эту книгу, тем живее рисует воображение самого Торо — мужественного, мудрого и чистого человека.

«Я не говорил бы так много о себе, если бы знал кого-нибудь другого так же хорошо, как знаю себя. Недостаток опыта, к сожалению, ограничивает меня этой темой. Со своей стороны, я жду от каждого писателя, плохого или хорошего, простой и искренней повести о его собственной жизни, а не только о том, что он понаслышке знает о жизни других людей: пусть он пишет так, как бы писал своим родным из дальних краев, ибо если он жил искренне, то это было в дальних от меня краях».

Золотые эти слова нам, писателям, следует помнить.

**И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.**



### Политика и наука

## ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Великие идеалы коммунизма. Редактор Н. Абалкин. Издание газеты «Правда». М. 1962. 416 стр.

**Т**рудовое человечество пожинает первые плоды своей борьбы, своих великих дерзаний. «XX век,— говорил Н. С. Хрущев,— век триумфальных побед коммунизма. В первой половине столетия на нашей планете прочно утвердился социализм, во второй половине века на ней утвердятся коммунизм. Путь к этому указывает новая Программа нашей партии, которую справедливо называют Коммунистическим манифестом современной эпохи».

В книге, о которой идет речь, собраны материалы шести специальных номеров «Правды», где рассказывается о великих идеалах коммунизма, провозглашенных в Программе КПСС. Включены в нее и не опубликованные ранее письма читателей в «Правду».

Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всех народов — вот они, эти великие идеалы.

Борьбе за мир — самой гжучей проблеме современности — посвящены первые страницы книги. Вечный мир с древнейших времен был заветной мечтой человечества. Но шли столетия, и одна за другой вспыхивали истребительные войны. «Где же та сила, которая способна положить конец побой-

щам?» — с извечной тревогой спрашивал человек. Ответ на этот вопрос дали основоположники марксизма-ленинизма: коммунизм — вот та великая сила, которая навсегда избавит человечество от войн. Революционная наука впервые в истории вскрыла социальные причины войн и указала единственно верный путь их искоренения: Нет, война не извечная спутница человечества! Война — порождение эксплуататорских общественно-экономических систем.

Со страниц книги твердо звучит голос народов, выступающих за мир, против угрозы новой войны. Пишут матери Героев Советского Союза А. Гастелло, Л. Космодемьянская, Н. Чекалина, В. Талалихина, литейщик из Горького М. Луковников, первый космонавт Юрий Гагарин, польский профессор Л. Инфельд, греческий патриот М. Глезос, английский общественный деятель Д. Бернал, индийский писатель Н. Чакраварти и многие другие. Одной мыслью пронизаны все эти письма: нет сейчас дела более благородного, чем борьба за мир.

Труд сопутствовал человеку на всем протяжении истории общества. Но ни в одну предшествующую эпоху тем, кто создавал

материальные блага общества, не было дано познать радость и счастье свободного труда. На труженике лежало бремя тяжелой эксплуатации. И лишь Великий Октябрь освободил его. Наша революция показала всему миру, на что способен народ, который трудится на самого себя, во имя общего блага. Трудом и только трудом славен человек в нашей стране. Люди труда — **цвет** нашего общества, его слава и гордость.

Коммунизм и труд, говорится в книге, неотделимы. Представлять себе коммунистическое общество как некое беспечное царство безмятежной идиллии, ничегонеделания, безмерно раздутых потребительских запросов — это значит ничего не понимать в коммунизме, по-обывательски представлять себе жизненные идеалы человека. Коммунизм сохраняет великий и священный принцип: «Кто не работает, тот не ест».

Выражая мысли людей труда, Валентина Гаганова взволнованно пишет: «В большом почете у нас человек труда. И, честное слово, до чего весело, интересно жить в наше время, когда нет преград для твоей творческой энергии! Живи, твори, ищи, дерзай!»

А рядом — рассказы о тяжелой доле людей труда в эксплуататорском обществе. Письмо американского рабочего Ф. К. сви-детельствует о том, как нелегко живется даже тем, кто может сравнительно иррилично заработать. А что говорить о многих миллионах безработных, которые стучатся в ворота фабрик и заводов в США, в других капиталистических странах?!

Народ, обретший свободу, непобедим. В условиях подлинной свободы и демократии, говорится в книге, устраняются неразрешимые для буржуазного строя противоречия между личностью и обществом и человек впервые познает всю глубину счастья быть живой, неотделимой частицей социалистического коллектива.

Одна из великих идей коммунизма — идея всеобщего фактического равенства людей. Она утвердится в жизни народов с построением коммунизма. Как коммунизм рассматривает вопрос о равенстве? Этой теме посвящен специальный раздел книги.

Напрасны ухищрения буржуазных социологов, разглагольствующих о «совершенстве» общественной организации так называемого «свободного мира». Нет и не может быть равенства между промышленником и

безработным, банкиром и батраком. Действительным равенством В. И. Ленин называла порядок, который строят коммунисты и в котором не будет возможности обогащаться за чужой счет. Народы Советского Союза и других стран социалистического лагеря уже обрели подлинное равенство в наиболее существенных, коренных областях общественной жизни. Построение коммунизма приведет к полному социальному равенству всех членов общества.

Широкое и яркое освещение получил в книге и такой идеал коммунизма, как братство. Утверждение в нашей стране безраздельного господства общественной собственности на средства производства породило новые отношения между людьми — отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Наша страна — первое в истории социалистическое братство наций, основанное на принципах взаимной помощи и взаимного уважения. О дружбе народов пишет украинский писатель Любомир Дмитерко. Большой и благородной теме «Коммунизм и братство народов» посвятил свою статью Н. Джандильдин, секретарь ЦК Компартии Казахстана. Тут же опубликованы интересные письма зарубежных публицистов.

Заключительный раздел книги посвящен теме «Коммунизм утверждает на земле счастье». В нем приведены замечательные слова Владимира Ильича: «Мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государства, **начать** этим новую эпоху **всемирной истории...**» Читатель найдет здесь многочисленные высказывания советских людей о торжестве социалистических идеалов в нашей стране, о радости труда, о том, как подлинное счастье входит в каждый советский дом. О величайшей исторической миссии нашей партии, возглавившей борьбу советского народа за построение коммунистического общества, говорится в статье В. Степанова «Ради счастья на земле» и в ряде других материалов этой книги.

Идеи коммунизма завоевывают умы и сердца тружеников всего мира совершенной организацией общества, расцветом производительных сил, созданием всех условий для счастья и благополучия человека.

**Б. БАЯНОВ.**

## ВЕЛИКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

А. Ф. Хавин. Краткий очерк истории индустриализации СССР. Редактор З. Политов. Госполитиздат. М. 1962. 440 стр.

В середине тридцатых годов по инициативе А. М. Горького проектировалось издание книги, посвященной истории первых советских пятилеток.

«Не говоря о чести хорошо сделать такую книгу,— писал Горький,— каждый литератор в процессе этой работы получит возможность приобрести комплексное знание о жизни своей родины, о ее всемерном росте, об изумительном разнообразии характеров и типов ее людей. Именно такое знание и необходимо советским литераторам, только такое обширное знание и придаст им силу создать яркие книги, которых все более настойчиво требует читатель-друг, каково никогда, нигде литература не имела».

Многие писатели создали тогда значительные произведения о первых годах индустриализации, но книга «Две пятилетки», к сожалению, так и не была написана. Однако самый замысел книги, указания Горького о ее задачах и содержании вдохновляли литераторов в их последующей работе. По существу речь шла о подготовке книги об истории индустриализации СССР. Начинать такую книгу Горький предлагал рассказом о ленинском плане электрификации страны, дать очерк о наследстве, «которое получили Советская власть и партия после разрушений гражданской войны и голода 1921—22 годов», а затем уже переходить к основной теме, которая была сформулирована с предельной ясностью: «Две пятилетки, и люди, которые их создали».

Нам кажется, что вышедшая в свет в начале нынешнего года книга А. Ф. Хавина «Краткий очерк истории индустриализации СССР» во многом отвечает горьковскому замыслу. Автор ее широко использовал личные воспоминания, свои журналистские записи и дневники тех лет, наблюдения во время пребывания на многочисленных стройках, беседы с людьми. Эти живые впечатления органически вплетаются в ткань рассказа, необычайно оживляют книгу, делают ее интересной и доступной для широких масс читателей.

Вместе с тем автор глубоко изучил и использовал самые разнообразные архивные документы, материалы периодической печати, статистические источники, воспоминания,

проштудировал довольно обширную историческую и экономическую литературу. Поэтому перед нами не просто живо и образно написанные очерки, но и серьезный научный труд, который вполне могут использовать специалисты-историки, особенно преподаватели истории в вузах и средней школе.

Книга охватывает весь процесс социалистической индустриализации от первых ее шагов и почти до сегодняшнего дня — до начала осуществления великих задач создания материально-технической базы коммунизма. Перед читателем проходит большой и трудный путь преобразования отсталой в технико-экономическом отношении аграрной страны в могучую индустриальную державу мира.

«...Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически,— писал В. И. Ленин в сентябре 1917 года в своей замечательной работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».—...Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей».

Приведя эти исторические ленинские слова, А. Ф. Хавин во введении и в первой главе книги убедительно показывает, каков был исходный уровень промышленного развития нашей страны, оставленный в наследство капиталистической Россией. Он образно сравнивает две географические карты: Российской империи 1913 года и СССР 1960 года — и мы наглядно видим тот поистине «великий скачок», который был совершен от былой отсталости к нынешнему уровню нашего индустриального развития.

Центральное место в очерке отведено предвоенным пятилеткам. Этот период вошел в историю как непосредственно период индустриализации. Но, правильно определив основные хронологические границы периода индустриализации (стр. 17), автор не отметил, что период этот исторически почти полностью совпадает с тем периодом, когда в основном была решена задача построения социализма в СССР и создания материально-технической базы социалистического общества. История подготовки и принятия пятилетних планов развития народного хозяйства СССР, основные итоги их выполнения показаны в книге

ярко и убедительно. Рассказано в ней и об острой борьбе, которая развернулась в тот период с классово-враждебными элементами и антипартийными группировками, пытавшимися затормозить, сорвать социалистическую индустриализацию нашей страны.

Книга завершается главой: «Мудрость политики Коммунистической партии доказана историей». В ней сжато показано, как наша страна выдержала суровые испытания войны, а после ее победоносного окончания не только в кратчайшие сроки восстановила свою былую мощь, но достигла нового, небывалого размаха промышленного строительства.

Каждый этап борьбы за индустриализацию проиллюстрирован здесь не только впечатляющими цифрами (кстати, в целом цифрами книга не перегружена) или перечнем новых предприятий и новой техники. Гораздо больше в ней показаны те, кто разрабатывал планы и осуществлял их. Самые яркие страницы книги посвящены людям — руководителям социалистической индустрии, начальникам строек, директорам предприятий, ученым, инженерам, рабочим — героям труда.

Особенно тепло, с любовью рассказывает автор о трех крупнейших деятелях Коммунистической партии и Советского государства, верных учениках Ленина, последовательно сменивших друг друга на посту руководителей социалистической промышленности, — Ф. Э. Дзержинском, В. В. Куйбышеве и Г. К. Орджоникидзе.

Ф. Э. Дзержинский руководил первыми боями на фронте индустриализации на посту председателя ВСНХ в 1924—1926 годах. Его сменил В. В. Куйбышев, с именем которого связана подготовка и претворение в жизнь первого пятилетнего плана. И наконец в самый сложный и трудный период великого промышленного строительства ВСНХ, а затем Народный комиссариат тяжелой промышленности возглавил выдающийся деятель партии Г. К. Орджоникидзе.

«Каждый из этих замечательных представителей старой большевистской гвардии обладал многими, только ему присущими индивидуальными качествами. У каждого из них был свой стиль работы, подсказанный спецификой, особенностями обстановки данного периода.

Но при всем том в основе деятельности всех их лежали роднившие их черты: они

были государственными деятелями нового типа, каких не было и не могло быть в капиталистических странах. Их неутомимый, самоотверженный труд был примером для всех работников промышленности. Не в малой мере этой сверхнапряженной работой, этим неустанным горением объясняется тот факт, что они так рано ушли из жизни: Ф. Э. Дзержинскому шел лишь 49-й год, В. В. Куйбышеву не исполнилось и 47 лет от роду. Г. К. Орджоникидзе трагически оборвал свою жизнь, когда ему едва минуло полвека: он не мог дальше нормально работать в сложившейся обстановке культа личности, не хотел разделять ответственности за злоупотребления властью Сталиным».

В книге рассказано о многих ведущих работников ВСНХ и Госплана — В. И. Межлауке, М. Л. Рухимовиче, С. С. Лобове, о крупных хозяйственниках и директорах предприятий — А. П. Серебровском, И. В. Косноре, К. В. Уханове (последний был директором завода «Динамо» в Москве в начале двадцатых годов, а затем наркомом местной промышленности РСФСР), В. И. Иванове — начальнике строительства Сталинградского тракторного, о руководителях крупнейших хозяйственных организаций: уральской — И. Д. Кабакове, украинской — С. В. Косноре, западносибирской — Р. И. Эйхе и других. Все эти люди стали жертвами необоснованных репрессий в период культа личности Сталина. Большой урон был нанесен замечательным кадрам хозяйственного руководства.

Но при всех этих тяжелых и невосполнимых потерях советский народ сумел накануне войны выдвинуть множество новых выдающихся командиров производства, таких, как И. Ф. Тевосян, В. А. Малышев, А. И. Ефремов, В. В. Вахрушев, А. И. Шахурин, Г. И. Носов, Р. В. Белан и многие другие.

Очерк знакомит с блестящей плеядой русских ученых — представителей старой интеллигенции, активно участвовавших в социалистическом строительстве еще со времен разработки плана ГОЭЛРО, — это Г. О. Графтио, А. В. Винтер, Б. Е. Веденеев, И. Г. Александров, Д. Н. Прянишников, И. М. Губкин, М. А. Павлов, А. Е. Ферсман, И. П. Бардин — и с новым поколением советских ученых, инженеров, конструкторов, творцов новой техники во многих отраслях промышленности и обороны страны.

На протяжении всей книги, в каждой ее главе и применительно к каждому этапу индустриализации рассказывается о лучших людях рабочего класса, о первых ударниках, новаторах производства — Михаиле Путине и Петре Слободчикове, Никите Изотове и Алексее Стаханове, Алексее Семиволосе, Макаре Мазе и многих, многих других.

Автор прослеживает процесс развития социалистического соревнования от первых ударных бригад до движения бригад и ударников коммунистического труда. Но, посвятив этому самостоятельные разделы, он не сумел показать органической связи между ходом индустриализации и развитием социалистического соревнования. Вот тут ему, к сожалению, и не удалось выполнить настоятельный совет А. М. Горького — показать социалистический труд как организатора нового человека и нового человека как организатора социалистического труда. Горький тут же добавлял, что «нужно показать взаимодействие делаемого и сделанного на делателя и показать обратное взаимодействие. Этот двусторонний процесс нигде и никогда еще не развертывался с такою широтой, как у нас».

Не всегда глубок и достаточен анализ, обобщение происходящих процессов. Книге явно не хватает хотя бы самой общей постановки вопроса об экономическом содержании индустриализации, о ее особенностях и закономерностях (конечно, не в виде стандартных фраз и формул, а на основе анализа конкретного материала).

«Нелегко и тернист был путь индустриального развития СССР. Много, казалось, непреодолимых препятствий вставало на этом пути», — пишет автор во введении к своей книге. Он действительно стремился показать эти трудности, напряженность и слож-

ность борьбы за их преодоление. Но, анализируя выполнение пятилетних планов, он зачастую не приводит данных об отставании отдельных отраслей промышленности, о несовпадении в ряде случаев плановых заданий и их фактической реализации. Так, в годы первой пятилетки при огромном росте промышленности и перевыполнении всех количественных показателей план по качественным показателям (снижение себестоимости, повышение производительности труда) в целом по промышленности не был выполнен. Отдельные факты невыполнения плана имели место и в годы второй пятилетки. Поэтому следовало бы приводить не данные плановых предположений, а их фактическое исполнение. В работе А. Ф. Хавина имеются и некоторые фактические погрешности, в ряде случаев следовало бы обновить ссылки на устаревшие источники. Но основную свою задачу — рассказать о великой индустриальной революции в СССР — автор безусловно выполнил. Он сумел донести до читателя героизм и пафос незабываемых лет индустриализации, «помыслы и дела строителей нового мира, вызывающие законную гордость советского человека».

Индустриализация страны, создание мощной социалистической индустрии, как учил Ленин, — это не самоцель, а только необходимое условие построения коммунистического общества и достижения всеобщего благосостояния народа. Книга А. Ф. Хавина воскрешает шаг за шагом героический путь борьбы советского народа под руководством Коммунистической партии за достижение этой великой цели. Она, несомненно, заинтересует читателя и не обманет его ожиданий.

**Э. ГЕНКИНА,**  
доктор исторических наук.

★

## МОРЕ И КНИГИ

**Академик Д. И. Щербанов. Пучины океана. Редактор А. Д. Иорданский. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 120 стр.**

**Борис Ляпунов. Впереди — океан! Редактор М. Г. Пожидаева. «Советская Россия». М. 1961. 180 стр.**

**Ж**юль Верн сознательно допускал невозможное, когда его герой — капитан Немо и доктор Аронакс, надев скафандры, покидали надежные стены «Наутилуса» и шествовали по морскому дну — давление воды им было ни почем. В самом же деле на тех глубинах скафандры не спасли бы, по

крайней мере такие, какие описаны у знаменитого романиста.

Современные исследователи морских глубин пользуются при погружении аквалангами и гидростатами, батисферами и батискафами. Они наблюдают жизнь моря с помощью подводного телевидения и локаторуют

морское дно эхолотом, отмечающим на булавочной ленте все изгибы дна.

Тридцать три рейса совершило наше исследовательское судно «Витязь». Его труды вместе с трудами экспедиционных судов других стран помогли составить совершенно новое представление о Мировом океане, о строении его дна, о морских и океанских течениях, о минеральных богатствах океана, о жизни морских глубин.

Планета наша в основном водная, суши у нее всего процентов тридцать. Но до самого недавнего времени поверхность Луны была нам известна значительно лучше, чем рельеф дна Индийского океана.

Но вот в результате исследований последних лет наука узнала много нового. В нашей стране появились серьезные научные труды о подводных исследованиях и две популярные книги, в которых эта тема разработана широко и всесторонне. Одна из них написана видным нашим ученым-геологом академиком Д. И. Щербаковым. Другая — писателем-популяризатором Борисом Ляпуновым.

Академик Д. И. Щербаков был участником Первого океанографического конгресса в Нью-Йорке, который собрался в 1959 году. Книга «Пучины океана», может быть, и не возникла бы, если бы не состоялся этот конгресс и на нем не воцарилась атмосфера сотрудничества, побудившая многих его участников рассказать всем людям о том, что такое океан.

Президент конгресса известный американский ученый Р. Ревелл говорил, что если люди желают разумно использовать планету, на которой они живут, то надо начать с разумного и дальновидного управления океанами.

Однако начать это дело, как тут же выяснилось, вовсе нелегко. Программа конгресса включила работу пяти секций. Но, по наблюдениям Д. И. Щербакова, далеко не все ученые, участвовавшие в их работе, обладали достаточными знаниями для того, чтобы во всей полноте охватить хотя бы круг проблем своей секции. Это и не удивительно: ведь океанография — «место встречи всех наук».

Родина всего живого, величайший международный путь, источник пищи, энергии, минерального сырья — вот что такое океан. Физики и химики, биологи и геологи, математики и экономисты — все принимают уча-

стие в разработке современной океанографии.

Океанография — дело общечеловеческое. Потому-то науку, изучающую океан, следует особенно популяризировать.

Написанная для читателя подготовленного, во всяком случае для специалиста хотя бы в одной какой-то области, «работающей» на океанографию, небольшая книжечка Д. И. Щербакова тем не менее полезна каждому.

Она исполнена дружелюбия к американскому народу, к его ученым, создавшим в Нью-Йорке замечательный естественно-исторический музей, у которого многому можно поучиться. Советский ученый с интересом ознакомился с крупнейшим в мире морским аквариумом — океанариумом, созданным во Флориде близ курортного городка Майами.

Автор то делится с читателями впечатлениями от своего увлекательного путешествия, то ведет разговор о важных теоретических вопросах. Мысли, высказанные на конгрессе, по-новому им осваиваются, систематизируются.

Каждая глава, посвященная теоретическому вопросу, возбуждает в читателе желание самому разобраться во всем поглубже. Пусть он не химик и не геолог, не физик и не географ, пусть не все в тексте ему до конца понятно, но интерес к этой области знаний пробужден.

Морские осадки, как известно, — ключ к постижению многих страниц истории Земли. Эти страницы были написаны морем и сушей в их вечноном взаимодействии. Исследования последних лет показывают, что такие, казалось бы, хорошо изученные породы, как песчаники, образовались в гораздо более сложных условиях, чем думали раньше, и не всегда приурочены только к мелкой воде. Это вывод огромного теоретического значения, но он, как подчеркивает для нашего сведения автор, имеет и практический интерес: ведь песчаники образуют иногда подземные бассейны, в которых скапливается нефть. Еще в начале нашего века рельеф океана считали плоским, континенты представлялись похожими на стенки корыта над равномерно вогнутым дном. Измерения, произведенные океанографическими станциями на борту экспедиционных кораблей, обнаружили, что дно океана — сложная система гор и долин. Карты дна совершенно изменились. Мощный хребет — Срединно-Атлантический

вал — шириною от пятисот пятидесяти до девяносто километров протянулся вдоль Атлантики от Исландии на севере до острова Тристан-да-Кунья на юге. Крупные горные поднятия разделили ложе Тихого океана на несколько огромных котловин.

На карте Мирового океана в новых сочетаниях появились имена наших славных соотечественников: хребт Ломоносова в Северном Ледовитом океане, гора Афанасия Никитина в Индийском. Великие географические открытия нашего времени не только перекраивают карты. Они неоценимы и для познания общих закономерностей в развитии нашей планеты. В ложе океана, замечает Д. И. Щербаков, «видно отражение закономерностей планетарных масштабов, определяющих направление и расположение огромных горных сооружений».

В то же время земная кора океанского дна существенно отличается от континентальной области. Она лишена верхнего гранитного слоя и имеет лишь незначительный по мощности нижний базальтовый слой. Много загадок еще кроется за этим фактом, и много перспектив разворачивает он перед наукой и техникой. Некоторые из них приоткрываются перед читателем.

Измеряя остаточную намагниченность горных пород, относящихся к различным геологическим эпохам, ученые пришли к выводу, что в каждую геологическую эпоху Северный магнитный полюс занимал определенное положение — он как бы «блуждал». Возникло предположение, что эти видимые перемещения полюса в действительности связаны с перемещением континентов. Но если это верно, то как такие гигантские передвижки материков должны были отразиться на океанском дне? Еще одна проблема. По мнению некоторых геологов, Земля в целом увеличивается в объеме, однако размеры материков при этом не подвергаются изменениям. Дополнительное возникновение коры, неизбежное, если эта гипотеза верна, происходит в океанских впадинах. В таком случае не могут ли быть результатом этих процессов и некоторые подводные хребты, о существовании которых мы узнали совсем недавно?

Коренные для современного естествознания и чрезвычайно интересные проблемы ставят и главы, в которых изложены некоторые итоги исследований советских ученых. Работы Черноморской станции Инсти-

тута океанологии АН СССР показали, например, что земная кора под котловиной Черного моря отличается от океанской — осадочный слой ее значительно мощнее. Экспедиции «Витязя» в 1959 и 1960 годах, проходившие по программе международных исследований Индийского океана, изучили циркуляцию его вод и глубинные течения, рельеф и строение дна и целый комплекс других проблем. Даже в одной только области — геологии, наиболее близкой автору книги, работы «Витязя» дали материал, освоение которого — дело многих лет. Так, например, в центральной части океана на значительном пространстве дно оказалось покрытым громадными скоплениями марганцевых руд — кладом для многих человеческих поколений.

Работы океанографов с полной убедительностью показали, что океан — не то место, куда можно безнаказанно сбрасывать радиоактивные отходы ядерных испытаний. Радиоактивные вещества мигрируют в океане, представляя собою опасность для всего живого. «Испытания плохи уже сами по себе, поскольку они отравляют растения, животных и людей», — заявил недавно на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир профессор Джон Бернал.

В наши дни океанография открывает новые горизонты перед геологами. «Штурм океана продолжается» — так назвал Д. И. Щербаков заключительную главу своей книги. В недалеком будущем на геологических картах появятся и территории, занятые морем. В море или в океане, где нет гранитного слоя, начнется глубокое бурение земной коры. Как стало известно уже после выхода книги, его начали сегодня советские геологи, и сейсмические волны, идущие с космической скоростью от слоя Мохоровичича<sup>1</sup>, принесли первые результаты.

В будущем все сильнее будет разрастаться добыча нефти на материковых отмелях. Начнется освоение минеральных богатств, находящихся на дне океана и в его водах. Энергетические источники океана помогут овладеть и его минеральными богатствами: овладев энергией приливов, человек сделает возможной дешевую, рентабельную добычу золота и других ценных элементов.

<sup>1</sup> Слой Мохоровичича — граница земной коры, где она переходит в следующий слой — оболочку, или мантию.

Книжка Д. И. Щербакова, в которой многим более ста страниц,— пример того, как можно популяризировать науку, не поступаясь глубиной изложения, не боясь быть непонятым, смело полагаясь на волю читателя преодолеть вполне возможные затруднения. «Пучины моря» — очень содержательное сочинение. Каждый возьмет от него то, что сумеет. Оно интересно и ученому-специалисту и читателю, еще не расставшемуся со школьной скамьей.

Обратимся теперь к книге Б. Ляпунова «Впереди — океан!»; сравнить обе книги поучительно: на сходном материале они показывают разные пути подхода к читателю.

Как отмечает видный советский океанограф Л. А. Зенкевич, в книге «Впереди — океан!» материал изложен «на уровне современных научных представлений».

Освоение океана, как уже говорилось, задача комплексная. Писатель-популяризатор стремится к тому, чтобы ощущение разносторонности проблемы дошло и до читателя, и это ему удается. Недаром так много страниц текста и фотоиллюстраций посвящено технической стороне вопроса.

Человек проникает в глубины моря. Чем глубже он опускается, тем сложнее становится задача. Это, может быть, не легче проникновения в космос — никому еще не довелось свободно передвигаться по дну на больших глубинах. Скрючившись и замерзая, наблюдали подводный мир Биби и Бартон из окна своей батисферы. Профессор Пякар и его сотрудники на батискафе «Триест» достигли рекордной глубины — свыше десяти километров — и опустились на дно Марианской впадины — величайшей из известных глубин Мирового океана. Но их спуски, хотя и были блестящим достижением техники, не внесли большого вклада в науку о море. Советский Союз, первым сняв вооружение с подводной лодки и приспособив ее для мирных исследований, вписал новую замечательную страницу в изучение океана. Плавание «Северянки» в водах Северной Атлантики практически доказало также, что наука о море может быть поставлена на службу нуждам человека, может помочь расширению наших пищевых ресурсов.

Это были первые шаги. Новые перспективы овладения морем выдвигают новые задачи перед техникой, и Б. Ляпунов в своей книге дает доступное, ясное каждому

читателю представление, какими путями идет в наши дни завоевание морских глубин. Одновременно он раскрывает и картину природных явлений, изучаемых сегодня покорителями подводного мира.

Особенно интересны данные о работах биологов. Нужно было буквально по крупицам собрать материалы, рассеянные во множестве научных докладов и сообщений, чтобы воссоздать такую многообразную и увлекательную картину жизни морских глубин. И каждому становится ясно, что мы в конечном счете еще очень мало знаем богатства океана. Писатель увлекает нас то рассказом о находке «живого ископаемого» — целаканта, рыбы, которая, по данным науки, жила в палеозойскую эру, сотни миллионов лет назад, то фотографиями следов какого-то таинственного морского змея или ящера, полученными одновременно в Тихом и Атлантическом океане советским и английским исследователями.

Однако Б. Ляпунов не злоупотребляет разного рода «сенсацией». Главное в его книге — широта выводов, основанная на умении научно осмыслить описанные им факты, поставить их в продуманный логический ряд. Л. А. Зенкевич в своем предисловии очень четко определил место вымысла и фантазии в этой книге Б. Ляпунова: «Полет его фантазии в будущее не переходит за грань допустимого рамками наших знаний».

Заключительные главы обеих книжек посвящены будущему. И в них-то особенно явно сказывается различие в подходе к изображению завтрашнего дня у ученого и у писателя. В книжке Д. И. Щербакова мы находим прогноз — основанный на обобщении картину грядущих завоеваний. У Б. Ляпунова глава «Океан завтра» — любопытный образец научно-фантастического очерка. Мы зримо наблюдаем, как движутся по морскому дну подводные комбайны, убирающие обильную водорослевую жатву, как на безбрежных пастбищах, созданных человеческим трудом, откармливаются стада китов, как электронно-вычислительные машины перерабатывают информацию, собранную океанологами, чтобы дать точный ответ: куда переместится завтра фронт циклонов?

Безусловно, оба вида популярного рассказа правомерны, интересны и заслуживают одобрения.

Почти одновременное появление двух столь различных по замыслу и выполнению популярных книг об освоении океана свидетельствует и о зрелости нашей научно-популярной литературы и о нелегкости

стоящей перед ней задачи — удовлетворять растущие запросы советского читателя, ибо читатель этот сложен, разнообразен и требователен.

**И. ИНОЗЕМЦЕВ.**

★

## КАК ВАЖНО БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ

**Арк. Первенцев. Продолжаем разговор о культурном человеке. Заметки писателя.**  
**Редактор В. Кунецкий. «Московский рабочий». М. 1961. 135 стр.**  
**Ольга Русанова. Раздумья о красоте и вкусе. Редактор А. Гусакова.**  
**Издательство «Знание». М. 1961. 168 стр.**

Все чаще появляются брошюры, книги, руководства, наставления, инструкции, памятки и пособия на тему: что значит быть культурным, воспитанным человеком; как вести себя в обществе, на улице, дома; как следует одеваться; в чем состоит истинный вкус?

Вот одна из таких книг — «Арк. Первенцев. Продолжаем разговор о культурном человеке. Заметки писателя» (тираж 150 000).

Это второе, расширенное издание его книги «Разговор о культурном человеке», вышедшей в 1959 году (тираж 160 000).

Читать ее тем более интересно, что сам А. Первенцев пишет в начале книги о «равноправном участии автора и читателей в беседе на затронутую тему», говорит, что не хочет становиться — как он выражается — «в позу нравоучителя и назидателя».

Мы находим здесь много дельных, полезных советов. Писательских раздумий. Есть и такое — из главы «За столом»: «Не сиди слишком близко к столу или слишком далеко от него». Верное соображение. Сядешь слишком далеко от стола — и придется каждый раз вставать, чтобы подойти к нему.

Автор предусмотрел и такую неприятную ситуацию: «Старайся не ронять на пол нож или вилку. Но, если уронил, не смущайся, спокойно попроси другую, не придавая значения случившемуся, ни в коем случае не пытайся, став на колени или на четвереньки, нырнуть под стол на поиски оброненного».

Особенно подкупает эта успокаивающая интонация: упала вилка — сохраняй самообладание, не поддавайся панике, а главное — не ныряй под стол.

Большое значение придает автор шляпе. «Носить шляпу — не дрова пилить, хотя и тут требуется навык, — замечает он не без глубокомыслия и вместе с тем с афористи-

ческой краткостью. — Человек, впервые надевший шляпу, постепенно привыкает к ней, долго не философствуя, заламывает ее на нужный манер и возвращает свое духовное «я» к более важным проблемам».

Читая эти строки, несколько удивляешься: почему духовное «я» так непосредственно связано с заламыванием шляпы на нужный манер? Но затем радуешься тому, что это самое «я» все-таки возвращается к более важным проблемам.

Шляпа берется автором и в «историческом» разрезе. «Шляпу я впервые надел в 1945 году, в Германии, перед отъездом в Люнебург на процесс бельзенских палачей». Здесь более всего обращает на себя внимание значительность, даже какая-то торжественность тона. Как будто речь идет о памятной дате.

«Первым моим учителем по заламыванию шляпы был писатель Леонид Максимович Леонов», — эпически повествует автор. Как будто речь идет о памятейшем событии.

Автор книжки специально предупреждает читателя: «Не носи повседневно драгоценностей, которые имеют характер только украшения». Неясно — к кому обращен этот совет? Разве так уж велика опасность, что комсомолки, студентки, работницы начнут ежедневно носить колье и ожерелья?

Книжка принадлежит перу писателя — и не рядового, а широко известного. Увы, это не всегда чувствуется. «Перейдем к такой проблеме, как борьба за гармонию всех качеств советского человека. Скажу откровенно, я не склонен слишком мрачно расценивать положение в этой области».

Это скорей из какого-нибудь делового доклада или квартального отчета, нежели из «Заметок писателя». Все равно что сказать: «По линии красоты у нас далеко не все благополучно».

А. Первенцев пишет: «Как показала практика общения людей, даже смех с нестойкой шумливостью, а тем более смех беспринципный вызывает раздражение окружающих, в то время как смех от души может развеселить собеседников и увеличить дозу общественного оптимизма».

Что значит «доза общественного оптимизма»? Как она, эта доза, подсчитывается?

А вот пошла совсем иная стиливая струя. Автор говорит о молодых эгонстах и паразитах: «Не слишком ли много времени мы зачастую уделяем этим птенцам городских асфальтовых гнезд, этим бледнокожим нигилистам, разбрасывающим из чужого лукошка семена неверия и бесстрастия своими хилыми, безмускульными руками?»

Перед нами — яркий пример образной речи. Попробуем в нем разобраться. Итак, эгонсты — птенцы асфальтовых гнезд. Нелегко это живо себе представить, но тут уж ничего не поделаешь — писатель мыслит образами. И вот эти птенцы разбрасывают из лукошка, да еще и из чужого, семена бесстрастия, — разбрасывают, очевидно, по асфальту. Прибавим еще один штрих: птенцы эти бледнокожие и руки у птенцов хилые, безмускульные. Боюсь, даже читатель с сильно развитым воображением не сложит целостную картину из этих птенцов, асфальта и лукошек.

Среди «правил хорошего тона», приводимых в книжке, находим такое: «Лучше делать ошибки, чем заметно для других стараться не делать их».

Думается: это спорное правило. Во всяком случае сам автор отнесся к нему чересчур доверчиво.

А вот другая книжка — «Ольга Русанова. Раздумья о красоте и вкусе», вышла в начале этого года тиражом 115 000 (1-й завод).

Книга написана в живой разговорной манере. Иногда автор так увлекается, что незаметно переходит на своеобразный речитив.

Например: «Женщина — лебедушка. Одно слово, а как много оно выражает! Внешняя прелесть. Грация. Чудесная осанка. Внутренняя чистота. Благородство. Верность. Мужчина — орел. Бесстрашен. Благороден. Могучего сложения: Он и «ясный сокол», «соколики». Затем следуют всевозможные наставления — «лебедушке» и «соколику», как себя вести и как правильно, «со вкусом оперяться, то бишь одеваться».

Но прежде чем перейти к одежде, Ольга Русанова разбирает фигуру человека как таковую. Сообщается, что «торчащие ключицы не имеют ничего общего с изяществом». Ну, а что делать, если они все-таки торчат? Следует разъяснение: «Женщина может быть изящной вопреки им».

Честно говоря, я не очень хорошо понял, что имеется в виду под изяществом «вопреки ключицам». Но вопрос, видимо, сложный, сразу всего не схватишь.

Несколько ниже Ольга Русанова снова возвращается к ключицам и рассматривает их уже с иной — с идеологической — стороны. Не удивляйтесь. «Сложение у русских людей свое. Конечно, ни в коем случае нельзя допускать излишка полноты, тем более, что физический труд, физкультура, спорт отлично «обуздывают» ее. Но стройность и в то же время закругленность, то отсутствие «зарубежных» ключиц, которое смущает некоторых, является на самом деле великим благом, дарованным русским девушкам и женщинам природой».

В общем, у нашего человека ключицы свои, особые, они неизмеримо лучше зарубежных ключиц...

Прочитает это какая-нибудь худенькая девушка, которой природа не даровала этого «великого блага», и встревожится. А там, того и гляди, разговоры пойдут: «Человек вроде наш, а ключицы-то не наши! А как у тебя, милый человек, с коленками? А может, ты слаб в коленках?»

Главка «Вкус развивают» заканчивается словами: «...даже «пустячки» — шляпа, туфли, ложка, блюдо, коврик над кроватью, кресло, галстук, лента в косе, зонтик — все они в большей или меньшей степени наши воспитатели».

А рядом с этими «пустячками» — курсивом набранные слова Ф. Энгельса о роли груди, благодаря которому человеческая рука достигла высокой степени совершенства.

Вспоминаются слова Маяковского о тех, кто хочет «марксистский базис под жакетку подвести».

Ольга Русанова любит по каждому поводу тревожить тени великих. С неподдельной радостью первооткрывателя она пишет о Льве Толстом: «Лев Толстой, обладавший тонким чутьем и наблюдательностью художника, умел, оказывается, видеть доступное не всякому глазу». Далее сообщается, что

великий писатель, «может, даже сам того не сознавая, подметил интересное физическое явление поляризации...»

Перед этим шел разговор о желтом платье в зеленых цветочках с зеленым в полоску жакетом и с клетчатой голубой косынкой, которые выглядят плохо, о гарнитурах — туфлях, перчатках, сумках, — гармонирующих с цветом пальто, костюма, платья, о подборе цветов одежды. Спрашивается: при чем тут Лев Толстой? И здесь же, верная себе, Ольга Русанова помещает цитату из

Ленина о марксизме, который отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи.

Говоря о блузках из совершенно прозрачного нейлона, Ольга Русанова наставляет своих читательниц: «Меру и место нужно знать во всем».

Как это верно! И как надо помнить об этом. Помнить всем — и тем, кто учится культуре, вкусу, и тем, кто учит.

### 3. ПАПЕРНЫЙ.



## ГЕРОИ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Эммануэль д'Астье. *Боги и люди. 1943—1944. Перевод с французского Г. Велле. Издательство иностранной литературы. М. 1962. 144 стр.*

История французского Сопротивления насчитывает немало трагических страниц. Многие из них порождены суровой логикой военных действий, огромным численным и техническим перевесом оккупантов, той естественной неопытностью, которую проявляли люди мирных профессий в схватке с коварным и умелым врагом. Но есть в ней, как, впрочем, и в истории Франции тех лет вообще, необыкновенно горькие потери, которых могло бы не быть, если бы люди, охотно пользовавшиеся правом говорить от имени всего народа, верили бы в этот самый народ, если бы люди, козырявшие словами о демократии, следовали бы этим словам на деле.

«Боги и люди» Эммануэля д'Астье — это не просто неприятные мемуары одного из видных участников Сопротивления, но и книга, в значительной мере освещающая прошлое и настоящее Франции, да и не только ее. Как свидетельствует автор, «это история восстания, плодов которого народ лишили, история возрождения, которое предали».

Автор предисловия Н. Цырульников пишет, что «Боги и люди» хронологически продолжают ранее вышедшую книгу д'Астье «Семь раз по семь дней». Однако за исключением последней главы, имеющей характер эпилога, действие его новой книги обнимает тот же период, которому посвящена значительная часть предыдущей, а некоторые эпизоды даже повторяются в обеих.

Между этими произведениями, а также между ними и романом д'Астье «Лету нет конца», также имеющимся в русском пере-

воде, существуют более сложные взаимоотношения. Некоторые вполне реальные герои переключаются из воспоминаний на страницы романа, подчас даже не меняя имен: дневник автора также занимает в «Лету нет конца» значительное место. Отнюдь не ради парадокса можно сказать, что в известном смысле «Семь раз по семь дней» ближе к роману д'Астье, чем к «Богам и людям». В первой книге больше лиризма, непосредственного изображения жизни героев Сопротивления и сложного духовного мира самого автора.

«Боги и люди» написаны в более скупой манере, обильно оснащены документами и записями военных лет, подтверждающими мнение автора о тогдашнем политическом «Олимпе», где ему пришлось отстаивать интересы «людей». Это изменение стиля понятно: ведь новое обращение д'Астье к прошлому во многом вызвано попытками «состряпать историю на свой вкус», проявившимися у авторов в иных воспоминаниях.

«Когда читаешь объемистые мемуары Уинстона Черчилля, кажется, что слушаешь рассказ избранныка судьбы, — иронизирует д'Астье, — одного из принцев крови, которые могут сказать: «Англия — это я, моя каста, мои предки, мои подданные...»

Книга же самого д'Астье — это выступление честного свидетеля на суде истории. Он неопровержимо доказывает, что многие государственные деятели, возомнившие себя спасителями отечества или даже мира, на самом деле подобны одному из героев романа «Лету нет конца», олицетворявшему собою «эпоху, среду и семью, которые время в своем беге оставляет позади».

Горько читать страницы, рассказывающие о том, как народный энтузиазм безымянных героев Сопrotивления зачастую приносил результаты не те результаты, какие бы мог принести, так как в расчеты политических «богов» вовсе не входило дать ему полную волю. Не только английская разведка и американские военные, которые, еще не ступив на французский берег, повели себя как освободители («заранее пресыщенные благодарностью, мы жаждали увидеть их в бою», — ядовито замечает д'Астье), но даже весьма знаменитые соотечественники борющихся французов, сыгравшие бесспорную роль в первоначальной стадии Сопrotивления, затем всемерно старались ввести его в удобные для своих планов рамки.

Желая, чтобы Сопrotивление облегчало задачу вторгающихся на континент армий, представляя его «огромной консервной фабрикой, готовившей солдат ко дню высадки союзников», буржуазные политики мечтали избежать всякого вмешательства масс в послевоенное переустройство страны. Даже естественное, родившееся в миллионах сердец решение сурово покарать и полностью отстранить от государственного кормила тех, кто сотрудничал с фашистами, серьезнейшим образом беспокоило Черчилля. Д'Астье рассказывает о яростном нажиме, которому он подвергался со стороны тогдашнего премьер-министра Великобритании в вопросе о «чистке». Черчилль стремился уберечь от справедливого возмездия группу политических деятелей... вернее было бы сказать: крыс, ухитрившихся вовремя спастись с давшего течь гитлеровского корабля и даже оказать кое-какие услуги англо-американскому блоку. Д'Астье вспоминает, что принципы, которыми руководствовался Черчилль, отставив своих подопечных, были весьма зыбкими (если тут вообще уместно говорить о принципах без кавычек!)

«Соображения морального порядка», а также последствия, которые скажутся на нации в результате такого двусмысленного поведения, выше его понимания. Наплевать ему и на то, что народ будет введен в заблуждение и обманут этими интригами, что он не сумеет избрать правильный путь.

Желая отстоять престиж Франции (да и свой собственный), а также, вполне вероятно, из опасения происков политических соперников де Голль в то время возражал Черчиллю. Но впоследствии он очутился заодно с теми, кто потворствовал прощению

коллорабационистов и военных преступников и даже их реабилитации.

Едва ли не первой причиной этой эволюции является то глубокое недоверие, которое он, по наблюдениям д'Астье, испытывал к французскому народу.

«Для де Голля Франция была мифологической абстракцией, — с грустью пишет д'Астье. —... Де Голль плохо знал свой народ, и проявления его воли пугали генерала... Не народ вдохновлял его, откровение снизошло к нему свыше. Он как отец обладал правом распоряжаться малолетними детьми».

Нет ничего парадоксального в том, что книга, посвящающая нас в историю сложных распрей де Голля с Черчиллем, устанавливает их полное единодушие по этому кардинальному вопросу. Ибо Черчилль также «не верит в то, что людям дано понять и осмыслить ход истории, которую, по его мнению, решают в крупной игре и хитро-сплетениях лишь сильные мира сего».

Черчилль и ему подобные уже давно стали анахронизмом, хотя и опасным! В наше время государственный деятель, чувствующий себя «отцом нации», могущим все решать за нее, не просто смешон, но и вызывает самую серьезную тревогу. Сегодня он, как Черчилль, радуется разрушениям на немецкой земле: «После обеда... я последовал за ним и его сигарой в большую комнату, в которой, наподобие межевых столбов, рядами стояли стереоскопы. Заглянув в каждый из них, можно было получить представление о том или ином разрушенном немецком городе. Черчилль тянул меня от одного стереоскопа к другому, заставляя регулировать объективы, чтобы я отчетливее увидел ужасы Кёльна, Дюссельдорфа или Берлина. Он был взвинчен, словно смотрел футбольный матч. Каждый разрушенный квартал его радовал, как забитый гол». Завтра, полный презрения к «малолетним детям», не понимающим тонкой политики, он, как де Голль, будет протирать братские объятия немецким реваншистам и дружески жать руки генералов, отдававших приказы о расстреле бойцов Сопrotивления, якобы нарушавших «правила ведения войны»!

Генерал де Голль любит эффектные исторические параллели, предпочтительно из эпохи Жанны д'Арк. Однако, читая, как он и некоторые его бывшие подчиненные вроде Сустанья, затем оказавшегося откоро-

венным фашистом, стремились полностью подменить собой государство, незачем уходить мыслью так далеко.

Бывали во Франции обстоятельства, более близкие и по времени и по существу. Описывая их, даже весьма умеренный историк не мог одобрить поведение администрации, которая «не терпит, чтобы граждане каким бы то ни было образом вмешивались в обсуждение своих собственных дел», которая «...готова предпочесть полную скудость и

застой общественной жизни». Так писал Токвиль, исследовавший причину падения монархии Бурбонов.

Что же касается народов, «людей», то они уже не относятся со слепым доверием к сиятельным «богам». В их глазах «боги» читают крепнущую решимость взяться за дело самим. Думается, что это один из самых характерных признаков времени.

**А. ТУРКОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ДВАДЦАТИЛЕТИЕ В ЦИФРАХ.** Краткий справочник. Экономиздат. М. 1962. 126 стр. Цена 12 к.

«Иные говорят, что цифры вещь сухая и скучная. Но если вдуматься в эти цифры, то за ними люди, судьбы и труд миллионов советских людей...» Эти слова Н. С. Хрущева отражают важную особенность нашей жизни. Действительно, в ней многое, причем часто весьма существенное, ярко выражают цифры. Богатство, которое у нас есть, было и будет, победы в великом соревновании двух систем, количество квартир, которые построены сегодня и будут построены завтра, увеличение выплавки стали, расширение торговли, рост тиражей книг — все это цифры, и все это — наша жизнь.

Приметы завтрашнего дня волнуют нас больше всего. О них и рассказывает на своем особом языке маленькая книжка, выпущенная Экономиздатом, — «Двадцатилетие в цифрах». В этом справочнике два раздела: статистические данные об уровне экономики СССР, достигнутом к 1961 году, и важнейшие цифры развития народного хозяйства в период создания материально-технической базы коммунизма.

Первый раздел повествует о державе, уже обеспечившей себе первое место в мире по добыче угля и железной руды, производству кокса, сборного железобетона, магистральных тепловозов и электровозов, пилотериальных материалов, шерстяных тканей, животного масла. Почти пятая часть мировой промышленной продукции — такова доля СССР.

Это есть. А что будет? Представьте себе еще пять таких промышленных держав — вот что предстоит создать за двадцать лет в дополнение к тому, что мы имеем.

Сегодня мощность всех наших электростанций — 66,7 миллиона киловатт. В 1980 году она составит 540—600 миллионов — иначе говоря, около тысячи Днепротрансов. Тысяча! А давно ли появление одной такой станции было выдающимся событием?

Сегодня общая площадь жилищ всех городов и поселков страны более миллиарда квадратных метров. А в 1976—1980 годах предстоит вводить в среднем ежегодно по четыреста миллионов квадратных метров жилья.

Много других интересных сведений содержит этот справочник, составленный на

основе материалов XXII съезда партии, мартовского (1962) Пленума ЦК КПСС и данных ЦСУ СССР.

О. Лацис.

★

**Э. ГОРБУНОВ.** Зарубежный мир о Программе КПСС. Госполитиздат. М. 1962. 80 стр. Цена 8 к.

Ни один партийный документ ни одной партии в мире за всю политическую историю человечества не вызывал такого широкого отклика за рубежом, как новая Программа КПСС. «Вокруг идей Программы развернулась настоящая битва двух идеологий — коммунистической и буржуазной», — говорил на XXII съезде КПСС Н. С. Хрушев. Откликам друзей и врагов ее посвящена эта небольшая книжка. Она, безусловно, не вмещает и тысячной доли того, что говорилось и писалось за рубежом во время всенародного обсуждения Программы и в дни работы XXII съезда КПСС. Но в ней собраны наиболее характерные отклики со всех континентов, высказанные людьми самых разных политических убеждений и взглядов.

В главе «Посрамление пророков» Э. Горбунов рассказывает о той эволюции, которую претерпел буржуазный мир в своих взглядах на развитие социалистической экономики и самое существование нового социального строя. Автор приводит любопытные высказывания буржуазных «пророков» с 1917 года по наши дни. «У них не хватил ума управлять страной», — писала 19 ноября 1917 года солидная лондонская «Таймс». А в наши дни даже такой рупор антикоммунизма, как «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» вынужден признать: «Коммунисты обладают огромной моральной силой».

В главе «Вызов истории» автор подробно останавливается на одном из выступлений американского президента Дж. Кеннеди, уверявшего, что в экономическом соревновании с США Советский Союз не сумеет догнать Америку, что вообще в XX веке «Советский Союз не превзойдет США по уровню производства». Выводами американских же экономистов Э. Горбунов опрокидывает эти утверждения.

Сколько злопыхательства и неверия в высказываниях врагов коммунизма и сколько горячей веры в осуществимость великих принципов коммунизма, сколько хорошей зависти к своим братьям из социалистиче-

ских стран в высказываниях и письмах трудящихся стран капитала! «Коммунистическая партия Советского Союза выдвигает свою новую Программу... которая кладет конец всему злу капиталистического общества»,— пишет в «Правду» американский безработный А. Стоун. Принятая XXII съездом КПСС Программа, заявляет пуэрториканская общественная деятельница Доминга де ла Крус, это великая надежда для угнетаемых империалистами народов.

Л. Лерер.

★

**Д. Г. ЖИМЕРИН.** История электрификации СССР. Соцэкиз. М. 1962. 458 стр. Цена 1 р. 20 к.

О двух особенностях этой книги надо сказать сразу: перед нами история, рассказывающая не только о вчерашнем, но и о сегодняшнем и даже частично о завтрашнем дне советской электроэнергетики; перед нами рассказ не только о стремительном росте производства электрической энергии, но и обстоятельное описание того, как используются в различных отраслях народного хозяйства потоки электричества.

У нас есть что вспомнить. СССР уже в 1928 году по уровню электрификации промышленности обогнал Англию, а в 1936 году оставил позади Германию. В послевоенное время по коэффициенту электрификации промышленности Советский Союз опередил Соединенные Штаты. В отличие от стран капитализма у нас электрифицируются в первую очередь те отрасли производства, где применяется тяжелый физический труд: металлургия, топливная промышленность, химические предприятия.

Наша страна вышла на первое место в мире по протяженности электрифицированных магистралей. За короткий срок с 1956 по 1961 год в СССР электрифицировано 8483 километра железных дорог.

Говоря об успехах электрификации СССР, автор вместе с тем подчеркивает, что нам надо еще стремительнее наращивать энергетические мощности, чтобы догнать США в производстве электричества. Федеральная энергетическая комиссия Пейли, определяя перспективы роста производства электроэнергии в США на ближайшие двадцать лет, наметила на 1980 год выработку двух триллионов киловатт-часов. Программа партии, принятая XXII съездом КПСС, наметила получение к этому времени трех триллионов киловатт-часов. По производству электроэнергии, делает вывод Д. Г. Жимерин, наша страна догонит Соединенные Штаты в 1972—1976 годах.

Автор не только называет цифру — три триллиона киловатт-часов,— но и показывает пути получения этой титанической энергии. На таких могучих водных артериях, как Обь, Енисей, Лена, возможно сооружение гидроэлектростанций-гигантов

мощностью от шести до десяти миллионов киловатт с агрегатами мощностью до миллиона киловатт.

Жаль, что автор не нашел места для рассказа о связи Единой энергетической системы СССР с электростанциями европейских стран социализма. Уже сейчас имеется энергетический контакт между ГДР, Польшей, Венгрией, Чехословакией. Недавно ток, выработанный электростанциями Украины, поступил в Венгрию. Ближайшее время, когда энергия электростанций СССР облегчит труд рабочих Бухареста и земледельцев Болгарии. Так становится явью еще одно ленинское пророчество — об электрификации «ряда соседних стран по единому плану...»

Мих. Цици.

★

**БОРОДИНО.** Документы, письма, воспоминания. Под редакцией Л. Г. Бескровного, Г. П. Мещерякова. «Советская Россия». М. 1962. 416 стр. Цена 1 р. 41 к.

В сражении у Бородина русские одержали великую победу, предопределившую дальнейший ход Отечественной войны 1812 года, разгром наполеоновских армий. Этому историческому событию посвящен сборник «Бородино», подготовленный научными сотрудниками Центрального государственного военно-исторического архива СССР и Государственного Бородинского военно-исторического музея. Он состоит из трех разделов: первый — содержит материалы, посвященные подготовке и проведению Бородинского сражения. Они свидетельствуют о многогранной и кипучей деятельности, которую развернул М. И. Кутузов сразу же по прибытии в войска, отражают опромную работу, проводившуюся в это время в русской армии по подготовке позиций, организации питания, медицинского обслуживания, обеспечения транспортом.

Большая группа документов отражает ход Бородинского сражения.

Здесь помещены рапорты и донесения командиров многих частей и соединений, участвовавших в битве. Тут же опубликован ряд документов, приказов, донесений, рапортов, писем, записок М. И. Кутузова, освещающих ход и итоги великой битвы.

Во втором разделе опубликованы награжденные документы, составляющие лишь некоторую часть наградных документов, хранящихся в Центральном государственном военно-историческом архиве СССР. Здесь приведены списки отличившихся в боях Отечественной войны подразделений, частей, соединений и отдельных воинов, представленных к наградам.

В третьем разделе помещены записки и воспоминания. Среди них воспоминания участников Бородинского сражения: М. Б. Барклая де Толли, М. С. Воронцова, А. Б. Голицына и ряда других.

Сборник хорошо иллюстрирован. В нем

помещены портреты героев, зарисовки батальных сцен, а также карты и схемы битвы у Бородина.

**В. Вержицкий.**

★

**Е. С. КУЛЯБКО. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1962. 216 стр. Цена 1 руб. 13 к.**

В историю русской культуры М. В. Ломоносов вошел не только своими бесценными научными изысканиями, литературно-художественным творчеством и своеобразными произведениями изобразительного искусства. Большое значение имела также его научно-организаторская деятельность, которая широко развернулась в 1757—1765 годах, когда он был одним из руководителей Академии наук (советником академической канцелярии).

История народного образования в России давно уже привлекает к себе исследователей; от их внимания не ускользнула и деятельность академических учебных заведений. Однако до сих пор никто специально не изучал роль и значение трудов Ломоносова в таком важном государственном начинании. Этот явный пробел в нашей литературе в большой мере восполняет книга Е. Кулябко.

Е. Кулябко обстоятельно знакомит и со светлыми и с теневыми сторонами деятельности Гимназии и Университета. Там преподавали крупные специалисты, в том числе и академики. Многие гимназисты успешно завершили среднее образование и, пройдя затем университетский курс, стали видными учеными (например, академики С. К. Котельников и А. П. Протасов). Однако в течение долгого времени учебные заведения Академии оставались без надлежащего присмотра. Только человек, обладающий незаурядными педагогическими способностями, был в состоянии положить конец хаосу и добиться того, чтобы академические учебные заведения готовили достойные кадры для Академии наук и для службы на общественном и государственном поприще. В этом отношении М. В. Ломоносов был поистине незаменим.

Как установили биографы и исследователи деятельности М. В. Ломоносова, разработке «узаконений», «устройству» и «регламенту» академических учебных заведений он посвятил много трудов и зорко следил за тем, чтобы правила неукоснительно выполнялись. В то же время он постоянно проявлял заботу об учащихся. М. В. Ломоносов не только первым в стенах Академии ввел преподавание на русском языке, но и первым принялся за составление русских учебных пособий.

Подготовку национальных кадров интеллигенции он считал важнейшим своим делом. Это была трудная задача, которую Ломоносов поставил перед собой, особенно если принять во внимание доставшееся ему тяжелое наследие.

**М. Радовский.**

★

**ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО АТЕИЗМУ. Госполитиздат. М. 1962. 392 стр. Цена 68 к.**

Нынешней весной мне случилось проходить переулком близ метро «Сокол». Навстречу попадались старушки с узелками, в которых были куличи и крашенные яички. Я вспомнила, что приближается пасха: старушки шли к ближней церкви «святить» содержимое своих узелков. Такой же узелок нес и высокий седой усач, и я увидела, как к нему подошел молодой паренек, с виду студент.

— Зачем вы туда идете, папаша? — сказал паренек. — Возвращались бы лучше домой.

Старик посмотрел недоуменно.

— Ты что, учить меня хочешь, молокосос?! — ответил он. И добавил несколько таких слов, которые никак не должны были соответствовать его религиозному настроению.

Меня заинтересовало, как поведет себя паренек. Но тот попросту покраснел, ступался и стал обращаться с теми же беспомощными советами к женщине с фабричным кесом, которые никак не должны были соответствовать его религиозному настроению. Я поняла, что паренек хоть и выполняет «комсомольское поручение», но к религиозным диспутам никак не подготовлен.

Вспомнились диспуты двадцатых годов, когда нарком просвещения А. В. Луначарский вел публичные споры с митрополитом А. Введенским. Эти диспуты собирали обширную аудиторию. Многие из присутствующих искали в этих диспутах ответов на свои нелегкие раздумья. А молодежь училась у Луначарского марксистско-ленинскому атеизму и блестящему искусству ведения трудных споров.

В наши дни служители религиозного культа не часто рискуют вступать с атеистами в открытые диспуты. Они уже давно не отрицают науку, сами не прочь «покриковать» неясные и противоречивые положения в богословских книгах. Более того, они весьма серьезно заняты примирением науки и религии; стремясь идти в ногу с веком, священнослужители ищут современные формы религиозной пропаганды. Спорить с церковниками делается не проще, а труднее, чем в те времена, когда они пытались утвердить наивные представления о скотоводках, на которых черт жарит грешников.

Вот почему каждая новая книга, дающая в руки атеистам острое научное оружие для борьбы с религиозными пережигками, является важным пополнением арсенала воинов-атеистов. Такой книгой и явились выпущенные Государственным издательством политической литературы «Популярные лекции по атеизму». В четырнадцати лекциях В. А. Карпушина, В. Е. Чертихина, А. И. Ракитова и других, прочитанных студентам Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, в рабочих клубах и на предприятиях Москворецкого района Москвы, не только ши-

роко охватывается круг вопросов, связанных с возникновением различных религиозных направлений и их распространением, но и вскрываются их социальные и гносеологические корни. В лекциях, что еще важнее, используются сами догматы веры для доказательства их полной несостоятельности и враждебности всему прогрессивному.

Авторы как бы предвидят возражения своих воображаемых оппонентов и убедительно опровергают возможные доводы. Лекции носят боевой, наступательный характер и умело разоблачают тонкие ухищрения современных приверженцев религии.

Несомненным достоинством книги является и то, что авторы, раскрывая свои темы простым и ясным языком, не жертвуют во имя популярности серьезной научной аргументацией.

Все это делает «Популярные лекции по атеизму» интересными не только для лекторов и пропагандистов, но и для самого широкого круга читателей, в том числе и той молодежи, которая нередко вступает в бой за истину без необходимого оружия, как тот паренек в переулке у «Сокола».

Л. Серебрянник.



**ЭЙНШТЕЙН И РАЗВИТИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.** Сборник статей. Издательство АН СССР. М. 1962. 240 стр. Цена 1 р. 8 к.

Этим сборником Институт истории естествознания и техники АН СССР начал серию изданий, в которых будут освещаться исторические истоки и развитие современной физики и ее влияние на развитие математической мысли. Поводом к тому послужила хранящаяся в СССР рукопись А. Эйнштейна «Неэвклидова геометрия и физика». Эту работу великий ученый написал по инициативе покойного профессора, заслуженного деятеля науки В. Ф. Кагана, посвятившего много лет изучению творчества Н. И. Лобачевского.

Статьей Эйнштейна, содержащей глубокие и оригинальные мысли о связи между физикой и математикой, и начинается сборник. Помимо советских ученых, в нем выступают виднейшие зарубежные физики-теоретики, ученики и друзья Эйнштейна. Чтобы в какой-то степени представить себе характер сборника, назовем лишь некоторые его статьи: Л. Инфельд — «Эйнштейн и современная физика», В. Гейзенберг — «Замечания к эйнштейновскому наброску единой теории поля», Л. Розенфельд — «Эпистемологический конфликт между Эйнштейном и Бором», Я. А. Сморodinский — «Геометрия Вселенной».

Значительный интерес для читателей представляют напечатанные здесь работы известных историков науки. Они лишней раз показывают, какую пользу, не только познавательную, но и практическую, может принести внимательное изучение прошлого.

Хочется пожелать, чтобы очередные выпуски задуманной серии не заставили себя долго ждать и чтобы так удачно начавшееся

сотрудничество советских и зарубежных ученых продолжалось и впредь.

И второе пожелание. Известно, что Институт истории естествознания и техники занимается не только физико-математическими науками. Было бы целесообразно подготовить подобные же сборники и по другим областям знания.

Р. Мирков.



**АНРИ ЛОТ. В поисках фресок Тассили.** Перевод с французского. Издательство восточной литературы. М. 1962. 140 стр. Цена 60 к.

«Атлантида! Ведь вы нашли произведения Атлантов!» — это одна из многочисленных восторженных реакций на открытия экспедиции археологов, возглавлявшейся французским ученым Анри Лотом. Его книга рассказывает об удивительной экспедиции в центр Сахары, открывшей... нет, не Атлантиду, но не менее замечательную и вполне реально существовавшую цивилизацию, насчитывающую восемь тысячелетий. О ней — пока, правда, очень скупо — свидетельствуют, в частности, найденные изображения тех «круглоголовых» фигур «марсианского» типа, которые несколько лет назад, сразу же после обнаружения, наделали такой шум в мире, — не пришельцы ли это звездных миров, посетившие нашу землю в доисторические времена?

Анри Лот, беспокойный ученый, а следовательно, мечтатель, отвергает оба эти заманчивые предположения. Но его выводы о существовании в Сахаре древнейшей культуры, расцветшей еще задолго до цивилизации древнего Египта, интереснее любой «атлантомании».

В книге Лота увлекает все: и рассказ о быте экспедиции, и романтика поисков, и главное — необычайный эффект самих открытий. Скуповатые, сдержанные описания петроглифов и фресок, найденных в безжизненной каменной пустыне, читаются как фантастический роман, хотя автор все время ведет речь об их реальной научной ценности.

Неотъемлемая, органическая часть этой книги — ее иллюстрации. Они убеждают, что наскальные рисунки, открытые Лотом, — действительно ценнейший вклад не только в науку, но и в историю искусства. Особенно поражают исполненные в реалистической манере изображения, относящиеся к так называемому «скотоводческому периоду». Чуть-чуть стилизованные жирафы со склоненными головами, напряженно прислушивающиеся антилопы с чуткими мордочками — они совершенны по композиции и грации движений. Прав Анри Лот, утверждая, что современный художник любой школы смело поставил бы свое имя под этими рисунками. Не случайно некоторые фрески Тассили поначалу были приняты за позднейшую стилизацию. А иллюстрации, воспроизводящие человеческие и особенно женские фигуры («Девушки фульбе»,

«Антинея» и др.), убеждают, что доисторические художники достигали такого высокого мастерства, о котором до сих пор не подозревали наши ученые.

Обидно видеть иллюстрации к такой книге не цветными — автор так сочно описывает многообразие красок сахарских фресок. Желтая, терракотовая, лиловая охра, белая глина — все сохранилось почти в первоизданной яркости (запорошенные вековыми наносами глины, краски мгновенно оживали под обыкновенной мокрой губкой).

Книга возбуждает множество вопросов. Не на все из них, естественно, автор дает ответы. Многие рисунки Анри Лот не берется датировать даже приблизительно (хотя приводит общую систематизацию стилей); многие сюжеты фресок остаются до сих пор загадкой для исследователей — ведь ничего неизвестно о быте, обрядах и верованиях этих исчезнувших народов; а откуда здесь, в центре Сахары, египетские фрески — разве древние египтяне пускались в такие далекие путешествия? И тем не менее книга расширяет наши представления об уровне культуры древних народов, заселявших Сахару, о судьбе одной из древнейших цивилизаций.

Е. Еленина.



**Б. САРНОВ.** Трудная весна. Рассказы. Детгиз. М. 1962. 128 стр. Цена 26 к.

У каждого поколения мальчишек свое детство — свои герои, свои игры, свои беды. Б. Сарнов написал о ребятах, чье детство перерубил 1941 год, о мальчишках московских дворов, которые в конце тридцатых годов отчаянно и самозабвенно играли в «красных» и «белых», ненавидели белоофицерские погоны и гордились отповскими буденовками, восхищались враз д'Артаньяном и героями Гайдара, воображали себя то на чапаевской тачанке, то на борту разбойничьего брига из несравненного фильма «Остров сокровищ». Ко всякой иной традиционной мальчишеской романтике добавлялось в ту пору очень еще живое и острое чувство революции и гражданской войны. Ребята дышали воздухом воспоминаний о недавнем героическом времени. А потом, в войну, подростками, горько досадовали на то, что возраст не вышел, и сто раз собирались бежать на фронт и кляли матерей, бабушек и учителей, считавших почему-то, что для эвакуированных ребят нет более важного занятия, чем сидеть за партами.

Обо всем этом пишет Б. Сарнов в маленькой повести «Трудная весна», в рассказах «Как я учился музыке» и «Всадник с красной звездой», пишет с точным ощущением «цвета времени» и добрым юмором, но не слишком насмешничая над переживаниями своего юного героя.

У книги есть своя, скажем так, «лирическая» тема. И оттого досадно, что тема эта теснится, разжижается включенными в книгу критическими статьями о стихах М. Светлова, С. Маршака и т. д. Может быть, сами

по себе статьи эти и недурны, но они напрасно попали в сборник рассказов. Это разбивает цельность впечатления.

В. Чайковский.



**А. ЛЕВАНДОВСКИЙ.** Жанна д'Арк. «Молодая гвардия». 1962. 287 стр. Цена 59 к.

В истории человечества не много людей, чья жизнь так властно привлекала бы к себе внимание писателей и историков, как жизнь Жанны д'Арк. О ней писали Вольтер и Фридрих Шиллер, Жюль Мишле и Марк Твен, Анатоль Франс и Бернард Шоу...

Большой интерес к этой французской крестьянке проявили и кинематографисты. Еще в 1928 году датский кинорежиссер Карл Дрейер выпустил во Франции известную картину «Страсти Жанны д'Арк». Тридцать четыре года спустя на XV Каннском кинофестивале 1962 года получила специальную премию новая картина о Жанне д'Арк, созданная французским режиссером Робером Брессоном.

Авторы большинства книг о Жанне д'Арк (в том числе и Ф. Шиллер) нередко давали романтическую и идеалистическую трактовку ее образа. Но еще П. И. Чайковский, написавший оперу «Орлеанская дева» (на слова Ф. Шиллера), сделал шаг в сторону реалистического изображения Жанны. «Тема «голосов», — читаем мы в одном из писем композитора, — перенесена с небес на землю и вещается уже не ангелами, а человеком». Самое существенное в Жанне не ее религиозность, а огромная любовь к своему народу и к родине, поразительная самоотверженность.

У нас не было биографии Жанны д'Арк, которая правильно освещала бы эпоху и жизнь самой героини. В только что вышедшей в свет книге А. Левандовский не модернизировал образ Жанны; автор последовательно и убедительно показывает тесную связь Жанны с народом.

Подробно повествует автор о длительном и коварном «суде» над Жанной. Быть может, в эти скорбные дни Орлеанская дева по существу проявила не меньше мужества и героизма, чем в дни своих поразительных побед и успехов, когда она — неграмотная восемнадцатилетняя девушка — выигрывала сражения у опытных английских военачальников.

Более пяти столетий протекло с момента, когда в огне костра закончилась короткая жизнь замечательной французской патриотки. Пять столетий — большой промежуток времени, но подвиг Жанны остается бессмертным.

Эпиграфом к своей книге А. Левандовский взял прекрасные слова Мориса Тореза: «Патриотизм простых людей, патриотизм Жанны д'Арк — французской крестьянки, покинутой ее королем и сожженной церковью на костре, пронизывает всю нашу историю, как яркий луч света...»

Серия «Жизнь замечательных людей» пополнилась книгой, которая, несомненно, будет с интересом прочтена широким кругом советских читателей.

**В. Шпринк.**

★

**И. И. ПАНАЕВ.** Избранные произведения. Гослитиздат. М. 1962. 688 стр. Цена 1 р. 8 к.

«Бедна литература, не блистающая именами гениальными, но не богата и литература, в которой все — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы», — писал Белинский.

Как известно, именно к таким «обыкновенным талантам» причислял Белинский Ивана Ивановича Панаева.

Трудно понять почему, но до самого недавнего времени наши издательства, обращаясь к наследию XIX века, ограничивались изданием давно знакомых читателю произведений классиков русской литературы прошлого века. Только в самые последние годы издательства (прежде всего Гослитиздат) обратились к «талантам обыкновенным».

Совсем недавно мы могли радоваться встрече с только что изданными томами Даля, В. Соллогуба, И. Горбунова. И вот теперь в наших руках большой том Ивана Панаева.

Многим читателям со школьных лет известно имя Панаева как друга и помощника Белинского и Некрасова. Не знали читатели только одного — самого творчества писателя.

Перед составителем сборника стояла нелегкая задача: выбрать из огромного наследия плодовитого писателя самое интересное, самое характерное. И задача эта в книге в основном решена.

Составитель постарался показать творчество писателя в его эволюции. Панаев предстает перед нами в своем преодолении романтических влияний («Кошелек»), затем как литератор «натуральной школы» (очерк «Петербургский фельетонист»), наконец как автор реалистических повестей и романов («Онагр», «Актеон», «Родственники» и другие) и реалистических очерков (отрывки из многочисленных «Очерков из петербургской жизни», печатавшихся в «Современнике» с 1855 года в течение шести лет). Таким образом, читатель может составить довольно полное представление о литературной деятельности Панаева, умевшего сочетать в своем творчестве богатство прозаических жанров с отличной стилистической отделкой произведения.

Красной нитью через большинство произ-

ведений литератора проходит сатирическое изображение светского общества, чинопочтения с пустотой его интересов, чванством и душевным убожеством. При этом мастерство сатирических характеристик писателя очень значительно.

Большой и серьезный разбор творчества писателя дан во вступительной статье Ф. М. Иоффе.

**Б. Яранцев.**

★

**НАРОДНАЯ МЕКСИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ.** Перевод с испанского. Гослитиздат. М. 1962. 191 стр. Цена 28 к.

Мексиканский поэт Альфонсо Рейес сказал о своих земляках: «Их смелость такова, что слез они не прячут, когда им вздумается плакать». А слышали вы, как поются мексиканские песни на родине? Певец не скупится на выражение чувств, он всхлипывает, чуть ли не рыдает, а слушатели даже вскрикивают по временам — так растрогала их любовь безвестного сочинителя к прекрасной Аделите.

Это могло бы показаться сентиментальным, если не знать, что «Аделита» — популярнейшая песня мексиканской революции, ее пели, идя в бой. А когда пуля обрывала чей-нибудь голос, над упавшим и вправду склонялась его Аделита или Росита. И все было, как в песне: скупые слезы, короткая молитва и одинокий холмик, придавленный серым камнем.

Вот такой же верной подругой — «солдатовой» — была и остается для мексиканского народа его песня, идущая с ним через войны и революции, через все испытания его нелегкой жизни. Мужественная, неприхотливая, готовая и всплакнуть, и выругаться, и рассмеяться в самый, казалось бы, неподходящий момент.

Небольшой сборник, выпущенный Гослитиздатом, знакомит читателя с различными жанрами устного творчества мексиканцев — десимами, корридо, куплетами. Здесь представлены песни исторического и героического характера, песни лирические, сатирические, детские и даже тюремные.

Книга эта заслуживает подробного разбора, но одно можно сказать сразу: ее делали люди, влюбленные в мексиканскую песню. Влюбленность чувствуется и в работе переводчиков (особенно хотелось бы отметить переводы И. Чежеговой, Н. Банникова, О. Савича, М. Самаева, Д. Самойлова), и в обстоятельном предисловии Г. Степанова, и в шедром и выразительном оформлении, выполненном В. Суриковым. Сборником «Народная мексиканская поэзия» Гослитиздат открывает серию «Библиотека латиноамериканской поэзии». Хорошее начало!

**Л. Осповат.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Н. С. Хрущев.** Всемирно укреплять производственные колхозно-совхозные управления. Речь на совещании работников производственных управлений районов Центра Российской Федерации в городе Москве 27 июня 1962 года. 48 стр. Цена 6 к.

**Гвардия тыла.** Сборник. 448 стр. Цена 75 к.

**Владислав Гомулка.** Избранные статьи и речи (1959—1961). 718 стр. Цена 1 р. 7 к.

**А. Я. Грунт.** Заговор обреченных (Разгром корниловщины). 80 стр. Цена 7 к.

**Мораль как ее понимают коммунисты.** 208 стр. Цена 20 к.

**Праздник дружбы.** Пребывание советской партийно-правительственной делегации во главе с Первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председателем Совета Министров СССР товарищем Н. С. Хрущевым в Румынской Народной Республике 18—25 июня 1962 года. 176 стр. Цена 20 к.

**А. Толмачев.** Пламенные строки. О журналистском мастерстве М. С. Ольминского. 56 стр. Цена 7 к.

**Вл. Ушаков.** Советский Союз и ООН. 56 стр. Цена 6 к.

**П. Чайкин.** Деревня на пути к коммунизму. 72 стр. Цена 6 к.

**Школа социалистического хозяйствования** (Книга для чтения в школах рабочих, изучающих экономику промышленных предприятий). 296 стр. Цена 61 к.

**Ю. Яснев.** Джунгли в огне. Правда о вооруженной интервенции США в Южном Вьетнаме. 40 стр. Цена 5 к.

### СОЦЭНГИЗ

**Альфредо Варела.** Куба революционная. Перевод с испанского. 319 стр. Цена 56 к.

**Л. И. Зубок.** Очерки истории рабочего движения в США. 629 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Н. И. Иванов.** Экономическое сотрудничество и взаимопомощь стран социализма. 323 стр. Цена 60 к.

**Международные общественные организации.** Профсоюзные, женские, молодежные, студенческие и др. Справочник. 451 стр. Цена 75 к.

**Хрестоматия по истории древнего Рима.** 675 стр. Цена 1 р. 15 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Бялый.** Тургенев и русский реализм. 248 стр. Цена 68 к.

**Юрий Благоев.** Между нами говоря. Сатирические стихи. 112 стр. Цена 17 к.

**Анна Броделе.** Верность. Роман. Перевод с латышского. 304 стр. Цена 56 к.

**Р. Гамзатов.** Высокие звезды. Стихи и поэма. Перевод с аварского. 268 стр. Цена 30 к.

**С. Головановский.** Дыхание. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 124 стр. Цена 20 к.

**М. Демин.** Параллели и меридианы. Стихи. 88 стр. Цена 12 к.

**И. Забелин.** Строители. Повесть. 268 стр. Цена 50 к.

**М. Кибек.** Охотники. Роман. Перевод с чувашского. 336 стр. Цена 57 к.

**В. Кузнецов.** Чувство земли. Стихи. 96 стр. Цена 11 к.

**П. Куусберг.** Второе «я» Энна Кальма. Роман. Перевод с эстонского. 316 стр. Цена 47 к.

**А. Лебедев.** Герои Чернышевского. 308 стр. Цена 79 к.

**М. Левитин.** Конец короля липы. Повесть и рассказы. 224 стр. Цена 27 к.

**И. Маевская.** Два счастья. Роман. 352 стр. Цена 61 к.

**С. Олейник.** Карась-середняк. Сатирические стихи. Перевод с украинского. 112 стр. Цена 17 к.

**М. Рауд.** Не отводя глаз. Рассказы. Перевод с эстонского. 344 стр. Цена 62 к.

**В. Соснора.** Январский ливень. Стихи. 100 стр. Цена 13 к.

**В. Сурганов.** Леонид Соболев. Очерк жизни и творчества. 324 стр. Цена 85 к.

**М. Чабановский.** Стоит явор над водою. Повесть. Перевод с украинского. 188 стр. Цена 32 к.

**Г. Эмин.** Перед часами. Стихи. Перевод с армянского. 144 стр. Цена 18 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**В. Г. Белинский в воспоминаниях современников.** 760 стр. Цена 1 р. 24 к.

**Н. Я. Берковский.** Статьи о литературе. 452 стр. Цена 1 р. 16 к.

**Бразильские сказки и легенды.** Перевод с португальского. 240 стр. Цена 36 к.

**Л. Плоткин.** Д. И. Писарев. Жизнь и деятельность. 232 стр. Цена 70 к.

**Марин Преда.** Смелость. Повесть. Перевод с румынского. 158 стр. Цена 18 к.

**Всеволод Рождественский.** Русские зори. Лирика. 339 стр. Цена 48 к.

**Тхань Тинь.** Капли морской пены. Рассказы. Перевод с вьетнамского. 175 стр. Цена 25 к.

**Ольга Форш.** Собрание сочинений. В восьми томах. Том 1. 348 стр. Цена 75 к.

**Екатерина Шевелева.** Встречи на этой планете. Стихи. 167 стр. Цена 33 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Беляев.** Смятенные души (О молодежи США). 112 стр. Цена 16 к.

**Генрих Боровик.** Повесть о зеленой ящерице. 224 стр. Цена 48 к.

**Валентин Глущенко.** Земля Мишки Демина. Повесть. 160 стр. Цена 39 к.

**Нариман Джумаев.** Караван идет по звездам. Повести. Перевод с туркменского. 208 стр. Цена 46 к.

**С. Зарубин.** Тропой разведчика. Повесть. 176 стр. Цена 41 к.

**Л. Иванов.** Терентий Мальцев. 255 стр. Цена 54 к.

**Олег Игнатьев.** Судьба Лючано Каstellини. 128 стр. Цена 19 к.

**И. Лаврецкий.** Панчо Вилья. 256 стр. Цена 54 к.

**Мендель Лифшиц.** Песня о Барсах. Поэма. Перевод с еврейского. 55 стр. Цена 27 к.

**А. Манфред.** Марат. 352 стр. Цена 69 к.  
**Искан Машбаш.** Тепло твоих рук. Стихи. Перевод с адыгейского. 128 стр. Цена 32 к.  
**Ты будешь коммунистом.** Сборник. 248 стр. Цена 58 к.  
**Николай Тряпкин.** Краснополье. Стихи. 152 стр. Цена 19 к.  
**Цена Чонас.** Я расскажу вам о моем сыне. Перевод с болгарского. 208 стр. Цена 55 к.  
**Олег Щербановский.** Стрелка. Повесть. 288 стр. Цена 56 к.  
**Алексей Югов.** Судьбы родного слова. 176 стр. Цена 40 к.

## ДЕТГИЗ

**А. Алексин, С. Михалков, П. Пасен, Я. Пинса.** Потерянная фотография. Повесть. 96 стр. Цена 28 к.  
**А. Арго.** Звучит слово... Очерки и воспоминания. 104 стр. Цена 26 к.  
**А. Гавеман.** Слои жизни. 144 стр. Цена 40 к.  
**Г. Гоппе, В. Верховский.** Великий и простой. Стихи о В. И. Ленине. 112 стр. Цена 21 к.  
**Из школьных лет Антона Чехова.** Сборник воспоминаний. 128 стр. Цена 28 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Георгий Агрикола.** О горном деле и металлургии («Классики науки»). 599 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**А. В. Воробьева.** Основные фонды и себестоимость продукции в промышленности. 288 стр. Цена 1 р. 2 к.  
**А. В. Гулыга.** Из истории немецкого материализма (Последняя треть XVIII века). 206 стр. Цена 63 к.  
**Диалектика и логика.** Законы мышления. 336 стр. Цена 1 р. 24 к.  
**Европейская безопасность и угроза западногерманского милитаризма.** Сборник материалов Международной научной конференции в Праге 23—27 мая 1961 г. 446 стр. Цена 1 р. 75 к.  
**Л. И. Климович.** Ислам. Очерки. 288 стр. Цена 57 к.  
**Л. Д. Лиознер.** Восстановление утраченных органов. 144 стр. Цена 21 к.  
**Е. И. Парфенова и Е. А. Ярилова.** Минералогические исследования в почвоведении. 207 стр. Цена 1 р. 2 к.  
**Я. М. Паушкин.** Химия реактивных топлив (Топлива для воздушно-реактивных и ракетных двигателей). 436 стр. Цена 2 р. 49 к.  
**Правовые гарантии законности в СССР.** 476 стр. Цена 2 р.  
**Ш. Л. Розенфельд.** Проблемы размещения промышленности строительных материалов СССР. 332 стр. Цена 1 р. 16 к.

**Д. И. Рябчиков, И. К. Цитович.** Ионнообменные смолы и их применение. 187 стр. Цена 93 к.  
**П. Н. Федосеев.** Коммунизм и философия. 480 стр. Цена 1 р. 97 к.  
**К. Э. Циолковский.** Избранные труды. 536 стр. Цена 2 р. 46 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Амин аль-Холи.** Связи между Нилом и Волгой. 40 стр. Цена 15 к.  
**И. А. Генин.** Империалистическая борьба за Сахару. 211 стр. Цена 70 к.  
**Дорогой мира.** Писатели стран Азии и Африки в борьбе за мир. 240 стр. Цена 50 к.  
**М. А. Коростовцев.** Писцы Древнего Египта. 175 стр. Цена 65 к.  
**Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии (60-е годы XVIII—60-е годы XIX вв.).** Документы и материалы. 654 стр. Цена 3 р. 75 к.  
**Я. Я. Этингер.** Экспансия ФРГ в арабских странах и Африке. 245 стр. Цена 95 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Эд. Аренин.** Человек, который построил город. 156 стр. Цена 27 к.  
**В. Артищев.** Чистый факел. Повесть. 150 стр. Цена 24 к.  
**Бородинское поле.** Путеводитель. 96 стр. Цена 14 к.  
**Леонид Ковин.** Белая трава. Повесть. 284 стр. Цена 61 к.  
**О. Куприн.** Влюбленный человек. 104 стр. Цена 13 к.  
**Ю. Новосельцев.** Магистрالیи грядущего. 184 стр. Цена 64 к.  
**Зденек Ногач, Станислав Оборский.** Где раньше была тайга. 360 стр. Цена 92 к.  
**А. В. Петербургский, Д. Н. Прянишников и его школа.** 112 стр. Цена 14 к.  
**М. Южно.** Разведчицы. Повесть. 192 стр. Цена 24 к.

## ВОЛГОГРАДСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**И. С. Гуммер, Ю. А. Харин.** Герои великой битвы. Очерки. 159 стр. Цена 38 к.  
**Они были делегатами XXII съезда КПСС.** Очерки. 144 стр. Цена 27 к.  
**П. А. Чернущенко.** Эй, на «Ерусалне!» Повесть. 143 стр. Цена 38 к.

## ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**А. А. Вахов.** Адъютант. Роман. 272 стр. Цена 70 к.  
**С. А. Тельканов.** Особая роль. Документальная повесть. 96 стр. Цена 17 к.  
**Г. И. Шелест.** Конец рыжего идола. Рассказы. 152 стр. Цена 25 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
 Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.  
 Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 21/VII 1962 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/IX 1962 г.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup>. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 94 800.  
 А 06750. Зак. 1422.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.